СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ

Татьяна Бобровникова

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь ® замечательных людей

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

1385

(1185)

Татьяна Бобровникова

СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2009

УДК 94(37)(092)“652”
ББК 63.3(0)32-8
Б 72

Издание второе, исправленное

ISBN 978-5-235-03238-5

© Бобровникова Т. А., 2009
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 1998, 2009

Посвящается моим родителям

ОТ АВТОРА

Эта книга написана несколько необычно. Я пишу не политическую, экономическую или военную историю. Цель моя другая. Я хочу восстановить духовную жизнь того времени, иными словами: хочу, чтобы вновь встали живыми люди тех далеких времен, чтобы вновь зазвучали их голоса. Мне хочется показать и самый Рим, тогда маленький городок с кривыми немощеными улицами и неказистыми домами. Пусть по этим улочкам пройдут перед читателем то великолепное триумфальное шествие, то печальная похоронная процессия, то блестящий кортеж нарядных дам — все то, что видел мой герой. Основной нитью моего повествования будет жизнь Сципиона, полководца, которого современные исследователи называют более великим, чем Наполеон.

В заключение я хочу выразить самую глубокую благодарность всем, без кого эта книга никогда не была бы написана: *И. Г. Башмаковой, А. И. Лапину* и *В. О. Бобровникову*, которые поистине с ангельским терпением выслушивали все мои идеи, читали рукопись и давали ценные советы. Затем моим дорогим друзьям: *Н. Алфутовой, О. Афанасову, Ю. Чайникову, С. Термхитарову, А. Матийченко, А. Васильеву, О. Белянцеву, Е. Денисову, В. Дорошу, Д. Осипову, В. Травкиной, Е. Чикунову, А. Баранчуку, А. Васневу, О. Войтковой, Д. Салову, Д. Гнедину, О. Ивановой, Т. Косареву, М. Кочетову, А. Крапивину* и *Р. Яценко.*

Но поистине неоценимую помощь оказал мне *А. Жеглов*, чьей самоотверженной дружбе и организаторским талантам я обязана тем, что книга вообще увидела свет. Я горячо благодарю и его, и его милую семью, особенно *Б. М. Жеглова*, за все, что они сделали для моей книги.

КНИГА ПЕРВАЯ

ВОЙНА

Глава первая

КАРФАГЕН

Время, о котором пойдет рассказ, было временем жестоких бурь и войн. Рим не был тогда великой державой, вершительницей судеб вселенной, а всего лишь маленькой общиной далекой, малоизвестной Италии. Внимание же всех приковывал не бедный Запад, а богатый Восток, где спорили за первенство могучие цари, наследники Александра. И лишь позже, когда славное имя Рима было у всех на устах, эллины стали с недоумением спрашивать, откуда вдруг появился этот народ. А между тем создала величие Рима одна война, ставшая известной самым отдаленным потомкам, определившая судьбы человечества на тысячелетия, — война между Римом и Карфагеном.

Кто же был этот грозный соперник Рима, едва не ставший владыкой мира?

Город и люди

Задолго до того, как Ашшурбанипал сжег Вавилон и воздвиг на костях врагов свой мощный трон, как Ниневия, логово львов, пала, подобно ливанскому кедру, и как в Иране среди бедных пастухов вырос маленький Кир, на северо-западном берегу Африки поднялся город Карфаген*. Основали его финикийцы, жители Тира. Кругом на Востоке гремели войны: Ассирия, Вавилон, Персия, Египет сталкивались друг с другом. Карфаген держался в стороне от боев, охотно подчиняясь сильнейшему противнику. Никто и вообразить

* Традиционная дата основания Карфагена — 814 год до н. э. Он находился возле современного Туниса.

тогда не мог, что этот послушный подданный персов будет стремиться к власти над миром.

Редкие чужеземцы, проникавшие в эту далекую твердыню Запада, несомненно, бывали поражены его видом. То был исполинский город, насчитывающий 700 тысяч жителей (*Strab., XVII, 7, 15*)*. Он окружен был огромными стенами, шириной до 8,5 метра, с мощными четырехэтажными башнями. Вокруг стен тянулись помещения для боевых слонов, арсеналы и конюшни. Общий вид Карфагена нисколько не напоминал греческие или египетские города с небольшими домами и широкими прямыми улицами. Он построен был так же, как его метрополия Тир. Вид этого города прекрасно описывает Г. Масперо: «Улицы Тира похожи на узкие проходы между четырех- и пятиэтажными домами, которые жмутся друг к другу, как ячейки в сотах»**.

Карфаген еще превосходил в этом отношении Тир: дома там были зачастую шестиэтажные (*App. Lib., 128*). Но внимание привлекали не эти мрачные небоскребы, а великолепные храмы. Они сверкали золотом и слоновой костью (*Cic. Verr., II, 4, 46; Val. Max., I, 1, extr., 2*). Внутри стояли колонны из чистого золота и изумруда, который в темноте излучал свет. У дверей лежали, блестя чешуей, ручные змеи, немые стражи финикийских божеств (*Prosper. Aquit. de pr., III, 381*).

Когда на узких улицах города появлялись знатные вельможи, они ослепляли иноземцев своим великолепием. На смуглых руках их, на пальцах, в ушах, на ногах, даже в носу сверкали золотые кольца; с плеч спускались яркие, почти режущие глаз своей пестротой одежды***. Вельможи эти жили, как настоящие цари, в роскошных дворцах, утопавших в розовых садах (*Diod., XX, 8, 3—4; Col., X, 4*), а вокруг тянулись целые плантации виноградников, маслин и плодовых деревьев (*Diod., ibid.*).

Откуда же у Карфагена были эти сказочные богатства? Главным их источником была транзитная торговля. Ничего не производя, карфагеняне развозили по всему миру на своих быстрых, как ветер, кораблях египетские, сицилийские и этрусские товары. Не последнюю роль играла и работорговля. Унаследовали они этот промысел от финикийцев. Г. Масперо пишет, что их ловкость и беззастенчивость в этом деле

---

* Для сравнения скажу, что в Риме накануне Ганнибаловой войны было 270 213 человек (*Liv. Ep. XX*).

** *Масперо Г.* Древняя история. Египет, Ассирия. СПб., 1900. С. 136. Ср.: *Циркин Ю. Б.* Финикийская культура в Испании. М., 1976. С. 41—43.

*** *Циркин Ю. Б.* Карфаген и его культура. М., 1986. С. 128; *Циркин Ю. Б.* Финикийская культура в Испании. С. 39.

поражали египетского посла. «Но его удивление еще больше усилилось бы, если бы он мог заглянуть во внутренность домов. Тирийцы — самые ловкие торговцы человеческим мясом, когда-либо существовавшие в мире; бо́льшую часть невольников, привозимых их кораблями, они продают египетским и ассирийским купцам, но не мало, особенно женщин, девушек и детей, остается у них в руках»*.

Пунийцы преуспели в этой торговле не меньше тирийцев. Они находились в постоянных контактах с пиратами и сбывали им свою добычу. Известно, например, что они захватывали славившихся красотой сицилийских женщин и выменивали их у пиратов на мужчин, нужных им для работы на плантациях. За одну женщину пираты давали трех-четырех мужчин (*Diod., XIII, 57, 58; V, 17, 3; Pseudo-Arist., de mir. ausc., 88*).

Вспомогательным источником обогащения для пунийцев был морской разбой. Они постоянно поддерживали связи с пиратами. Иногда они нападали в открытом море на торговые суда, иногда заманивали на свои корабли женщин и детей, разложив на палубе яркие ткани и красивые украшения. Пока доверчивые покупатели рассматривали диковинки, корабль снимался с якоря и несчастных пленников продавали в ближайшем торговом городе**.

Третьим средством обогащения была огромная дань, которой Карфаген обложил подвластные народы. К III веку до н. э. пунийцы были владыками огромной империи. В одной Африке они подчинили 300 городов (*Strab., XVII, 7, 15*). Их власть распространилась на всю Ливию, Испанию, Сицилию и Сардинию (*Polyb., I, 10, 5—6; III, 39, 2—4; 13; 2*)***.

Как же управлялся этот великий город? Государственный строй Карфагена всегда удивлял греков, ибо из всех известных им варваров одни пунийцы не имели царя, но управлял ими избранный Совет. Было у них и Народное собрание (*Arist., Pol., II, 8, 1—9*). Впрочем, этот Совет очень мало походил на римский сенат или афинскую буле, но более всего напоминал венецианский. Входили в него богатейшие купцы, которые и составляли карфагенскую знать. Места в Совете открыто покупались (*Polyb., VI, 56, 2—3*). Если верить одному свидетельству, Совет собирался, как и в Венеции, ночью (*Liv., XLII, 24*). Будучи торговцами, пунийцы всюду

---

* *Масперо Г.* Древняя история. Египет, Ассирия. С. 137.

** Такова была, как помнит читатель, судьба гомеровского Евмея.

*** Речь идет о середине III века до н. э. О том, как карфагеняне захватили Сицилию, подробно рассказано ниже.

вносили купеческие замашки. «Для карфагенян нет постыдной прибыли... У карфагенян для получения должности люди открыто дают взятки, у римлян это самое наказуется смертью» (*Polyb., ibid*).

В чем заключались полномочия народа, это из сохранившихся источников не совсем ясно. Известно только, что к III веку до н. э. он приобрел большую власть (*Polyb., VI, 51, 6—7*). Народное собрание представляло собой буйное и шумное сборище, легко впадавшее в ярость и отчаяние. Площади звенели от беспорядочного гула, криков женщин и детей, которые не менее мужчин принимали участие в политической жизни города (*Polyb., XV, 30, 9—10*).

«Насколько славной была военная мощь Карфагена, — пишет Юстин, — настолько же его внутренняя жизнь была полна раздоров» (*XVIII, 6, 10*). Совет раздираем был распрями. Знатные люди ненавидели друг друга, и ненависть эта передавалась из поколения в поколение. Они придумывали друг для друга различные коварные ловушки, пускали в ход самую черную клевету, чтобы привести своего противника на крест — то была обычная казнь в Карфагене — или натравить на него толпу. Пунийцы обладали пылкими страстями и легко впадали в бешенство, чем и пользовались ловкие демагоги. Народ подымал тогда вопль, люди катались по земле, рвали на себе одежды и царапали лицо ногтями. Сбегались женщины и дети и яростно вторили их воплям и проклятиям. Наконец вся эта бешеная толпа, где кроме финикийцев выделялись люди с курчавыми, как у негров, волосами и приплюснутыми носами, в исступлении кидалась вперед, и горе тогда вельможе, который попался бы ей на глаза. Его мигом разрывали в клочья или побивали камнями.

Вот описание одной такой вспышки ярости, которую некий знатный человек Ганнон разжег и направил против своего врага полководца Газдрубала. «Поднялся крик и шум, часть людей покинула собрание и кинулась искать Газдрубала. Он успел вбежать в отцовскую гробницу и принял яд. Они вытащили его труп, отрубили ему голову и носили ее по городу на копье» (*App. Lib., 159*).

Карфаген был великой империей и часто вел войны. Но они похожи были скорее на торговые операции, чем на обычные сражения. В городе не собиралось ополчение, как в Греции и Риме, граждане не защищали свою родину, честь и жизнь. Армия покупалась. За деньги нанимали наемников — греков, балеаров, ливийцев, иберов. Жизнь их ценилась очень дешево[1]. И вот буквально за день собиралась огромная грозная армия, которую можно было повести против

любого врага. И карфагеняне воевали, не теряя ни одного из сограждан, пока отцы города не находили, что средств на войну затрачено чересчур много. Тогда они прекращали военные действия, чтобы снова возобновить их через несколько лет, когда казна опять наполнится. Они легко мирились с неудачей, а гордость римлян, заставлявшую их не отступать и никогда не признавать себя побежденными, они считали просто глупостью. Время работало на них. Они не несли никаких потерь, в то время как их враг истекал кровью. Карфагеняне считали, что в этом великая сила их государства. Но Полибий полагал, что именно в этом его страшная слабость. Он говорит, что римляне все свои надежды всегда возлагают на самих себя, а карфагеняне — на наемников. Но защищая свою родину, жен и детей, римляне никогда не могут охладеть к борьбе, а наемники будут сражаться, только пока это выгодно (*Polyb., VI, 52, 2—7*).

Нам хотелось бы, конечно, побольше узнать о внутренней жизни великого соперника Рима. К сожалению, она покрыта непроглядной тьмой. Часто объясняют это тем, что Карфаген был сожжен дотла в 146 году до н. э. и все памятники его культуры безвозвратно погибли. Но это никак не объясняет, почему вся жизнь Карфагена была окутана такой непроницаемой тайной. Пусть до нас не дошли их собственные анналы. Но греческие историки, наделенные неистощимым любопытством и удивительной наблюдательностью, могли бы нам что-нибудь поведать о нем. Отец истории Геродот объездил всю ойкумену. Он с такой живостью описывает нам нравы египтян, вавилонян, персов, что нам кажется, что мы видим их собственными глазами. У него нашлось место для всех народов, даже для каких-то ливийцев, о которых известно только, что, поймав блоху, они кусают ее в свою очередь. Только об обычаях великой твердыни Запада он не пишет ни слова.

Прошло триста лет. За это время Карфаген захватил Сицилию, Испанию, стал владыкой моря, едва не сделался господином всего наследия Александра, и вот Полибий, свидетель гибели Карфагена, констатирует, что эллины в его время ровно ничего не знали о карфагенянах (*Polyb., I, 3, 7—8*). Этот факт, по-видимому, нуждается в объяснении.

Нам могли бы помочь проникнуть во внутреннюю жизнь Карфагена Тир, Сидон и другие финикийские города и городки, жители которых мало чем отличались от пунийцев. Но и тут нас ожидает неудача. Греки столь же упорно о них молчат, а от их культуры не дошло ничего, хотя они и не погибли в пламени пожара. Когда же лопата археолога подни-

мает из небытия жалкие остатки их искусства, мы с изумлением видим произведения греков, египтян, вавилонян и этрусков или грубые копии с них.

Но нам известна одна, пожалуй, самая яркая часть их культуры, которая выхвачена из мрака и словно озарена нестерпимо ярким светом. Я имею в виду финикийскую религию. Причину этого, несомненно, надо видеть в массовых человеческих жертвоприношениях, поразивших воображение современников.

Г. Масперо так характеризует финикийскую религию: «Религиозные культы Ханаана представляют собой грубую смесь кровавых и непристойных обрядов, пожалуй, даже самую грубую, какую представляли в то время другие культы». По словам Масперо, финикийцы чтили мужское божество — Баала и женское — Астарту. «Баалы отличались свирепым и ненасытным характером; они властно требовали принесения себе в жертву не только животных, но и людей». Иногда такой кровавой жертвы можно было избежать, отдав жестокому богу часть своего тела, поэтому на праздниках Баалов кровь лилась рекой*. Описание этого обряда есть в Библии:

«Призывали они имя Баала с утра до полудня, говоря: "Баале, услышь нас!" И скакали они у жертвенника... И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним» (*3 Reg., XVIII, 26—28*).

Но божество этим не удовлетворялось. Карфагеняне ежегодно сжигали живым человека ему в жертву (*Plin., N. H. XXXVI, 39*), отдавали ему самых красивых из военнопленных (*Diod., XX, 65, 1; Suid. Sardanios gelos*), а во время удачных войн приносили ему тысячи иноземцев (*Diod., XIII, 62, 4*), а в некоторых местах стариков, достигших семидесяти лет: их убивали ударом дубины (*Suid. Sardanios gelos*). Но всего этого Баалу было мало. Он требовал самой страшной жертвы — ему нужно было отдать своего первенца, мальчика-младенца. «Их сжигали живыми перед изображением божества, и запах их мяса утолял гнев его; звуки труб и флейт покрывали стоны страдальцев»** [2]. Этот ужасный обычай уже стал отмирать на родине пунийцев, в Тире. Но карфагеняне, более фанатичные и дикие, упорно за него держались. Известно, что во время осады Тира Александром Македонским пунийцы, помогавшие своей метрополии, стали уговаривать тирийцев возобновить этот старинный обычай. Ибо

---

* *Масперо Г.* Древняя история народов Востока. М., 1911. С. 297.
** Там же. С. 341.

карфагеняне, говорит Юстин, имели обыкновение «совершать кровавые религиозные обряды и прибегали к злодеяниям как к средству исцеления. Они приносили человеческие жертвы и даже детей, возраст которых даже у врагов обычно вызывает жалость. Они возлагали их на жертвенник, испрашивая у богов милости за пролитие крови тех, о продлении жизни которых принято молиться. Такими злодеяниями они отвратили от себя богов» (*Justin. XVIII, 6, 11—7, I*). Тирийцы, однако, долго не решались последовать совету пунийцев и наконец скрепя сердце принесли в жертву одного младенца, тогда как карфагеняне приносили гекатомбы детей. Именно этой нечестивой жертвой греки и римляне объяснили гибель Тира, от которого боги в ужасе отвернулись.

Сохранилось описание этого обряда: «Карфагеняне приносили в жертву сто детей, публично выбранных из числа первой знати... У них есть медная статуя Кроноса*; она протягивает свои полые руки, наклоненные к земле таким образом, что помещенный на них ребенок скатывается и летит в чрево, полное огня» (*Diod., XX, 14, 4—6*). Подобные жертвоприношения совершались ежегодно (*Sil. It., IV, 768*). В случае опасности число жертв увеличивалось. Так, во время нашествия Агафокла было сожжено 500 младенцев (*Diod., XX, 14*).

Принесение в жертву детей считалось великим праздником. Поэтому матери непременно должны были присутствовать с веселым лицом и в нарядной одежде (*Plut. De Superstit., p. 171*)**.

Религиозное исступление карфагенян всегда боролось с их природным лукавством. Иногда они пытались обмануть бога. Они тайком покупали детей, выращивали и откармливали их, а потом сжигали под видом собственных (*Diod., XX, 14, 4*).

«Астарты были менее жестоки, — продолжает Масперо, — но не менее требовательны. Они приговаривали своих жрецов к бичеванию, самоуродованию, иногда к самооскоплению. Ко многим из них в жрицы допускались только развратные женщины и блудницы.

---

* Кроносом греки называли Баал-Хаммона. Другое описание этого обряда у Клитарха: «Ребенка они сжигали, в то время как медный Кронос стоял у них с руками, обращенными ладонями к медной жаровне. Когда пламя охватывало рот сжигаемого, то члены тела начинали содрогаться и рот оказывался раскрытым наподобие смеха, пока то, что было простерто на жаровне, не переходило в ничто» (*Schol. Plat. R. P., I, 337.* Ср. *Suid. Sardanios gelos*). Очевидно, руки идола приводились в движение.

** *Масперо Г.* Древняя история народов Востока. С. 341.

Самые блестящие и непристойные празднества в честь Великой богини происходили близ Библоса. Два раза в году, весной и осенью, пилигримы стекались к храму Астарты в долину реки Адонис. В период летнего солнцестояния, в то время "как лето убивает весну", празднуемые здесь мистерии приобретают траурный характер. Богиня любила царя царей, Адона Адонима, но ревнивый соперник, скрывавшийся под видом чудовищного вепря, убил ее возлюбленного.

Астарта приказала зарыть его, и вся Финикия присоединилась к ее трауру. На катафалках, устроенных в храмах и на возвышенных местах, клались деревянные раскрашенные статуи, изображавшие умершего бога, охраняемого верующими до положения во гроб, между тем как по улицам города, по лесам и горам бродили толпы женщин с растрепанными или совершенно обритыми волосами, в растерзанных одеждах, с лицом, исцарапанным ногтями в знак печали, и громко выражали свое горе.

По прошествии некоторого времени идола хоронили с соблюдением традиционных обрядов и приготовляли так называемые сады Адониса, род ваз, в которые вставлялись зеленеющие ветки, растения без корней, которые засыхали на солнце». Так продолжалось до конца лета. Осенью вода в реке от дождей становилась красноватой. «Это была, по мнению верующих, кровь Адониса, и вид ее оживлял их печаль. Семь дней проливались горькие слезы, но на восьмой день жрецы объявляли, что воскресший Адонис соединился со своей божественной повелительницей. Взрыв шумной, безграничной радости приветствовал это известие. Подобно тому, как разыгрывались сцены смерти и траура, начиналось изображение сцен Воскресения. Не только плакальщицы, но и все женщины принимали в этом участие. Они... отдавались иностранцам, наподобие богини, отдающейся своему воскресшему возлюбленному. Плата за их позор присоединялась к священным сокровищам»*.

Подобные священнодействия ежегодно разыгрывались и в Карфагене. Августин вспоминает, что изображения сцен, следовавших за воскресением бога, были до того бесстыдны, что римские матроны в смущении отводили глаза (*C. D. II, 26, 2*). Во время этих празднеств пунийские женщины отправлялись в Сикку, где был храм Астарты Эрицинской, и там занимались священной проституцией (*Val. Max., II, 6, 15*)**.

Давая оценку пунийской религии, русский востоковед

---

* *Масперо Г.* Древняя история народов Востока. С. 341, 342.

** *Циркин Ю. Б.* Карфаген и его культура. С. 156, 157.

Тураев пишет: «Карфагенская религия отличалась вообще мрачным характером и не могла иметь нравственного влияния на народ, остававшийся жестоким, корыстолюбивым, недоверчивым и не внушающим доверия»*[3]. Действительно, отзывы современников о карфагенянах крайне неблагоприятны. Греки называли их алчными и властолюбивыми (напр. *Polyb., IX, 11*), римляне — жестокими и вероломными. «Мрачные, злобные, — пишет Плутарх, — они покорны своим правителям, невыносимы для своих подданных, бесчестнейшие в страхе, дичайшие во гневе, они упорно отстаивают любые свои решения; грубые, они не восприимчивы к шуткам и тонкостям» (*Praecept. ger. rei publ., 799 C—D*).

Можно закончить эту часть блестящим описанием карфагенян, данным Флобером:

«Все эти люди были приземистые, с горбатыми носами, как у ассирийских идолов. У некоторых, однако, сказывалась африканская кровь и происхождение от предков кочевников... Некоторые носили на себе отпечаток суровой жизни в пустыне, и у них сверкали странные драгоценности на всех пальцах смуглых рук, обожженных солнцем неведомых стран... Эти старые пираты возделывали теперь поля руками своих наемных рабочих; эти купцы, накопившие деньги, снаряжали теперь суда, а землевладельцы кормили рабов, знающих ремесла. Все они были ученые богословы, а также люди, искусившиеся в обмане, беспощадные и богатые... Их огненные глаза смотрели недоверчиво, а привычка к путешествиям и ко лжи, к торговле и к власти придавала им коварный и суровый вид; они казались склонными к судорожным вспышкам гнева. К тому же влияние их божеств делало их мрачными».

Борьба Карфагена за мировое господство

С давних пор Карфаген мечтал о мировом господстве. «Карфагену пришлось взять на себя руководство в вековой борьбе семитического элемента с арийским, — пишет Тураев. — История его есть история этой борьбы, распадающейся на два периода: греческий (до III века до н. э.), из которого Карфаген вышел победителем, и римский, окончившийся его гибелью»**. Ареной греческого этапа борьбы была Сици-

---

* *Тураев Б. А.* Карфаген // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. XIV[a], СПб., 1895. С. 656.

** *Тураев Б. А.* Карфаген. С. 652.

лия, плодородный и богатый остров, где издавна столкнулись финикийские и греческие колонисты.

В то самое время, как персы напали на материковую Грецию, чтобы, по выражению Эсхила, надеть на Элладу ярмо, с другой стороны, с запада, на греческий мир обрушились карфагеняне. Судьбе угодно было, чтобы и там, и здесь решительное сражение разыгралось одновременно, — по преданию, в один и тот же день, — и окончилось одинаково: и при Саламине, и при Гимере Сицилийской варвары потерпели страшное поражение. Сам Гамилькар, вождь карфагенян, бросился в костер (*Herod., VII, 165—167*). Геродот считал, что финикийцы разбиты окончательно. Но он ошибся. Через 70 лет борьбу возобновил Ганнибал, внук Гамилькара, погибшего при Гимере. В 409 году до н. э. он высадился в Сицилии и осадил Селинунт. После непродолжительного сопротивления город пал. Карфагеняне ворвались и перерезали поголовно всех жителей, около шестнадцати тысяч человек, не щадя ни возраста, ни пола. Со страшной быстротой они двинулись дальше. Пунийцы были уже у Гимеры, когда на выручку подоспел маленький отряд из Сиракуз. Было ясно, что горстка смельчаков не сможет противостоять огромным полчищам варваров. Они попытались лишь перевести население в безопасное место, ибо жестокости карфагенян не было предела. Но и это не удалось: часть населения не успела эвакуироваться. Они были убиты или захвачены в плен. Пленников, числом три тысячи, Ганнибал принес в жертву духу своего деда Гамилькара. Город был сровнен с землей, место, где он стоял, превращено в пустыню.

Сицилийцев сковал ужас. Ганнибал двигался уже к Агригенту. Город долго выдерживал осаду, наконец под прикрытием сиракузского отряда все жители, бросив свои дома, бежали в соседнюю Гелу, а город заняли карфагеняне. В эти суровые для острова дни к власти пришел ловкий, жестокий, но энергичный и смелый Дионисий Старший. Он собрал все силы, но не смог остановить варваров. Пали Гела и Камарина. Жителей удалось переправить в Сиракузы. Теперь карфагенян ждали в самих Сиракузах. Их спас случай. В пунийском лагере вспыхнула чума. Сам Ганнибал стал ее жертвой. В таких условиях Дионисию удалось купить мир ценой огромной дани. В руках варваров остался весь юг острова, куда вернулись уцелевшие жители (*Diod., XIII, 54—62; 108—111*).

Но эллины не смирились; они готовили мщение. В 397 году до н. э. сигнал был дан. По всему острову жители лови-

ли всех финикийцев и после жестоких пыток убивали. Все горели смертельной ненавистью к карфагенянам. Дионисий объявил им войну, мечтая освободить всю Сицилию. Но счастье не было к нему благосклонно. Карфагеняне вновь высадились в Сицилии, сам Дионисий, разбитый в морском сражении, был заперт в Сиракузах. И опять уже погибающую страну спасла чума, словно Аполлон не хотел покинуть свой народ. А тут подоспела помощь из Спарты, Коринфа и Южной Греции. Гамилькон, пунийский полководец, бросив армию на произвол судьбы, бежал в Карфаген. Сицилию вторично спасло чудо (*Diod., XIV, 45—76*).

Дионисий прекрасно понимал, что никогда они не избавятся от страха, пока Карфагену не будет нанесено решительного поражения. Воспользовавшись тем, что пунийцы заняты внутренними войнами, он собирал силы для отчаянного удара. В 383 году до н. э. он снова начал войну. Напрасно! Наголову разбитый, он вынужден был заплатить карфагенянам огромную контрибуцию и уступить им уже около трети острова. Но даже это его не смирило. В 367 году до н. э. он снова объявил пунийцам войну, но тут его настигла смерть. А его слабый и развратный сын, Дионисий Младший, поспешил заключить мир. Так судьба обратила в ничто все усилия Дионисия и цель, которую он преследовал всю жизнь, не осуществилась.

В 317 году до н. э. власть в Сиракузах захватил Агафокл, сын простого горшечника, но человек блестящих способностей. Он решил осуществить мечту Дионисия. Для этого он предпринял нечто неслыханное — высадился в Африке и двинулся к Карфагену. Казалось, настали последние дни города. Его вассалы перешли к Агафоклу. Охваченные паническим ужасом, карфагеняне умилостивляли богов, сжигая им гекатомбы детей. И снова судьба отвернулась от эллинов. На Агафокла посыпались неудачи, он был разбит, бежал и заключил мир на прежних условиях. Карфаген был, казалось, заколдован.

То была последняя попытка. К 70-м годам III века до н. э. Карфаген безраздельно господствовал на Западе. Иноземные корабли, вступавшие без его ведома в сицилийские воды, карфагеняне топили, опасаясь торговой конкуренции. В 264 году до н. э. карфагеняне решили завершить покорение Сицилии. По словам Полибия, весь остров уже был в их власти, оставались одни Сиракузы. Не было сомнения, что на этот раз они овладеют столицей (*Polyb., I, 10, 7—8*). Но тут в дело вмешался новый народ, римляне.

Первая Пуническая война

Римляне и карфагеняне давно знали друг друга. Некоторое время их связывал даже союз, направленный против общего врага Пирра. Но теперь союзники римлян в Сицилии попросили их помощи против пунийцев, и сенаторы долго колебались. Они, разумеется, очень хорошо сознавали, как могуч и страшен Карфаген. Но они, по свидетельству Полибия, ясно поняли и другое: Карфаген стал владыкой всего Запада, он постепенно окружает Италию кольцом и еще немного, и Рим ждет судьба Сицилии (*Polyb., I, 10, 6—9*). Сенат не решился начать войну с пунийцами. Но народ оказался смелее: квириты заявили, что хотят воевать с карфагенянами. Жребий был брошен (*Polyb., I, 11, 1—2*).

Сравнивая силы обоих государств, можно сказать следующее. Казна Карфагена была полна до краев, Рим же в то время был беден. Он не вел заморской торговли и не получал золота от своих вассалов: единственные его подданные, италики, не платили ему дани. Так что тут преимущество было у Карфагена.

Что касается морских сил, то Карфаген владел едва ли не лучшим в мире флотом, у римлян же вообще не было кораблей (*Polyb., VI, 52, 1*). Так что на море перевес был опять-таки у пунийцев.

Сухопутное войско карфагенян было многочисленнее и профессиональнее римского, так что на первый взгляд и тут перевес был у карфагенян, но, как мы уже говорили, моральный дух легионов, состоявших из граждан, а не наемников, был выше.

Наконец, по мнению Полибия, римский государственный строй был лучше, а главное, римляне были сильнее духом: они наделены были, по его словам, исключительным мужеством, благородным стремлением к славе, они готовы были всем пожертвовать для родины, между тем карфагеняне выше всего ставили личную выгоду.

Первая Пуническая война была тяжелой и долгой; она потребовала от Рима напряжения всех сил. Длилась она 24 года (264—241 годы до н. э.). Театром войны была Сицилия. Римляне заключили союз с тогдашним тираном Сиракуз Гиероном. Счастье им улыбалось, но вскоре стало ясно, что они никогда не победят пунийцев без флота. У римлян, замечает Полибий, не было ни опыта, ни денег, ни искусных строителей и вообще ни малейшего представления о том, какими должны быть корабли. «Здесь-то и можно видеть со всей ясностью величие духа римлян и отвагу во всех начи-

наниях. Действительно... они принялись за дело с такой уверенностью, что решились тотчас, еще до испытания себя, помериться в морской битве с теми самыми карфагенянами, которые со времен предков их неоспоримо господствовали на море» (*Polyb., I, 20, 10—12*). Однажды в их руки попало небольшое неприятельское судно. Римляне вытащили его на берег, по его образцу построили корабли, несколько дней поупражнялись в гребле и со страшной дерзостью поплыли навстречу врагу. Когда карфагеняне увидали этот тяжелый, неповоротливый флот, они пришли в восторг и устремились против римлян. Как и следовало ожидать, римлян разбили в пух и прах. Но они не смутились и снова спустили корабли на море. На сей раз командовал консул Гай Дуиллий. Карфагеняне с радостью поплыли навстречу, предвкушая легкую добычу. Но тут произошло неожиданное. К каждому судну римлян было прикреплено нечто вроде абордажного крюка, сближаясь с вражескими кораблями, они накидывали на них крюки, перепрыгивали на палубу и превращали морской бой в сухопутный. Волны Сицилийского залива окрасились в этот день в красный цвет, но римляне победили. А своего военачальника карфагеняне распяли на кресте за неудачный образ действий (*Polyb., I, 21—24*).

Теперь римляне были уверены, что победа у них в руках. И они решили нанести последний удар врагу, совершив предприятие не менее смелое, чем постройка флота и морская битва, — они задумали, по примеру Агафокла, высадиться в самой Африке (256 год до н. э.). Вначале это повергло карфагенян в ужас: они потерпели жестокое поражение от консула Регула и униженно просили мира. Но консул был так надменен, предъявил карфагенянам столь непомерные требования, что тем ничего не оставалось, как снова взяться за оружие. Как раз в то время к ним прибыло огромное наемное войско во главе с лакедемонянином Ксантиппом. Он смело пошел на римлян, разбил их и захватил в плен самого консула Регула (*Polyb., I, 29—34*). Предание рассказывает, что карфагеняне, не уверенные в будущем, стремились к миру с римлянами и для того решились отпустить на родину послом пленного консула, чтобы он убедил сограждан заключить мир. И Регул вступил в родной город с опущенным лицом, не отвечал на ласки жены и детей, а войдя в сенат, уговорил отцов* вести войну до победного конца. А потом, несмотря на мольбы близких, он отправился в Карфаген, ибо, уезжая, дал слово вернуться. А пунийцы посадили

* Отцами официально именовали римских сенаторов.

его в бочку, утыканную гвоздями, и так замучили (*Hor. Carm., III, 5; App. Lib., 15*).

Борьба снова перенесена была в Сицилию и шла там с переменным успехом. Чаша весов склонялась то на одну, то на другую сторону. На восемнадцатый год войны начальником флота в Карфагене назначен был Гамилькар, прозванный Барка — Молния (246 год до н. э.). «Гамилькар в течение трех лет давал римлянам битвы на суше частые и многообразные; подробное описание их было бы невозможно. Дело в том, что в борьбе замечательных кулачных бойцов, блистающих храбростью и искусством, когда они в решительном бою за победу неустанно наносят удар за ударом, ни участники, ни зрители не могут разглядеть или предусмотреть отдельных ударов и ушибов, хотя и могут получить довольно верное представление о ловкости, силе и мужестве борющихся по общему напряжению сил и по обоюдному упорству в состязании; точно так же было и с военачальниками, о которых идет речь», — пишет Полибий (*Polyb., I, 56, 11—57, 2*). Ежедневно происходили стычки, но решительной битвы все еще не было. «Обе стороны пускали в ход одна против другой всю изворотливость и силу... претерпели всевозможные лишения, испытали все виды нападения и обороны, пока, наконец, не пожертвовали победного венка богам* не потому, что не в силах были терпеть дольше, но потому, что сделались нечувствительными к страданиям и неодолимыми» (*Polyb., I, 58, 4—6*).

Было ясно, что не здесь, где противники упорно боролись уже столько лет, должно произойти решительное сражение. Тогда римляне решили вновь сразиться на море. Но кораблей опять не было. Несколько лет назад флот их был разбит, а жестокая буря довершила дело. С тех пор они сражались только на суше. Но теперь надо было взяться за постройку кораблей. И сколько раз уже они терпели поражения на море, сколько раз лишались всего и судьба их висела на волоске, но их невероятное упорство способно было преодолеть все преграды. Полибий, очень хорошо знавший римлян, и восхищается этим их качеством, и осуждает его: «Раз какая-нибудь цель поставлена, они считают для себя обязательным достигнуть ее, и раз принято какое-нибудь решение, для них не существует ничего невозможного. Часто благодаря такой стремительности они осуществляют свои замыслы, но подчас терпят и тяжелые неудачи, особенно на

* Если победа была сомнительной, противники на состязаниях жертвовали венок — награду победителю — богам. Отсюда и эта поговорка.

море. Действительно, на суше, где они имеют дело с людьми и человеческими средствами борьбы, римляне большей частью успевают, потому что равные силы они одолевают натиском... Напротив, большие бедствия постигают всякий раз, когда они вступают в борьбу с морем и небом и действуют с тем же упорством. Так случилось тогда и много раз случалось раньше, так будет и впредь, пока они не отрекутся от этой ложной отваги и упрямства; теперь они воображают, что им можно идти, по морю ли, по суше, во всякое время» (*Polyb., I, 36, 7—10*).

Но как построить флот? Казна была опустошена долгой, мучительной войной, и, хотя, по выражению Полибия, воинственный дух побуждал римлян к войне, средств для этого у них не было. Но «великодушие и любовь к родине» первых людей государства спасли положение. Сенаторы решились на то, на что никогда не решилась бы карфагенская знать: они на свои личные деньги построили корабли (*Polyb., I, 59, 6—8*). В решительной битве при Дрепанах консул Лютаций Катул разбил карфагенский флот. Карфагенские правители облекли тогда Гамилькара Барку неограниченными полномочиями — заключить мир или продолжать войну. Гамилькар понял, что война проиграна. Он обратился к римскому консулу с мирными предложениями. Надо сказать, что и силы самих римлян были на исходе.

Мир был заключен на следующих условиях: карфагеняне выплачивали римлянам контрибуцию, отказывались от всей Сицилии и обещали впредь никогда не нападать ни на самих сицилийцев, ни на их союзников (*Polyb., I, 62—63, 3*). Так окончилась вековая борьба за Сицилию и римлянам удалось то, что не удалось ни Дионисию, ни Агафоклу. Эта война, заключает Полибий, «длилась непрерывно 24 года и была продолжительнее, упорнее и важнее всех войн, какие известны нам в истории» (*Polyb., I, 63, 4*). В отношении доблести победный венок, по его признанию, стяжали римляне, но величайшим вождем того времени по уму и отваге был Гамилькар Барка (*Polyb., I, 64, 5—6*).

Наемническая война

После столь долгой и напряженной войны карфагеняне, однако, не вкусили мира. Дома их поджидала новая смута. Началась она как-то незаметно. Когда в Сицилии был заключен мир, в Карфаген стали прибывать наемники, отряд за отрядом. С каждым отрядом нужно было поскорее рас-

платиться и отослать на родину. Гамилькар нарочно отправлял воинов небольшими частями, опасаясь их буйных выходок. Но карфагеняне медлили с уплатой жалованья. Их сгубила жадность: они без конца торговались и оттягивали выдачу денег. В результате в Карфагене скопились огромные полчища варваров. А когда это случилось, пунийцы пришли в ужас, очутившись в одних стенах с буйной и дерзкой толпой солдат, и поспешили выпроводить их и отправить в город Сикку. Это была вторая роковая ошибка карфагенян. Они собрали всех наемников вместе. Предоставленные самим себе, солдаты предались праздности и разгулу. Безделье, пьянство, воспоминания о только что виденных сказочных богатствах Карфагена и щедрых обещаниях, которые давали им полководцы перед битвами, сделали их наглыми и разожгли их алчность. Они без конца высчитывали, сколько должны им карфагеняне, и с каждым днем эта сумма непомерно увеличивалась. И они нетерпеливо поджидали вестей из Карфагена. И вот наконец является долгожданный вестник. Каково же было бешенство наемников, когда они из путаных речей посла поняли, что он не привез им денег, а приехал опять с ними торговаться. Яростными криками заглушали они речи послов. Договориться с этой бесчисленной толпой не было никакой возможности: здесь были и иберы, и кельты, и ливийцы, и балеары. Они не понимали ни друг друга, ни карфагенян. В поднявшейся страшной неразберихе карфагеняне бросились за помощью к переводчикам, но это уже не помогло, тем более что эти люди часто искажали их речи, случайно или по злому умыслу. Кончилось тем, что наемники прогнали послов и двинулись к Тунету.

Теперь карфагенянам стало ясно, что лучше было сразу заплатить наемникам и не раздражать их мелочной скупостью. Но было поздно. Пунийцы впали в другую крайность — от суровости перешли к неумеренной лести и раболепству. Самые знатные из них приходили в лагерь наемников, всячески заискивали перед ними, давали щедрые обещания. Видя их страх, варвары наглели не по дням, а по часам. Они презирали этих богатых, трусливых горожан. С гордостью они говорили, что сражались против римских легионов, что́ после этого значат для них какие-то карфагеняне или любой другой народ! Каждый день они выставляли все новые наглые и несправедливые требования, а едва карфагеняне их выполняли, требовали большего. А пунийцы были настолько малодушны, что все терпели.

Наконец к ним послали их любимого вождя Гескона — Барку они не любили, — чтобы тот наконец расплатился с

ними и убедил уехать. Сначала все шло хорошо и вид денег, привезенных Гесконом, успокаивал варваров. Но нелегко утишить уже начавшийся мятеж. Двое из вождей, которых возвысила смута, не хотели мириться с потерей власти. То были ливиец Матос и беглый италийский раб Спендий. Они сумели внушить части наемников, что их хотят обмануть. И вдруг разом вспыхнул бунт, неистовый и неодолимый, как пожар. Поднялся невероятный шум, все слушали только Спендия и Матоса. «Если выступал теперь кто-нибудь другой с советами, они не дожидались конца речи и, не зная еще, соглашается ли говорящий со Спендием или возражает ему, тут же побивали его камнями. Так убили они немало на этих сборищах и начальников, и простых людей. Толпа понимала только одно слово: "Бей!", поэтому наемники били не переставая, особенно когда сбегались на сборища пьяные после обеда» (*Polyb., I, 69, 9—13*). Никто уже не решался выступить против Спендия и Матоса, и их избрали вождями. Всюду видел Гескон мятеж и смуту. Наемники обратились в диких зверей. Но он с риском для жизни оставался с ними и увещевал их, с ужасом думая, что будет, если эта лавина хлынет на Карфаген. Наконец они кинулись на него, сбили с ног и заковали в цепи. Заковали они и прочих пунийцев.

Так стали наемники открытыми врагами карфагенян. И вся Африка пришла в движение. Ливийцы, порабощенные карфагенянами, ненавидели их лютой ненавистью. Карфагеняне были жестокими и алчными повелителями. Они не знали меры: крестьян заставляли отдавать половину урожая, — они не знали ни снисхождения, ни пощады, ценили только тех наместников, которые могли выжать из несчастной страны больше денег. И вот теперь народное озлобление прорвалось. Ливийцы как один примкнули к мятежникам, женщины торопили и воодушевляли их. Они отдавали все свои сбережения, снимали с рук все кольца, вынимали из ушей серьги и отдавали их наемникам. Они готовы были на все, только бы видеть унижение ненавистных карфагенян.

А Карфаген был совершенно беспомощен среди этой общей ненависти. Раньше пунийцы получали доходы с Ливии, а воевали силами наемников. Теперь все это обратилось против них. Ничто не в силах было остановить мятежников. Теперь все надежды города сосредоточились на Гамилькаре Барке. Приняв главное командование, Гамилькар стал действовать столь успешно, что вскоре город смог вздохнуть спокойнее. Он сформировал новый отряд из перебежчиков и нанятых на последние деньги наемников. Он привлек на

свою сторону нумидийского князя Нараваса и двинул против восставших 70 боевых слонов.

Но война была далеко не кончена. Ответом на успехи карфагенян был новый зверский поступок наемников. Было решено казнить Гескона и прочих пленных, всего около семисот человек. Кое-кто из солдат попытался было возразить, но их убили на месте. И трупы их имели такой вид, словно их растерзали дикие звери. А карфагеняне были подвергнуты медленной пытке и умерщвлены. И среди них был Гескон, которого наемники раньше так любили, которого называли своим благодетелем. Принято было решение подвергать таким же мучениям каждого захваченного в плен карфагенянина. По этому поводу Полибий замечает, что души людей, как и тела их, могут болеть болезнью, подобной проказе, и они начинают гнить и медленно разлагаться, хотя по виду это все тот же человек. Такая ужасная участь постигла души наемников. Разумеется, Гамилькар Барка не остался в долгу: захваченных в плен варваров тоже ждала ужасная участь.

Наемники опять достигли успеха и подошли уже к самому Карфагену. Но и тут город спасли находчивость и искусство Барки. Он оттеснил их от города, много раз разбивал в мелких стычках и наконец запер в ущелье, отрезав от съестных припасов. Мятежники изнемогали от голода. «После того как съедены были пленные, которыми, о ужас, питались мятежники, после того как съедены были рабы... начальникам явно угрожала месть разъяренной бедствиями толпы» (*Polyb., I, 85, I*). Тогда Спендий решил просить мира. Все десять вождей во главе со Спендием (Матос командовал другой частью войска и не попал в ловушку, как они) явились к Барке. Он предложил им следующее: он выберет десять человек из числа мятежников и задержит их, остальным дозволит уйти. Выбора не было, и вожди приняли условие. Но едва договор был скреплен клятвами, Гамилькар объявил, что выбрал из числа мятежников именно их. Увидав, что их послы схвачены, варвары бросились к оружию. Но Гамилькар окружил их и затоптал слонами. Всего там погибло 40 тысяч человек.

Но Матос еще не был побежден. Он вскоре узнал об участи, постигшей его товарищей, ибо Барка осадил его лагерь и на виду у осажденных пригвоздил Спендия и прочих ко кресту. Это привело Матоса в такую ярость, что он сделал отчаянную вылазку на лагерь одного из военачальников Гамилькара, захватил его в плен и после жесточайших мучений, еще живого, велел распять на кресте Спендия. Осталь-

ных знатных пленных зарезали над трупом Спендия в жертву его духу. И снова государство карфагенян было в опасности, но уже в последний раз. В решительной битве Гамилькар наконец разбил Матоса. Сам вождь был взят в плен и торжественно замучен на триумфе. Так кончилась эта война. Она продолжалась, говорит Полибий, три года и четыре месяца и из всех войн, известных нам в истории, была самой жестокой и исполненной злодеяний (*Polyb., I, 66—88, 7*)*.

Мы остановились на этой нечестивой войне так подробно, ибо она как нельзя лучше характеризует положение дел в Карфагене, нравы граждан и наемников, с которыми римляне так близко столкнулись два десятилетия спустя.

* * *

А что делали римляне, пока карфагеняне вели войну не на жизнь, а на смерть с наемниками? Почему бездействовали они в тот роковой момент? Ведь судьба предоставила им возможность одним ударом покончить со страшным врагом. Когда Карфаген был окружен отовсюду, лишен всякой помощи, отрезан от продовольствия, стоило высадить в Африку несколько легионов — и с соперником было бы покончено. Но римляне не только не сделали ничего подобного, но еще помогли Карфагену. Они запретили купцам торговать с мятежниками, а карфагенян снабжали всем необходимым. Они поспешили вернуть пунийцам ранее захваченных пленных, по выражению Полибия, охотно и любезно исполняя каждую просьбу карфагенян. Когда и в Сардинии, принадлежавшей пунийцам, восстали наемники и решили передаться римлянам, те отказали им в покровительстве. Такой же отказ получила и восставшая Утика. Взвешивая все эти факты, Полибий приходит к выводу, что помощь римлян спасла карфагенян в те тяжелые дни (*Polyb., I, 83, 5—12*).

Что заставило быть их так нерасчетливо великодушными? Боялись ли они, как объясняли всегда впоследствии сами, попрать договор и соблюдали нерушимую верность слову, которой так гордились? Претил ли им союз с шайкой кровожадных и диких разбойников? Как бы то ни было, они очень поддержали Карфаген в ту пору. Но как только война была окончена, они резко изменили свое поведение. Ранее они отказывались помочь сардинским мятежникам, теперь же высадились на острове. Карфагеняне были возмущены и

---

* Читатель без труда узнает в этом сухом описании сюжет замечательного романа Г. Флобера «Саламбо».

готовились со своей стороны вторгнуться в Сардинию, которую считали своим исконным владением. Римляне тогда заявили, что немедленно объявляют карфагенянам войну. Карфагеняне, обессиленные всеми последними событиями, пришли в ужас и стали молить римлян о мире. Но римляне потребовали теперь не только Сардинию, но и контрибуцию на покрытие военных издержек, хотя вряд ли они хоть асс потратили на подготовку к войне (*Polyb., I, 88, 8—12*). Несчастные карфагеняне на все были согласны. Полибий считает это большой несправедливостью со стороны римлян*.

Между тем спаситель Карфагена Гамилькар Барка почти тотчас же после заключения мира покинул родину. Что заставило его бросить Карфаген? Современники часто объясняли это тем, что члены Совета подвергали его непрерывным нападкам, отравляли ему жизнь клеветой и наконец даже привлекли к суду (*App. Iber., 4*). Но не мелкие уколы самолюбия заставили Барку уехать. После войны у него была одна цель, одна мечта — месть римлянам. И все он положил для осуществления этой цели. Как плацдарм для будущей войны он выбрал Иберию, славную своими золотыми и серебряными рудниками.

Около девяти лет (237—228 годы до н. э.) провел Гамилькар в Иберии. Он подчинил уже значительную часть страны. После его гибели главное командование перешло к его зятю Газдрубалу, а когда и он погиб, начальство над войсками принял старший сын Гамилькара Барки Ганнибал.

Ганнибал

У Гамилькара Барки было три сына: Ганнибал, Газдрубал и Магон. Все они унаследовали от отца яркий полководческий талант, необычайное упорство и жгучую ненависть к Риму. Это чувство, жившее всегда в душе Гамилькара, Полибий считает первой и главной причиной Второй Пунической войны (*Polyb., III, 9, 6*). Суровым было детство сыновей Барки. Они выросли в военном лагере среди буйных и

* Существует, правда, другая, гораздо более благоприятная для римлян версия этих событий, изложенная Аппианом. Он рассказывает, как помогли римляне карфагенянам во время наемнической войны. А карфагеняне заплатили за все это самой черной неблагодарностью: они захватывали римские торговые корабли, а экипаж топили, чтобы скрыть свое преступление. Когда же после окончания войны их злодеяния выплыли наружу, римляне в гневе объявили им войну, а карфагеняне в страхе отдали им как компенсацию Сардинию (*App., Lib., 19—22*).

жестоких наемников, оторванные от родины, от всего цивилизованного мира. Ганнибал впоследствии признавался, что не помнит ни нравов, ни обычаев далекого Карфагена (*Polyb., XV, 19, 3—4*). Их окружала страна враждебная и дикая, и эта мрачная и грозная обстановка отнюдь не способна была приучить дух к кротости и мягкости. Греки и римляне говорили, что сама земля Иберии сурова и неприветлива. Вся она состоит из гор, чащоб и унылых плоских равнин с тощей почвой. Край холодный и негостеприимный: там дуют такие дикие ветры, что сбивают с ног воинов в тяжелом вооружении, опрокидывают груженые телеги (*Cato, Orig. frg. 93; Strab., III, 1, 1*). И жители под стать стране: неукротим и дик дух иберов (*Strab., III, 3, 6*). Религия их жестока: «Они любят жертвоприношения... у них в обычае гадать по внутренностям пленников, которых они сначала закутывают в плащ, а затем, когда жрец-гадатель поражает жертву, гадают по падению его тела. У пленников отрубают правую руку» (*ibid.*). Иберы прославились удивительным свободолюбием, безумной храбростью, жестокостью и какой-то «зверской бесчувственностью к страданиям» (выражение Страбона). Рассказывают, что матери убивали младенцев-детей, чтобы те не попали в плен. Маленький мальчик по знаку связанного отца зарезал закованных в цепи родителей и родичей. Передают, что однажды распятые на кресте иберы запели победную песнь (*Strab., III, 4, 17*).

Хотя Иберия была сурова и неприветлива, тысячи алчных искателей приключений влекла туда молва о сказочных богатствах, скрытых в недрах земли. Посидоний, путешествовавший здесь век спустя, говорил, что словно попал в некую сокровищницу природы, полную вечных богатств. Сами реки, по его словам, текут там золотом, а при пожаре почва вскипает расплавленным золотом и серебром, ибо каждый холм представляет собой кучи монетного сплава (*Strab., III, 2, 9*). Рассказывают, что до прихода финикийцев даже кормушки для скота были из золота (*Strab., III, 2, 14*). Когда Полибий впервые приехал в Иберию, ему показалось, что он очутился в блестящем, сказочном краю феаков (*Polyb., XXXIV, 9, 14—15*).

Дети Барки жили то среди суровых скал, терпя холод, зной и лишения, то в окружении сказочных богатств в золотом дворце. Эта жизнь навсегда оставила на них свой отпечаток: в них жила страсть к золоту и они имели вид грубых солдат (*Polyb., XV, 19, 3—4; Cic. De or., II, 75*). Гамилькар «воспитывал их, как львят, натравливая на римлян» (*Zon., 8, 21*). Самое яркое воспоминание детства Ганнибала было таково: отец подвел его, тогда крохотного мальчика, к жерт-

веннику и велел протянуть руку и поклясться, что он всегда будет врагом римскому народу (*Polyb., III, 11; Liv., XXXV, 19; Nep. Hann. 2, 1—6*).

И старания Гамилькара увенчались успехом: сыновья его отвагой и дерзостью напоминали львов. Но старший, Ганнибал, намного превосходил своих братьев. Ему было двадцать шесть лет, когда солдаты выбрали его главнокомандующим в Иберии. «Никогда еще душа одного и того же человека не была так равномерно приспособлена к обеим столь разнородным обязанностям — повелению и повиновению... Не было такого труда, от которого он уставал телом или падал духом. И зной, и мороз он переносил с равным терпением; ел и пил ровно столько, сколько требовала природа, а не ради удовольствия; выбирал время для бодрствования и сна, не обращая внимания на день и ночь, — покою уделял лишь те часы, которые у него оставались свободными от трудов; притом он не пользовался мягкой постелью и не требовал тишины, чтобы легче заснуть; часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спит на голой земле среди караульных и часовых. Одеждой он ничуть не отличался от ровесников; только по вооружению да по коню его можно было узнать. Как в коннице, так и в пехоте он далеко оставлял за собой прочих, первым устремлялся в бой, последним оставлял поле сражения. Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечности, его вероломство превосходило даже пресловутое пунийское вероломство*. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святынь» (*Liv., XXI, 4, 3—9*).

Эта блестящая характеристика принадлежит Ливию. Но Ливий жил несколько веков спустя, образ Ганнибала стал для него хрестоматийным. Не то Полибий. Будучи почти современником событий, он живо ощущал как бы дыхание Ганнибала, видя его друзей и врагов. К тому же он наделен был острым критическим умом и не верил ни славословиям восторженных почитателей, ни хуле недругов. Он хотел представить себе не героя и не изверга, а живого человека. Он беседовал с его соратниками, с карфагенянами и варварами, с римлянами, помнившими его, стремясь постичь таинственный характер этого страшного человека, державшего некогда в руках судьбы мира. Все отдавали должное его талантам, и Полибий особенно восхищался той мрачной

* Выражение «пунийское вероломство» вошло в поговорку в древности.

энергией, которая была его отличительной чертой. «Единственным виновником, душой всего, что претерпели и испытали обе стороны, римляне и карфагеняне, я почитаю Ганнибала... Столь велика и изумительна сила одного человека, одного ума» (*Polyb., IX, 22, 1—6*).

Другой чертой его, которую признавали все, была чрезмерная жестокость (*Polyb., IX, 26, 8; 22, 8*). В глазах людей он был виновником чудовищных преступлений, совершенных в Италии. О его свирепости ходили какие-то страшные слухи; в этих рассказах было что-то жуткое, потустороннее, словно это был не человек, одержимый идеей, а некий воплощенный демон, существо не нашего мира. Так, говорили, что он заваливал рвы телами пленных и его воины проходили по этим живым мостам; что он закапывал людей в землю по пояс, а вокруг раскладывал огонь (*Cat. Or. frg. 193*); что он и его сподвижники ели человеческое мясо. С этой нечестивой пищей он будто бы связывал победу над римлянами. Видимо, в основу этих слухов легли какие-то реальные события, ибо даже такой рационалист, как Полибий, не отрицает самого факта. Быть может, Ганнибал и его воины принесли какую-то страшную клятву ненависти к Риму, воззвали к подземным богам и скрепили верность человеческой жертвой, мяса и крови которой вкусили. Может быть, это был какой-то жестокий религиозный обряд, карфагенский или иберский. Но Полибий склонен был толковать все это рационалистически. Он говорит, что один из друзей Ганнибала, славившийся особенной жестокостью, посоветовал ему самому и воинам привыкнуть питаться человеческим мясом, так как без этого ему не покорить Рима. Ганнибалу это предложение очень понравилось, но он все-таки, как ни старался, не мог есть человечину (*Polyb., IX, 24*). Этот же друг, по словам Полибия, был вдохновителем большинства совершенных в Италии злодеяний. Поэтому историк склонен оправдывать Ганнибала тяжелыми обстоятельствами и советами злых друзей.

Зато, к сожалению, слишком верно, что он был чрезмерно алчен даже для карфагенянина. Полибий считает это тяжким его пороком. Он сообщает любопытный рассказ: «Говорят также, что Ганнибал был так же чрезмерно корыстолюбив и был в дружбе с корыстолюбивым Магоном... Сведения эти я получил от самих карфагенян... С большими еще подробностями я слышал это от Масиниссы*, который много расска-

---

* *Масинисса* — нумидийский царь, служивший под началом карфагенян. С ним мы в дальнейшем близко познакомимся.

зывал мне о карфагенянах вообще, наиболее о корыстолюбии Ганнибала и Магона... Между прочим Масинисса говорил о величайшей нежности, какой отличались их совместные отношения с ранней юности, о том, сколько городов в Италии и Иберии завоевал каждый из них... но при этом они ни разу не участвовали в одном и том же деле и всегда старались перехитрить друг друга больше даже, чем неприятеля, чтобы только не встречаться при взятии города во избежание ссоры из-за дележа добычи, ибо каждый из них желал получить больше другого» (*Polyb., IX, 25*).

Но образ Ганнибала как-то расплывается у Полибия. Он ему чужд и непонятен, этот мрачный пуниец. «Нелегко судить о характере Ганнибала, — заключает он свою характеристику, — ... достаточно того, что у карфагенян он прослыл за корыстолюбца, а у римлян за жестокосердного» (*Polyb., IX, 26, 10*).

Приготовление к войне

Итак, Ганнибал был выбран главнокомандующим в Иберии. Все у него было готово к войне. Но что же все это время делали римляне? Как могли они допустить такое усиление своего смертельного врага? Я полагаю, что это объясняется взглядами и настроениями тогдашних правителей города, которые твердо держались принципа, что надо защищать свое и не лезть в чужое. Иберия же была далеко, и они успокаивали себя мыслью, что война там — это частное дело Карфагена, а сами занялись своими домашними делами, а именно мелкими стычками с галлами.

Ганнибал завоевал уже всю Испанию, и тут римляне почувствовали легкое беспокойство. Они не хотели мешать пунийцам, вовсе нет, но им нужно было обезопасить себя. С пунийцами был заключен договор, что они не выйдут за пределы Иберийского полуострова. Кроме варваров в Иберии были древние колонии, основанные финикийцами и греками. Эти народы, как везде и всегда, ненавидели друг друга. Естественно, финикийцы поддерживали карфагенян, а греки — римлян. Одной из древних эллинских колоний был город Закинф, или Сагунт. С Римом его связывал союз дружбы. Закинфяне с ужасом глядели на усиление своих заклятых врагов пунийцев. Они слали в Рим посольство за посольством, умоляя внять их предостережениям и осознать наконец, какая страшная опасность угрожает и их городу, и Риму. Напрасно. Римляне не хотели войны и не обращали

внимания на просьбы закинфян. Но наконец даже они не могли более оставаться безучастными и послали к Ганнибалу послов с просьбой не тревожить Сагунт. Из этих переговоров, разумеется, ровно ничего не вышло. Ганнибал «был исполнен в то время безумного, порывистого гнева» (*Полибий*). Он встретил римлян так, что те поспешили уехать. Они отплыли в Карфаген, видимо считая, что карфагенский Совет обуздает дерзкого Ганнибала. А тот между тем осадил и взял Сагунт. Почти все жители были вырезаны*, город был сметен с лица земли.

Тогда в Карфаген было отправлено последнее посольство. Оно потребовало от Карфагена выдать Ганнибала. Карфагеняне ответили решительным отказом. Говорили они горячо и долго. Фабий, глава посольства, ничего им не ответил. Он лишь указал на свою тогу и сказал, что принес в ее складках войну или мир и вытряхнет сейчас то, что выберут карфагеняне, в ответ карфагеняне закричали, чтобы он вытряхнул, что хочет. «Войну», — сказал римлянин. А те ответили: «Принимаем!»

Так началась эта великая война (*Polyb., III, 8, 8; 13; 15; 17; 20; 33, 1—4; Liv., XXI, 12—18*).

* По словам Аппиана, все поголовно (*App. Lib., 278*).

Глава вторая

ГАННИБАЛОВА ВОЙНА

Dirus per urbis Afer ut Italas
ceu flamma per taedas vel Eurus
*per siculas equitavit undas**.*

Hor. Carm, IV, 4, 42—44

Римляне, конечно, знали, что война им предстоит нелегкая. Но они и подозревать не могли, что их ожидало на деле. Одного консула — Публия Корнелия Сципиона они послали в Испанию против Ганнибала, другого — Тиберия Семпрония Лонга — в Африку, чтобы он блокировал самый Карфаген. Но ничему из этого не суждено было сбыться.

План войны уже готов был в уме Ганнибала. Но прежде он хотел обратиться к богам и отправился в Гадес. Этот город на острове за Столпами Геракла основан был финикийцами еще в глубокой древности. Здесь находился знаменитейший храм Мелькарта, куда стекались паломники со всего финикийского мира. Здесь, по преданию, протекали страсти Мелькарта, здесь была его могила, здесь он воскрес (*Nonn., XL, 358; Sall. Iug., 18, 3; Mela, 46*)**. Бритые босые жрецы в белых льняных хитонах поддерживали в храме вечный огонь (*Sil. It., III, 23—28*). Золотом и изумрудами блестел храм внутри (*Phil. Apoll., V, 5*). Ведь в этот финикийский Иерусалим текли сокровища со всего мира. Тут и разыгрывались дикие и страшные мистерии, о которых чужестранцы могли только догадываться, ибо на это время все они изгонялись из города (*Paus., IX, 4, 6*). При храме жили пророки и ясновидцы. Это были оборванные факиры и дервиши, вроде тех, с кем плясал Саул, за что его и осмеивал народ израильский.

Ганнибал выслушал их пророчества (*Liv., XXI, 21, 9*). Возможно, он остался на ночь в храме и здесь его посетил вещий сон. Снилось ему, что он в совете богов. Верховный бог

---

* Жестокий Африканец несся по италийским городам, как пламя по сухому сосняку или вихрь по сицилийским волнам (Гораций).

** *Циркин Ю. Б.* Финикийская культура в Испании. С. 77.

приказывает ему идти на Италию и дает в провожатые какого-то бога (вероятно, Мелькарта, который, по финикийским преданиям, первый пересек Альпы). Таинственный проводник велел Ганнибалу не оборачиваться и повел его вперед. Но чем дальше, тем больше терзало его любопытство. Наконец он не выдержал и обернулся... За ним ползло исполинское чудовище, обвитое змеями. Оно медленно двигалось за ним, уничтожая на своем пути все: деревья, кусты, строения. Ганнибал ужаснулся и воскликнул: «Кто это?» «Опустошение Италии, — отвечал проводник и прибавил: — Иди вперед и более не оглядывайся» (*Cic., Div., I, 49*)[4].

Ободренный этим сном, Ганнибал двинулся прямо на Италию. Но не морем, как можно было ожидать. Вместо того он отправился к Альпам. Эти ледяные кручи казались современникам неприступными. Взойти на них было деянием бога, не человека. Но образ Мелькарта, из храма которого он только что вышел, Мелькарта, который сам некогда перешел Альпы, а теперь предвещал ему удачу, этот образ вселял в вождя и его войско надежду. Все истории Ганнибала, написанные его современниками, полны были рассказов об этом сказочном походе, о ледяных пустынях, о головокружительной крутизне, об отвесных скалах.

Люди и животные гибли сотнями, скользили и летели в бездну. И только железная воля и неумолимая решимость одного человека вели вперед войско. И ему казалось, что он неизменно видит впереди того же божественного проводника, и он шел за ним[5]. Когда измученные, усталые люди достигли перевала, далеко внизу под собой они увидели Италию. Благодатная страна с зелеными лесами и пышными виноградниками, которой вскоре предстояло быть истерзанной и выжженной, расстилалась под их ногами. Вид ее ласкал их взор и им казалось, что она уже принадлежит им (*Polyb., III, 54, 2—3; Liv., XXI, 35*). И вот наконец обессиленные, потерявшие две трети войска пунийцы сошли в долину Пада.

А консул Сципион, достигнув границ Иберии, узнал, что Ганнибала уже здесь нет. Он не поверил своим ушам. Ясно было, что Ганнибал задумал вторгнуться в Италию через Альпы. Консулу ничего не оставалось, как спешно отправиться на родину (*Polyb., III, 49, 1—5*). В долине Пада он столкнулся с Ганнибалом. Консул ужаснулся: он был уверен, что Ганнибал не вернется живым, и теперь смотрел на него как на выходца из царства мертвых (*Polyb., III, 61, 5*).

Оба торопились дать битву: Ганнибал жаждал генерального сражения, которое положило бы Италию к его ногам; консул же был уверен, что ослабевшие, измученные перехо-

дом воины без труда будут разбиты отборными римскими силами. Перед битвой оба вождя старались, как умели, воодушевить свои войска. Римлянин говорил спокойно и рассудительно; напоминал о былых победах Рима над Карфагеном, указывал, что перед ними горстка обессиленных, ни к чему не годных после мучительной дороги людей. Ганнибал прибег к гораздо более картинному способу.

Во время стычек с галльскими племенами он захватил много пленных. Отобрав из них наиболее юных и сильных, он принялся их старательно мучить: морил их голодом, надевал непомерно тяжелые оковы, жестоко избивал и вообще подвергал таким страданиям, что даже его воины, отнюдь не склонные к чувствительности, под конец стали жалеть несчастных. И вот теперь он вывел их на середину перед войсками, сложив перед ними великолепное вооружение и поставив рядом прекрасных коней. Оборотясь к пленным юношам, он спросил, не найдется ли среди них двух смельчаков, которые сейчас на глазах всего войска вступят между собой в единоборство. Победитель получит в награду все это — он указал на коней и оружие — и свободу, побежденный — смерть как избавление от ежедневных мук. И все как один выступили вперед. Бросили жребий. И вот на импровизированную арену вышли двое счастливцев, а товарищи их плакали от зависти к ним и жалости к себе. И когда один пал, они одинаково славили и победителя, и мертвеца у его ног. И все воины, столпившиеся вокруг, начали жалеть оставшихся в живых, а мертвого называли счастливцем.

И тогда Ганнибал обратился к ним. Нам, сказал он, предстоит такое же состязание, мы должны победить или умереть, и наградой нам будут не лошади и плащи, а все богатства Рима и величайшее блаженство, о котором только могут мечтать люди. На родину нам возврата нет — нас разделяют непроходимые горы и реки*. Если же мы живыми попадем в руки врага, нас ждет участь этих вот пленных, которые считают смерть избавлением бед (*Polyb., III, 62—64*)**.

Враги сошлись для битвы. Это было в 218 году до н. э. у реки Тицин. Ганнибал наголову разбил римлян. Сам консул

---

* Интересно, что здесь под родиной Ганнибал, несомненно, понимал Иберию, а не Африку.

** Ганнибал поощрял своих воинов поистине с чисто восточным символизмом. Так же Кир, чтобы убедить персов восстать против мидян, заставил их один день работать, а другой пировать, а потом спросил, какой день им нравится больше, прибавив, что, если они победят, все дни у них будут такими. Так же Исайя закапывал пояс, чтобы показать, что будет с Израилем.

был тяжело ранен и спасся только благодаря мужеству своего сына. Римляне поспешно отступили за Пад. Рана консула оказалась не опасной, но тяжелой. Он не мог вставать и руководить военными действиями. Между тем находились они в Галлии, население которой ненавидело римлян после недавних войн. Воспользовавшись случаем, они перешли к Ганнибалу. В этот тяжелый момент в лагерь к Публию явился коллега.

Второй консул, Тиберий Семпроний Лонг, должен был высадиться в Африке и осадить самый Карфаген. Но события развертывались так быстро, что римляне просто не успевали опомниться. «Только что затихли разговоры о последней новости взятия Закинфа карфагенянами, едва римляне приняли соответствующее решение и послали одного из консулов в Ливию... а другого в Иберию... как пришло известие, что Ганнибал уже в Италии». «Смущенные неожиданностью событий», римляне немедленно отозвали Тиберия. Разумеется, до Африки он не доехал. Его застали в Сицилии (*Polyb., III, 61, 8—9*). Едва римляне осознали, что враг в Италии, им сообщили о поражении консула Сципиона. Впрочем, он дал известие о битве с неопределенным результатом. В городе поняли, что это поражение, но не слишком серьезное.

Римляне очень удивились, но не испугались. Им казалось, что всему виной ошибки полководца и измена галлов. Когда же вернулся Тиберий и они увидели грозные легионы, они и вовсе успокоились, уверенные, что один вид их решит исход сражения (*Polyb., III, 68, 9—12*). И сам Тиберий горел желанием вступить в бой. В душе он сваливал вину за поражение на коллегу и не сомневался, что уж он-то победит. Кроме того, приближалась зима — время вступления в должность новых консулов. Тиберий боялся, что им пришлют преемников, а они так и не совершат ничего славного.

Своего коллегу он застал все еще больным — тот не вставал с постели — и настроенным совершенно иначе. Публий понял, что Ганнибала не разбить ни ему, ни Семпронию. Но он пришел к мысли, что время — союзник римлянам, а не карфагенянам; что армия Ганнибала будет постепенно таять. Он говорил, что лучше переждать зиму: галлы непостоянны, они опять переметнутся к римлянам, а легионеры в это время будут непрерывно тренироваться. Ибо Сципион уже понял, что далеко его воинам до закаленных жестокими боями солдат пунийца. Но Тиберий этого не понял или не хотел понять. И он выступил против карфагенян.

Ганнибал с радостью пошел навстречу Тиберию, ибо он «разделял взгляды Публия на тогдашнее положение дел», за-

мечает Полибий (*Polyb., III, 70, 9*). Римлян ждало новое тяжкое поражение. Это было у Требии. Теперь римляне ясно увидели, что им угрожает смертельная опасность. Вся Цизальпинская Галлия была уже в руках врага. Их объял страх, и, как часто бывает во время паники, они ухватились за самое безумное средство спасения. Консулом был выбран Гай Фламиний.

Фламиний был человеком из низов. Он принадлежал к типу дерзких и мятежных трибунов, делавших себе карьеру на том, что поносили знать. Он провел очень популярный закон о переделе земли, согласно которому у галлов отнималась земля и раздавалась римским плебеям. Этому-то закону римляне и были обязаны той ненавистью, которой кипели к ним галлы. При всем этом у Фламиния не было ни знаний, ни опыта в военном деле. Он командовал войсками только раз, пять лет тому назад. И это имело самое роковое влияние на его дальнейшую судьбу. Дело в том, что план его был неправилен, поведение безрассудно, но битва была выиграна благодаря одной только доблести войск (*Polyb., II, 33, 7—9*). Но эта случайная победа вселила в честолюбивое сердце удачливого демагога гордость и самоуверенность. Он славился своей решительностью и теперь всюду говорил, что нечего много раздумывать, надо действовать. Это понравилось народу. И он вручил Фламинию власть.

Сенат всегда не терпел дерзкого выскочку (*Liv., XXI, 63, 2—3*). Теперь отцы решили сделать все, чтобы не выпустить его из Рима к войскам, предчувствуя, что он наделает каких-нибудь непоправимых бед. Они объявили, что он может считаться консулом только после того, как совершит ряд религиозных церемоний. Фламиний прикинул, сколько времени это займет, и понял все коварство отцов — они задумали задержать его в Риме на все время его консулата. Но он решил, что не даст себя провести. В следующую ночь консул исчез из города. Оказалось, что он бежал к войскам. Сенаторы были вне себя от возмущения. Они послали ему письмо с требованием немедленно вернуться. Фламиний наотрез отказался (*Liv., XXI, 63*).

Тем временем Ганнибал делал все, чтобы поднять против римлян италиков. Он официально провозгласил, что пришел принести союзникам свободу. Он надеялся, вероятно, что произойдет то же, что было в Африке во время высадки Регула и Агафокла, когда подданные Карфагена переходили на сторону врага. Но пока союзники были верны Риму.

В те дни пуниец поражал всех своей удивительной хитростью и изобретательностью. Находясь среди разноплеменного

мятежного войска, он постоянно должен был опасаться за свою жизнь. И вот Ганнибал каждый день настолько менял свой облик, что становился неузнаваем. С помощью париков и искусного грима он появлялся в лагере то в виде юноши, то в виде старика, то казался галлом, то финикийцем, то ибером. Так он мог, не опасаясь за свою жизнь, расхаживать по лагерю неузнанным, подходить к той или иной группе воинов и подслушивать, о чем они говорят (*Polyb., III, 78, 1—5*). Но время шло, и войско стало проявлять недовольство. Тогда Ганнибал решил сняться с лагеря и идти в Этрурию, славившуюся богатством и плодородием.

Начиная какое-либо предприятие, Ганнибал стремился как можно лучше представить противника, с которым он будет иметь дело. Он рад был, что столкнулся с легкомысленным и тщеславным Семпронием. Теперь он собирал сведения о новом консуле. Его шпионы были повсюду, даже в самом Риме. Он узнал все, что ему было нужно. Он понял, что Фламиний боится насмешек толпы, полон уязвленного самолюбия, так как испытал на себе презрение знати, и, конечно, в тщеславии своем он не будет ждать коллегу. Все это предрешило образ действий пунийца (*Polyb., III, 80, 3—5*).

Фламиний расположился лагерем у Арреция и преградил Ганнибалу единственную дорогу в Этрурию. Он спокойно стоял и поджидал карфагенян. И вдруг ему сообщают, что Ганнибал уже в Этрурии! Фламиний не поверил своим ушам. Ганнибал узнал, что есть в Этрурию еще один путь, только он считается непроходимым, — это путь через Тразименские болота. И он пошел туда. Этот переход по мучительности мог поспорить с Альпами. Тразимены страшны были не только трясиной, но и ядовитыми испарениями. Люди шли непрерывно, не останавливаясь, в течение четырех дней и трех ночей. Бессонница и отрава их изнурили. Галлы не могли уже идти. Карфагеняне гнали их вперед копьями, как скот. Но наконец они без сил падали рядом с издыхающими лошадьми и уже не поднимались. Животные гибли массами. Некоторых убивали сами воины, чтобы хоть немного посидеть на их трупах. Все слоны погибли. Остался только один, на котором ехал Ганнибал. Это спасло его. Но ядовитый воздух болот настиг и полководца — у него началась тяжелая болезнь глаз. К концу перехода Ганнибал потерял один глаз (*Polyb., III, 80; Liv., XXII, 11*).

Выйдя из болот, Ганнибал двинулся прямо на Рим, словно не обращая на консула ни малейшего внимания. Фламиний тотчас же пришел в слепую ярость; ему казалось, что Ганнибал его презирает, в глаза над ним смеется. И он сло-

мя голову кинулся за ним. Напрасно люди более опытные и разумные пытались его удержать, уговаривая остановиться на минуту и подумать. Он даже недослушал и, закричав: «Нужно думать только о том, что станут говорить о нас дома!» — устремился вперед. С собой он захватил только обоз с цепями и кандалами, в которые он намеревался после битвы заковать воинов Ганнибала (*Polyb., III, 82, 1—9*). В таких обстоятельствах Ганнибал сам мог избрать место для сражения. Самой удобной для себя он счел равнину возле Тразименского озера.

Трудно представить себе что-нибудь ужаснее и печальнее этой роковой битвы. Римляне находились в облаке густого тумана, они не были построены, плана у предводителя не было никакого. Только по крикам врага они поняли, что окружены. Никто даже не понимал, что происходит. Войско словно выдано было врагу на избиение безрассудным военачальником, говорит Полибий. Рассказывают, хотя это может быть и легенда, что в то время происходило землетрясение, а противники его даже не заметили (*Plut. Fab., 3; Cic. Div., 1, 35*).

Римлян было убито около пятнадцати тысяч, причем они не могли ни вступить в переговоры, ни защититься и по привычке думали только о том, чтобы не бежать и не покидать своего места в строю. Многие погибли, кинувшись в озеро, где они частью потонули, частью были добиты карфагенянами. Все было у римлян настолько бестолково, что шесть тысяч одержали победу на своем участке, но не знали, что им делать. Они отступили, заняли какой-то холм и сдались под честное слово Магону, брату Ганнибала, который обещал сохранить им жизнь и свободу. Но клятва эта, по выражению Ливия, была исполнена с чисто пунийской верностью: их тотчас же заковали в цепи. Всего в плен попало около десяти тысяч (*Polyb., III, 84; Liv., XXII, 3—7*).

Ганнибал долго искал среди трупов тело консула, чтобы похоронить его. Но хотя Фламиний и был убит, тела его нигде не нашли. Вождь карфагенян был очень доволен. Теперь он не сомневался в победе (*Polyb., III, 85, 6*). А в Риме народ пребывал между надеждой и сомнением. Неужели опять придет весть о сомнительных результатах, как при Тицине и Требии? И вот на трибуну вышел претор и сказал: «Римляне, мы разбиты в большом сражении». Больше он ничего не добавил. Но страшные слухи о битве с быстротой молнии распространились среди квиритов. Город окутало черное облако скорби. Римляне, говорит Полибий, не знали, что такое поражение, поэтому они горевали без меры (*Polyb., III, 85, 9*).

И вот тогда-то, в эти дни мрака, решено было выбрать диктатора, то есть чрезвычайного магистрата, который пользуется неограниченной властью не более полугода. Выбор пал на Квинта Фабия Максима.

Ему было уже за 70 лет, когда на него возложили спасение отечества. Он был подобен толстовскому Кутузову — мудр, вернее, умудрен старостью. Впрочем, еще в детстве его за спокойствие и неторопливость прозвали Овикула — Овечка (*Plut. Fab., 1*). «Спокойный, молчаливый, он был чрезвычайно умерен и осторожен в удовольствиях, свойственных детскому возрасту, медленно и с большим трудом усваивал то, чему его учили, легко уступал товарищам и подчинялся им и потому людям посторонним внушал подозрение в вялости и тупости, и лишь немногие угадывали в его натуре глубину, непоколебимость и величие духа — одним словом, нечто львиное» (*Plut., ibid.*). Был Фабий воплощенная разумность и осторожность, — кроме того, еще большой поклонник старины. Он не терпел модных новшеств, с неодобрением смотрел на греческие статуи и картины, которые привозили в Рим молодые полководцы (*Plut., Marcell., 21*). Именно его жизненные правила стали идеалом для Катона Старшего (*Plut., Cat. mai., 3*).

Вступив в должность, он прежде всего заявил, что причина бед, обрушившихся на римский народ, это пренебрежение к религии, которое проявил злополучный Фламиний. Посему диктатор занялся религиозными церемониями, сулил богам обильные жертвы, справился даже в Сивиллиных книгах, полных туманных пророчеств и загадок (*Liv., XXII, 9, 7—10; 10; Plut. Fab., 4*). Но старый Фабий не забывал и о делах человеческих. Тактика, которую он решил применить к Ганнибалу, весьма напоминала ту, которую применил к Наполеону Кутузов — не давать решительной битвы и отступать, изматывая врага мелкими стычками.

После Тразимен римляне ждали самого Ганнибала в городе с минуты на минуту. С удивлением они узнали, что он внезапно поворотил и увел войско на плодородный юг. Ганнибал был, видимо, удивлен не меньше. Он ждал, что римляне пошлют к нему послов просить мира. По словам Ливия, глядя с вершины Альп на расстилающуюся у его ног Италию, он сказал: «Отныне все пойдет как по ровному отлогому склону: одна, много две битвы отдадут в наши руки и в нашу власть кремль и столицу Италии» (*Liv., XXI, 35, 9*).

Между тем Ганнибал выиграл уже третью битву, а римляне все еще не признавали себя побежденными. Значит, генеральное сражение еще впереди. И он с нетерпением ждал

его. На пышных полях юга, где люди и животные отдохнули и залечили свои раны, он делал все, чтобы вызвать римлян на новую битву. Он сжигал все на своем пути, разорял деревни, но ничто не могло заставить Фабия отступить от принятого решения. Диктатор довольствовался тем, что шел по пятам за карфагенянами, избивая отставших и фуражировщиков. Несколько раз удалось Фабию поставить Ганнибала в весьма затруднительное положение. Однако судьба не дала ему в спокойствии довести свою линию до конца.

Буря недовольства поднималась против его политики. Она была позорна для римского оружия, она разоряла страну, она лишала тысячи крестьян крова и пищи. Вот почему трибуны, одни сохранявшие свободу слова при диктаторе, ежедневно на Форуме осыпали его упреками как труса, даже предателя. Ганнибал об этом узнал. Теперь он нашел средство, как убрать со своего пути полководца, мешавшего его планам. Пуниец начал вести себя так, чтобы у римлян возникло подозрение, что он в сговоре с их военачальником. Так, грабя и сжигая все на своем пути, он, однако, стороной обошел имение Фабия, словно щадя его (*Plut. Fab., 7*). Узнав об этом, трибуны были просто вне себя. Кончилось тем, что Фабия фактически лишили полномочий, во всяком случае — вещь неслыханная! — уравняли с ним в правах его начальника конницы Марка Минуция, сторонника решительных действий. К счастью, он не успел наделать больших бед. Очень скоро он попал в отчаянное положение, из которого его спас сам Фабий. Пристыженный Минуций передал ему свои полномочия. Но срок диктатуры Фабия уже подошел к концу, а народ снова кричал о необходимости решительных действий.

И без того растревоженную толпу разжигали демагоги. Во главе их стоял некий Гай Теренций Варрон, тот самый трибун, который постоянно нападал на диктатора. Патриции с отвращением рассказывали, что он сын торговца-мясника из лавочки и мальчишкой сам помогал отцу в этом «низменном, рабском, грязном занятии» (*Liv., XXII, 25, 18—19; ср. Val. Max., III, 4, 4*). Он был самонадеян и умел заискивать перед народом (*Plut. Fab., 14*). Сейчас он без устали кричал на площади, что разобьет Ганнибала, как только его увидит (*ibid.*). Вот этого-то Варрона народ избрал консулом.

Сенат был в ужасе от этого выбора. Ему казалось, что это второй Фламиний. Чтобы спасти положение, вторым консулом решили выдвинуть Люция Эмилия Павла. То был, по общему мнению, достойный и благородный человек, происходивший из древнего патрицианского рода. Но за несколь-

ко лет до начала злосчастной войны он вместе с Ливием был консулом и обоих их после блестящего триумфа ложно обвинили в утайке денег. Опозоренные судом, они удалились от дел. Но каждый вел себя по-своему. Гордый и мстительный, Ливий возненавидел римский народ и отрекся от него, а мягкий Эмилий впал в глубокое уныние. Но сейчас его честность и опытность в военном деле заставили отцов остановить свой выбор именно на нем. Запуганный судебным приговором, Эмилий с робостью слушал сенаторов. Только чувство долга перед родиной, который он считал необходимым ставить выше всего, заставило его взяться за это опасное и неблагодарное дело: обуздывать безумие товарища. Уезжая из Рима с тяжелым сердцем, он обещал Фабию сделать все, чтобы не давать боя Ганнибалу.

«Когда я думаю только о себе, Фабий, — сказал он на прощание, — то для меня вражьи копья лучше нового суда сограждан. Но коль скоро таковы нужды государства, я предпочту, руководя войском, услышать похвалу от тебя, нежели от всех прочих, навязывающих мне противоположные решения» (*Plut. Fab., 14*).

Оба консула, утонченный аристократ и бывший лавочник, вместе отправились в Апулию навстречу Ганнибалу. Варрон был настолько безумен, что настоял, чтобы они командовали поочередно — день Эмилий, день — Теренций (*Plut. Fab., 15*). Ганнибал делал все, чтобы вызвать их на бой. Сначала это ему не удавалось из-за твердости Эмилия. Варрон рвал на себе волосы, крича, что его лишают великолепного триумфа. Но долго так продолжаться не могло. Командование перешло к Варрону, и он решил дать битву.

Противники расположились у местечка Канны возле реки Ауфид. У Ганнибала было 40 тысяч пехотинцев и 10 тысяч всадников, римская армия насчитывала около восьмидесяти тысяч воинов. Но искусство полководца свело на нет все эти преимущества. Римляне опять были выданы врагу безумным военачальником. Говорят, Ганнибал, глядя на расположение войск, заметил: «Мне было бы еще удобнее, если бы он передал мне их связанными» (*Liv., XXII, 49, 4; Plut. Fab., 26*).

Войска медленно сходились. Римляне с изумлением глядели на разноплеменные ряды врагов: здесь были и огромные, обнаженные по пояс галлы с рыжими косматыми волосами, испанцы в туниках, блестевших пурпуром и золотом, и африканцы, одетые в римские доспехи, снятые с убитых (*Liv., XXII, 46, 4—6*). Никогда прежде не сходились такие огромные армии. Исход битвы был ужасен для римлян. Сражение быстро превратилось в резню. Римляне были окруже-

ны и почти целиком истреблены. Смерть настигала их и на обоих берегах реки, и в воде. Пало немногим менее семидесяти тысяч, около десяти тысяч попало в плен, спаслось же из всего огромного войска меньше трех тысяч (*Polyb., III, 117, 3*). Среди моря крови и смерти, которая глядела отовсюду, молодой патриций Гней Корнелий Лентул скакал с поля боя на коне. Вдруг он заметил окровавленного человека, неподвижно сидящего на камне. Вглядевшись, он узнал консула Эмилия. С внезапным порывом юноша воскликнул:

— Ты менее всех виноват в сегодняшнем несчастье! Возьми моего коня и беги!

Но консул отвечал, что ни живым, ни мертвым не покинет своих воинов, что не хочет вновь быть осужденным народом или пытаться оправдаться, сваливая вину на своего коллегу. Он просил передать римлянам, чтобы они укрепляли город, а Фабию, что он сделал все, чтобы избежать битвы. Но тут налетели враги и похоронили консула под тучей дротиков, а Лентула унес конь (*Liv., XXII, 49, 6—12; Plut. Fab., 16; ср. Polub., III, 116, 2*).

Кроме Эмилия пали оба консула прошлого года, «люди доблестные и в битве показавшие себя достойными сынами Рима» (*Polyb., III, 116, 11*), и Минуций, начальник конницы при диктаторе Фабии. Спасся бегством лишь консул Варрон, «человек постыдно бежавший и власть свою употребивший во вред собственной родине» (*Polyb., III, 116, 13*). Это был решительный и страшный удар. Италия дрогнула и почти вся перешла к врагу, «совершенно разочаровавшись в том, что римляне смогут восстановить свое положение» (*Orosius, 4, 16, 10; Liv., XXII, 61, 10—12; Polyb., III, 118, 2—4*). Перед лицом врага римляне остались совершенно одни. Поля были выжжены, почти все боеспособные мужчины вырезаны. Во всем мире их похоронили. Царю македонян Филиппу шепотом сообщили во время Немейских игр, что римляне сокрушены (*Polyb., V, 101, 5—10*). Магон, брат Ганнибала, поспешил в Карфаген с радостной вестью. Он доложил в Совете о полной и решительной победе и при этом сделал картинный жест. Он велел внести огромную амфору и высыпал ее содержимое на пол. К изумлению карфагенян, из сосуда посыпались золотые кольца. Золотому потоку не было конца, он покрыл весь пол огромного храма. Такие кольца, сказал тогда Магон, носят в Риме только сенаторы и всадники. Можете себе представить, сколько же пало рядовых воинов (*Liv., XXIII, 11, 7—13, 8*).

А в Риме все обезумели от ужаса. Женщины, рыдая, носились по улицам или же часами неподвижно стояли у во-

рот, ожидая вестей о мужьях, братьях, сыновьях. Сенат попробовал собраться, но отцы ничего не могли понять, ибо в ушах их звенели отчаянные стоны женщин. Страшное горе и страх нависли над городом. Ганнибала ждали с минуты на минуту. Вот тут-то и помогла выдержка Фабия. Он всех утешал, ободрял, казался прямо-таки воплощением власти и силы (*Plut. Fab., 17*). Ему удалось организовать некое подобие обороны Рима. Он запер ворота, женщинам велел сидеть дома и не тревожить народ своими воплями. А через месяц пусть они снимают траур и, как велит долг, усердно молят богов за Рим.

А Ганнибал? Где он был в эти роковые дни? Почему не пошел прямо на Рим, как предполагал Эмилий Павел, да и все римляне? Он не двигался с места, по-видимому, спокойно ожидая, когда явятся к нему римские послы с мольбой о мире. Но послов не было. Наконец он сам отправил в Рим вестника для переговоров. У ворот его встретил ликтор с приказанием немедленно покинуть территорию города (*Dio., frg. 36*). Ганнибал ошибся. Никто и не помышлял о мире. «Невзирая на понесенные в битвах тяжкие поражения, на потерю чуть не всех союзников, на то, что с минуты на минуту опасность угрожала самому существованию города, невзирая на это, сенаторы... не забыли веления долга... И Ганнибал не столько радовался победе, сколько изумлялся и унывал при виде несокрушимого мужества, какое эти люди проявили в принятом решении» (*Polyb., VI, 58, 7—13*).

Глава третья

ЮНОСТЬ СЦИПИОНА

Может, я светом явлюсь аргивянам?
Илиада, XVI, 39

Явление героя

В то время как Гамилькар Барка сражался в Иберии, лелея замыслы войны с Римом, в те дни, когда он учил сыновей вечной ненависти к Риму, в этом самом Риме родился мальчик, которому суждено было навсегда сокрушить могущество Карфагена. Его звали Публий Корнелий Сципион (родился около 235 года до н. э.)[6]. Он происходил из знатнейшего патрицианского рода. Замечательно, что далекие предки его и по отцу, и по матери были этруски[7]. Отец его был тот самый Публий Корнелий Сципион, который первым из римлян встретился с Ганнибалом и потерпел от него поражение, когда тот спустился с Альп. О матери же его, Помпонии, мы знаем лишь, что она была набожна и постоянно обнимала алтари богов, моля за Публия и его младшего брата Люция[8]. Больше ни братьев, ни сестер у Сципиона не было.

Нам ничего не известно о детстве Публия. Достоверно лишь, что жили его родители небогато. Дом их стоял близ Форума на Тусской улице за Старыми Лавками. Едва Сципион успел снять детскую тогу — торжественный обряд этот совершается в 16 лет, — как началась Ганнибалова война. Вместе с отцом он участвовал в битве при Тицине. «В то время Публию шел семнадцатый год от роду, и он впервые явился на поле сражения» (*Polyb., X, 3, 4*). Консул дал ему для охраны отряд конницы. Битва, как мы помним, была несчастлива для римлян. Самому консулу угрожала смертельная опасность. Вот как рассказывал об этом Полибию лучший друг Сципиона, Гай Лелий: «Публий во время сражения увидел, что на отца его напали два или три неприятельских всадника; первым решением его было послать свой отряд на помощь отцу; но, устрашенные многочисленностью непри-

ятеля, воины его некоторое время медлили, и он... один с изумительной отвагой понесся на врагов, окруживших его отца. Тогда должны были броситься в битву и прочие воины; неприятели в ужасе бежали, а чудесно спасенный Публий (имеется в виду консул. — *Т. Б.)* тут же в присутствии всех назвал сына своим спасителем» (*Polyb., X, 3, 4—6*). То были не просто горячие слова благодарности и восхищения. За ними крылось обещание необычайных почестей.

Тот, кто на поле боя спас гражданина, удостаивался самой большой чести, о которой только мог мечтать римлянин. Его увенчивали дубовым венком, высшей наградой воина. Где бы ни появился человек в таком венке, перед ним почтительно вставали знатнейшие сенаторы. Ему предоставлены были первые места на всех зрелищах. Он свободен был от общественных повинностей, и его окружало всеобщее благоговейное уважение (*Plin. N. H., XVI, 1—14*). А «спасенный всю жизнь чтит своего спасителя, как отца, и обязан угождать ему во всем, как родителю» (*Polyb., VI, 39, 6*). Многие стремились к подобной чести, но немногие ее получали; ибо тут бесполезно было привлекать свидетелей. Нужно было только одно: чтобы спасенный объявил тебя своим спасителем (*Plin., ibid.*). Между тем консул Сципион во всеуслышание назвал сына своим спасителем и посулил ему венок «двойной славы, ибо дал ему его император* и вместе отец, которого он вырвал у самой смерти» (*Val. Max., V, 4, 2*). И тут Публий совершил один из тех странных, необъяснимых поступков, которые так поражали его современников — «он не захотел принять венок от отца» (*Plin. N. H., XVI, 14*). Многие разумные люди не захотели верить подобной нелепости: чтобы человек добровольно отказался от награды. Если консулу угрожала смертельная опасность, говорили они, и если нашелся герой, который кинулся в самый ад и избавил его от гибели, то это конечно же был какой-нибудь раб, а его, естественно, никак не могли наградить дубовым венком. До Сципиона несомненно доходили подобные слухи, но он, по-видимому, считал ниже своего достоинства что-нибудь отрицать и доказывать. Поэтому и по сей день историки недоумевают, кто спас консула: сын или раб[9].

Хотя в первой же битве Публий показал себя героем, но грустно, очень грустно началось для него знакомство с войной. Сразу же после выздоровления отец его простился с семьей: он спешил в Иберию, чтобы вместе с братом Гнеем охранять

---

* Император — победоносный римский полководец. Здесь имеется в виду просто командующий армией.

проходы в Италию от пунийцев. Больше Публию не суждено было его увидеть. Дальше шло все хуже и хуже. Поражения следовали за поражениями. И вот наконец роковые Канны. Под чьими знаменами сражался Публий после Тицина — неизвестно. По его словам, он лично присутствовал при самых страшных поражениях римлян (*Liv., XXVI, 41, 11*). Но о Каннах мы имеем точные сведения. В этой битве Сципион командовал II легионом (*Liv., XXII, 53, 2*). В то время ему было около девятнадцати лет.

Жалкие остатки римской армии в беспорядке бежали. На другой день на рассвете Ганнибал объезжал поле сражения. Он был поражен открывшейся картиной: вся огромная равнина, сколько хватало глаз, была завалена трупами. Вперемешку лежали конные и пешие. Порой из груды мертвых тел со стоном приподнимался какой-нибудь раненый, которого привел в себя утренний холод. Враги прикалывали его. Некоторые были еще живы, но не могли пошевелиться — у них перебиты были голени или бедра — и, обнажив шею, они знаками умоляли прикончить их. Другие лежали скорчившись, уткнувшись в землю: они вырыли ногтями в земле ямки и задыхались, зарывшись туда лицом (*Liv., XXII, 51, 5*).

Все повторяли тогда пророчество одного этрусского гадателя: «Потомок троянцев, избегай реки Канны; пусть иноземцы не принудят тебя вступить в бой на Диомедовой равнине*. Но ты не поверишь мне, пока не напоишь эту долину своею кровью и пока река не унесет с плодоносной земли в открытое море много тысяч трупов твоих сограждан. Твое мясо будет служить пищей рыбам, птицам и диким зверям, которые населяют земли. Так сказал Юпитер» (*Liv., XXV, 12*).

Уцелевшие беглецы собрались в Канузии. Из всех офицеров осталось в живых только четверо: Квинт Фабий Максим, сын Кунктатора, Публиций Бибул, Аппий Клавдий Пульхр и Публий Сципион. Этим двум последним войска передали командование. Так впервые Публий стал во главе армии (*Liv., XXII, 53, 1—4*). Положение казалось отчаянным. Измученные, израненные, они не имели ни денег, ни снаряжения. Всех охватило какое-то чувство безнадежности. Работа валилась из рук.

Рассказывают, что Публий поднял дух сломленного несчастьями войска, пробудил в нем бодрость и мужество[10]. Жители Канузии стали даже чеканить монеты с изображением

* Возле Канн был город, основанный, по преданию, Диомедом.

юного героя. Вскоре Публию удалось отыскать консула Варрона. Оказалось, что он жив и сейчас в Венузии. Римские офицеры послали сказать Варрону, где они, и спрашивали, что им делать. Варрон прибыл к ним сам. Куда девалась прежняя его самоуверенность! Это был обессиленный, сломленный отчаянием человек. Он пал духом настолько, что рыдал перед послами из Капуи, умоляя их спасти Рим. Капуанцы, решив, что римляне совершенно уничтожены, перешли тогда к Ганнибалу. Варрон не способен был ровно ничего предпринять. Оставив военачальником по-прежнему Публия, он уехал в Рим. Сенат встретил этого жалкого человека с гораздо большим почетом, чем когда-то провожал. Ни слова упрека не было сказано. Отцы поблагодарили его за то, что он остался жить, а значит, не потерял надежды на спасение отечества. Ибо многие тогда полностью отчаялись в будущем. Только Публий вселял во всех радостную уверенность в победе.

«Так, военная карьера Сципиона началась при противоречивых обстоятельствах: его собственная смелость засияла ярко, но он видел Ганнибала дважды победителем... Велика должна была быть вера в себя у этого юноши, если даже в тот момент он мог верить, что в будущем он никогда не будет возвращаться с поля боя иначе как победителем»*.

* * *

Канны не были концом войны, как надеялся Ганнибал, но переломным моментом. С этого времени Ганнибал оставил надежду решить все в одной битве, а римляне — когда-нибудь разбить пунийца на поле боя. Теперь он шел по Италии, опустошая села и города. Каждый город задерживал его на месяцы и тем изматывал его силы. Зато страна была истерзана совершенно. Ганнибал превратил в пустыню 400 цветущих городов. Тысячи людей без крова и пищи скитались по стране. Многие из них образовывали партизанские отряды, во главе которых становились какие-нибудь отчаянные центурионы. Некоторые из них довольно долго тревожили Ганнибала, пока их вожаки не складывали где-нибудь свои головы. Тогда и войско рассеивалось.

И все же шаг за шагом, медленно, с невероятным трудом римляне оттесняли врага все дальше на юг. В 212 году до н. э. пали Сиракузы, а в 211-м — Капуя, — два могучих союзника Ганнибала. «Римляне, много раз побежденные кар-

---

* *Scullard H. H.* Scipio Africanus: Soldier and Politician. Bristol, 1970. P. 30.

фагенянами и теперь не дерзавшие стать лицом к лицу против них, тем не менее, отказывались склониться перед неприятелем и покинуть поле битвы» (*Polyb., IX, 3, 6*). Они следовали за врагом издали и старательно избегали открытой борьбы (*Polyb., IX, 3, 8*). И несмотря на то, что национальная гордость заставляет Ливия превращать некоторые стычки в великие победы, по словам более трезвого Полибия, они ни разу не победили Ганнибала (*Polyb., frg. 23*). Все защитники Италии гибли один за другим: Марцелл, Гракх, Аппий Клавдий.

Так из года в год тянулась мучительная война.

Молодой повеса

Но что же делал все это время Публий Сципион?

Имя его исчезает со страниц исторических хроник на целых четыре года. Снова встречаем мы его в 212 году до н. э. Он собирается стать эдилом. В то время Публию исполнилось двадцать три года. Это был блестящий юноша, приковывающий к себе все взоры. Это неудивительно. Даже во времена Цицерона, когда размеры города невероятно выросли, сыновья столь знатных родителей жили как бы у всех на виду. Тем более в то время в этой маленькой общине, которой был тогда Рим. Их видели на Форуме, в Курии, в войсках, во время торжественных религиозных церемоний. А Публий участвовал в одной из самых пышных и красивых. 1 марта, в первый день римского года, 12 самых красивых и знатных юношей Рима, «взявши священные щиты, облекшись в короткий пурпурный хитон, с широким медным поясом на бедрах и медным шлемом на голове, звонко ударяя в щит мечом», с песней и пляской обходили город Рим (*Plut. Num., 13*)* [11]. Почему салии, так назывались юноши, пляшут и поют с наступлением весны, на этот счет у римлян существует священное предание.

Во время одного грозного бедствия царь Нума взмолился к богам, воздев руки к небу. И вдруг с небес в его руки упал какой-то странной формы щит и чудесный голос возвестил, что Рим будет невредим, пока цел божественный щит. Тогда царь по совету нимфы Эгерии и муз сделал 11 медных щитов, совершенно подобных небесному, дабы ни один вор не мог узнать настоящего, и поручил их заботе

* По Дионисию, у них в руке не меч, а копье, а на голове не шлем, а коническая шапка (*Dionys. Ar., II, 70*).

двенадцати жрецов-салиев (*Plut., ibid.*). Праздник салиев длился весь март месяц[12] и состоял из великолепной пляски. Она производила сильное впечатление на окружающих. Лукиан с восхищением говорит о «торжественном и священном танце, который знатнейшие из римлян исполняют в честь воинственного бога Марса» (*Περι ὀρχ., 20*). «Вся пляска состоит из прыжков, и главное в ней — движения ног; танцоры выполняют изящные вращения, быстрые и частые повороты, обнаруживая столько же легкости, сколько силы», — сообщает другой грек (*Plut. Num., 13*). Проплясав весь день с восхода до заката, салии с наступлением тьмы пировали. Буйное неистовство пляски этих знатных юношей и их роскошные пиры вошли в Риме в поговорку*.

Повторяю, не было ничего удивительного, что такой знатный юноша, как Публий, был известен всему Риму. Кроме того, он жил так, что привлекал всеобщее внимание, возбуждал тысячи толков и слухов, так что одни произносили его имя с восхищением, другие почти что с ненавистью. С тех пор как Публий и Гней Сципионы, отец и дядя нашего героя, уехали в Иберию, их семьи совершенно осиротели. У них не было ни опекунов, ни покровителей. Это ясно из одного случая. Гней попросил у сената разрешения ненадолго вернуться в Рим, чтобы выдать замуж дочь, так как иначе, лишенная друзей и близких, она остается старой девой. Сенат не позволил этого, но обещал заменить пока девушке отца — выдать ее замуж и дать приданого (*Val. Max, IV, 4, 10*). Вот какими одинокими и беспомощными чувствовали себя семьи обоих Сципионов.

Поэтому и жизнь Публия складывалась не так, как у его сверстников. С восемнадцати лет он чувствовал себя главой семьи и с этого времени до самого конца он нежно опекал своего младшего брата Люция и всюду возил его с собой. Сам же Публий был полностью предоставлен самому себе. Его сверстники, по выражению Плавта, шагу боялись ступить без наставника (*Bacch., 420—421*). Отцы вводили их в сенат, отцы брали их в свою палатку на войне, отцы говорили им, какой магистратуры добиваться, когда и на ком жениться. А Публий все решал сам. Он был волен, как ветер.

Свобода вскоре дала себя чувствовать. Сципион приобрел славу отчаянного повесы. Надо сказать, что жизнь в Риме в

---

* *Hor. Carm., I, 37, 2—4; I, 36, 12; IV, 1, 28; Catul., 17, 6; Cic. Att., V, 9, 1; Fest. P. 329.* «Плясать, как салии» означало «плясать, как сумасшедшие».

то время была чопорной и суровой. Римляне были настоящие рабы этикета и светских приличий. И никакие английские лорды не могли быть так надменны и благопристойны. Малейшее нарушение «декорума» вызывало у римлян старого поколения глубокое возмущение. Так, по улице полагалось двигаться чинно и неторопливо, в тоге, спадающей величественными складками, причем она не должна была быть ни слишком широкой, ни чересчур узкой. Волосы полагалось коротко остригать, а на ногах носить определенного цвета башмаки. Нарушение этих правил казалось не просто неприличием, это почти граничило с преступлением. Появление Верреса на улице в необычной одежде и обуви Цицерон ставит на одну доску со страшнейшими грабежами и убийствами (*Verr., V, 137*). Ясно, что не только внешность, но и все поведение гражданина должно было отвечать идеалам благопристойности. За неумеренные траты, поздние пирушки и пристрастие к любовным приключениям римляне отвечали перед цензором. И когда этот страж общественных нравов возвращался домой, граждане тушили свет, дабы он не подумал, что они проводят время за вином и веселыми беседами (*Plut. Ti. Gracch., 14*).

Что же должны были отцы города думать о юноше, который открыто пренебрегал всеми приличиями? Публий Сципион приобрел в Риме славу какого-то принца Гарри, героя веселых любовных приключений и беспутного расточителя. Он был необыкновенно хорош собой (*Liv., XXVIII, 35*)[13]. «Самыми красивыми и привлекательными, — сообщает Элиан, — были, говорят, среди греков Алкивиад, а у римлян Сципион» (*Var., XII, 14*). Вопреки всем обычаям он носил длинные кудри, которые ему очень шли и резко отличали его от других римлян (*Liv., XXVIII, 35*). Он был законодателем мод среди молодежи. Подражая ему, юноши стали носить перстни с геммами на греческий лад (*Plin. N. H., XXXVII, 85*). Он всегда любил веселье и вел себя, по словам одного современника, «как устроитель празднества» (*Plut. Cat mai., 3*), был необыкновенно щедр (*Polyb., X, 5, 6*) и широко сорил деньгами (*Plut. ibid.*). Даже друзья не могли не сознаться, что он, пожалуй, чересчур влюбчив*. Дошло до того, что Гней Невий, ядовитый и дерзкий поэт, сочинил о нем веселые стишки — вещь в Риме неслыханная! Публий представлен у него ветреным повесой, вроде легкомысленных героев гре-

* Полибий называет его φιλογυνης, то есть «любящий женщин» (*Polyb., X, 18, 3*), и говорит, что эта слабость его была хорошо известна воинам. Ср. *Val. Max., VI, 7, 1.*

ческих комедий. Между прочим, там говорилось, что, хотя он и герой и подвиги его у всех на устах, «его отец в одном плаще вывел от подружки» (*Gell., VI, 8*).

Может быть, в Риме было немало молодых людей, любивших повеселиться не меньше Публия, хотя и без его блеска. Но они были достаточно благоразумны и лицемерны, чтобы уметь скрыть свои грехи. Но Сципион был слишком горд, чтобы унизиться до притворства. Вот еще один недостаток, который постоянно ставят ему в вину. Он ненавидел всякие оковы и всякое принуждение и, по выражению Катулла, хотел жить и любить, а ропот угрюмых стариков ценил в один медный грош. И люди солидные качали головами и сурово осуждали его образ жизни (*Gell., VI, 8*). «Присущая ему доблесть явила себя людям во всех отношениях действенно, — пишет один автор, — но, как передают, в годы первой юности он вел жизнь беспутную, от обвинений же в роскоши он очистил свою юность пунийскими трофеями» (*Val. Max., VI, 8, 8*). Вот почему о нем можно сказать то, что Мериме говорит о юном лорде Байроне: «В молодости брошенный в мир без руководства и увлекаемый своим огненным темпераментом, он неумеренно предался удовольствиям... А эксцентричная гордость побуждала его щеголять тем, что другие, более лицемерные и более осторожные, старались скрыть от посторонних глаз... К этому времени относится начало той ненависти, которой воспылало к нему английское светское общество, и травли, которая умерла только с его смертью»*.

Такое же глухое, скрытое недоброжелательство окружало и молодого Публия Сципиона. Быть может, вначале люди благоразумные и пытались его образумить. Но вскоре они поняли всю тщету своих речей. Не то чтобы Публий был юношей дерзким и грубым, — напротив, он был мягок и ласков в обращении и не было в Риме человека более светского и любезного, чем он. Но нотации ему было читать совершенно бесполезно. Он не только не слушал советов, но даже не удостаивал говорившего ответом. Он считал ниже своего достоинства давать хоть какие-нибудь объяснения. «Я не обязан ни перед кем отчетом», — сказал он впоследствии. К своим врагам и хулителям он относился всегда со снисходительным презрением, не удостаивая их открытой вражды. Это еще усиливало их негодование. Гордость Публия Сципиона стала прямо-таки притчей во языцех.

Но очень ошибется тот, кто подумает, что Сципиона окружала с юности одна только ненависть. Напротив, не было

---

* *Мериме П.* Байрон.

другого такого человека в Риме, которого сопровождала бы такая восторженная любовь, поклонение, доходившее прямо-таки до обожания. Приветливость, щедрость и ласковость вскоре сделали его кумиром простонародья (*Polyb., X, 5, 6*). Необыкновенный такт, обаяние, гордое изящество манер покоряли всех (*Polyb., XI, 24a, 4; Liv., XXVIII, 17, etc.*). Все говорят о какой-то неотразимой привлекательности, свойственной этому человеку. Не было никого из римлян или иноземцев, кого Публий Сципион не мог очаровать при желании. Дикие иберы и нумидийцы, цивилизованные греки и эллинистические монархи, даже сам страшный Ганнибал, даже его враги в сенате не могли устоять против его волшебных чар. Где бы он ни появлялся, народ встречал его бурей радости (*Polyb., X, 5, 3*). Плебеи рады были исполнить малейшее его желание. И вообще «восторги толпы окружали этого горожанина» (*Polyb., XVI, 23, 3*).

Итак, молва часто говорила о беспечном легкомыслии и удивительной щедрости юного Публия. Но вскоре о нем пошли слухи совсем другого рода. Это были очень, очень странные слухи*. Рассказывали, что с шестнадцати лет Публий жил не только среди людей, но и в ином чудесном и прекрасном мире. Во сне и наяву он беседовал с богами: во сне они являлись ему во всем блеске, наяву же он слышал их вещие голоса. Иногда он пытался хотя бы намекнуть о виденном и слышанном друзьям, и тогда им казалось, что они слышат волшебные сказки. Чтобы беседовать с дружественными духами, Сципион всегда уходил куда-нибудь далеко. Часто глухой ночью он шел на Капитолий, входил в храм Юпитера Всеблагого и Величайшего и запирался там в святая святых совершенно один. Служители храма шепотом с суеверным ужасом передавали, что дикие собаки, которых ночью спускают на Капитолий, на него одного никогда не лают. Никто не знал, что делает в храме Публий, но народ был убежден, что он беседует с самим Юпитером, владыкой небесным. Ходила даже молва, что именно этот великий бог и есть отец Сципиона. В нем течет кровь бессмертных богов, говорили люди. В нем и правда было что-то неземное, светлое и легкое; и среди непроглядной тьмы, в которую погружена была его родина, среди всего этого моря бед он один исполнен был самых ярких надежд, самой непоколебимой уверенности в победе. Видимо, именно его разумел Варрон, когда писал: «Полезно для государства, если храб-

---

* Очень подробно об этих «слухах» мы будем говорить ниже. См. главу четвертую, «Избранник богов».

рые мужи верят — пусть даже на самом деле это и ложь, — что они произошли от богов, так как таким путем дух человеческий, получив уверенность в себе как бы от божественного древа, совершает подвиги дерзновеннее, действует пламеннее, а потому он счастлив и беззаботен (*Aug. C. D., III, 4*). Уверенность Сципиона, что он рожден на счастье Риму, захватывала всех.

Это причудливое сочетание легкомысленного повесы, погруженного в свои видения поэта, страстно любящего свою родину воина, блестящего и щедрого гражданина, гордого патриция, твердо верившего в свое божественное предназначение и счастье, — все это делало его образ настолько загадочным и привлекательным, что неудивительно, что толпа его боготворила, что его окружал ослепительный ореол легенд.

Эдилитет

Публию не было еще двадцати трех лет, когда он задумал стать эдилом. Что заставило его так рано домогаться высших магистратур? Отцы усматривали в этом непомерное, ни с чем не сообразное честолюбие, безумную жажду почестей. Однако вся дальнейшая жизнь Сципиона показала, что они очень ошибались: не нуждался он никогда ни в каких магистратурах, был равнодушен к блеску власти, легко уступал другим самые великолепные свои триумфы — словом, не был мелочно честолюбив. Значит, были какие-то особые обстоятельства, заставившие Публия искать эдилитета. Но какие? Тут нам на помощь приходит Полибий. Вот что он пишет. Старший брат Публия* домогался должности эдила. Соискателей было много, и вскоре Публию стало ясно, что брату не достичь желаемого. Зато самого его народ любил. Между тем мать их находилась в сильнейшей тревоге, переходила из храма в храм, горячо молясь за успех сына. И тут Публий дважды увидел один и тот же сон: будто он выбран в эдилы вместе с братом и оба они, счастливые, возвращаются с Форума домой. У дверей стоит мать, она обнимает и нежно целует обоих. Он никому ничего не сказал. Только накануне выборов поведал матери свой сон. Ее это очень взволновало, и она воскликнула:

— О, если бы мне дожить до такого дня!

— Так давай, мама, я попробую, — быстро сказал Публий.

---

* См. примечание 8.

Мать кивнула, но она не приняла слов сына всерьез. Она решила, что это одна из обычных минутных шуток Сципиона. Вечером она и вовсе забыла о сне сына, но утром, когда она еще спала, он встал, надел ослепительно-белую тогу соискателя и отправился на Форум. «Народ встретил Публия с восторгом как потому, что не ожидал его здесь, так и потому, что благоволил к нему и раньше. Когда же Публий показался на определенном месте и встал рядом с братом, народ выбрал на должность эдила не только Публия, но ради него и брата его, и они оба возвратились домой эдилами. Весть об этом быстро дошла до матери, которая радостно встретила юношей у дверей и горячо поцеловала их» (*Polyb., X, 4—5*).

Этот очаровательный рассказ — образец тех прекрасных мест у Полибия, где так ясно чувствуешь дыхание действующих лиц. Так и видишь всю эту картину: и набожную мать, дрожащую за своих детей, и Люция, которого характеризует лишь то, что о нем нечего сказать, и, главное, Публия, скрытного и загадочного, полного волшебных видений, стремительного, веселого и насмешливого настолько, что мать так и не могла понять: шутит он или говорит серьезно. Тем не менее ученые были безжалостны к этой прелестной новелле. Они объявили, что это выдумка с начала до конца. Дело в том, что рассказ содержит несколько важных ошибок. Во-первых, Полибий уверяет, что действие происходило в 217 году до н. э., когда Публию было 18 лет. Между тем Ливий, пользовавшийся официальными списками магистратов, утверждает, что это было пять лет спустя. Во-вторых, Люций был не старшим, а, по всей видимости, младшим братом. Наконец, коллегой Публия был не его брат, а Корнелий Цетег, Люций же стал эдилом много лет спустя (*Liv., XXII, 22*). Однако я не могу верить, чтобы весь рассказ был ложью. Полибий жил в доме Сципионов, знал дочерей, племянников, зятьев, жену Публия. Он прекрасно умел отделять правду от вымысла. Не мог он так слепо обмануться. Скорее здесь произошло другое. Наверное, каждый замечал, что у хорошего рассказчика, многажды повторяющего одну и ту же историю, с каждым разом она становится все красивее, детали все выразительнее. Тем более это должно было случиться в нашем случае, когда рассказывали наверняка люди младшего поколения, слышавшие рассказы своих отцов*. Публий был молод, и вот из двадцатитрехлетнего юноши он превратился в восемнадцатилетнего подростка. Очень вероятно, что он был

* Потому что здесь Полибий не ссылается на Лелия.

приятелем Цетега, происходившего из того же рода Корнелиев, и все представители и представительницы этой фамилии волновались за Цетега. В том числе и мать Публия. Но насколько драматичнее, чтобы Помпония молилась за сына, а не за дальнего родича и чтобы Публий доставил магистратуру родному брату! Запомнился факт — сон юного Публия, его совершенно неожиданное появление на Форуме и то, что он помог старшему родичу. А уж кем он приходился Сципиону и сколько ему точно было лет, это за давностью лет забыли.

Если все это так, надо согласиться, что Публий стал эдилом при необычных обстоятельствах. «Все, кто слышал прежде о его сновидениях, вообразили, что Публий беседует с богами не только во сне, но и наяву, днем» (*Polyb., X, 5, 5*). Должность эдила, бывшего, кроме всего прочего, и устроителем празднеств, как нельзя более подходила для щедрого и блестящего Сципиона. Возможно, его эдилитет и стал бы предметом толков, но тут обрушился новый удар — страшный для Рима, ужасный для семьи Сципионов.

Отъезд в Иберию

Беда пришла с запада, из Иберии. Как помнит читатель, Публий и Гней Сципионы, отец и дядя нашего героя, в самом начале войны были посланы в эту страну, чтобы помешать находившимся там карфагенянам оказывать помощь Ганнибалу. Братья Сципионы до сих пор очень успешно отражали натиск пунийцев. Их храбрость и мягкость с побежденными расположили к ним многие местные племена. Им противостояло три карфагенских вождя, один из них Газдрубал, брат Ганнибала. Весной 213 года до н. э. на полуостров внезапно ворвалась нумидийская конница во главе с отчаянным и неукротимым царевичем Масиниссой. Попал он в Иберию случайно — гнался за своим врагом. Но когда пунийцы предложили ему у них служить, он тут же согласился. В начале следующего года Сципионы, ободренные предыдущими успехами, решили перейти в наступление. До этого они только оборонялись. Так как против них стояло три войска, они решили разделиться: Гней должен был идти против Газдрубала Баркида, Публий — против других двух полководцев. Это их погубило.

Газдрубал, истинный сын Барки и брат Ганнибала, мгновенно оценил ситуацию. Самих римлян было мало, всю массу войск составляли кельтиберы. С помощью золота он быстро убедил их бросить своих союзников. Римляне пришли

в ужас, увидев, что варвары уходят. Ни мольбы, ни угрозы не могли их удержать. Гней понял, что положение его отчаянное. Соединиться с братом он уже не мог. Оставалось одно — отступить и по мере сил уклоняться от битвы. Тогда оставалась надежда, что Публий, разбив врага, подоспеет ему на выручку. И вот Гней отступал, а пунийцы следовали за ним по пятам.

Публий выступил в самом радужном настроении. Он не сомневался в победе. Но не успел он дойти до лагеря врагов, как на него налетел Масинисса с нумидийской конницей. Никогда еще не встречался Сципион с таким настойчивым, дерзким и коварным врагом. Масинисса не оставлял римлян в покое ни на минуту. Стоило им выйти из лагеря за водой, провизией или дровами, и нумидиец набрасывался на них, как какой-то вездесущий дух. Не раз он врывался в самый лагерь — вещь неслыханная! — наводя на римлян черный ужас. Теперь они дрожали и днем и ночью. Сципион совершенно потерял голову. Этим только можно объяснить тот безумный шаг, на который он в конце концов решился. Узнав, что на него движется испанский царек Андобала, он ночью тайно от Масиниссы вышел из лагеря, чтобы встретиться с ним и разбить прежде, чем он успеет соединиться с нумидийцами. Глухой ночью римляне схватились с врагом. Они уже стали одолевать, как вдруг раздался торжествующий вопль — на них летел этот демон Масинисса. Он давно их выследил и все время неслышно шел за ними. Не успели римляне опомниться, как появился третий враг — карфагеняне. Участь Сципионова войска была решена. Полководец, пытавшийся его собрать, был насквозь пронзен копьем и замертво упал с коня. Масинисса и нумидийцы издали крики буйной радости. Римляне обратились в беспорядочное бегство. Спастись удалось лишь немногим. Так было с Публием.

Гней меж тем все отступал, надеясь на брата. Но вот он увидел, как к Газдрубалу присоединились остальные пунийцы. Теперь сомнений не было — Публий мертв. В отчаянии Гней прибег к столь же безумному средству, как и его брат. Ночью римское войско бежало из лагеря. Утром враги обнаружили исчезновение римлян и устремились за ними. Впереди несся неутомимый Масинисса. Он летел по следу, как гончая. Вскоре он настиг беглецов. Гнею ничего не оставалось, как разбить лагерь на первом попавшемся месте. Но земля была тверда как камень. Нельзя было ни вырыть рва, ни насыпать вала. Смертельный страх подсказал выход. Римляне свалили в кучу тюки, седла, мешки и соорудили

некое подобие стены. В первую минуту враги остановились. Они привыкли с почтением относиться к римскому лагерю. Но в следующее мгновение они поняли, что перед ними игрушечная крепость. В один миг они разметали преграду. Часть римлян была сейчас же перебита, остальные успели бежать. Сам полководец был убит.

Так в несколько дней погибли оба Сципиона, которые столько лет побеждали в Иберии (*Liv., XXV, 32—36*). Жалкие остатки их армии собраны были опытным офицером Люцием Марцием. Это казалось таким чудом, что его сочли существом сверхъестественной природы. В Испанию срочно был послан претор Нерон (211 год до н. э.). Сначала счастье ему улыбнулось, но очень скоро он потерял все. Теперь римляне удерживали только узкую полоску у подошвы Пиренеев (*App. Iber., 17*). Иберия была для них потеряна.

Потеря Испании вызвала у римлян страх и мучительную тревогу. Гамилькар недаром рассчитывал на Испанию, как на плацдарм для войны. В стране были неистощимые запасы золота и людей, и, по замыслам Ганнибала, войска, деньги и боеприпасы должны были непрерывно идти к нему из-за Альп. Вот почему необходимо было во что бы то ни стало отрезать Иберию от Италии. Теперь же путь в Италию открыт, все погибло. Само слово «Иберия» приводило римлян в отчаяние: всякая победа здесь была эфемерной, все успехи призрачными. Римляне строили на песке, они снова вернулись к тому дню (218 году до н. э.), когда впервые высадились в этой роковой стране. Они прониклись суеверным убеждением, что эта земля проклятая и зловещая для римлян.

Среди таких настроений созвано было собрание, чтобы выбрать нового полководца для войны в Испании. «Но никто не вызвался, и всех охватил ужас, угрюмое молчание нависло над собранием. И тут на середину вышел Корнелий Сципион, сын убитого в Иберии Публия Корнелия, совсем еще юный (ему было двадцать четыре года), но считавшийся человеком разумным и благородным. Он произнес торжественную речь об отце и дяде и в заключение сказал, что он, на которого обрушилось это горе, станет достойным мстителем за отца, дядю и родину. И, как бы охваченный богом, он заговорил стремительно и бурно. Он сказал, что завоюет не только Иберию, но Африку и Карфаген» (*App. Iber., 68—69*). В едином порыве народ тут же избрал его полководцем. Но отцы испугались их опрометчивого выбора. Разве можно было доверять столь сложную войну мальчишке, ни разу не командовавшему армией? Они называли его слова юношески дерзкой похвальбой (*App. Iber., 69;* ср. *Liv. XXVI, 18*). Этот

ропот дошел до ушей Сципиона. С видом гордого презрения он повернулся к отцам и спросил, не желает ли кто-нибудь более почтенный заслугами или летами принять командование в Испании. Он его охотно уступит. В его словах звучали насмешка и вызов. Но никто не посмел его принять. Все молчали. Победа осталась за Публием[14].

Сенат не мог простить Сципиону его надменности. Но народ был поражен, словно внезапно луч света прорвался сквозь свинцовый сумрак. Сципион держался так, будто враги уже разбиты. «Эта уверенность его в себя внушила римскому народу надежду на спасение и победу», — пишет Валерий Максим (*Val. Max., III, 7, 1*). «Он воскресил сжавшийся от страха народ» (*App. Iber., 69*) и «в темный для Рима час явился звездой надежды»*. И он отбыл в Испанию, «вызывая всеобщий восторг и изумление» (*App. Iber., 72*).

---

* *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 240.

Глава четвертая

ИБЕРИЯ

...pulcher fugatis
ille dies Latio tenebris,
qui primus alma risit adorea... *

Hor., IV, 4, 39—41

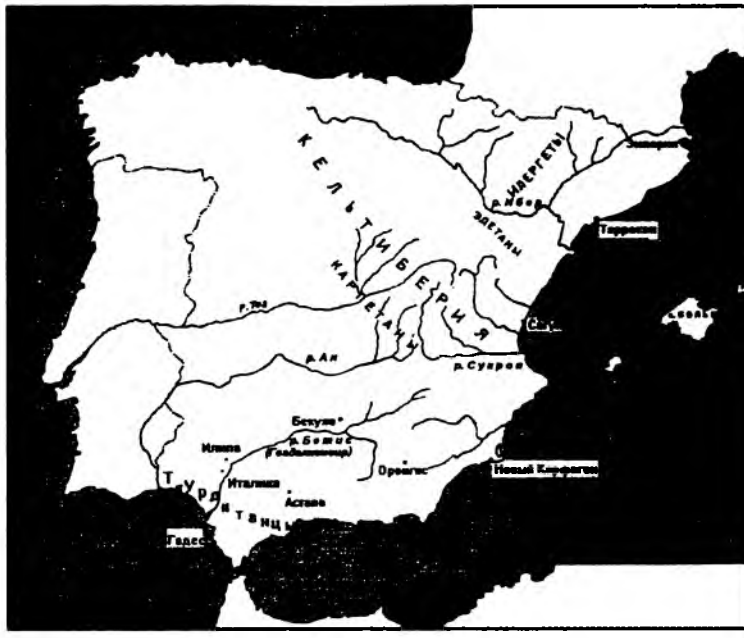
Обстановка

Римляне имели все основания считать Иберию страной проклятой, а войну в ней делом безнадежным. Там находилось три пунийских армии: Газдрубала и Магона, сыновей Гамилькара Барки, и Газдрубала, сына Гескона. Военачальники прекрасно знали страну: ведь Баркиды здесь выросли. Они располагали многочисленной армией, привыкшей переносить всевозможные лишения, отлично знавшей местные условия. К ним постоянно шла помощь из Карфагена. Великолепная нумидийская конница была у Масиниссы, который и погубил обоих Сципионов. Что могли всему этому противопоставить римляне? Нерон привез двенадцать тысяч пехоты и 1200 конницы, Сципион — десять тысяч пехотинцев и тысячу всадников. «Больше взять было нельзя, ибо Ганнибал терзал Италию» (*App. Lib., 72*). Разумеется, все понимали, что с такими силами невозможно завоевать Испанию, как обещал Сципион. Даже защитить границы было трудно. Публий очень хорошо понял, что рассчитывать на помощь из Рима ему нечего: он должен был вести войну собственными силами.

Пунийские армии занимали разные области Иберии и в результате держали под контролем всю страну. Объединение любых двух армий грозило немедленной гибелью маленькому войску Публия. Ему надо было лавировать между ними — каждый неверный шаг должен быть стоить жизни ему и войску. Начиная битву с одним врагом, он должен был все время опасаться, что на помощь подоспеют другие.

---

* ...этот великий прекрасный день, который впервые разогнал сумерки, сгустившиеся над Лациумом, и засиял благословенным успехом (Гораций).



Испания времен Сципиона

Кроме того, у финикийцев в стране были древние связи: им помогали кельтиберы, изменившие Сципионам, и, главное, на их стороне были два местных вождя, братья Андобала и Мандоний, которых Ливий называет признанными владыками всей Иберии (*Liv., XXVII, 17*).

Иными словами, римлянам предстояла еще война с испанскими племенами. Одну из таких иберских войн весьма красочно живописует Полибий: «Огненную войну вели римляне с кельтиберами: так необычны были и ход войны и непрерывность самих сражений. Действительно, в Элладе или в Азии ведомые войны кончаются, можно сказать, одной, редко двумя битвами, а самые битвы решаются одним моментом первого набега или схваткой воюющих. В войне с кельтиберами все было наоборот. Обыкновенно только ночь полагала конец битве, ибо люди старались не поддаваться усталости, не падали духом, не слабели телом, но всегда с новой отвагой шли на врага и опять начинали битву... Вообще, если кто хочет представить себе огненную войну, пускай вспомнит только войну с кельтиберами» (*Polyb., XXXV, 1*). Даже став

владыками мира, римляне, по словам Полибия, трепетали перед войной в Иберии (*Polyb., XXXV, 4, 3—4*).

Словом, надо было с крошечным войском сражаться с тремя армиями, которые кружили по стране, то соединяясь, то разъединяясь, да еще бороться со всеми местными племенами. И вот эту-то задачу поручили 24-летнему юноше, еще ни разу не командовавшему войском!

Осенью 210 года до н. э. Публий Корнелий Сципион высадился в Эмпориях и оттуда сухим путем направился в Тарракон, старый греческий город, бывший неизменным союзником его отца и дяди. Там он провел всю зиму. Одной из первых задач, которая стояла перед юным военачальником, было наладить отношения с союзниками и с собственной армией. Последнее тоже было непросто. Испанские легионы много лет сражались вдали от родины. Из крестьян и горожан, на время опасности облачившихся в доспехи, они превратились в профессиональных солдат. Это сделало их мятежными, своевольными, а жизнь в дикой стране ожесточила их дух. Они потеряли связь с Римом и своими близкими. И вот сейчас они имели все основания для недовольства. После гибели Сципионов они выбрали вождем своего товарища Марция. Они почитали его своим спасителем и прямо-таки святым чудотворцем[15]. А теперь с их волей не посчитались и Марцию прислали замену. Как он сам должен был смотреть на неопытного мальчишку, присланного его сменить? Не послужило ли это поводом для горьких разговоров о том, что, дескать, ни заслуги, ни опыт, ни любовь войск не могут тебя возвысить в Риме. Нужно одно — длинный ряд предков.

Мало этого. Сенат сделал непростительную глупость, словно нарочно для того, чтобы затруднить положение молодого военачальника. Вместе с ним послали некоего Силана «с равным империем», то есть с равной властью и полномочиями[16]. Он, несомненно, был старше Публия, и отцы, вероятно, хотели, чтобы он им руководил. В будущем это двоевластие ничего хорошего не предвещало.

Но из всех затруднений Сципион вышел блестяще. В короткий срок он настолько очаровал Марция, что всем стало ясно, что нет у Публия друга преданнее и вернее (*Liv., XXVII, 20*). Он осыпал старого воина самыми лестными похвалами и знаками отличия. А стоило ему повидаться с войском, и все солдаты буквально влюбились в нового военачальника. Что до Силана, то он без противоборства отказался от своих прав и стал рядовым офицером Публия.

Гай Лелий

Была у Публия Сципиона одна черта: несмотря на свою молодость, он никому и никогда не поверял свои планы. Все его замыслы всегда бывали окутаны непроницаемой тайной. Порой войско уже выходило в путь, но ни воины, ни даже офицеры не знали, куда они идут и с кем встретятся через несколько минут. И это еще более усугубляло загадочность, которой любил себя окружать Сципион. Был только один-единственный человек в целом мире, от которого у Публия не было тайн, — Гай Лелий. Он был небогат, совершенно незнатен, по-видимому, даже родом не из Рима. Так что во всех отношениях он был не пара патрицию Корнелию. Тем не менее с детских лет до самой смерти их связывала неразрывная дружба. Мы видим их всегда рядом, словно один всего лишь тень другого. Это впечатление еще увеличивается благодаря тому, что во всех дошедших до нас рассказах Гай Лелий ни разу не промолвил ни слова, действительно как безмолвная тень.

Но впечатление это ложное. Хотя Гай и отличался, по-видимому, скрытностью и молчаливостью — свойствами, которые и подобали тому, кому Публий не страшился открывать все свои тайны, — он отнюдь не похож был на бездушного статиста. Его отличал ясный, проницательный ум — иначе не мог бы он стать лучшим советчиком Сципиона. Этого мало. Через много лет после окончания Ганнибаловой войны приехал в Рим Полибий. Он познакомился с Лелием, и этот скрытный и молчаливый римлянин произвел на него огромное впечатление. Он признается, что Гай перевернул все его представления о Публии, что он почти дословно записывал иногда его рассказы и каждое слово его значило для историка больше, чем целые томы трудов его предшественников. Этим объясняются необыкновенная яркость и живость рассказов Полибия о Сципионе, множество мелких подробностей, рисующих его характер и привычки. За его повествованием все время чувствуется рассказ очевидца и близкого друга. Такое влияние Лелия на Полибия говорит о многом.

Из рассказов Полибия мы узнаем еще одну любопытнейшую черту Гая Лелия. Он не только не старается хоть чуть-чуть выдвинуть себя вперед, но сознательно отступает в тень. Повествуя об удивительных подвигах своего друга, он ни разу даже не попытался намекнуть, что помог ему или подал прекрасный совет, а между тем с ним одним Публий обсуждал свои будущие начинания. Мало того. Он не только не приписывает себе мнимые заслуги, но скрывает истинные. Например, нам известно, что после взятия Нового Карфагена Пуб-

лий наградил друга золотым венком и сказал, что Гай сделал для взятия города не меньше его самого. От Фронтина мы знаем, что Лелий приготовлял всю операцию поджога лагеря в Африке. Но сам Гай Полибию об этом ничего не рассказал.

Скромный во всем, Гай Лелий в одном-единственном пункте считал себя вправе быть гордым: он гордился своей дружбой с Публием, постоянно подчеркивал, что был его лучшим другом и доверенным лицом. Это очень заметно у Полибия. Лелий вошел в историю как символ верного друга. Верность, очевидно, передавалась в его роду по наследству, ибо его сына, тоже Гая Лелия, связывала столь же нежная дружба со Сципионом Эмилианом. Поэтому Цицерон назвал свой диалог о дружбе именем «Лелий». Герой этого произведения Лелий Младший, но Скаллард полагает, что оратор думал и о Лелии Старшем, столь же верном друге. В уста своего героя Цицерон вкладывает следующие слова: «Участь Сципиона была прекрасна, моя — менее счастлива, ибо было бы справедливо... чтобы я раньше его ушел из жизни. Но все-таки воспоминание о нашей дружбе приносит мне такую радость, что я считаю, что прожил счастливо, так как жил в одно время со Сципионом... Поэтому меня радует не столько молва о моей мудрости... тем более что она не верна, — сколько надежда на то, что память о нашей дружбе будет вечна. И это мне тем более по сердцу, что едва ли можно назвать на протяжении всех веков три-четыре пары друзей. И дружба между Сципионом и Лелием, подобная их дружбе, надеюсь, станет известной потомкам» (*Cic. Amic., 15*). Думаю, эти слова мог бы произнести и наш Лелий.

Чудо у Нового Карфагена

И сказал Господь Моисею: «...подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше...»

И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушей, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше...

Исход, XIV, 15—22

После разговора с Лелием у Полибия раскрылись глаза на Сципиона. Дело в том, что Публий не только не посвящал никого в свои планы, но держался столь беспечно, что никому и в голову не могло прийти, что этот легкомыслен-

ный юноша о чем-то напряженно думает. Поэтому-то, говорит Полибий, «все историки изображают Публия каким-то баловнем судьбы, предприятия которого удаются большей частью вопреки всем расчетам, случайно» (*Polyb., X, 2, 5*). Гай же Лелий ввел Полибия в творческую лабораторию мыслей друга. Он объяснил, что Публий был проницателен и осторожен, что он с напряженным вниманием следил за осуществлением задуманного плана, взвешивал каждый шаг и все всегда случалось так, как он хотел (*Polyb., X, 2, 13—3, 1*).

Так было и зимой 209 года до н. э. в Тарраконе. Существовало словно два Публия. Все видели веселого, доброжелательного молодого человека, который с утра до вечера бродил по городу, охотно останавливался и болтал со встречными и заводил бесчисленные знакомства среди самого разношерстного люда. Больше всего любил он говорить с рыбаками. А Лелий видел другого Публия, человека, который, не зная отдыха, упорно думал об одном и том же, сосредоточив на одном помысле все силы своей души. Наконец, уверяют, что сам Сципион говорил, что в ту зиму посещали его необыкновенно яркие сны. Он видел целые картины: пунийцы бегут из Испании и чудесные голоса обещают ему победу (*Liv. XXVI, 41*).

К весне план был готов. Открыл его Публий по обычаю только Лелию. Но прежде всего Публий поспешил поднять настроение римских воинов, стоявших в Испании, ибо все они были подавлены страшной гибелью Сципионов и отчаялись в будущем. Он выступил перед войсками. Публий говорил горячо и убедительно. Ничего определенного он не сказал, но речь его дышала самыми радостными надеждами. Римляне решили, что он собирается порознь напасть на каждое пунийское войско и уничтожить их по очереди. Они пришли в самое возбужденное и веселое настроение, ибо «сверх всего прочего он обладал большой способностью сообщать отвагу и воодушевление всем, к кому обращался со словом увещания» (*Polyb., X, 14, 10*).

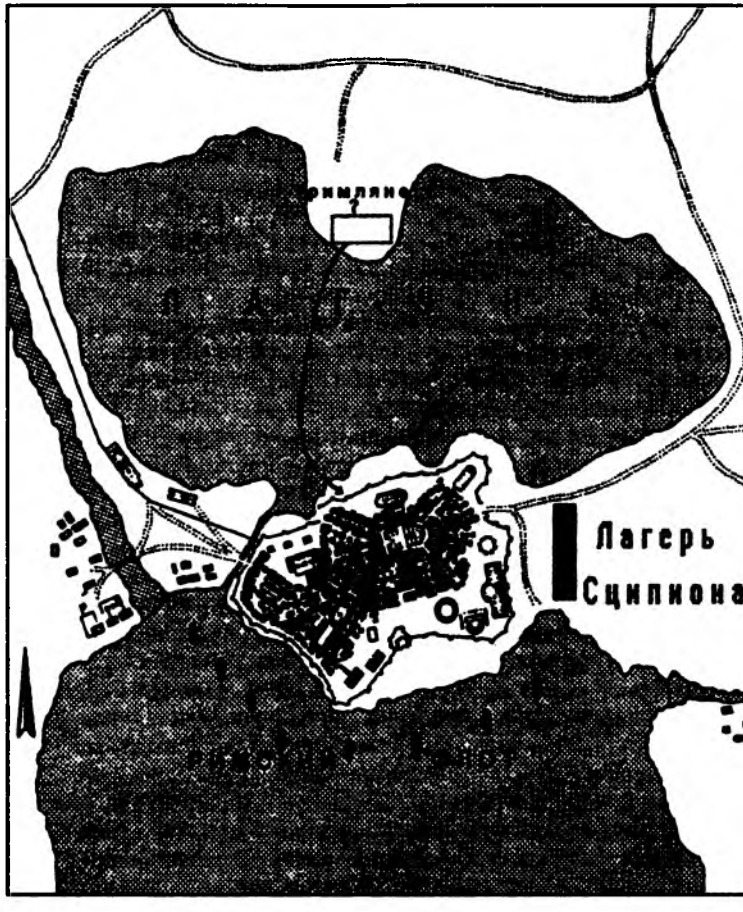
«На самом деле, — говорил Гай Лелий Полибию, — у Публия и в мыслях не было делать что-либо из того, о чем он говорил перед войсками» (*Polyb., X, 6, 8*). Лелию он сказал, что, если вздумает напасть на одно из карфагенских войск, явятся другие и его ожидает участь отца и дяди. Такой план равносилен верной смерти, заметил он (*Polyb., X, 7, 7*). Да и вообще «он не думал о мерах обыкновенных, очевидных для каждого, но избрал и решился осуществить такой план, которого не подозревали ни друзья, ни враги» (*Polyb., X, 6, 11—12*). Он обдумал этот план до мельчайших деталей, до последней

подробности, он видел его ярко, как в лихорадочном сне. Но никто о нем не знал. Он все открыл только Лелию (*Polyb., X, 9, 1*). Его он назначил начальником флота и дал ему какое-то секретное предписание. Флот немедленно отплыл. Сам он встал во главе сухопутного войска и двинулся вперед.

Шесть дней двигалось войско. Никто не знал, куда они идут. На седьмой день они увидели перед собой отвесные стены Нового Карфагена. В то же время в порт вошел римский флот под командованием Лелия (*Liv., XXVI, 42, 5*). Такая удивительная согласованность действий казалась почти чудом Теперь Публий мог открыть свой план воинам: «быстрым нападением он решил взять город, именуемый Иберийским Карфагеном» (*Polyb., X, 6, 8*).

Новый Карфаген основан был Газдрубалом, зятем и преемником Гамилькара Барки, и считался признанной столицей пунийской Испании. Это был ключ от всей Иберии. Он господствовал над переправой в Африку, к тому же был едва ли не единственным городом с морским портом. Здесь находились все золото и запасы карфагенян, а также заложники иберских племен со всей Испании. Эти-то заложники, жены и дети знатных испанцев, делали иберов послушными вассалами карфагенян. Охранялся город гарнизоном всего из тысячи человек, и ни одно пунийское войско не было к нему ближе чем на десять дней пути. Вот те сведения, которые Публий собрал в эту зиму во время своих бесед с местными жителями.

Не по легкомыслию или небрежности оставили карфагеняне почти без защиты столь важный для них пункт. Но они были уверены, что «никому и на мысль не могло бы прийти напасть на этот город» (*Polyb., X, 8, 5*), ибо природа и искусство сделали его практически неприступным. Карфаген стоял на берегу залива, омывавшего его с юга и запада. С севера было большое озеро; искусственный канал соединял его с морем и превращал в лагуну. Канал был столь узок, что в лагуну могли проплыть лишь рыбачьи челны, но не большие корабли. Поэтому со стороны озера к городу не могли приблизиться ни сухопутные войска, ни флот. Таким образом, город находился на полуострове: с трех сторон его окружала вода. С материком соединяла его узкая полоса суши не более двух стадий ширины (около 370 метров). Но и с этой стороны город прекрасно защищала гряда высоких скалистых холмов. К тому же мощные отвесные стены превращали Карфаген в неприступную крепость. Вот почему нечего было и думать взять его быстрым налетом, а на правильную осаду у Сципиона не было времени: ведь в его распоряжении было не более десяти дней.



Новый Карфаген. *План*

Римляне прибыли к Карфагену вечером. Публий разбил лагерь против косы, соединяющей город с материком. Крутые холмы, обступившие крепость, теперь защищали и его собственный лагерь. В то же время Лелий со своим флотом окружил город с моря. Теперь Карфаген был в кольце врагов — только со стороны лагуны ему ничего не угрожало. Перед отходом ко сну Публий собрал свое войско и по обычаю римских полководцев обратился к нему с речью. Он кратко и ясно объяснил всю важность Нового Карфагена, обладание которым сделает римлян владыками Иберии. Он

ободрял воинов, обещал золотые венки в награду тем, кто первыми взойдут на стену города. «В заключение Публий сказал, что сам явившийся к нему во сне Нептун внушил мысль об этом предприятии, что божество обещало проявить свое содействие на поле боя с такой очевидностью, что все войско убедится в его участии» (*Polyb., X, 12, 5—7*). Воины были страшно взволнованы. Мысль о Нептуне не давала им покоя. Они буквально рвались в бой. Сам Сципион «из-за своего душевного величия был совершенно уверен, что возьмет город» (*App. Iber., 77*). С этими мыслями все легли спать.

На другой день на рассвете римский военачальник начал осаду города с моря и с суши. Войско он выстроил у самого лагеря. Это позволяло римлянам быстро помогать своим, а, главное, карфагенян он выманил далеко от города. Некоторое время битва шла с переменным успехом, наконец пунийцы дрогнули и побежали в город. Римляне, не теряя времени, стали приставлять лестницы к стене.

Во время боя, вспоминает Гай Лелий, Публий Сципион неусыпно следил за ходом сражения, быстро появлялся в самых опасных местах, все видел, ничего не упускал из виду и воодушевлял сражавшихся. Но он не сражался, как простой воин, что порой делали увлекающиеся полководцы. Его неотступно сопровождали три телохранителя: они ставили свои щиты в ряд и прикрывали его со стороны города. Полибий считает такое поведение очень разумным: что было бы с войском, если бы полководец был тяжело ранен или убит?

Сначала карфагеняне очень испугались, видя, как римляне пытаются влезть на стены с моря и с суши. Но вскоре они совершенно ободрились, заметив полную их беспомощность. Стены были так высоки, что обычные осадные лестницы не годились. Воины принесли тогда очень высокие лестницы, но они оказались неустойчивыми и многие рухнули. Кроме того, римлян мучило головокружение, они срывались и падали вниз. Осажденные бросали с высоты стенных зубцов бревна, камни и другие тяжелые предметы. «Солдаты измучились, и военачальник приказал играть сигнал к отступлению» (*Polyb., X, 13, 10—11*). Осажденные решили, что римский полководец отказался от безумной мысли взять город. Но они ошиблись. Сципион и не думал отступать. На смену усталым войскам он послал свежие силы. И снова воины устремились к стенам.

Еще в начале боя Публий отделил от своего войска отряд в пятьсот человек, дал им лестницы, поставил возле лагуны

и приказал спокойно ждать и не ввязываться в общий бой. И вот настал полдень*. И тут воины, стоявшие у лагуны, увидели чудо: вода начала отступать «и сильным, громадным потоком хлынула через отверстие в соседнее море» (*Polyb., X, 14, 7—8*). При виде этого римляне онемели, не веря своим глазам. Тогда перед ними явился Сципион и сказал:

— Пробил час, воины! Мне помощником явился бог! Идите прямо к стене! Море дало нам дорогу. Несите лестницы, я поведу вас (*App. Iber., 83*).

И они пошли вперед по обмелевшему озеру «в глубоком убеждении, что все происходящее есть дело рук промысла божества. Они вспомнили о Нептуне и о тех обещаниях, которые давал им в своей речи Публий» (*Polyb., X, 14, 11*). «Сципион приписал это чудо богам, которые повернули море, чтобы дать проход римлянам, увели воды и открыли пути, по которым ни разу не ступала нога человеческая. И он велел следовать за Нептуном, как за проводником, и идти по водам к стенам» (*Liv., XXVI, 45, 9*).

Никто из осажденных их не видел, в этом месте стену вообще не охраняли — ведь никому и в голову не приходило, что римляне могут пройти по водам озера. Карфагеняне всецело были заняты битвой у стен. И римляне беспрепятственно влезли на стены и бросились открывать ворота своим. «Так благодаря своей отваге и счастью Сципион в один день взял этот богатый и могущественный город» (*App. Iber., 88*).

Неудивительно, что взятие Нового Карфагена поразило воображение современников. Римские солдаты и испанцы поклонялись теперь Публию, как божеству. «Его осыпали похвалами, и все еще более уверились, что он все делает по внушению бога» (*App., ibid.*). Карфагеняне объяты были почти мистическим ужасом. Тысячи легенд ходили о молодом полководце. Эллинские историки, которые сейчас же стали живописать блестящие подвиги Сципиона, не колеблясь приписывали чудесное взятие Нового Карфагена богам и Тюхе (*Polyb., X, 9, 2—3*). Чудо было так явственно, так очевидно, что его признали все. Но есть люди, которые не могут примириться с вмешательством сверхъестественных сил в нашу жизнь. Такие люди были в древности, есть они и сейчас. К их числу принадлежат, в частности, все современные историки. Они предлагают ряд гипотез, чтобы устранить из мира это чудо. Сейчас мы обратимся к их разбору. Но прежде всего необходимо сообщить все, что известно о мистических связях Публия с богами.

---

* О времени см. ниже.

Избранник богов

...В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась...

А. С. Пушкин.
Евгений Онегин. Глава VIII

Они на бранное призванье
Не шли, не веря дивным снам.
Они твердили: пусть виденья
Толкует хитрый Магомет,
Они ума его творенья,
Его ль нам слушать — он поэт!

А. С. Пушкин

Верь лишь мне, ночное сердце,
Я — поэт!
Я, какие хочешь, сказки
Расскажу.

А. А. Блок

С самого рождения Публия Сципиона окружал ослепительный ореол легенд. Да, с самого рождения от бога, принявшего облик змея, до смерти, ибо и через 200 лет его могилу стерег, говорят, исполинский дракон. Философы, поэты, историки, солдаты, варвары и простой народ, каждый согласно своему образованию и вере, называют его существом божественной природы, любимцем небожителей, баловнем фортуны, сыном Юпитера, который при жизни во сне и наяву беседовал с богами, а после смерти сам стал одним из бессмертных богов и пребывает теперь в области Млечного Пути, в сверкающих звездных чертогах, овеянный звуками музыки сфер. Уже из последних слов ясно, что не все легенды сложились при жизни героя; многие возникли уже после его смерти. Постараемся, насколько возможно, в них разобраться.

До нас дошли свидетельства о том, какое сильное и странное впечатление производил этот удивительный человек на окружающих. Один из собеседников Сократа, пытаясь выразить то ощущение, то почти мистическое чувство, которое он испы-

тывал, общаясь с ним, сравнивал его с электрическим скатом. И современники Сципиона пытаются выразить то же чувство.

«Упавшие с неба звезды, если бы они явились людям, не вызвали бы большего обожания у окружающих», — пишет о нем Валерий Максим (*Val. Max., II, 10, 2*).

«Этот юноша совершенно подобен богам!» — восклицает один современник (*Liv., XXVI, 50*).

«Все наделяли его чем-то сверхъестественным», — говорит Полибий (*Polyb., X, 2, 6*).

Считали, что «все планы его складываются при участии божественного вдохновения» (*Polyb., X, 2, 12*).

«Он обладал удивительной способностью внушать отвагу и надежду всем, с кем общался» (*Polyb., X, 14, 10*). При этом надежды, которые внушал Публий, были какими-то особенными, гораздо большими, чем доверие к человеческим обещаниям и доводам, обоснованным на разуме и логике (*Liv., XXVI, 19*). Дошло до того, что его предчувствия официально считались римским государством столь же верным знамением, как оракулы и ответы гаруспиков (*Liv., XXIX, 10*). С другой стороны, передавали, что врагам он внушал какой-то беспричинный ужас, тем больший, что они не могли его объяснить (*Liv., XXIX, 20*).

Едва он прибыл в Иберию, как «молниеносно по всей стране... пролетел слух, что полководцем к ним прибыл Сципион... по воле божества» (*App. Iber., 73*) и все «были уверены, что он все делает по внушению бога» (*ibid., 88*).

Так было при жизни. После смерти он удостоился необычной почести, которая ни до, ни после не выпадала на долю ни одному римлянину. «Его *imago* (изображение) стоит в *cella* храма Юпитера Всеблагого и Величайшего, и, когда род Корнелиев совершает какой-нибудь погребальный обряд, его выносят оттуда, и для одного Сципиона Капитолий является атриумом» (*Val. Max., VIII, 15, 1*). *Imago* — это восковая маска, снимавшаяся с лица покойного. Такие маски предков ставились в главной комнате дома — атриуме. Маска же Сципиона находилась не в фамильном атриуме, а в *cella,* то есть в святая святых храма, где при жизни любил в совершенном одиночестве ночью, запершись, проводить время Сципион. Это показывает, что Публия считали существом природы божественной, тесно связанной с небожителями, поэтому храм был для него домом[17]. Есть также известие, правда, происходящее из очень сомнительного источника, что еще при жизни Сципиона его статую хотели поставить в *cella* Юпитера[18].

Вероятно, сразу после смерти Публия всем этим легендам придал философское осмысление в духе пифагорейских уче-

ний его близкий друг поэт Энний. Он утверждал, что Сципион — единственный человек, который после смерти взошел на небо и там в синих храмах среди звезд стал одним из небожителей*. Однако многие легенды говорят, что в нем при жизни текла божественная кровь, что отец его был не простой смертный, но один из блаженных богов. Рассмотрим эти предания.

Чудесное рождение

«Мать его долго считали бесплодной, и Публий Сципион, ее муж, уже отчаялся иметь детей. И вот однажды, когда мужа не было и она спала одна, в ее спальне на ложе рядом с ней появился исполинский змей. А когда увидевшие его, охваченные ужасом, закричали, он соскользнул с ложа, и его не смогли найти. Публий Сципион вопросил гаруспиков, и они, совершив священнодействие, возвестили, что у него родится ребенок. Некоторое время спустя после появления змея на ложе женщина почувствовала признаки беременности, а через десять (речь идет о лунных месяцах. — *Т. Б.*) месяцев родила. Ребенок этот и был Публий Сципион, который победил Ганнибала и карфагенян в Африке» (*Gell., VI, 1*). Этот змей, по мнению многих писателей, был богом Юпитером, принявшим облик дракона (*Dio, 56, 38—39; Vir illustr., 49*; ср. *Val. Max., 1, 2, 2*). Всю дальнейшую жизнь Публий был каким-то чудесным образом связан со змеями: когда он был совсем маленьким, его обвил змей, не причинив никакого вреда (*Vir. Illustr., 49*), едва он высадился в Африке, к лагерю подполз огромный дракон. Сципион счел это за доброе предзнаменование (*Dio, 57, 63*). Могилу его стережет исполинский змей (*Plin. N. H., XVI, 234—235*).

Как и когда могло возникнуть подобное предание о Сципионе? Многие считают его поздним вымыслом, заимствованным из биографии Александра Македонского. Ибо известно, что змей подобным же образом появлялся рядом со спящей Олимпиадой. Это сходство замечено было уже античными авторами (*Gell., VI, 1; Liv., XXVI, 19*). Геллий даже пишет, что сравнение Сципиона с Александром стало уже общим местом, обычной темой школьных сочинений и риторических упражнений. Легенды этой не упоминает ни Полибий, ни Аппиан. Можно почти с уверенностью сказать, что подобного рассказа нет у анналистов. Вот доказательства. В трак-

---

* См. главу «Энний» книги II.

тате «О предвидении» Цицерон обсуждает различные чудесные случаи. Он сообщает, что актера Росция в детстве обвила змея, не причинив ему вреда. «Отец Росция обратился к гаруспикам, и они возвестили, что не будет никого славнее, никого знаменитее этого мальчика» (*Cic., Div., I, 79*). Затем Цицерон дает этому происшествию рационалистическое объяснение (змея была ручной) и саркастически замечает: «Я удивляюсь, что боги бессмертные возвестили славную будущность актеру и не возвестили ее Публию Африканскому» (*ibid., II, 66*). Из этих слов ясно, что Цицерон не знал приведенной раньше легенды. Между тем все его примеры взяты именно из анналистики. Откуда же происходит этот рассказ?

Геллий называет своими источниками авторов жизнеописания Сципиона, Гая Оппия и Юлия Гигина. Оппий был друг Цицерона и Цезаря, Гигин — библиотекарь Августа. Вероятно, оба они писали уже при Августе, поэтому-то Цицерон, очень интересовавшийся литературой, не читал этого произведения Оппия. Но не является ли эта легенда просто выдумкой Оппия или Гигина? Вряд ли это возможно. Особенно трудно поверить, что Гигин, этот «полу-Варрон», как его называли, ученейший антиквар, мог пойти на такой обман или бездумно переписать у Оппия. Скорее всего, этот любитель древностей набрел на какое-то полузабытое предание. Оно было насколько возможно приближено к рассказам об Александре*. Такой судьбе подвергались многие рассказы о подвигах Публия. Повторяю, то была мода. Каждому шагу римлянина находили аналогию в жизни знаменитого македонца. Однако откуда взяли «змеиные легенды» авторы I века н. э.?

Сразу напрашивается предположение, что перед нами народная легенда. Ведь именно среди народа было распространено сказание, что могилу Сципиона стережет дракон. Культ змей существовал в Ланувии, а возможно, и в Этрурии. Змей возвестил славную будущность Росцию, которого никто не собирался сравнивать с Александром. Очень у многих народов существуют мифы о рождении героев от змей. Распространено также представление о том, что змей избавляет от бесплодия**[19].

Однако можно выдвинуть и другую гипотезу, которая не противоречит первой, а скорее дополняет ее. Возможно, это

---

* Замечательно, что, хотя, согласно легенде, отцом Александра был бог в облике змея, более змеи не играли никакой роли в жизни Македонца. Сципиону же змей являлся по крайней мере дважды, и он неотлучно стережет могилу нашего героя. Это показывает, что связи Публия со змеями гораздо глубиннее.

** Эта архаичная деталь, насколько я знаю, не встречается в сказании об Александре.

семейное предание дома Корнелиев. Оно не было широко распространено в Риме, почему его и не знал Цицерон. Но слухи о нем ходили в местах, примыкавших к фамильным владениям Сципионов (там как раз находилась могила Публия). Вспомним, что у Корнелиев были особые религиозные обычаи, особые погребальные обряды и верования*. Есть некоторые свидетельства того, что у рода Корнелиев были какие-то мистические связи со змеями. В саду у Корнелии, дочери нашего героя, появились две змеи. Это предвещало смерть хозяйке дома или ее мужу. Рассказ этот опять-таки известен не из истории, а из письма внука Сципиона, сына Корнелии, к одному из друзей (*Cic. Div., I, 36; Plut. Ti. Gracch., 8*). Старший сын той же Корнелии, Тиберий, ночью видит змея и понимает, что утром умрет (*Plut. Ti. Gracch., 17*). Итак, появление змея потомкам Сципиона предвещает смерть, но Помпонии оно сулило рождение сына. Можно высказать гипотезу, что в облике змея являлся их предок или дух рода, чтобы возвестить смерть или рождение. Напомню, что из одного места «*Энеиды*» явствует, что дух мертвого, по римским представлениям, мог являться живым в облике змея (*V, 84—95*). Это проливает свет на один эпизод, который в юности наблюдал сам Цицерон. Корнелий Сулла осаждал город Нолу. Внезапно из-под земли выползла змея. Сулла немедленно воспрянул духом и устремился на штурм, уверенный, что боги обещают ему победу (*Cic. Div., I, 72*). Таким образом, явление змея обрадовало Корнелия Суллу, как и Сципиона. Но тот же Цицерон передает, что враг и соперник Суллы Марий увидал, как орел сражается со змеей. Марий с напряженным вниманием следил за этим поединком и, когда победил орел, уверовал в свою победу (*ibid., I, 106*). Таким образом, змей для Суллы был вестником победы, для Мария же именно его поражение служило добрым знаком. Не потому ли, что змей был гением Корнелиев?

К сожалению, мы не можем утверждать с уверенностью, что эта легенда сложилась уже при жизни Публия[20]. Равным образом мы не знаем, говорили ли в его время, что его отец божество, или нет[21]. Возможно, что уже тогда шла глухая молва о его божественном родителе. Дион утверждает, что, как только приехал Сципион, по всей Иберии распространились рассказы о его божественном отце (*Dio, 37, 57*). Однако очень возможно, что он рисовался воображению римлян не в облике Юпитера, а в виде некого загадочного духа из тех, что часто появлялись в сказаниях древних италийцев.

---

* См. главу третью, примечание 7.

Отсюда некая таинственная неопределенность в рассказах латинских авторов о Публии. «Верили, что его породили бессмертные боги» (боги, а не бог. — *Т. Б.)*, — говорит Валерий Максим (*Val. Max., VI, 9, 2*). Люди думали, пишет Ливий, что он произошел не от человеческой крови, а от божественного корня (*Liv., XXXVIII, 58*). Напомню, что многие латинские герои рождались от духа предка, загадочного призрака, выходящего из огня[22]. А духом предков для Корнелиев, если следовать нашей гипотезе, был змей.

Перед нами совершенно исключительный факт — создание красочной и поэтичной легенды о полководце, римлянине, жившем уже в историческое время. Ни до, ни после Сципиона таких легенд ни о ком не складывали. Это само по себе загадочно. Далее, вера в божественность Публия бытовала по крайней мере у трех разных народов: у римлян, иберов и греков. Чем это можно объяснить? Античность дала нам два объяснения. Первое принадлежит всем ученым и простым людям до Полибия. Оно заключается в том, что Публий во сне и наяву беседовал с богами, имел волшебные видения, в которые заставил поверить и окружающих. Второе принадлежит Полибию. Ему суждено было великое будущее. Обратимся к нему.

Полибий

У Полибия был очень определенный взгляд на богов и религию. Он разделяет всех людей на мудрецов и толпу. Если бы все государство состояло из мудрецов, говорит он, в религии не было бы никакой нужды. Но поскольку есть еще толпа, мудрецы-законодатели придумали религию, дабы она служила уздой для черни, и пугали ее рассказами о богах и преисподней (*Polyb., VI, 56, 10—12*). Так Ликург, придумав полезные для государства законы, стал выдавать свои мысли за волю пифии и таким образом добился послушания народа (*ibid., X, 2, 11*). Поэтому религиозность и богобоязненность в человеке казались ему несомненным признаком того, что он принадлежит к глупцам и невеждам (*ibid., VI, 56, 7*)*.

---

* Представление это восходит к Евгемеру Безбожнику, учения которого Полибий во многом придерживался. Евгемер пишет: «Те, кто превосходил других силой и разумом, так что они принуждали всех повиноваться их приказаниям, стараясь добиться в отношении себя большего поклонения и почитания, сочинили, будто они владеют некой божественной силой» (*Sext. Adv. math., IX, 17*). Так он объяснял происхождение религии.

Между тем в рассказах о Публии Полибий то и дело встречался с сообщениями о религиозности великого полководца и о его постоянном общении с богами. Мог ли подобный человек быть глупцом, «одержимым чрезмерным богопочитанием»? Нет, конечно. Полибию было ясно, что он, напротив, мудрец. А значит, раз о нем ходят подобные рассказы, он поступал как мудрец, который использует религию, как узду для толпы. Вот почему, по мнению Полибия, Публий сам распускал о себе подобные слухи и заставил войско в них верить, чтобы в его руках оно стало послушным орудием*.

Проникшись подобным убеждением, Полибий решительно выступил против господствующей традиции. Но так как она была могущественна и веру в чудесные способности Сципиона разделяли все, Полибию требовалась очень серьезная аргументация, чтобы опровергнуть это всеобщее заблуждение. Он выдвигает сначала общие соображения: Публий был разумен и осмотрителен, всякое предприятие рассчитывал и вовсе не полагался на судьбу и богов (*ibid., X, 2—3*). Доказать же свою гипотезу он решил на двух примерах: эдилитете Публия и взятии Нового Карфагена. Почему из всех чудесных рассказов о великом полководце Полибий выбрал только эти два? Значит ли это, что ему не было известно других случаев?[23] Вовсе нет. Знал он явно больше. Но он разумно отобрал из всей массы сказочных историй только эти два случая, и вот почему. Первый рассказ показывает, как зародилась в голове у Публия, тогда еще совсем мальчика, впервые мысль морочить окружающих баснями о своих божественных видениях. И тогда же он впервые понял, какую это ему дает власть над людьми. Осада же Нового Карфагена должна показать, как Сципион сумел применить этот способ притворяться в серьезном деле. И потом, это самое знаменитое чудо Публия, самое неоспоримое. Если бы Полибию удалось объяснить его рационалистически, вера в божественность Сципиона могла бы дрогнуть. С другой стороны, он не смог бы заставить поверить в свою гипотезу, если бы не сумел объяснить чудо у Нового Карфагена. Последуем же за ним.

Что до эдилитета Сципиона, мы говорили о нем в другом месте. Поэтому скажу только, что если и есть в рассказе Полибия зерно истины — а я уже писала, что мне хотелось бы

---

* Замечательно, что тот же ход мыслей у него и по отношению к римскому государству в целом. Он говорит о большой религиозности римлян и замечает, что на первый взгляд это кажется чертой нелепой. «Но я думаю, что римляне имели в виду толпу», то есть их религиозность — такой же обман, как и религиозность Сципиона. Не думаю, чтобы кто-нибудь из римлян старшего поколения с ним согласился (*Polyb., VI, 56, 6—10*).

в это верить, — то, во всяком случае, не может этот рассказ объяснить, как Публий впервые начал говорить о своих видениях. Дело в том, что ему было тогда не восемнадцать, как думает Полибий, а двадцать три года, он неоднократно командовал армией, спас римское войско и уже прославился как любимец богов. Таким образом, здесь Полибий явно ошибся. Перейдем теперь к событиям у Нового Карфагена.

Отлив или Нептун?

Прежде чем писать о Новом Карфагене, Полибий, по его словам, изучил все досконально. Он читал труды своих предшественников, лично побывал на месте и, главное, беседовал с Гаем Лелием. И вот что он рассказывает.

План взятия Нового Карфагена родился у Публия Сципиона задолго до начала осады. Он обдумал его еще зимой, в Тарраконе. Он собрал все сведения о городе, его положении и укреплениях. Для этого он завел знакомство с рыбаками, которые часто плавали в Карфагенском заливе и в лагуне и потому хорошо знали эти места. От них он узнал, что каждый вечер в заливе бывает отлив и воды озера, соединенного с морем, естественно, тоже отходят. Это важное обстоятельство Публий скрыл от солдат. Он задумал воспользоваться отливом, но представить его как чудо, ниспосланное Нептуном.

С этими мыслями он вечером подошел к городу и поутру начал осаду. К вечеру по обыкновению начался отлив, но невежественные солдаты приписали это естественное явление вмешательству богов. Они без труда подошли по обмелевшему дну лагуны к стене, которую никто не охранял, так как «осажденные никогда и не воображали, что неприятель может подойти к стене со стороны озера». Так был взят город.

Рассказ Полибия очаровывает своей яркостью, живостью, логичностью, и можно согласиться с автором, что только глупцы и невежды не понимали, что произошло у лагуны Нового Карфагена в весенний день 209 года до н. э. И все историки, писавшие после Полибия, повторяли его слова и объяснения. Однако чем больше вдумываешься, тем страннее и загадочнее становится это событие, а объяснение Полибия выглядит все менее убедительным, возникает масса недоумений и в конце концов все происшедшее кажется еще темнее, чем было.

Первое. Если отлив повторялся ежедневно вечером, как могли осажденные оставить эту часть города без охраны? Чем объяснить такое легкомыслие? Тем более что, по словам самого Полибия, стены Карфагена почти неприступны со всех

остальных сторон, так что их можно было преодолеть только в этом одном месте, ибо карфагеняне считали воды лагуны естественным и самым надежным прикрытием. И как же, зная, что вода на некоторое время уйдет, они могли решиться оставить стену вовсе без защиты? А ведь им было известно, что Сципион провел в Иберии целую зиму, а значит, мог собрать некоторые сведения о городе и узнать про отлив. Кроме того, римляне пришли сюда накануне. Они могли собственными глазами увидеть этот самый отлив еще вчера вечером. Учитывая все это, граждане должны были неусыпно стеречь эту часть стены, когда лагуна мелела.

Второе. Публий, по словам Полибия, скрывал от римлян существование отлива, чтобы выдать его за чудо. Но как римляне могли приписать отход воды божеству, увидав еще накануне, что озеро вечером мелеет? Но пусть они даже пришли позже, чем мы думаем, и не видели его в тот день. Но мы знаем, что после взятия города римляне жили в нем до самой зимы. Флот проделывал военные упражнения возле этой самой лагуны. Как же Сципион допустил, чтобы его люди, которых он, согласно Полибию, хотел превратить в свое слепое орудие, ослепив верой в чудеса, как же он допустил, чтобы они целых полгода убеждались, чего же в действительности стоят его чудеса? Но самое замечательное, что это ни в чем их не убедило. Они, видимо, не верили своим собственным глазам и упорно держались за чудо, хотя каждый день это чудо, уже никому не нужное, повторялось. Более того, в чудо поверили не только невежественные солдаты, но и все. И неужели весь мир — греческие историки, римляне, карфагеняне были настолько глупы и слепы, что не знали отлива?!

Наконец, третье. Почему Публий начал атаку с раннего утра, зная, что лагуна мелеет вечером? Можно было отвлекать врага несколько часов, но не целый же день, да еще так настойчиво и энергично.

Итак, мы пришли к полной загадке. Рационализм Полибия потерпел крах при первой же попытке объяснить первое же чудо Сципиона. Э. Мейер, не меньший рационалист, вообще пытался отрицать отход воды. Но это не менее легкомысленный способ уйти от рациональности, чем полибиевский[24]. Вода ушла. Слишком многие авторы об этом сообщают. Вода ушла, но вот почему она ушла?

Прежде всего, бывает ли вообще отлив в Картахенском заливе? Оказывается, нет*. Отлива как такового не бывает, но сильный ветер может изменить уровень воды в заливе, а

* *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 55.

значит, и в соединенной с ним лагуне. Вот что известно о ветрах в этом районе: «Летом юго-западные ветры регулярны в Картахене; они поднимаются днем и дуют до заката, а зимой продолжаются всю ночь. В хорошую погоду они преобладают утром, обычно до восьми или девяти часов»*.

Но обычно ветер вызывает очень небольшое изменение уровня воды, всего на 1—1,5 фута (30—45 сантиметров)**. Вот почему жители города не обращали внимания на ветер. Но в тот день произошел совершенно необычный отход воды — такое случается, может быть, раз в столетие. Скаллард сравнивает это событие с тем, как замерз Сиваш во время Гражданской войны. Это было подобно внезапному извержению вулкана или землетрясению. Вот почему всем очевидцам это показалось чудом.

Полибий был лично на месте действия, слышал рассказы очевидцев. Насколько же всесильной была его концепция, если он наперекор всему превратил ветер в отлив и сделал его регулярным явлением! Интересно, что Ливий знает о ветре. «В добавление к отливу, — говорит он, — еще подул северный ветер и понес воду в том же направлении, что и отлив» (*Liv., XXVI, 45, 8*). Историк гораздо менее тщательный и объективный, гораздо менее тонкий и серьезный исследователь, он все же написал про ветер. А Полибий не написал. Почему? *Потому что ветер нельзя предвидеть.* Значит, опять чудо и иррациональность. Он знал, что отход воды был. Он знал, что Публий предвидел его заранее. Но предвидеть такой отход воды, какой был в лагуне, нельзя. Значит, рассудил Полибий, он был регулярным.

Полибий ошибся еще в одном. Отход воды случился, несомненно, не вечером, а в полдень. На это время указывают и Ливий, и Аппиан (*Liv., XXVI, 45, 8; App. Iber., 82*), и оно гораздо более согласуется с тем, что мы знаем о ветрах, дующих в заливе. Но почему Полибий перенес действия на вечер? Очевидно, он наблюдал как-то вечером в Картахенском заливе небольшой отлив. Дело в том, что небольшие отливы там все-таки есть, но идти в счет они не могут, так как длятся не более четверти часа, а уровень воды понижается всего на 30—40 сантиметров, да и то только в полнолуние***. Ко-

---

* *Mediterranean Pilot.* Цит. по кн.: *Haywood R. M.* Studies on Scipio Africanus. Baltimore, 1933. P. 39.

** *Mediterranean Pilot* I, 6, 68. Цит. по кн.: *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 55.

*** *Javregui J. J.* La conquista de Carthago Nova por Scipio y las mareas del Almajar // Cronica del IV Congreso argueologio del Sudeste Espanol, 1948. P. 404.

нечно, Полибий видел, что эти микроскопические отливы никак нельзя сравнить с великим отходом воды, бывшим при Сципионе. Из этого нового затруднения он вышел весьма хитроумно. Он пишет, что воды лагуны «на всем пространстве мелки и во многих местах проходимы вброд», а отлив «весьма значителен» (*Polyb., X, 8, 7*). Этим замечанием он окончательно все запутал. Только что он писал, что воды озера являются надежнейшей защитой города, что жители даже почли ненужным укреплять в этом месте стены, что они и мысли не допускали, что кто-нибудь подойдет к Карфагену с этой стороны, а тут оказывается, что речь идет просто о большой луже! Вот до чего всемогуща концепция!

Где же ключ от этой тайны? Напрасно станем мы искать его у последующих историков. Они лишь переписывали Полибия. Только Ливий решился добавить к несуществующему отливу реальный ветер. Между тем в распоряжении Полибия находились два ценнейших источника, возможно, способных поднять завесу над этой загадкой. Это два описания события, сделанные двумя главными его участниками; я имею в виду устный рассказ Гая Лелия и письмо Публия Сципиона к царю македонцев Филиппу с подробным изложением взятия Нового Карфагена. От этого нельзя не прийти в отчаяние. Как, в руках Полибия были подлинные записки Сципиона и он не привел их в своей истории! Может быть, одна из цитат письма решила бы все дело. Но, видимо, объяснения Публия показались Полибию слишком фантастичными и он остерегся их приводить. Поэтому из Полибия очень трудно понять, что же говорили Лелий и Сципион. Одно очевидно: оба решительно утверждали, что, когда войско подошло к Новому Карфагену, весь план был продуман до мельчайших деталей. «Все в этом предприятии было рассчитано заранее с величайшей точностью» (*Polyb., X, 6, 12*). Да ничего другого и предположить нельзя, зная характер Сципиона. Когда он задумал в Африке гораздо более простую операцию — поджог неприятельского лагеря, — он посылал туда соглядатая за соглядатаем, потом сличал их показания, затем еще советовался с местными жителями, прекрасно знавшими округу, и, только составив полный план лагеря, решился приступить к действиям (*Polyb., XIV, 3, 7*). В письме к Филиппу Публий говорил, что обдумал все и даже в случае неудачи не погубил бы войска, но утвердился бы на море (*Polyb., X, 8, 9*).

Но тут и есть главная загадка. Вот что удивительно, парадоксально — все в точности обдумано, все взвешено, но все расчеты зиждятся на из ряда вон выходящем явлении. Чудо

не в том, что вода отошла: это бывало, хоть и очень редко, но бывало. Чудо в том, что Сципион знал об этом *заранее*, предсказывал отход воды Лелию и говорил войскам о Нептуне. Как это возможно? Вот вопрос, который тревожит современную науку.

Хейвуд предлагает следующее объяснение*. Так как предвидеть заранее отход воды нельзя, то Публий не мог строить на нем свои расчеты. Он взял бы город и без него. Доказательств этому два. Во-первых, сила и продолжительность утренних атак римлян. Во-вторых, хотя Полибий это и скрывает тщательно, из других источников мы знаем, что римляне завладели стеной до отлива. Это Хейвуд выводит из того факта, что один солдат из флота получил стенной венок.

Однако эта гипотеза вызывает сильные сомнения. Если принять сообщения Аппиана и Ливия, время утренних атак сокращается до нескольких часов. Что до солдат, поднявшихся на стену, то дело обстояло несколько иначе. Два римлянина спорили, кто первый влез на стену. Один из них был из войска Лелия, другой — из отряда Сципиона. Так как истину узнать не удалось, то оба получили высшие награды. Это во всяком случае означает, что один человек влез на стену одновременно с теми, кто шел со стороны лагуны, а может быть, несколько позднее. Я полагаю, что и до этого некоторые смельчаки достигали стены, только, будучи одни среди врагов, они не могли там удержаться. Думаю, того человека спасла неожиданно подоспевшая могучая подмога. И Полибий ничуть не скрывает, что во время суматохи на стену влезли воины из основной армии (*Polyb., X, 15, 1—4*).

Кроме того, все это ничуть не проясняет того, как Сципион мог предсказать отход воды Лелию и солдатам и даже поставил 500 человек с лестницами у лагуны. Из этого затруднения Хейвуд выходит очень просто: он все отрицает. Сципион ничего не говорил ни о воде, ни о Нептуне. Почему же об этом рассказывал Полибию Лелий, а Филиппу сам Сципион? Оказывается, Лелий ничего такого Полибию не говорил, но дело в том, что Полибий никогда не мог его понять, ибо сам он был молодой грек, а Лелий — старый римлянин. Естественно, он перепутал все сообщения Лелия. Что же касается письма Сципиона, то в нем он мог выдумать все что угодно, лишь бы поднять себе цену в глазах Филиппа.

Очень странные утверждения. Как это Полибий не мог понять Лелия, когда на его рассказах он строит свое повество-

---

* *Haywood R. M.* Op. cit. P. 38—41.

вание? И оно ни у кого не вызывает сомнений. Все точно и достоверно, все ясно, кроме событий у Нового Карфагена. Видимо, Полибий перестал понимать Лелия только в этом одном месте. Тут вдруг сказалась разница возраста и национальности! А между тем Полибий в своих странствиях беседовал с такими разными людьми и всех отлично понимал. Не только с Лелием, он был знаком даже с Масиниссой и записывал его рассказы, хотя и был молодым греком, а тот — старым нумидийцем. Столь же маловероятно соображение о письме Публия. Нельзя же, в самом деле, объявлять злостными выдумками все, что есть в мире непонятного. Но предположим, Хейвуд прав и Сципион действительно готов был лгать как угодно, лишь бы расположить к себе македонца. Как бы он поступил в таком случае? Уж верно, постарался бы понять характер своего собеседника и корреспондента, а они, надо сказать, были знакомы, и римлянин понравился царю. Так вот, Филипп был не меньшим скептиком, чем сам Полибий. Публий не был бы тем тонким и умным собеседником, умевшим покорить любое сердце, если бы не понимал, с кем имеет дело. И неужели же он, чтобы поднять себя в глазах Филиппа, стал бы ему рассказывать сказки о своих предчувствиях, снах, Нептуне? А как иначе мог он объяснить, что знал заранее об отливе? Ведь если бы он, как Полибий, превратил отход воды в явление регулярное, уж конечно, историк с торжеством сообщил бы нам об этом. Мне кажется, если бы уж Публий начал лгать, он скорее ослепил бы Филиппа рассказами о каких-нибудь блестящих операциях, военных хитростях, покоривших ему город и без отлива.

Скаллард предлагает другую гипотезу. Отход воды был явлением нерегулярным, но Сципион знал, что иногда такое бывает, и мог надеяться, что это случится и на сей раз, хотя расчеты свои строил не только на отливе. У нас нет никаких оснований отрицать, что он видел во сне Нептуна, так как и он, и Лелий были воспитаны в духе глубокой религиозности и такими чувствами не играли. По-видимому, этот сон выражал его глубокое предчувствие, что море и особенно лагуна сыграют решающую роль во всей операции. Во время осады вода в озере действительно отошла. «Отход воды у Нового Карфагена можно считать чудом, счастливой случайностью, примером помощи Тюхе или Божественного Промысла в зависимости от личных взглядов каждого на смысл истории»*.

Таково, по-видимому, последнее слово современной науки.

---

* *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 54—59.

Разочаровавшись в объяснениях Полибия, мы естественно должны обратиться к тем версиям, которые существовали до него. Нам говорят, что Публия посещали видения. Что об этом известно? Если внимательно прислушаться ко всем этим рассказам, то можно заметить, что сам Сципион и все окружащие приписывали богам сам момент озарения. Весь план взятия Нового Карфагена был внушен ему явившимся во сне Нептуном (*Polyb., X, 11, 7*). Люди верили, говорит Полибий, что «все его планы складывались при участии божественного вдохновения» (*ibid., X, 2, 12*). «Все думали, что он все делал по внушению бога», — говорит Аппиан (*App. Iber., 88*). Он не предпринимал, по словам Ливия, ни одного сколько-нибудь важного дела, не испросив совета у бога. Для этого-то он один и запирался ночью в храме Юпитера (*Liv., XXVI, 19*).

Как бог являлся Сципиону? Это можно видеть из слов Полибия. Он пишет, что все считают, будто Публий поднял родное государство на такую высоту силой сновидений и вещих голосов (*Polyb., X, 2, 9*). И в другом месте: «Все воображали, что Публий беседует с богами не только во сне, но и наяву, днем» (*ibid., X, 5, 5*). И Ливий говорит о ночных видениях Сципиона (*Liv., XXVI, 41, 18*). По-видимому, Публий *видел* богов только во сне, а *слышал* наяву. Отсюда «вещие голоса». Из всех его снов мы знаем только один* — явление Нептуна. Что касается голосов, то некоторые сведения сообщает Аппиан.

Он рассказывает, что однажды в Иберии римляне попали в очень трудное положение. Нужно было дать битву, но неприятель настолько превосходил их числом, что полководец не мог на это решиться. В таких мучительных сомнениях прошло у них несколько дней. Вдруг Сципион явился к войску «с таким взглядом и осанкой, словно он снова был охвачен божественным вдохновением. Он сказал, что явился его даймон и позвал его на врагов» (*App. Iber., 101—102*). Об этом же даймоне мы читаем в другом месте: «Сципион внушил всем мнение, что прибыл по воле бога и обо всем получает советы от даймона» (*App. Lib., 25*). Когда же в 149 году до н. э., четверть века спустя после смерти Публия, его приемный внук Эмилиан начал совершать в Африке блистательные подвиги, старые воины стали поговаривать, «что ему

* Если не считать эпизода с эдилитетом. Между тем «сны Сципиона» были знамениты среди римлян. Стаций, автор I века н. э., пишет: «Так Сципионовым снам, что латинский навеял Юпитер, вера в народе была» (*Silvae, III, 291*).

помогает тот же даймон, который, как считали, предвещал его деду Сципиону, что должно случиться» (*ibid., 491*).

Это ценнейшие свидетельства. Из них мы можем сделать ряд важных выводов. Оказывается, у Публия был свой постоянный божественный дух. По-гречески его называли *δαιμόνιον*. Перед всеми важными событиями даймон давал Сципиону предсказания, причем Публий решался на опасные предприятия не ранее, чем услышит его голос. Не ему ли он обязан той необычайной уверенностью в успехе, которой так поражались современники? Далее, явление даймона было вселением бога: у Сципиона менялись лицо, голос, осанка.

Разумеется, сразу же вспоминается даймон Сократа. Он являлся в виде вещего голоса (*Plat. Apolog., 40 A—B*). Его знака Сократ ждал перед всеми важными событиями. Когда он в последний раз вышел из дома, направляясь в суд, он все время надеялся услышать голос даймона. Он ждал его в зале суда, ждал даже, когда произносил речь. «Ведь прежде, когда я что-нибудь говорил, он останавливал меня даже на полуслове». Но дух молчал. И Сократ понял, что он велит ему умереть (*ibid.*). Рассказывают о многих случаях поразительных пророчеств этого даймона. Например, однажды, когда афиняне были разбиты и бежали, Сократ пошел другой дорогой, чем все остальные, и единственный вернулся домой невредимым, а его товарищи наткнулись на врагов. На вопрос друзей, почему он не идет вместе с ними, он отвечал, что ему запрещает даймон. «Антипатор собрал очень много случаев, когда Сократ получал удивительные предсказания», — пишет Цицерон (*Cic. Div., I, 123*)[25].

Таким образом, даймон Сократа был также постоянно всю жизнь сопровождавшим его божественным голосом, в веления которого он твердо верил. Голос давал ему предсказания, как и Сципиону. Единственное, что отличало обоих духов — это то, что даймон Сократа только запрещал: «Он и сам говорит в книгах сократиков, что это было некое божество, которое он называет δαιμόνιον, которому он всегда повиновался, причем оно никогда не указывало, но часто запрещало» (*Cic. Div., I, 122*). Голос же Публия звал его на врагов. По свидетельству Ямблиха, даймон был и у Пифагора (*Vit. Pyth., 15*). Аммиан Марцеллин пишет, что даймонов могли видеть и беседовать с ними очень немногие: Пифагор, Сократ, царь Нума и Сципион Африканский (*Amm. Marc. XXI, 14*).

К поразительным пророчествам даймона нашего героя можно отнести один случай, происшедший со Сципионом в Испании некоторое время спустя после взятия Нового Кар-

фагена. О нем повествуют и Плутарх, и Валерий Максим, и Геллий (*Plut. Reg. et imper. apophegm., Scip. mai., 3; Val Max., III, B, 1; Gell. VII, I*). Привожу слова этого последнего: «Рассказы толпы о Сципионе (его чудесных связях с богами. — *Т. Б.)*, по-видимому, подтверждались и укреплялись его словами и поступками и многим удивительным, что его окружало. Вот, например, один рассказ. В Испании он осаждал город, сильный и укрепленный и местоположением, и стенами, и защитниками, богатый съестными припасами; захватить его не было никакой надежды. Однажды он творил суд, сидя в лагере, а с этого места хорошо виден был город. Кто-то из воинов, стоявших подле него, спросил по обычаю, какой день и место он назначает в следующий раз для явки в суд. И Сципион, протянув руку, указал на самый акрополь осажденного города и сказал:

— Послезавтра вы явитесь на суд вон туда.

Так и случилось. На третий день после того, как он назначил день суда, город был взят. В тот же день он творил суд в акрополе города».

Когда же дух стал впервые посещать Публия?

Полибий говорит, что слухи о его видениях начались после избрания его эдилом. А это событие случилось, по мнению историка, в 217 году до н. э., то есть когда Сципиону было около восемнадцати лет. Ливий же пишет, что это было несколько раньше, как только он надел тогу взрослого, значит, был шестнадцати лет (*Liv., XXVI, 19*). Именно с этого времени начались те таинственные посещения Капитолия, о которых мы неоднократно упоминали на страницах этой книги (*Gell., VII, 1; Val Max., I, 2, 2; Vir. illustr., 49; Liv., XXVI, 19; Dio., 56, 39; App. Iber., 89*)[26]. Что он делал в храме, кого видел и слышал, покрывало какой тайны приподнимал, об этом не знал никто. Однако известно, что боги изъявляли ему свою волю двумя способами: вещими голосами или сновидениями. Поэтому можно предположить, что либо Публий слышал в храме голос своего даймона, либо засыпал. Это согласуется с общим мнением античности о боговдохновенных людях. Цицерон пишет, что все древние считали, что души могут общаться с богом или во сне, или в состоянии экстаза (*Cic. Div., I, 4*). Напомню, что Стаций в приведенной выше цитате говорит, что сны Сципиона были навеяны Юпитером, то есть связаны с его храмом.

Итак, Сципион был человеком, близко соприкасавшимся с мирами иными, человеком, которого посещали видения. Естественно спросить себя, какова же была природа этих видений. XIX век не слишком затруднял себя этим во-

просом. Подобно Полибию, тогдашние ученые считали всех, о ком рассказывали такие вещи, либо ловкими мошенниками, либо сумасшедшими. Публия, разумеется, относили к разряду первых. Вот, например, как пишет о нем Моммзен: «Сципион был не настолько простодушен, чтобы разделять слепую веру толпы в свое ниспосланное свыше вдохновение, и не настолько прямодушен, чтобы это опровергать»*.

XX век уже не может разделять этой счастливой уверенности. Религиозность уже не кажется нам непременно либо лицемерием, либо тупостью. Поэтому современные ученые относятся с доверием к рассказам о видениях Сципиона и видят в них признак натуры экзальтированно-мистической. Особенно определенно высказал эту точку зрения Халльвард, назвавший Публия искренним, вдохновенным фанатиком, проводившим ночи в бдениях, в долгих, страстных молитвах. Мюнцер считает и мать Сципиона женщиной до крайности экзальтированной, подверженной болезненным видениям. Змей, появившийся в ее постели, был плодом ее разгоряченного воображения. Свои видения она рассказывала сыну, что глубоко повлияло на его впечатлительную, склонную к мистицизму душу. Мистиком называет Публия в своей первой работе и Скаллард. В последней книге он более осторожно говорит, что Сципион был глубоко религиозным человеком, но не обязательно мистиком.

Само слово «мистик» несколько неопределенно. Под ним, собственно, можно понимать все что угодно. Но образ, нарисованный Халльвардом, как-то мало согласуется со всем, что мы знаем о Сципионе. С другой стороны, был же даймон у Сократа, но никто, вероятно, не станет представлять этого мудрого и лукавого собеседника Федра и Алкивиада истовым фанатиком, проводившим ночи в бдениях и молитвах. Точно так же нет у нас никаких данных, чтобы превратить почтенную и набожную матрону, какой рисует Помпонию Полибий, в исступленную духовидицу. Ни один источник не содержит ни малейшего намека на это. Мюнцер ссылается на рассказ о змее. Но, во-первых, неизвестно, знала ли эту легенду сама Помпония. Кроме того, эта история, если даже принять ее на веру, ничего не говорит о видениях самой Помпонии. Ведь она не видела змея. Он появился, когда она спала, и его заметили домашние, вошедшие к ней в спальню. Когда они закричали и женщина проснулась, змей исчез. Так что одержимыми нужно счесть уж скорее домочадцев и слуг Сципиона, а вовсе не его мать.

---

* *Моммзен Т.* История Рима. Т. I. М., 1936. С. 596.

Все эти домыслы основаны на представлении, что в контакты с иными мирами могут вступить только фанатичные пророки. Между тем уже приводимый пример Сократа показывает, что это не так. Мы знаем группу людей, которые находятся в постоянном контакте с демонами и богами. Это поэты. Об этом говорили чуть ли не все поэты, особенно ясно и подробно А. Блок. Он утверждает, что поэты черпают вдохновение из постоянного общения с «мирами иными». Рассказывая о странствиях художника по этим мирам, он пишет:

«Реальность, описанная мною, — единственная, которая для меня дает смысл жизни, миру и искусству. Либо существуют те миры, либо нет. Для тех, кто скажет "нет", мы останемся просто "так себе декадентами", сочинителями невиданных ощущений... За себя лично я могу сказать, что если у меня и была когда-нибудь, то окончательно пропала охота убеждать кого-то в существовании того, что находится дальше и выше меня самого; осмелюсь прибавить кстати, что я покорнейше просил бы не тратить времени на непонимание моих стихов почтеннейшую публику, ибо стихи мои суть только подробное и последовательное описание того, о чем я говорю в этой статье»*.

Более того. Поэт является единственным посредником между теми мирами и нами:

«Иных средств, кроме искусства, мы пока не имеем. Художники, как вестники древних трагедий, приходят оттуда к нам, в размеренную жизнь, с печатью безумия и рока на лице»**.

Об этом же говорит Гофман. Он сравнивает поэта с птицей. Только на ее крыльях мы можем перелететь через пропасть, отделяющую нас от иного мира***. «Искусство, — говорит он, — это посредник между нами и вечной Вселенной»****.

Поэт постоянно слышит звуки тех миров, а иногда и видит пришельцев оттуда.

«На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир»*****.

---

* *Блок А.* О современном состоянии русского символизма.
** *Блок А.* Памяти Врубеля.
*** *Гофман Э. Т. А.* Поэт и композитор.
**** *Гофман Э. Т. А.* Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца.
***** *Блок А.* О назначении поэта.

Сильно ошибется тот, кто примет описываемые Блоком звуки за некую аллегорию. Поэт и правда слышал звуки. Во время написания «Двенадцати» он слышал страшный шум.

Он записывает:

«Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь... Сегодня я — гений».

После этого он неожиданно оглох. На вопрос, почему он больше не пишет, он отвечал:

«Новых звуков давно уже не слышно... Было бы кощунственно и лживо напоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве»*.

Поразительные звуки слышал, по преданию, также Пифагор. Он единственный из смертных слышал «эфирные космические созвучия», «гармонию мироздания», то есть музыку сфер — «космические звучания из самого источника и корня природы» (*Jambl. Vit. Pyth., 15*). Иными словами, те звуки, о которых говорит Блок. Своим ученикам он пытался передать эти звуки в напевах лиры. Словом, поэты слышат звуки пространства, для нас пустого.

Но каким все-таки путем поэты могут слышать и видеть то, что не доступно обычным человеческим чувствам? Все они согласно утверждают, что в повседневной жизни они вполне обычные люди. Но вдруг на них «находит»:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

«Потому что легкое существо поэт, и крылатое, и священное, и творить он способен не прежде, чем станет боговдохновенным и исступленным и потеряет присутствие ума; пока владеет умом, никакой человек не способен творить и прорицать... Бог, отнимая у них ум, употребляет их себе в служители», — пишет Платон (*Ion., 534 B-E*). Почему же поэт может творить, только лишившись рассудка? Потому, отвечает Платон, что тогда в него вселяется бог и говорит его

* *Чуковский К.* Александр Блок.

устами. «Поэты не что иное, как толмачи богов, одержимые тем, в чьей власти находятся» (*ibid.*).

Это подтверждают почти все поэты. «Состояние творчества есть состояние наваждения... Что-то, кто-то в тебя вселяется», — говорит Цветаева. В другом месте она пишет, что никакой собственной воли у поэта нет, ибо он «во власти... демона». Или еще описание: «В человека вселился демон... Почему из всех, кто ходит по улицам Москвы и Парижа, именно на меня находит, и внешне так находит, что пены у рта нет, на ровном месте не падаю, что ни в больницу, ни в участок не заберут»*. То есть вселение даймона Цветаева сравнивает с эпилептическим припадком. Пушкин также момент вдохновения называет вселением Бога и описывает его так:

«Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога... Лицо его страшно побледнело, он затрясся, как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукой черные свои волосы, отер высокое чело, покрытое каплями пота».

Здесь сказано просто «Бог». Но поэты часто указывают на собственных демонов — Муз. Платон пишет: «Один поэт зависит от одной Музы, другой — от другой. Зависимость же эту мы называем одержимостью» (*Ion., 536 A*).

«Душа всякого художника полна демонов... Доверить же себя мы можем только тому художнику, у которого кроме демонов есть в душе единственное δαιμόνιον, таинственный внутренний голос, который позволял Сократу безошибочно различать добро и зло. Этот внутренний голос руководил величайшими мудрецами Юга, древним Платоном, созерцателем Идей, и средневековым Дантом, мрачным любовником небесной Беатриче»**.

Здесь поразительно, что Блок также называет музу поэта именем даймон. Сообщают, что Пифагор слышал музыку сфер тоже «при помощи некого несказанного и непредставимого даймона» (*Iambl. Vit. Pyth., 15*).

Сразу бросается в глаза разительное сходство между образом поэта и Сципиона. Поэты не проводят ночи в посте и молитвах. Напротив, в обычной жизни они зачастую «гуляки праздные», как пушкинский Моцарт. Но лишь они услышат голос даймона, как становятся боговдохновенными пророками. Само лицо их, голос и осанка меняются, как у Публия. Но можем ли мы называть поэтом человека, не написавшего ни строчки? Блок говорит, что поэт — это не тот, кто пишет стихи. Напротив, пишет он стихи именно пото-

---

* *Цветаева М.* Искусство при свете совести.

** *Блок А.* Генрик Ибсен.

му, что он поэт. Поэт тот, кто приобщается к звуковой стихии вселенной*. И в этом смысле Сципион, и Сократ, и Пифагор были поэтами.

К Публию Сципиону и относились как к поэту, а не как к пророку, ибо пророков почитают, поэтов же зачастую презирают, как людей непонятных и вредных. На Публия многие смотрели как на фантазера, полного странных бредней. В этом смысле говорит Аппиан, утверждающий, что он и сам верил своим странным вымыслам и «всю жизнь сочинял о себе сказки» (*App., Iber., 88*). Видимо, мы должны поверить этому сообщению, так как и Полибий с Ливием подтверждают, что Публий рассказывал о себе чудесные вещи; только они не осуждают его, как Аппиан, ибо видят в его поведении весьма определенный политический смысл. А Ливий прибавляет, что Публий любил себя окружать ореолом таинственности.

Кто знает? Может быть, следует представлять Сципиона похожим на тех таинственных людей, происходящих из страны неведомой и лучезарной, этих изгнанных из Атлантиды саламандров или Просперов Альпанусов, здесь на земле кажущихся удивительными чудаками, которых так любил выводить в своих сказках Гофман. Сидя в кругу бюргеров за кружкой пива, пуская из своей трубки колечки дыма, они на вопрос о своей родне с невозмутимым и непроницаемым видом рассказывают чудесную историю о царице Лилии и юноше Фосфоре.

— Помилуйте, почтеннейший, — слышится со всех сторон, — это же какая-то странная аллегория, а мы вас просили рассказать что-нибудь о себе, притом что-нибудь достоверное.

«— Так что же?.. То, что я вам сейчас рассказал, и есть самое достоверное из всего, что я вам могу предложить, добрые люди, и в известном смысле оно относится и к моей жизни, ибо я происхожу именно из той долины и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя прапрапрабабушка, так что я сам, собственно говоря, принц... Но если бы я знал, что любовная история, которой я обязан своим происхождением, так мало вам понравится, я бы сообщил вам скорее кое-какие новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении.

— Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он? Где он живет? Также на королевской службе или он, может быть, приватный ученый? — раздавались со всех сторон вопросы.

---

* *Блок А.* О назначении поэта.

— Нет, — отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак, — он стал на дурную дорогу и пошел в драконы...

— «В драконы», — раздалось отовсюду точно эхо.

— Да, в драконы, — продолжал архивариус Линдгорст, — это он сделал, собственно, с отчаяния. Вы знаете, господа, что мой отец умер очень недавно — всего триста восемьдесят пять лет тому назад, так что я еще ношу траур; он завещал мне как своему любимцу роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату, мы и поспорили об этом у гроба отца самым непристойным образом, так что наконец покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел в драконы. Теперь он живет в кипарисовом лесу около Туниса, где он стережет знаменитый мистический карбункул от одного некроманта, живущего на даче в Лапландии, и ему можно отлучаться разве только на какие-нибудь четверть часа, когда некромант занимается в саду грядками, саламандрами, и тут-то он спешит рассказать мне, что нового у истоков Нила».

Как знать. Мне представляется, что Публий вот так же дразнил величественных отцов подобного рода рассказами, так что они не знали уже, что и подумать об этом человеке. Так же и последующие ученые в недоумении качают головами, не зная, что о нем подумать.

В Новом Карфагене

Сципион взял Новый Карфаген штурмом, и теперь свобода граждан и самая их жизнь находились в его руках. Жители, зная взаимную ненависть римлян и карфагенян, не ждали для себя ничего хорошего. Поэтому, когда римский военачальник собрал их всех на площади, они трепетали от страха. Население состояло из граждан, по происхождению финикийцев, и ремесленников, бывших государственными рабами. Гражданам, их женам и детям Публий объявил полную свободу, посоветовав в благодарность стать друзьями Рима. Свой восторг они выразили на восточный лад — разразились громкими воплями и пали ниц перед юным полководцем. Тогда Сципион обратился к государственным рабам. «Ремесленникам он сказал, что теперь они станут собственностью Рима, но прибавил, что в случае благополучного исхода войны с карфагенянами каждый, кто в своем ремесле докажет любовь к римлянам и усердие, получит свободу. Тут же он приказал им записаться у квестора и назначил им на-

чальников из римлян, по одному на тридцать человек». Самых молодых и сильных он назначил моряками. Им он также обещал свободу по окончании войны. «Таким обращением с военнопленными Публий сумел внушить гражданам доверие и любовь к нему самому и к государству, а ремесленников поощрял к усердию в работе надеждой на освобождение» (*Polyb., X, 17, 6—16*).

Любовь и доверие жителей Нового Карфагена к Публию через несколько лет подверглись серьезному испытанию. Когда три года спустя Магон, брат Ганнибала, в отсутствие римского военачальника подошел к стенам города и потребовал открыть ему ворота как союзнику и соплеменнику, карфагеняне наотрез отказались. Их восхищение Сципионом дошло до того, что они стали чеканить монету с его изображением.

Теперь Публию предстояло заняться испанскими заложниками. Заложники эти появились в Новом Карфагене недавно. Дело в том, что отношения пунийцев с иберами резко изменились после гибели Сципионов. До этого карфагенские вожди всячески стремились снискать их дружбу. Но, сделавшись бесспорными владыками Иберии, стали вести себя грубо и нагло. «Один из вождей, Газдрубал, сын Гескона, в ослеплении властью унизился до того, что дерзнул требовать большую сумму денег от вернейшего из карфагенских друзей в Иберии, Андобалы, задолго до того потерявшего власть из-за карфагенян и только недавно снова восстановленного в награду за верность им. Когда Андобала, полагаясь на преданность свою карфагенянам, отказал, Газдрубал возбудил против него ложное обвинение и принудил выдать в заложники своих дочерей» (*Polyb., IX, 11, 3*). Точно так же обошлись пунийцы и с другими иберийскими вождями, ибо «они одолели своих врагов, но не могли совладать с собой», говорит Полибий, причиной же тому были «алчность и властолюбие, от природы присущие финикийцам» (*Polyb., IX, 11, 1—2*). «Много уже было подобных случаев... Гораздо больше найдется победоносных полководцев, чем таких вождей, которые умели бы пользоваться победой. Так случилось теперь с карфагенянами. После победы над римскими войсками и после убийства обоих римских полководцев... они вообразили, что господство над Иберией их нерушимо, стали высокомерно обращаться с туземцами, благодаря чему приобрели в покоренных народах не друзей и союзников, но врагов. Иначе и быть не могло» (*Polyb., X, 36, 1—4*).

Эти заложники — жены и дети испанских князьков — были собраны в Новом Карфагене, и случай теперь отдал их в руки Публия Сципиона. Вся эта толпа, человек около

трехсот, робко жалась у дверей. «Публий приказал их позвать... Детей он подзывал к себе по одному, ласкал их и просил ничего не опасаться, так как, говорил он, через несколько дней они снова увидят своих родителей. Что касается остальных, то всем им он предлагал успокоиться и написать родным прежде всего о том, что они живы и благополучны, потом, что римляне желают отпустить всех невредимыми по домам, если только их родные вступят в союз с римлянами. С этими словами он наделил их довольно ценными подарками, приличными возрасту и полу каждого: девушкам он раздавал серьги и запястья, а юношам кинжалы и мечи. В числе пленных женщин находилась и супруга Мандония, брата Андобалы, царя илиргетов. Когда она упала к ногам Публия и со слезами просила поступать с ними милостивее, чем поступали карфагеняне, он был растроган этой просьбой и спросил, что им нужно. Просящая была женщина пожилая и на вид знатного происхождения. Она не отвечала ни слова. Тогда Публий позвал людей, на которых возложен был уход за женщинами. Те пришли и заявили, что доставляют женщинам все нужное в изобилии. Просящая снова, как прежде, коснулась колена Публия и повторила те же слова. Недоумение Публия возросло, и, решив, что досмотрщики не исполняли своих обязанностей и теперь показали ложно, он просил женщин успокоиться. Для ухода за ними он назначил других людей, которые обязаны были заботиться о том, чтобы женщины ни в чем не терпели недостатка. Тогда просящая после некоторого молчания сказала:

— Неправильно, военачальник, понял ты нашу речь, если думаешь, что просьба наша касается еды.

Теперь Публий угадал мысли женщины и не мог удержаться от слез при виде юных дочерей Андобалы и многих других владык, потому что женщина в немногих словах дала почувствовать их тяжелую долю. Очевидно, Публий понял сказанное; он взял женщину за правую руку и просил ее и прочих женщин успокоиться, обещая заботиться о них, как о родных сестрах и дочерях, и, согласно данному обещанию, вверил уход за ними людям надежным» (*Polyb., X, 18, 3—15*).

Во время взятия Нового Карфагена в руки римских солдат попала девушка-испанка, поразительная красавица. Зная, как любит Публий женщин, воины решили подарить ему пленницу. По жестоким законам войны она должна была стать его рабыней. Но Сципион не признал этих законов. Он ласково поблагодарил солдат, но от дара отказался. Он приказал немедленно отыскать родителей красавицы и передал им их дочь с рук на руки (*Polyb., X, 19, 3—7*). К этому про-

стому рассказу, сообщаемому Полибием, Ливий прибавляет несколько красочных подробностей. Он говорит, что, в то время как римский военачальник отправил людей искать родителей своей прелестной пленницы, в лагерь его ворвался юноша — жених красавицы, страстно ее любивший. Приход его очень обрадовал Публия, которому, по его словам, гораздо легче было объясниться с ровесником, чем со стариком. Он увлек юношу в свою палатку и будто бы сказал, что ослеплен красотой его невесты и если бы не суровый долг перед родиной, он всецело отдался бы этой страсти. Но это невозможно. А потому ему остается только одно: сделать все для счастья ее с женихом. И он вручил юноше его невесту. В этот момент появились родители и родичи с богатым выкупом. Публий наотрез отказался взять хоть что-нибудь, но они настаивали и наконец сложили дары к его ногам. Тогда римский военачальник взял молодого испанца за руку, указал глазами на золото у своих ног и с улыбкой сказал: «Пусть это будет моим свадебным подарком». Молодой человек был поражен до глубины души. Он всюду твердил, что стратег римлян — юноша, совершенно подобный богам, который все покоряет оружием, а еще больше — добротой. После свадьбы он поспешил набрать отряд и явился к Сципиону (*Liv., XXVI, 50*). Это и есть «великодушие Сципиона», которое так любили изображать художники Возрождения.

Публий созвал всех воинов и щедро осыпал их похвалами и дарами. И особенно Лелия. Он во всеуслышание объявил, что Лелий сделал для взятия города не меньше его самого, наградил золотым венком и подарил 30 быков. Этих последних Гай Лелий немедленно употребил по назначению, а именно приказал зажарить. Моряки устроили роскошный пир, на который пригласили сухопутное войско, и оба друга вполне отдались веселью, свойственному их возрасту и характеру (*Liv., XXVI, 48*).

Мастерская войны

Публий записал в моряки многих местных жителей и тем самым в полтора раза увеличил свое войско. Все деньги, взятые из государственной казны Нового Карфагена, он передал квестору. Вместе с взятыми из Рима деньгами это составило около тысячи талантов. Затем он украсил один из боевых кораблей оружием и другими трофеями и отправил его в Рим с радостной вестью. «Ибо римский народ потерял уже всякую надежду на успех в Иберии, и потому Публий ясно со-

знавал, что с получением известий они снова воспрянут духом и с удвоенным старанием и рвением займутся войной» (*Polyb., X, 19, 9*). Вестником победы он отправил Гая Лелия.

Сам Сципион пока оставался в Новом Карфагене. Эта неприступная крепость с прекрасной гаванью как нельзя лучше подходила для его замыслов. Целые дни он посвящал тренировке армии и флота. В первый день воины должны были пробегать 30 стадий (около 5,5 километра) в полном вооружении, на другой день — чистить и чинить оружие и выставлять его для осмотра перед палатками, на третий — отдыхать и развлекаться, на четвертый — сражаться друг с другом деревянными мечами и копьями. На пятый все начиналось сначала. Моряки между тем упражнялись в гребле и устраивали потешные сражения. Оружие для битв и игр изготавливали карфагенские ремесленники. «Публий строжайше им внушал, чтобы вооружение воинов было в полной исправности как для упражнений, так и для настоящей войны». Он сам ежедневно их обходил и проверял их работу. Таким образом, говорит Полибий, ежедневно сухопутные войска упражнялись, корабли схватывались друг с другом, ремесленники неутомимо ковали оружие, — словом, город превратился в настоящую мастерскую войны (*Polyb., X, 20, 1—7*). «Вождь поспевал всюду со своей неусыпной деятельностью. То он был на судах и смотрел на эволюции флота, то присутствовал при маневрах легионов, то посвящал время осмотру работ; он поспевал и в мастерские, и в арсенал, и в верфи» (*Liv., XXVI, 51*).

Эти упражнения были частью той великой военной реформы, которую провел в тот год Сципион. «С ее помощью выиграна была война, и она поставила его самого в ряды величайших полководцев мира»*. Скаллард пишет: «Римская армия, которая по традиции строилась в три линии, имела два главных недостатка. Она полагалась главным образом на свою массу и... не могла легко поворачивать, поэтому более маневренная армия могла обойти ее с флангов и окружить, что и случилось при Каннах. Во-вторых, разная степень тренировки у отдельных воинов мешала независимым действиям составляющих частей армии; она могла действовать только в целом»**.

Соответственно с этим Публий, во-первых, отказался от деления войска на три линии, вместо того он ввел маневренные манипулы. Каждая из них была самостоятельной

---

* *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 65. У Скалларда я заимствую всю концепцию реформы Сципиона.

** Ibid. P. 74.

единицей. Во-вторых, он начал тренировать войско по новой системе. Отныне всякий воин годился для любого боя: он мог сражаться и конным, и пешим, и мечом, и дротиком. «Каждый римлянин... приготовлен в одинаковой мере для всякого места, времени и для всякой неожиданности. Точно так же он с одинаковой охотой готов идти в сражение, ведется ли оно всей массой войска разом или даже отдельными воинами» (*Polyb., XIII, 32, 10—12*). «Трудно поэтому бороться с римским солдатом и трудно одолеть его» (*ibid., XV, 15, 8*).

Говоря о военных методах Сципиона, нельзя обойти молчанием одно немаловажное обстоятельство. Я имею в виду его отношение к воинской дисциплине. Дело в том, что его политические противники постоянно обвиняли Сципиона в ее нарушении. Это обвинение буквально преследует Публия, куда бы он ни поехал. Его называют погубителем римской дисциплины и даже человеком, не знающим, что это такое. К сожалению, ни один обвинитель не пожелал объясниться подробно и привести какие-нибудь конкретные факты. И все-таки что-то за этим обвинением, безусловно, кроется, иначе его не повторяли бы так настойчиво. Прежде всего, необходимо напомнить, что дисциплина в римской армии была всегда страшно суровой и требовала абсолютного повиновения от воина и офицера. Легендарный рассказ о полководце Манлии, казнившем родного сына, который выиграл битву вопреки его приказу, дал название этой дисциплине: она называлась манлиевой (*disciplina manliana*).

В чем же поведение Публия не соответствовало римским обычаям? Полибий постоянно подчеркивает его особую ласковость и приветливость к воинам, другие авторы говорят, что он осыпал их подарками, позволял веселиться (*Liv., XXIX, 19; Plut. Cat. mai., 3*). И все без исключения рисуют его человеком доброжелательным и милосердным, у которого всегда можно вымолить прощение. Говорят даже, что он вообще от природы был не склонен карать чужие грехи (*Liv., XXIX, 21*). Естественно предположить, что такой человек не мог быть к воинам чересчур суровым и склонен был снисходительно смотреть на их проступки.

Надо заметить, что римский полководец был и духовным вождем своего войска, и старался сохранить в чистоте римские нравы. Эмилиан обходил солдат и если находил слишком дорогую посуду, разбивал ее собственными руками. Представить себе нашего Сципиона, бьющего дорогие чаши воинов, совершенно невозможно. Впоследствии, будучи цензором, он не сделал ни одного замечания ни одному из сограждан. Мог ли он строго следить за грехами своих воинов?!

Все это могло казаться некоторым современникам Публия странным и даже возмущать их. Но враги Публия говорили также, что он ведет себя не как римский полководец, а как надменный царь. Как понять это обвинение? Дело в том, что римский консул или другой любой военачальник выполнял лишь приказы сената и римского народа. Но Публий Сципион *ни разу* не делал того, что было ему поручено. Вот и сейчас он должен был стоять на границах и охранять подступы в Италию. А он взялся за завоевание страны. Он не только не слушал указаний сената, но даже не удостаивал отцов объяснений по поводу своего образа действий. Военный совет, состоявший из всех офицеров и легатов, никак не мог его контролировать: ведь никто даже за час не знал, что полководец намерен предпринять. Как бы то ни было, эти обвинения сыграли роковую роль в жизни Сципиона.

Когда Публий убедился, что войско его прекрасно подготовлено к бою, он оставил Новый Карфаген и отправился зимовать в Тарракон.

Публий Сципион против Газдрубала Баркида. 208 год до н. э.

Карфагенские вожди были все еще ошеломлены взятием Нового Карфагена. Сначала они не хотели верить собственным ушам, но вскоре истина открылась перед ними во всем своем ужасе. За несколько часов новый военачальник римлян все перевернул в Испании: теперь у него, а не у карфагенян были неприступная крепость с портом, сокровища со всей Иберии и, главное, заложники от всех местных вождей. Более всех беспокоило это Газдрубала, второго сына великого Гамилькара Барки. Он хотел бы получше узнать молодого полководца, но Публий пронесся по Иберии, как некий дух, и стремительно исчез в Тарраконе. Все происходящее можно было принять за кошмарный сон. Но последствия взятия Карфагена не замедлили сказаться: иберы, давно тайно ненавидевшие пунийцев, но связанные по рукам и по ногам тем, что отдали в заложники своих близких, теперь воспрянули духом. А рыцарское благородство и великодушие Публия, его чудесные подвиги и волшебные видения совершенно вскружили голову варварам. «Романтическая личность Сципиона разожгла воображение туземцев», — говорит Скаллард*. Самым смелым оказался Эдекон, царь эдетанов. Он

* *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 68.

не стал ждать весны и со всеми своими родными явился в Тарракон к Публию.

Ибер произнес пышную речь. Все испанцы, сказал он, порабощены карфагенянами, руки свои, однако, они протягивают к одному Публию. И он счастлив, что первым пришел к римлянину. А потому он просит немедленно отдать ему жену и детей, а уж он сумеет доказать свою благодарность. Публий и сам собирался это сделать, а потому тотчас же привел их и передал варвару из рук в руки. Потом они еще долго сидели все вместе, и Публий приложил все свое искусство, все свое неотразимое обаяние, чтобы очаровать царя и его семейство и внушить им самые светлые надежды на будущее. Он достиг своей цели. Ибер и его друзья пришли в восторг от Сципиона. Их рассказы быстро дошли до соседних племен, и «иберы, живущие по эту сторону реки Ибера, ранее не питавшие дружбы к римлянам, все как один перешли на их сторону. Таким образом все шло прекрасно, как того желал Публий» (*Polyb., X, 34—35, 1—4*).

Никакая сила не могла теперь удержать иберов в лагере Газдрубала. Его войско начало таять, как снег на солнце. В одну ночь исчезли Андобала и Мандоний. Не приходилось гадать, где они. Конечно же бежали к Сципиону. Почва начала уходить у Газдрубала из-под ног.

А Публий меж тем все еще медлил в Тарраконе. Он ждал Лелия, без которого ничего не хотел предпринимать. Но вот наконец Гай прибыл и Публий покинул Тарракон. Была ранняя весна. «На пути иберы радостно встречали его и спешили присоединиться к его войскам» (*Polyb., X, 37, 6*). Когда же они достигли гористых склонов, укрепленных самой суровой природой этого края, перед ним предстал Андобала, окруженный многочисленной свитой. Вождь иберов подошел к римлянину и заговорил с ним. Он осыпал карфагенян упреками и проклятиями, перечислял все услуги, оказанные им этим вероломным людям, а потом рассказал, как они его отблагодарили. Публий ответил, что верит ему, ибо наглость карфагенян ему хорошо известна, особенно возмутительно их поведение с женами и дочерьми испанских владык. Теперь он получил этих женщин не как заложниц, но как военнопленных и рабынь, но заботится о них не меньше, чем это сделали бы их родители. При этих словах Андобала и его спутники пали пред ним ниц, называя его царем. Публий, по словам Лелия, смутился и просил их успокоиться, ибо римляне, сказал он, отнесутся к ним с большим участием.

В это время Газдрубал Баркид пребывал в тяжких сомнениях. Теперь с уходом иберов численное преимущество было на стороне врагов. Сципион мог явиться с минуты на минуту. Наконец он решил отойти в труднопроходимые горы и дать битву.

Место — называлось оно Бекула — выбрано было так, что лагерь карфагенян превратился в настоящую крепость, напоминавшую гнездо горного орла. Сзади их защищала река, спереди — высокая гряда холмов. Лагерь был на самой вершине горы; она круто обрывалась вниз, ниже была вторая терраса, окруженная такими же крутыми отвесными обрывами. На нижней террасе расположились нумидийская конница, легковооруженные балеарские стрелки и африканцы.

Публий два дня простоял в раздумье перед каменной твердыней Газдрубала. Дольше ждать он не мог: каждую минуту могли появиться другие карфагенские войска. На третий день план у него был уже готов. Заметив, что воины со смущением и беспокойством смотрят на отвесные утесы и головокружительные обрывы, он весело воскликнул, что глупо сделали пунийцы, взобравшись так высоко, ибо он запрет здесь врагу всякий путь к спасению. Было только два выхода из ущелья, где укрепился Газдрубал. Публий послал вперед экстраординариев* и метателей дротиков, приказав им занять оба эти прохода. Сам же он стремительно повел легковооруженных воинов против врагов, стоявших на нижней террасе. Подъем был очень тяжел. Приходилось преодолевать обрывы и лезть почти по отвесной крутизне, а сверху непрерывно сыпались стрелы и камни. «Но их твердость духа и умение брать города преодолели все» (*Ливий*).

Достигнув первой террасы, они обрушились на балеарцев и африканцев. Те не устояли, были смяты и бежали к лагерю. Не дав им времени опомниться, Публий двинул против них все легкие отряды; остальное войско разделил на две части — половину взял сам, половину дал Гаю Лелию. Он стал обходить холм с левой стороны, пока не нашел более или менее доступный подъем. Быстро преодолев его, он ударил по врагу с фланга. Одновременно с правого фланга ударил Лелий, поднявшийся с другой стороны. Все это произошло так быстро, что Газдрубал не смог приготовиться. «Он оставался на месте в том убеждении, что достаточно защищен самим местоположением и неприятель не отважится напасть на него» (*Полибий*). В результате он даже не успел построиться к бою, а римляне уже напали на него со всех сторон.

---

* Так назывались отборные части римского войска.

Карфагеняне были в смятении, и бежать было некуда: как и предсказал Сципион, он запер их в неприступном ущелье — они оказались в ловушке. Видя это, Газдрубал немедленно бросил войско на произвол судьбы и бежал, остальные тщетно метались по холму: исход битвы был плачевен для пунийцев: 8 тысяч они потеряли убитыми, 12 тысяч — пленными. Это составляло около двух третей войска Газдрубала (*Polyb., X, 38, 7—39; Liv., XXVII, 18*).

Разбив Газдрубала, Публий тут же занял его лагерь. Едва он успел это сделать, как появились Магон и Газдрубал, сын Гескона, со своими армиями. Но увидав, какую позицию занял римлянин, они молча постояли у подножия горы и удалились.

Многие советовали Публию немедленно гнаться за Газдрубалом. Но военачальник римлян отверг этот план (*Polyb., X, 10, 11; Liv., XXVII, 20*)*. Захватив лагерь Газдрубала, Сципион всю добычу раздал воинам (*Liv., XXVII, 19*). Что до пленных, то всех испанцев он тотчас же отпустил без выкупа. Это вызвало бурю восторга: иберы — его союзники и вновь обретшие свободу пленники — кинулись к нему, толпой окружили, осыпая словами самой горячей благодарности. И все без исключения величали его теперь царем. И ранее Публий пытался их останавливать, теперь же он вынужден был обратить на это серьезное внимание. «Собравши иберов, он объявил, что хотя и желал бы казаться для всех и быть на самом деле человеком с царской душой, но не желает ни быть царем, ни именоваться таковым и посоветовал называть его военачальником» (*Polyb., X, 40, 2—5;* ср.: *Liv., XXVII, 19*). «Разумеется, и за это уже по всей справедливости можно было бы дивиться благородству этого человека. В юном возрасте он был превознесен судьбой на такую высоту, что все покоренные народы сами собой пришли к одинаковому решению называть его царем; невзирая на это он совладал с собой и отверг почетное выражение восторга» (*Polyb., X, 40, 6*).

Во время битвы Публий захватил много коней; отобрав из них 300, он подарил их Андобале. Остальных раздал тем, кто лошадей еще не имел. В это время произошел один небольшой эпизод, который тогда прошел незамеченным, но потом имел большие последствия. К Сципиону подошел квестор и сообщил, что среди пленных африканцев есть нумидиец, совсем еще мальчик, вызвавший у него жалость своей юностью и красотой. Публий велел его позвать. Успо-

* О мотивах его мы скажем подробно в главе «Сицилия».

коив ребенка ласковой речью, он спросил, кто он и как очутился среди боя. Оказалось, что это Массива, племянник Масиниссы, что дядя запретил ему участвовать в битве, но ему так захотелось взглянуть на сражение, что он тайком выбежал из дому, смешался с воинами, но тут его сбили с коня, крепко связали и вот он здесь. Римский военачальник спросил тогда с улыбкой, не хочет ли Массива вернуться к своему дяде. Мальчик даже заплакал от радости. Сципион подарил ему золотое кольцо, расшитую золотом одежду и коня в богатом уборе взамен того, которого он потерял. Он дал ему и провожатых, наказав отпустить их, когда найдет нужным. Массива благополучно достиг дяди, и об этом случае вскоре все забыли (*Liv., XXVII, 19*).

До зимы Публий не покидал гор, с наступлением же холодов ушел в Тарракон. А карфагенские вожди тем временем собрались на совет, чтобы обсудить положение. Они были страшно напуганы, они твердили, что военачальник римлян успел обольстить сердца иберов, что ни на кого уже нельзя положиться. Газдрубал, сын Гескона, предлагал бежать к Океану в Гадес, где еще не слыхали ужасного имени Сципиона. Газдрубал же Баркид решил, пока его отряд не успел разбежаться, немедленно идти в Италию к Ганнибалу. Магон поддержал их, сказав, что испанцев надо скорее увести подальше от мест, где гремит имя Сципиона. Решено было, что Магон передает войско брату, а сам отправится на Балеарские острова, где и наберет новое войско. Газдрубал, сын Гескона, уйдет в далекую Лузитанию и будет тщательно избегать сражения со Сципионом.

Ловкий и неуловимый Масинисса должен был со своим отрядом блуждать по союзной римлянам Испании, внезапно нападая на друзей римлян, разоряя их города, но от встречи с ними самими уклоняться (*Liv., XXVII, 20*). На этом они расстались и разошлись в разные стороны. Газдрубал Баркид двинулся к Альпам. А ведь он несколько лет назад ответил решительным отказом на требование карфагенского правительства идти на помощь Ганнибалу. Он отвечал, что это означало бы уступить Иберию римлянам. Теперь же он добровольно покидал страну, где вырос, где провел всю жизнь, где одержал столько блестящих побед. Он поступал так потому, что не сомневался, что война в Испании проиграна, и спешил удержать хотя бы Италию. Но рок судил ему иное. Не прошло и года, как он погиб в Италии со всем своим войском, так и не сумев соединиться с братом.

Велика была слава Публия Сципиона. Это имя повторяли с восторгом и ужасом по всей Испании. Слух о нем до-

катился до самой Африки. Его подвиги вселили неслыханные надежды на успех в сердца его соотечественников. Но помощи от них по-прежнему не было. Более того, из Рима пришел приказ из имевшихся у него восьмидесяти судов отослать на родину пятьдесят (*Liv., XXVII, 22; 50*).

Весной, как обычно, Публий вышел из Тарракона.

Публий Сципион против Газдрубала, сына Гескона, Магона и Масиниссы. Великая битва при Илипе. 207—206 годы до н. э.

Положение дел было таково. Газдрубал, сын Гескона, согласно своему первоначальному плану ушел в Гадитанскую область. Почти вся Тарраконская Испания и Бетика были теперь в руках Публия. О Масиниссе в этот период ничего не слышно. Видимо, его партизанские набеги не имели успеха. Вместо Газдрубала Баркида карфагенское правительство прислало нового военачальника Ганнона с войском. Магон, вернувшийся с Балеарских островов, соединился с ним.

Публий считал врага не столь значительным, а своих офицеров уже достаточно опытными, поэтому не только сам не пошел против Ганнона, но даже не послал Лелия, а доверил все дело Силану, дав ему небольшой отряд (тысячу пехотинцев и пятьсот всадников). Силан сразу показал себя достойным учеником Публия: хотя идти приходилось через ущелья и теснины, он, по выражению Ливия, «опередил не только вестников, но даже самый слух о своем приходе» (*Liv., XXVIII, 1*). Он сразу же разбил соединенные силы пунийских полководцев; сам Ганнон был захвачен в плен, Магон Баркид бежал в Гадес к Газдрубалу (*Liv., XXVIII, 1—2*). Газдрубал двинулся было на помощь к своим, но тут против него выступил сам Сципион. Узнав об этом, Газдрубал не стал его ждать, но бросился бежать назад к Гадесу. Он боялся открытого сражения и придумал следующую хитрость: он разделил свое войско на небольшие отряды и разместил их во всех близлежащих городках, сам же переправился на остров. Публию предстояло растрачивать силы на осаду мелких крепостей, как в свое время Ганнибалу в Италии. Но он не собирался этого делать; заметив, что выдумка Газдрубала превосходна, он ушел, оставив брата Люция, которому поручил взять главный город Оронтис. Люций без труда выполнил эту задачу. Так кончилась кампания этого года (*Liv., XXVIII, 2—3*).

Страшные удары, нанесенные римлянами в Иберии, поразили карфагенское правительство. Ганнибал, запертый на крайнем юге Италии, тщетно требовал помощи с родины — «из Карфагена не было никакой помощи, там заботились только о средствах удержать Испанию» (*Liv., XXVIII, 12*). Поэтому карфагенский Совет, видимо, потребовал решительных действий от своих военачальников, которые «прятались у Гадеса от Сципиона» (*ibid.*). Ждать и правда было нечего: положение пунийцев с каждым днем становилось все хуже, а римлян все лучше. И вот весной 206 года до н. э. Газдрубал собрал все свои силы, соединился с Магоном и Масиниссой и двинулся к Илипе. Здесь он разбил лагерь у подошвы горы. Пехоты у него было около семидесяти тысяч, конницы около четырех тысяч и 32 слона[27].

Наконец случилось то, чего когда-то так опасался римский военачальник: все пунийские вожди соединились и двинулись против него. Казалось, ему грозила судьба отца и дяди. «Дело в том, что одних римских войск без союзнических было недостаточно для того, чтобы отважиться на решительную битву; между тем полагаться на союзников в решительной битве казалось небезопасным и чересчур смелым» (*Polyb., XI, 20, 1—6*). Но даже и с иберами войска у Сципиона было много меньше, чем у карфагенян: у него было всего около сорока пяти тысяч пехоты и трех тысяч конницы (*Polyb., XI, 20, 8*). Говорят, Публий долго колебался, начинать ли битву, а потом явился перед войском со взором светлым, охваченный божеством. «Он сказал, что явился его даймон и позвал его на врагов. Надо полагаться, сказал он, больше на Бога, а не на количество войска. Ведь и в прежних битвах победу принес им Бог, а не множество войска». Его радостная уверенность мгновенно передалась воинам. «Они были захвачены его видениями и возбуждены, как будто уже победили» (*App. Iber., 100—103*).

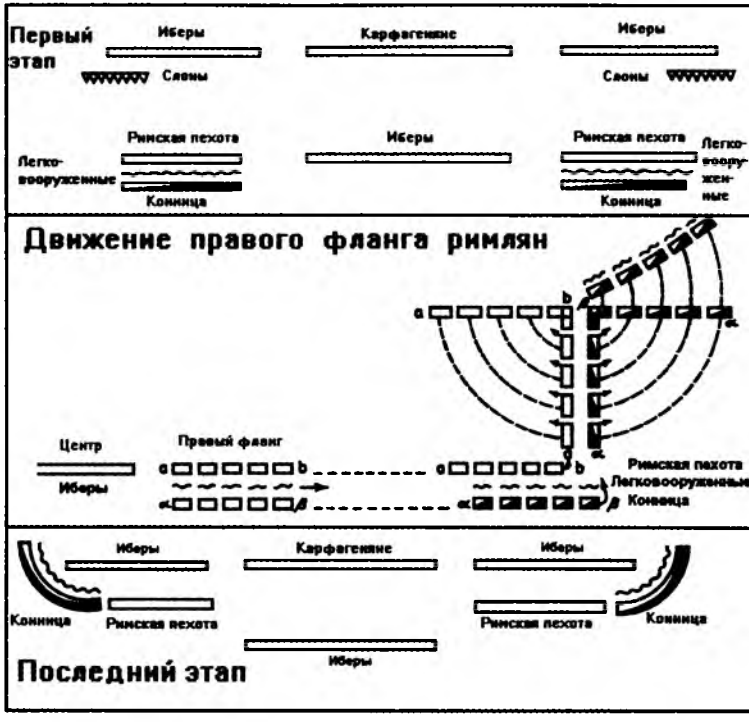
Публий решил воспользоваться отрядами иберов, но «выставить их только для виду». Масиниссе и Магону не терпелось напасть на врага. Им казалось, что самое время сделать это теперь, когда римляне заняты разбивкой лагеря. И они устремились со своей конницей на врага «в уверенности захватить Публия врасплох. Но Публий заранее уже предвидел нападение врага и укрыл свою конницу, равносильную карфагенской, за холмом» (*Polyb., XI, 21, 1—2*). Все случилось вопреки расчетам пунийцев: не они врасплох напали на римлян, а на них самих нежданно обрушилась римская конница. Многие тотчас же обратились в бегство, остальные приняли бой. Они еще ни разу не встречались лицом к лицу с

воинами Сципиона, поэтому представляли их себе такими же, как легионеров его отца и дяди. Они ошиблись — «ловкость спешившихся римских всадников поставила карфагенян в большое затруднение; они выдержали недолго и с большими потерями стали отступать» (*Polyb., XI, 21*).

После этого ни римляне, ни карфагеняне не начинали открытой битвы. Каждое утро они выходили на равнину, лежащую между обоими лагерями, выстраивались в боевой порядок и простаивали так друг против друга целый день. Так проходили дни за днями. Газдрубал все не решался начать битву, хотя на его стороне был такой значительный перевес. Но он все медлил, вероятно, утешая себя мыслью, что и вождь римлян не отваживается напасть на него. Но он ошибался. Публий лишь усыплял бдительность врага перед решительным ударом.

На сей раз Публий применил двойную хитрость. Он заметил, что Газдрубал вставал поздно и расставлял свои войска так, чтобы в центре стояли карфагеняне, а на флангах союзники. Очевидно, не очень рассчитывая на последних, он впереди обоих флангов ставил заслон из слонов. Сам Публий вставал еще позднее[28], римлян ставил в центр против карфагенян, а иберов на флангах. Таким образом, лучшие, отборнейшие части в обеих армиях стояли в центре, друг против друга. Накануне решительного дня Публий велел римлянам наутро встать до восхода, позавтракать и, вооружившись, выходить из лагеря. Все догадались, что завтра будет долгожданная битва, и очень обрадовались. Наутро Газдрубала разбудили ни свет ни заря военные рожки. Он выскочил из палатки и наспех построил, как обычно, своих воинов, голодных и сонных. Но Сципион выстроил свои войска в обратном порядке, чего спросонья не заметил Газдрубал. Теперь иберы стояли в центре, а римляне на флангах: на правом — сам военачальник, на левом — Марций и Силан.

Прежде всего Публий выслал вперед конницу и легкие отряды, которые и завязали с карфагенянами схватку. Римский военачальник нарочно тянул время, зная, что воины врага ослабели от голода. Приближался полдень. Жгучие лучи испанского солнца немилосердно жгли противников. Карфагенян совсем сморило. Они стояли уже, опустив голову, опершись на щит. Тогда Сципион велел играть отбой. Конница и легковооруженные вернулись назад; пехота по приказанию полководца расступилась и пропустила их в тыл. Сципион расставил их двумя колоннами. Затем он дал сигнал к общему наступлению. Римляне двигались вперед



Битва при Илипе. *План*

не спеша. Когда между обеими армиями оставалось не более стадии, римский военачальник приказал иберам, составлявшим центр, продолжать идти на врага медленным шагом, а сам выстроил свой фланг колонной, развернул его лицом вправо и повел вперед быстрым шагом, почти бегом. Левый фланг точно так же повернулся влево и побежал вперед. Подойдя к врагу на достаточное расстояние, они одновременно остановились и снова построились в линию. Карфагенских войск было так много, что их боевая линия была намного длиннее римской и нависала над ней с обеих сторон. Благодаря же маневру Публия римская боевая линия настолько вытянулась, что легионеры разом напали на неприятеля с двух сторон: пехота спереди, конница и легковооруженные — с боков.

В то время как на флангах кипел бой, римский центр был еще на расстоянии полета стрелы от неприятеля. Карфаге-

няне, стоявшие в центре армии Газдрубала, не знали что делать. Они не решались поспешить на помощь своим флангам, боясь обнажить центр перед наступающим врагом. Поэтому главные силы пунийцев стояли в полном бездействии. Между тем легковооруженные прежде всего вывели из строя слонов, обстреляв их дротиками. Испуганные животные убежали, сильно смяв ряды самих пунийцев. В происшедшей затем битве карфагенские союзники были разбиты, отрезаны от своих и большей частью перебиты или обращены в бегство. Ряды карфагенян дрогнули, и они также обратились в беспорядочное бегство. Это была решительная победа (*Polyb., XI, 20—24; Liv. XXVIII, 13—15*).

Битва при Илипе приводит в восторг Полибия, считавшего ее образцом для всех полководцев (*Polyb., XI, 23, 9*). Ею восхищаются и новейшие исследователи. «Военная история, — пишет Лидделл Хат, — не знает более классического примера генерального сражения, чем Илипа. Редко такая полная победа может быть одержана слабейшим противником»*. Поражают в ней удивительная продуманность, искусство и слаженность действия всех частей. Этот эффект мог быть достигнут, во-первых, путем продолжительных упражнений, во-вторых, благодаря тому, что войско было разделено на небольшие манипулы. Иначе колонна перед лицом неприятеля просто не могла бы быстро развернуться в боевую линию.

От полного уничтожения карфагенян спасла только внезапно разразившаяся гроза, заставившая римлян вернуться в лагерь. Но наутро Сципион бросился преследовать карфагенян с обычной своей стремительностью. Он уже нагонял Газдрубала, когда благодаря ошибке римского проводника тому удалось ускользнуть. Он добежал до побережья океана, римляне следовали за ним по пятам. Карфагеняне попробовали защищаться: «...завязалось было сражение, но правильнее было назвать его бойней: неприятелей убивали, как беззащитных животных» (*Liv., XXVIII, 16*). Пунийцы укрылись на каком-то холме; ночью тайно от своих Газдрубал бежал с жалкой горсткой охраны. Брошенные на произвол судьбы воины оказали римлянам слабое сопротивление и частью были взяты в плен, частью перебиты. Газдрубал добежал до Гадеса, немедленно сел на корабль и покинул сделавшуюся для него страшной Иберию. Узнав об этом, Публий оставил там Силана с небольшим войском, а сам «возвратился к Тарракону после семидесяти переходов. Дорогой он вникал в

* См.: *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 62.

положение царьков и князей для того, чтобы каждому дать то, чего он стоил» (*ibid.*). Магон и Масинисса бежали в Гадес. Войска пунийцев частью рассеялись по городам, частью передались римлянам. Это была решительная победа. Война в Испании была окончена. «Благодаря мудрости и счастью Публия Сципиона карфагеняне были изгнаны из Испании» (*ibid.*).

Публий Сципион в Африке. 206 год до н. э.

События последних месяцев стоили римлянам страшного напряжения сил. Поэтому сейчас все вздохнули спокойно, радуясь, что ужасная война закончена. «Все приветствовали Публия с изгнанием карфагенян из Иберии и уговаривали его отдохнуть от трудов и пожить спокойно после благополучного завершения войны. Публий благодарил за добрые пожелания, но тут же добавлял, что его больше всего занимает мысль о том, как бы начать войну против карфагенян. "До сих пор, — сказал он, — воевали карфагеняне против римлян, теперь судьба позволяет римлянам идти войной на карфагенян"» (*Polyb., XI, 24a*). Сципион и не думал отдыхать: за этот год он сделал столько, что современные ученые долго не могли поверить, что все это произошло за несколько месяцев, а не лет. На вопросы друзей, что имеет в виду Публий, когда говорит о войне против карфагенян, он отвечал, что задумал перенести войну в Африку.

Соседями карфагенян в Африке были ливийцы. Публий считал, что только их поддержка обеспечит ему успех. Могуществом и знатностью среди местных князей выделялся Сифакс, а беспокойный нрав, непомерное честолюбие и отчаянная смелость делали достойным его соперником царевича Масиниссу, который ныне сражался в Иберии под знаменами карфагенян. С ними-то и решил завести переговоры Публий. Масинисса через Силана дал ему знать, что готов заключить с римлянами союз. Оставался Сифакс. Сципион послал ему богатые подарки, а послом отправил Лелия, которого считал совершенно неотразимым при переговорах.

Чудесная слава Публия уже перелетела моря, и вся Африка повторяла рассказы о его подвигах. Вот почему Сифакс был без меры горд, что к нему обращается за помощью такой легендарный человек, как Сципион. Он дал Лелию совершенно необычайный, ни с чем не сообразный ответ: он ничего не может сказать, пока лично не увидит вождя римлян. Ничего нелепее нельзя было представить. Не мог же

Публий бросить все и лететь в Африку?! Да разве до этого Сифакс не заключал союза с римскими вождями, которых в глаза не видел? И вообще еще ни один царь, ни один правитель не выдвигал столь взбалмошного требования. Но виной тому была ослепительная слава Публия. Варвару страшно захотелось воочию увидеть героя удивительных легенд.

С таким ответом и вернулся Гай Лелий. Много сомнений и подозрений должно было возбудить предложение варвара. Не замышляет ли он заманить победителя при Илипе в ловушку, чтобы потом выдать своим друзьям карфагенянам? Ведь, говорят, Сифакс большой приятель с Газдрубалом, сыном Гескона. Можно ли доверить свою жизнь ливийцам, которые прославились своим вероломством и жестокостью? И потом, закон запрещает военачальнику покидать свою провинцию. Что будет в его отсутствие с Испанией?

Если все эти мысли и смущали Сципиона, то недолго. Он принял все меры предосторожности, чтобы не подвергнуть друзей и союзников никакой опасности. Тарраконскую область охранял Люций Марций, Карфагенскую — Силан. Он рассудил, что сейчас в стране спокойно. Магон загнан в Гадес и вряд ли пожелает оттуда выйти. Масинисса изъявил желание перейти к римлянам. Что до законов и предписаний Рима, то к ним Публий всегда относился несколько легкомысленно. «Долг истинного мужа и полководца — пользоваться счастьем, когда оно дается нам в руки», — говорил он. Публий принял отчаянно смелый план. Никому ничего не сказав, кроме ближайших помощников, не взяв никого, только верного Лелия, он вверил судьбу двум суденышкам и бесстрашно поплыл в Африку. Как неколебимо надо было верить в свою счастливую звезду, чтобы решиться на такой шаг!

Дул легкий попутный ветер, море было тихо и спокойно, казалось, сами боги помогают своему любимцу. И вот уже вдали показались берега Африки... И вдруг гром грянул. Газдрубал, сын Гескона, узнал о римском посольстве. Он спешно собрал флот и отправился к Сифаксу, чтобы уговорить его не разрывать старинной дружбы с Карфагеном. Вдруг он увидел в море два кораблика. Сомнений не было — это были римские суда. Сифакс уже успел ему похвастаться, что к нему приедет сам Сципион. Газдрубал возликовал: непобедимый вождь римлян у него в руках! Он распустил паруса и со всем своим флотом устремился на римлян. О сопротивлении не могло быть и речи. Римлян ничто не могло спасти. Только чудо. И оно случилось. Неожиданно подул резкий ветер. Воспользовавшись этим, легкие римские суда проскользнули в порт раньше Газдрубала. На глазах Сифакса пуниец не

решился нападать на римлян. Крайне раздосадованный, он сошел на берег.

Сифакс просто лопался от гордости, видя, что к нему приехали вожди двух величайших народов мира. Он поспешил сначала к Сципиону как к более почетному гостю и сказал, что уж раз они оба пришли к нему, он хочет примирить их. Публий отвечал, что это очень любезно с его стороны, но он никогда не ссорился с Газдрубалом, а потому и мириться им ни к чему. Сифакс был несколько разочарован. Теперь его беспокоил вопрос, кого из знатных гостей пригласить первым под свой кров. Своим выбором он боялся смертельно обидеть одного из них. Наконец, он спросил Публия, не согласится ли он участвовать в пире вместе с Газдрубалом. Публий весело отвечал, что сделает это с величайшим удовольствием.

И вот смертельные враги, один из которых только что гнался за другим, оказались в одном пиршественном зале, больше того, на одном обеденном ложе. Вот наконец перед Газдрубалом этот непобедимый Публий Сципион, герой романтических легенд. В Испании он проигрывал ему сражение за сражением. Но и сейчас их борьба не окончена и продолжается здесь, за пиршественным столом. Ибо этот день решит, союзником карфагенян или римлян будет царь Сифакс. Теперь все зависит от умения обоих вождей вести беседу. Газдрубал это сознавал. Он ожидал увидеть Сципиона еще не оправившимся от смертельного испуга, бледным, не владеющим собой. Но он сильно ошибся: никто не мог бы и заподозрить, что за несколько минут перед тем Публий чуть не погиб — так легко и непринужденно он держался. И не только Сифакс был очарован Сципионом, но и сам Газдрубал чувствовал себя так, будто его околдовали. В беседе с Сифаксом Публий обнаружил такую приветливость и обаяние — к этому он имел большие способности от природы, — что несколько дней спустя Газдрубал заметил Сифаксу, что Публий показался ему еще опаснее в дружеской беседе, чем на поле брани (*Polyb., XI, 24, 4*, ср. *Liv., XXVIII, 16—18*). Но с тех пор с Газдрубалом творилось что-то странное: он не мог без ужаса думать о Сципионе. У него было какое-то смутное предчувствие, что этот человек его погубит. Он содрогался при мысли, что Сципион высадится в Африке, и про себя решил, что сделает все, чтобы ему помешать. Это свидание оказалось роковым для всех его участников.

Публий добился всего, чего хотел, договор с Сифаксом был заключен. Через четыре дня Сципион был уже в порту Нового Карфагена.

Погребальные игры

Вернувшись из Африки, Публий взял последние мятежные испанские города — Илитургию, Кастулон и Астапу, — которые в свое время предали его отца и дядю. Теперь, когда война была окончена, Сципион хотел почтить память отца и дяди погребальной тризной. Неотъемлемой частью такой тризны были, по римскому обычаю, гладиаторские игры. В те времена подобные игры не считались еще потехой для толпы, но кровавой жертвой духу покойного. Обряд пришел к римлянам от этрусков, которые верили, что дух умершего не будет знать покоя в могиле, если не оросить его прах человеческой кровью.

И вот у Нового Карфагена Публий устроил погребальные игры. Однако вопреки обычаю он объявил, что не хочет, чтобы у него на глазах погибали купленные за деньги рабы или наемники, продавшие свою кровь; нет, пусть на тризне в честь его отца и дяди сражается только тот, кто сам захочет. Во всякой другой стране подобное предложение казалось бы нелепым и странным. Но не в Иберии. Кровная месть, обида или просто желание показать свою храбрость побуждали испанцев принять участие в страшном турнире.

Дикое и мрачное то было зрелище: в качестве зрителей собрались римские воины, на арену вышли иберы, убранные сверкавшим на солнце золотом. Среди них внимание Сципиона привлекли двое: один — могучий воин, другой — совсем еще юноша. Он стал их расспрашивать и узнал, что поединком они хотят решить, кому достанется власть над племенем. Ему стало жаль их, и он предложил разобрать дело и решить все мирно. Но они отвечали, что между ними кровь. Видя, что уговоры бессильны, он разрешил им драться. В битве пал младший (*Liv., XXVIII, 21*).

Все опять на краю гибели

Вот уже много месяцев с самой весны Публий Сципион не знал ни минуты покоя: битва при Илипе, неотступное преследование врагов до самых берегов океана, устроение дел в стране, поездка в Африку, во время которой он подвергся смертельной опасности, и сейчас же после возвращения — суровая война с непокорными испанскими городами — все это напряжение вдруг разом сказалось. Публий занемог, ему становилось все хуже, и вскоре друзья почти отчаялись в его спасении.

По Иберии пронесся слух, что Сципион болен, при смерти, а затем, что его уже нет на свете. И тут все в стране перевернулось. Все вокруг Публия держалось лишь им самим. Испанские вожди знать не знали никакого Рима. Они были связаны особыми узами только со Сципионом. Римские солдаты уже много лет воевали вдали от родины, успели забыть ее, стали чужими для Италии, не были приучены к суровой римской дисциплине, не признавали над собой никакой власти, но чтили как бога только Публия Сципиона. Сципион был тем магнитом, который связывал все. Едва его убрали, все распалось во мгновение ока.

Узнав о смерти Публия, Андобала и Мандоний немедленно отложились и стали грабить союзные римлянам племена. Мало того. Мятеж начался среди самих римских солдат. Близ реки Сукрон стоял небольшой отряд в восемь тысяч человек. Это был резерв. Они давно не принимали участия в битвах; их развратило безделье, они умирали от скуки и теперь начали громко жаловаться, что не получают, как другие, доли в добыче. Жалованье им тоже перестали платить. Узнав о смерти Сципиона, они заволновались; несколько ловких демагогов стали сеять среди них смуту. Солдаты наконец открыто взбунтовались, перестали повиноваться офицерам и передали власть демагогам. Те не остановились перед предательством и попытались войти в сношения с Андобалой и Мандонием (*Polyb., XI, 29, 3; Liv., XXVIII, 27, 17*). Римские военачальники были в ужасе, но помешать мятежникам было некому: Гай Лелий и Марций были близ Гадеса, где заперся Магон, а Силан не знал, что делать. Казалось, гибель неизбежна.

Но божество, как всегда, пришло на помощь римлянам. Внезапно, когда все уже погибало, Публий пришел в себя. На него разом обрушились все дурные новости: он узнал об измене иберов и собственных солдат. Молниеносно в его голове родился план действий, и он начал проводить его со своей обычной стремительностью.

Он велел как можно скорее собрать деньги для уплаты мятежникам. Затем послал к ним трибунов с приглашением явиться за жалованьем в Новый Карфаген. О том, что Сципион выздоровел, никто ничего не знал. Предложение пришлось как нельзя кстати. Во-первых, у солдат не было денег, во-вторых, они боялись бродивших вокруг иберов и очень хотели укрыться за могучими стенами Нового Карфагена. Они решили, что, как только их впустят в город, они захватят его. Мятежников особенно обрадовало известие, что Силан с войском выступает из Карфагена против восставших испанцев. Теперь город остался беззащитным.

С такими приятными мыслями они вступили в Новый Карфаген. Их встретили трибуны, приветливо с ними поздоровались, и каждый пригласил к себе одного из вожаков мятежников. Восставшие сочли это за добрый знак: несомненно, в городе их боялись. Ранним утром, пока они спали, Силан действительно вышел из города, но они не знали, что войска Сципиона заняли все ворота Нового Карфагена, а все их вожаки были схвачены. Ни о чем этом мятежники не догадывались и, когда утром их разбудил звук трубы, ничего не подозревая, бросились на главную площадь. Солнце уже взошло, и вот они увидели, как со всех сторон появляются вооруженные легионеры и оцепляют площадь. Они оказались в ловушке. В смятении они бросились вперед и тут на возвышении перед собой увидели Публия Сципиона, которого считали мертвым. Они окаменели.

Некоторое время Публий молчал. Наконец он заговорил. Речь его была суровой. Он назвал их предателями и изменниками[29], достойными самой позорной смерти. «Но я прощаю вас, — сказал он в заключение, — только зачинщиков я решил покарать без пощады».

Как только он произнес эти слова, стоявшие вокруг воины разом ударили мечами в щиты и под этот леденящий душу звон ввели вожаков восставших, раздетых и связанных, и отсекли им головы. «Грозная обстановка и развертывающиеся перед глазами ужасы навели на толпу такой страх, что никто из присутствующих не изменился даже в лице, не издал ни единого звука... все оцепенели, пораженные зрелищем. Зачинщиков мятежа, обезображенных, бездыханных, поволокли сквозь толпу, а остальным солдатам вождь и прочие начальники дали клятву, что никто больше не будет наказан. Со своей стороны солдаты выходили по одному вперед и клятвенно обещали трибунам пребывать впредь в покорности велениям своих начальников и не злоумышлять против Рима. Итак, Публий искусно отвратил грозящую опасность и восстановил в своих войсках прежний порядок» (*Polyb., XI, 25—30;* ср. *Liv., XXVIII, 24—29*).

С этого часа Публий вел себя с солдатами так, будто ничего не случилось. Ни словом, ни взглядом он никогда не намекал на их измену. Самый внимательный наблюдатель не смог бы заметить, чтобы его обращение с бывшими мятежниками хоть чем-то отличалось от его поведения с остальными. Они получили жалованье и с тех пор были верны присяге. Не прошло и нескольких дней, как воскресшего Публия попрежнему окружала восторженная любовь всех его солдат. Теперь необходимо было заняться Андобалой и Мандонием.

Известие о выздоровлении Публия должно было заставить испанских вождей горько раскаяться, но отступать было уже поздно. Они успели достаточно хорошо изучить характер военачальника римлян, чтобы заметить, что нет в его глазах большего преступления, чем предательство. Между тем они после стольких клятв изменили и за спиной Сципиона готовили ему удар. Все это было слишком дурно, и они не смели надеяться на снисхождение. Оставалось одно — бороться.

Перед выступлением из Нового Карфагена Публий собрал свои войска и горячо говорил о наглости и вероломстве иберов. Речь его произвела на римлян как нельзя более сильное впечатление. Они так и рвались в бой, на следующий день они вышли из города, а через 14 дней форсировали Ибер и достигли тех мест, где обосновался Андобала. Скаллард оценивает позиции иберов как очень сильные. Именно этот район в 76 году до н. э. занимал Серторий, и в борьбе с ним оказались бессильными Метелл и Помпей. Кроме того, Сципиону предстояло бороться с партизанской войной, а это было не под силу лучшим полководцам мира*. Поэтому план Публия заключался в том, чтобы как можно скорее навязать варварам решительную битву.

Иберы заняли какой-то холм. Публий расположился на соседнем холме и зорко следил за неприятелем. Главное было выманить иберов из их укрепленного лагеря. Между обоими холмами Публий заметил долину, тесную и узкую. Здесь и будет битва, решил он. Наутро он велел согнать в долину часть скота, который шел за войском. Он должен был служить приманкой для иберов. Сципион не ошибся. Варвары не выдержали вида добычи, и их легкие отряды бросились вниз в долину. Сейчас же навстречу им вышли легковооруженные римляне. Завязался бой. В самый разгар его по ним ударила римская конница. Ее еще с утра укрыл за холмом Сципион. Командовал ею Лелий, уже успевший вернуться с берегов океана. Он отрезал варваров от своих. Они были частью перебиты, частью рассеяны.

Поражение раздосадовало, но не смутило варваров. Наутро они приготовились к решительной битве. Так Публий достиг своей цели. Он навязал им бой, причем там, где хотел. Долина была такая узкая, что враги не могли выстроиться там в боевой порядок. Публий смотрел с холма, как нелепо строятся враги, и нарочно удерживал своих, чтобы они выстроились в возможно большем числе. Когда он ре-

---

* *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 101, 102.

шил, что настало время действовать, он бросил легкие отряды против варваров, стоявших у предгорий, а пехоту повел на врагов в долину, выстроив ее по четыре когорты в линию, — больше не хватало места. В это время Лелий со своей конницей двигался по гряде холмов и тут ударил в тыл вражьей конницы. Пехота и конница разом подались назад. Иберы оказались окруженными со всех сторон и сдавленными в теснине. В давке они терпели от своих не меньше, чем от чужих. В результате все войско, находившееся в долине, погибло, спаслись только легковооруженные, составлявшие около трети. С ними и сам Андобала (*Polyb., XI, 32—33, 1—6; Liv., XXVIII, 32*).

Теперь нечего было и думать о дальнейшем сопротивлении. Посовещавшись, Андобала и Мандоний решили, что единственное, что им остается, — это прибегнуть к обычному великодушию военачальника римлян. Андобале, однако, слишком стыдно было являться на глаза Сципиону, поэтому он послал к нему брата. Мандоний упал к ногам Публия, каялся в своих грехах, молил о прощении, клялся впредь не нарушать верности. Видя, однако, по выражению лица римлянина, что он очень мало верит его уверениям и клятвам, он предложил передать ему все оружие и свои семьи в заложники, как было при карфагенянах. Публий сухо отвечал, что не видит оправданий их вероломству, но милость не нуждается в оправданиях, а потому он их прощает. Он не возьмет у них оружия, так как это нужно лишь тому, кто боится; отнять у них оружие и детей — значило бы сковать их сердца страхом. Он этого не хочет. И если они задумают вновь отпасть, он накажет их, а не невинных заложников, вооруженных мужчин, а не безоружных детей и женщин (*Liv., XXVIII, 34*). Произнеся эти царственные слова, он заключил с Мандонием мир.

Конец войны в Испании. Осень 206 года до н. э.

Теперь во всей Испании остались из врагов римлян только Магон Баркид и Масинисса. Оба они сейчас находились в Гадесе. Хотя это был старинный финикийский город, религиозный центр всего финикийского мира, Сципион знал, что он давно желает передаться римлянам, настолько тягостно для него правление брата Ганнибала. Что до Масиниссы, то тот уже давно вел тайные переговоры с Силаном. Сейчас Сципион встретился с Масиниссой и они заключили союз. После встречи со Сципионом Масинисса отплыл домой.

Магон не догадывался о предательстве Масиниссы. Но у него и без того было такое положение, словно он, по греческой пословице, держал волка за уши. Кругом враги, а главное, Гадес готов в любую минуту перейти к римлянам. В таком отчаянном положении он обратился за помощью к карфагенскому правительству, но Совет отвечал ему, что война в Испании уже проиграна, а потому пусть он завербует побольше наемников и как можно скорее плывет морем в Италию на помощь Ганнибалу. Для этого ему прислали необходимые средства. Магону ничего не оставалось, как покинуть Гадес, но прежде он разграбил город: причем не только опустошил государственную казну и обобрал до нитки частных лиц, но не остановился и перед чудовищным кощунством — разграбил храм Мелькарта, куда стекалось золото со всего финикийского мира, где во время мистерий бога собирались паломники со всех концов света, где молился его брат Ганнибал, отправляясь в роковой поход.

Перед отъездом из страны Магон решил предпринять одну последнюю попытку: он задумал внезапно захватить Новый Карфаген, как несколько лет назад Сципион. Момент был выбран удачно — самого вождя в городе не было, римский гарнизон был невелик, а финикийское население, конечно, должно было помочь братьям по крови. Но он ошибся в расчете — жители встретили его как врага и не пожелали нарушить верность Сципиону. А лагуна на сей раз не отошла. Магон вынужден был уйти. Он воротился в Гадес, но и тут его ждала неудача: граждане заперли перед ним ворота. Вне себя от злобы, Магон попросил выйти к нему для переговоров городских магистратов, заверяя их честным словом, что не причинит им зла. Когда же они вышли, он приказал распять их на глазах гадитан. После этого подвига он отправился к большему из Балеарских островов, надеясь провести там зиму и набрать наемников. Но жители встретили его градом камней. Прогнанный и отсюда, он остановился на меньшем острове, а Гадес немедленно отправил послов к Сципиону, объявляя о сдаче (*Liv., XXVIII, 30—37*).

Теперь вся Испания от Пиренейских гор до берегов океана принадлежала римлянам. Сципион все успел к сроку: он предполагал вернуться в Рим к ноябрю, ко времени консульских выборов, чтобы выставить свою кандидатуру в консулы и немедленно ехать в Африку. Перед отъездом он основал в Бетике город, который должен был стать очагом римской культуры и влияния в Испании. Этому городу суждено было славное будущее, оттуда родом были знаменитейшие испанские римляне, в том числе Траян и Адриан. Колонию эту

он назвал не своим именем, как было принято, но в честь своей родины — Италикой. Так кончилась для него эта труднейшая кампания, продолжавшаяся почти семь месяцев: с 1 апреля по 31 октября*.

«По завершении иберийской войны Публий возвратился в Тарракон среди величайшего ликования, ибо он... возвращался с блистательнейшей победой для отечества» (*Polyb., XI, 33, 7*). «Его слава казалась невероятной из-за его юности, стремительности подвигов и великого искусства» (*App. Iber., 155*). Отдав последние распоряжения, он передал войско Силану и Марцию, а сам с Лелием отплыл в Рим на кораблях, блестяще украшенных золотом, оружием и разнообразной добычей (*Polyb., XI, 33, 8; App. Iber., 154*).

---

* *Thouvenot P.* Essai sur la province de Betique. Paris, 1940. P. 54.

Глава пятая

СИЦИЛИЯ

Из бога вдруг стать быком? Ужасное падение! Впрочем, это случилось с Юпитером... Так будет и со мной. Ведь во всяком деле, чтобы добиться успеха, нужна некоторая доля безумия.

В. Шекспир. Генрих IV

Возвращение

В конце 206 года до н. э. Публий Корнелий Сципион вернулся в Рим. Народ встретил его с восторгом и чествовал прямо как бога. Зато сенат принял юного героя с враждебностью, которую пытался скрыть под маской холодной, официальной вежливости.

Все считали, что Публий вернулся с правом на великолепнейший триумф (*Polyb., XI, 33, 7*). И Сципион, как и подобало будущему триумфатору, созвал сенат в храме Беллоны за чертой города. Там он доложил сенату о своих победах: столько-то городов взято штурмом, столько-то сдались, войска неприятеля разбиты, Испания полностью очищена от карфагенян. Из этого отцы заключили, что Публий добивается триумфа. Но они поспешили отказать ему под тем предлогом, что он завоевал Испанию, не занимая никакой официальной магистратуры. Хотя закон был на стороне отцов, вряд ли такое решение можно было назвать справедливым. Сенат не думал о законе, посылая в минуту опасности в Испанию двадцатичетырехлетнего юношу. Теперь, когда дело дошло до награды, отцы вспомнили о законе.

Хотя сенаторы считали это объяснение безупречным с формальной точки зрения, они, видимо, очень опасались, что им придется выдержать с молодым победителем жестокую борьбу. Публий мог апеллировать к народу, которому принадлежало окончательное решение по этому вопросу. Триумф был высшей наградой полководца, и римляне не так-то легко от нее отказывались. Они боролись до последнего: бывало, что полководцы обходили квиритов в одежде смирения, а за ними шла вся их родня, которая останавливала каждого встречного и умоляла не отказывать в чести их

родичу*. Один победитель решил въехать в город триумфатором вопреки всем запретам. Тогда народный трибун поклялся, что он, пользуясь своей властью, стащит дерзкого с триумфальной колесницы. Однако этот римлянин так давно мечтал о триумфе, что не в силах был от него отказаться. И он посадил в колесницу рядом с собой свою дочь-весталку. Уважение к непорочной деве помешало трибуну приблизиться к триумфатору, и он смирился (*Cic. Pro Cael., 34; Suet. Tib., 2, 4*).

Вот почему отцы приготовились к борьбе. Однако они очень плохо знали Публия, если полагали, что он способен унизиться до мелочных дрязг и просьб. Он даже словом не обмолвился о триумфе. Хотя ему и не суждено было въехать в город на триумфальной колеснице, его популярность у народа от этого ничуть не уменьшилась. Когда он выставил свою кандидатуру в консулы, его избрали единогласно. Его окружало всеобщее восторженное ликование. Люди отовсюду стекались в Рим, чтобы только взглянуть на него, словно на какое-то чудо света. Его дом с утра до ночи был полон народу. Восхищенные толпы провожали его на Форум и смотрели, как он приносит богам на Капитолии обещанную гекатомбу (*Liv., XXVIII, 38*).

Теперь предстояло решить вопрос о провинции. По римским законам после своего избрания каждый консул получал *консульскую провинцию*, то есть ему назначали область, где он должен был действовать в течение года. Обычно один консул оставался в Риме, и провинцией ему определяли Италию. Другой, соответственно, ехал в Испанию, в Сицилию или любую другую страну, где шла война. Когда Риму угрожала страшная опасность, оба консула вместе шли на врага, как было во время злополучной битвы при Каннах. Если же два врага с двух концов угрожали Республике, оба театра войны и определялись на этот год как консульские провинции. Какие области считать консульскими провинциями, решал сенат. Консулы же распределяли их между собой жеребьевкой.

Но случай с Публием был совсем особый. Еще до его приезда из Испании все знали, что он хочет быть консулом, чтобы перенести войну в Африку. Народ привык к этой мысли и не сомневался, что Сципион теперь поедет в Африку. На этот вопрос смотрели как на давно решенный. Но сенат думал по-другому. Он считал, что консул самовольно присвоил провинцию, которую никто ему не назначал. Коллегой его по консулату был Публий Лициний Красс. Этот молодой че-

* Случай с Манлием Вульсоном.

ловек, вероятно, всего несколькими годами старше Сципиона, не стяжал себе воинской славы, но, несмотря на юный возраст, был уже верховным понтификом, то есть главой всего римского культа. Верховного понтифика выбирали на Народном собрании. Должность эта была пожизненной. Для того чтобы занять столь высокое звание, требовались незапятнанная честность и знание гражданского права. Не случайно все лучшие римские юристы были понтификами. Публий Лициний Красс был человеком благородным и отличался таким знанием права и такой мудростью, что, по словам Цицерона, к нему обращались за советом по всем религиозным и мирским делам (*Cic. De or., III, 134; ср. Senect., 27*). Характер у него был очень властный и твердый, он отличался глубокой религиозностью и действовал всегда в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Был ли Красс личным другом Публия Сципиона*[30], или он восхищался полководческими талантами Публия, или, наконец, как объяснил он сам официально сенату, его звание запрещало ему оставлять Италию, только оба консула перед выборами договорились и Красс объявил, что берет себе без жребия Италию с тем, чтобы Публий Корнелий ехал в Африку. «Намерение Сципиона переправиться в Африку совсем не понравилось влиятельнейшим из сенаторов, — пишет Ливий, — однако же из страха перед народом и из желания пользоваться у него влиянием они не решались громко высказывать свое неодобрение». Один только старый Фабий Максим осмелился открыто высказать свое мнение.

Квинт Фабий Максим, прозванный Кунктатором (Медлителем), уже достиг восьмидесяти лет. Но время не притупило его природный ум и не ослабило его энергию. Совсем недавно** он взял Тарент, проявив и смекалку, и находчивость, и хитрость. Его дух по-прежнему был ясен и тверд. Только что он схоронил единственного сына, консуляра. «Он встретил горе с чрезвычайной сдержанностью, как надлежало разумному человеку и хорошему отцу, и сам сказал на Форуме похвальное слово, какое обычно на похоронах знаменитого человека произносят родственники умершего, а потом записал и издал эту речь» (*Plut. Fab., 24*).

Все замечали, что Фабий враждебен к Публию Сципиону. Сначала народ готов был объяснить это природной осторожностью Кунктатора. Но его нападки отличались такой ненавистью, в его речах порой сквозили такая злоба, раздра-

---

* Так думает Скаллард.

** В 209 году до н. э.

жение и несправедливость, что вскоре повсюду стали повторять слово *зависть*. Стали говорить, что старый Фабий боится, «как бы Публий Сципион не совершил великого и блистательного подвига — не закончил войну... Ведь в таком случае каждому станет ясно, что сам Фабий, который столько лет не мог добиться решительной победы, действовал вяло и лениво» (*Plut. Fab., 25*).

Фабий всячески пытался оправдаться. Он напоминал о своей незапятнанной жизни. Сколько раз сограждане были к нему несправедливы: сравняли с ним в правах дерзкого начальника конницы, открыто восхваляли его, а Фабия называли трусом, чуть ли не предателем. Но никогда Фабий не знал ни зависти, ни злобы. Теперь же, когда он прославил себя столькими великими деяниями, был пять раз консулом, диктатором, ему ли, уже в дверях гроба, завидовать юноше, который годится ему во внуки?! «Нет, с той славой, которую я уже стяжал себе, должно мне жить и умереть, — говорил старик, — я помешал Ганнибалу победить нас, а уж победите его вы, вы, чьи силы сейчас в полном расцвете» (*Liv., XXVIII, 40*).

Но сколько Фабий ни взывал к народу, сколько ни напоминал о своих прошлых заслугах, ему не удалось убедить квиритов в своей беспристрастности. «Говорили, что он просто ворчун и завистник или же от старости растерял все свое мужество, изуверился во всех надеждах и потому дрожит перед Ганнибалом более, чем следует» (*Plut. Fab., 26*). Можно было бы объяснить странную враждебность Фабия к молодому герою тем, что Кунктатор не понимал смысла африканской экспедиции, которая казалась ему безумной авантюрой в духе Фламиния и Варрона. Конечно, Фабий не одобрял планов Сципиона. Но дело обстояло сложнее. Когда он увидал, что экспедиция неизбежна, он даже стал подбивать коллегу Публия, Лициния Красса, поехать в Африку вместо него, лишь бы только командование не досталось ненавистному Корнелию (*ibid., 26*). Красс, однако, наотрез отверг предложение Фабия и поддержал коллегу.

Чтобы не чернить имя Максима подозрениями в зависти, постараемся найти другую причину этой непонятной ненависти. Фабий был воплощенный здравый смысл и разумность. Он был набожен и почтителен к богам, что выражалось у него в строжайшем соблюдении всех обрядов. От природы Фабий был крайне осторожен и недоверчив. Беспрерывные неудачи в течение четырнадцати лет сделали его нерешительным. Его пугало всякое прямое столкновение с врагом. Фабий стяжал себе всеобщее уважение, его методы были при-

знаны наилучшими, действительно, с этой славой можно было жить и умереть. С презрением смотрел он на неразумных и дерзких авантюристов вроде Фламиния и Варрона. Он чувствовал свое глубокое превосходство над ними, и это давало ему силу их презирать. Он был незыблемо уверен в непогрешимости своей тактики и потому был доброжелателен и снисходителен к другим полководцам, даже, вероятно, радовался их успехам, ибо они шли его путем. И вдруг, когда он считал уже свой жизненный путь оконченным, является Публий Сципион и все переворачивает.

Старый диктатор не понимал ни планов, ни тактики молодого полководца. Все предприятия Сципиона казались ему чистейшим безумием и, тем не менее, они всегда увенчивались блестящими победами, тем более поразительными, чем менее их можно было ожидать. В глазах Фабия Публий был менее всего похож на серьезного, разумного полководца. Максим представлял себе вождя войск степенным, важным, постоянно погруженным в свои планы. Между тем перед ним был веселый повеса, «гуляка праздный», увлеченный удовольствиями юности. Поэтому, подобно многим своим современникам, Фабий считал Публия «каким-то баловнем судьбы, все предприятия которого удаются вопреки всем расчетам, случайно» (*Polyb., X, 2, 6*). Беспечный вид Публия и его склонность к развлечениям казались ему несомненным доказательством того, что он никогда не обдумывает свои планы, действует как бог на душу положит и только благодаря странному капризу судьбы ему до сей поры везло. Но это не может продолжаться вечно, говорил он. Фортуна скоро отвернется от безрассудного молодого человека (так он называл Сципиона*), и настанет ужасная, гибельная катастрофа. «Не всегда же безрассудство кончается счастливое», — добавлял он (*Liv., XVIII, 42*). И настолько крепко было это убеждение Фабия, что, даже когда Публий уже высадился в Африке и в Рим полетели вести о его блестящих победах, «Фабий не удержался и предложил сменить командующего, хотя не мог привести никаких оснований, кроме того, что счастье не может так долго улыбаться одному человеку» (*Plut. Fab., 26*).

Не мог такой рассудительный человек, как Кунктатор, серьезно верить и в волшебные видения Сципиона. Вероятно, он рассуждал как понтифик Котта у Цицерона, который, когда ему рассказали, что одному римлянину явились Диоскуры верхом на конях и возвестили победу Рима, заметил,

---

* *Plut. Fab., 25.*

что не может поверить, будто боги пожелали явиться какому-то безвестному человеку, а не первому гражданину государства (*Cic. Nat. deor., III, 11*). Думаю, он не допускал мысли, что боги могут во сне и наяву беседовать с «безрассудным молодым человеком», а значит, все его видения считал дикими и вредными для государства фантазиями.

Фабию, как и многим почтенным людям, не нравилось отношение Сципиона к военной дисциплине. По мнению Кунктатора, он и воинов распускал, и сам совершенно не желал подчинить себя никакой дисциплине. В Испании он действовал совсем не так, как повелевали инструкции сената, и даже осмелился без разрешения отцов покинуть провинцию и поехать на свидание к Сифаксу. И сейчас он, не считаясь с мнением отцов, берет себе провинцию Африку, даже не спросив их согласия, и дерзко «...насмехается над сенатом и над каждым отдельным сенатором» (*Liv., XXXIII, 40*). Вообще, говорил он, Публий Корнелий ведет себя не как римский полководец, а как высокомерный царь (*ibid., XXXIII, 42*).

Будучи не вполне чужд образованию, Фабий читал когда-то про Алкивиада, своевольного, знатного, одаренного юношу, дерзкого красавца, не желавшего считаться с законами и властями, который придумал какую-то фантастическую экспедицию, погубившую вконец благоразумное государство афинян. И вот теперь ему все более начинало казаться, что Публий — это вылитый Алкивиад и ему суждено так же погубить родное государство (*ibid.*).

Ясно, что, учитывая все это, Фабий считал, что «город идет вслед за безрассудным молодым человеком навстречу величайшей, смертельной опасности», и он решил «словом и делом отвратить сограждан от решения, к которому они склонялись» (*Plut. Fab., 25*). Но это было не так-то легко. Публий всем вскружил голову, народ им прямо бредил. Ни у кого недоставало мужества выступить против него открыто. Сенат собрался. И вот среди всеобщего молчания заговорил Фабий. Ему пришлось начать свою речь с оправдания. Он уверял, что слухи о его злобной зависти — клевета. Затем он в глаза обвинил молодого консула в неуважении к сенату: он не имел никакого права говорить об Африке, так как она не включена сенатом в число провинций.

Затем, как бы смягчая неприятное впечатление от своей резкости, он заговорил с Публием почти отеческим тоном. Он понимает, сказал Фабий, что предприимчивый юноша придумал эту фантастическую экспедицию, дабы увеличить свою славу. Ему, разумеется, кажется слишком заурядным

делом разбить врага в Италии, он мечтает о победе в далекой Африке. «Но ты должен простить меня, Корнелий, что я не поставлю твою славу выше общественного блага, — продолжал старик, — ибо по отношению к себе самому я никогда не ставил людскую молву выше интересов государства. Впрочем, если бы не было никакой войны в Италии или враг был бы из таких, победа над которым не может принести никакой славы, могло бы показаться, что тот, кто стал бы удерживать тебя, хотя бы ради общественного блага, желает отнять у тебя вместе с войной случай прославиться. Но когда такой враг, как Ганнибал, с нетронутым войском держит Италию в осаде четырнадцатый год, то будешь ли ты недоволен, Публий Корнелий, если ты, будучи консулом, изгонишь из Италии того врага, который был для нас причиной стольких смертей, стольких поражений?»

Доказывая, что слава консула ничуть не пострадает, если он откажется от своего безрассудного плана, Фабий в то же время искусно давал понять слушателям, что единственная причина похода — непомерное честолюбие Сципиона, что он готов принести ему в жертву благо своей родины.

Затем Кунктатор начал разбирать план Сципиона по существу. План этот, по его мнению, сводился к тому, чтобы выманить Ганнибала из Италии, напав на его отечество. Но замысел этот явно нелеп. «Почему ты предпочитаешь идти окольным путем, рассчитывая, что когда ты переправишься в Африку, за тобой последует туда Ганнибал, а не хочешь направить войска прямо на Ганнибала? Это и естественнее — защитив свое, отправляться осаждать чужое. Пусть мир в Италии водворится прежде, чем начнется война в Африке, и пусть прежде страх оставит нас, чем сами мы будем устрашать других... Кроме того, что государственная казна не может содержать в Италии и Африке двух войск, помимо того, что не остается никаких средств на содержание флота и на доставку провианта, кто не видит, наконец, сколь великой опасности мы подвергаем себя? Что же это, в самом деле? Публий Лициний будет вести войну в Италии, Публий Корнелий — в Африке. И что же? Если — да отвратят все боги это пророчество! Даже упоминание о нем вызывает ужас! Но то, что раз случилось, может и повториться — победитель Ганнибал пойдет на самый Рим, и как тогда мы вызовем тебя, консула, из Африки?»

Указав на опасность, которой подвергнется Италия, пока безрассудный консул будет гоняться за военным счастьем в Африке, Фабий перешел к рассмотрению положения дел в самой Африке. Кто поручится, что счастье улыбнется Пуб-

лию Сципиону в этой стране? Тут бывший диктатор напомнил о несчастном конце отца и дяди Публия, которые также сражались на чужбине и там погибли, и выразил надежду, что их печальная судьба послужит Сципиону хорошим уроком. Затем он упомянул о трагическом конце единственной римской экспедиции в самой Африке. Разве не погиб самым жалким образом Атилий Регул, высадившийся в Африке в прошлую войну?

«Да, Публий Корнелий, когда ты увидишь Африку с открытого моря, тебе покажется, что твои Испании были игрой и шуткой! В самом деле, в чем тут сходство? Ты плыл вдоль берегов Италии и Галлии по мирному морю и причалил с флотом в Эмпориях, союзном нам городе. Высадив войско, ты повел его по совершенно безопасному пути к друзьям и союзникам римского народа в Тарракон».

Фабий еще некоторое время распространялся о легкости испанской экспедиции: гибель полководцев вдохнула новое мужество в воинов, их вождь Марций был выдающимся полководцем, Новый Карфаген взят был без всякого сопротивления... «Что касается остальных твоих предприятий, я не желаю умалять их значение, но все-таки их никоим образом нельзя сравнить с войной в Африке, где для нашего флота не открыто ни одной гавани, нет ни одной дружественной нам страны, нет ни союзного государства, ни дружественного царя, нигде нет места, где можно было бы остановиться... Куда ни взглянешь, все принадлежит неприятелю и настроено враждебно». Или, может быть, консул верит своим друзьям ливийцам? Пусть он лучше вспомнит, ядовито заметил старик, как погиб его отец, тоже доверившийся варварам. Конечно, Сифакс и Масинисса не прочь избавиться от карфагенян, но если чужеземцы вторгнутся в Африку, общая опасность сплотит ее жителей.

«И карфагеняне не так защищали Испанию, как они будут защищать стены родного города, храмы богов, алтари и очаги, когда, выступая в сражение, они будут прощаться с дрожащими женами и видеть перед собой малюток детей. А что если карфагеняне, полагаясь на единодушие Африки, на верность союзных царей, на крепость стен, узнав, что Италия лишена защиты твоей и твоего войска, или сами пошлют в Италию новое войско или велят соединиться с Ганнибалом Магону? Понятно, мы будем испытывать такой же страх, какой испытывали при переходе в Италию Газдрубала, которого выпустил из рук ты, ты, который намерен запереть своими войсками не только Карфаген, но и всю Африку. Ты скажешь, что он тобой побежден. Но я не желал бы не толь-

ко ради государства, но и ради тебя самого, чтобы побежденному врагу был открыт доступ в Италию.

Позволь нам все, что было счастливо для тебя и для власти римского народа, приписать твоим способностям, а все неудачи отнести к превратностям военного счастья. Но чем больше у тебя талантов и чем ты отважнее, тем больше отечество и вся Италия держится за такого защитника. Ты не можешь даже сам не сознаться в том, что, где Ганнибал, там и главный центр этой войны. Следовательно, здесь ли, там ли — ты будешь иметь дело с Ганнибалом. Так что же, наконец, будешь ли ты сильнее в Африке один или здесь, где твое войско соединено с войском коллеги?.. И где Ганнибал будет сильнее оружием и войском — в отдаленном ли уголке страны бруттиев, где он уже давно напрасно требует у родины помощи, или близ Карфагена, в союзной Африке? Что это за план — предпочтительно избирать поле битвы там, где твои войска будут вполовину меньше, а войска неприятеля гораздо больше, а не там, где ты будешь сражаться с двумя армиями против одной, притом обессиленной столькими сражениями и такой продолжительной и тяжелой службой».

Конец речи Фабия был гневным и обличительным. «В то время как Ганнибал находится в Италии, ты собираешься ее оставить не потому, чтобы это было полезно для государства, но потому, что это принесет тебе славу и почести... Я думаю, что Публий Корнелий избран консулом для государства и для нас, а не лично для себя, и что войска набраны для защиты Рима и Италии, а не для того, чтобы консулы, подобно царям, высокомерно таскали их куда вздумается».

Так закончил Фабий. Хотя он и старался казаться любезным и даже доброжелательным к молодому полководцу, в его речи сквозили досада и злоба. Он выставлял Публия безумным эгоистическим честолюбцем, навязывающим государству нелепейший и фантастический план. Все подвиги Публия в Испании он свел на нет, утверждая, что война была чрезвычайно проста, но Сципион и тут умудрился наделать ошибок.

Слова Кунктатора произвели на сенаторов глубокое впечатление. Все они были на стороне мудрого старца, а не легкомысленного юноши. На эту длинную продуманную речь Публий Сципион отвечал кратко. С холодной вежливостью он поблагодарил Квинта Фабия и сенаторов за заботу о нем, но заверил, что это совершенно излишне. Пять лет тому назад он не был ни старше, ни опытнее, а Испанию завоевал. А когда он вернется победителем из Африки, отцам эта

кампания покажется столь же легкой, как теперь Фабию Испанская.

Он не удостоил сенат никаких объяснений по поводу своих планов. Он лишь заверил, что вполне обезопасит себя от вероломства нумидийцев, а как ему действовать, сообразит на месте. Он прибавил еще несколько слов в том особенном гордом и радостном тоне, которым говорил только он. Напрасно рассказывают ему, говорил Публий, страшные истории про Регула. Если бы в Африке случилось и еще более страшное несчастье, и не 50 лет назад, а вот прямо сейчас, он все равно поехал бы туда. «Ибо я верю, что родился на радость для своей родины, и вижу, как много значит доблесть одного человека». «Долг истинного мужа и полководца — пользоваться счастьем, когда оно дается нам в руки... Ждите более радостных и более частых известий из Африки, чем вы получали из Испании». «Эти надежды, — прибавил он в виде пояснения, — внушает мне счастье римского народа».

В заключение он сказал, что хочет дать отдохнуть так долго страдавшей Италии, ибо не может более видеть, как его родину жгут и опустошают. Что же касается страхов Фабия, чтобы Ганнибал не захватил Рима, пока он, Публий, будет в Африке, то Сципион заметил, что позорно дрожать перед Ганнибалом теперь, когда сам Кунктатор уберег от него Рим в самые страшные годы. Публий выразил уверенность, что его отважный коллега без него защитит город.

Публий Корнелий не снизошел до того, чтобы оправдывать перед сенатом свой образ действий в Испании. «По существу сказано достаточно. Но, — сказал он, — то была бы длинная и неинтересная речь для вас, если бы по примеру Квинта Фабия, умалявшего мои военные действия в Испании, я тоже начал вышучивать его славу и превозносить собственную. Ни того, ни другого я не сделаю, отцы сенаторы... Я так жил и действовал, что безмолвно удовлетворялся тем мнением, которое вы сами составили и имеете обо мне» (*Liv., XXVIII, 40—44*).

Этими гордыми словами закончил свою речь Публий Сципион. Более он ничего не пожелал добавить. Это и породило удивительное недоразумение, которое разделяли почти все сенаторы и которое потом перешло к современным ученым. Многие из них до сих пор пребывают в том странном убеждении, что Сципион предпринял экспедицию в Африку, чтобы выманить Ганнибала из Италии. Естественно, все предприятие выглядит как чистейшее безумие. Стоило ли предпринимать такую дорогостоящую экспедицию, рисковать безопасностью Италии, строить флот, пере-

секать море и претерпевать тысячу опасностей только для того, чтобы иметь удовольствие сразиться с Ганнибалом не в разоренном крае бруттиев, куда его давно оттеснили, а у него на родине? Не проще ли было пойти на него прямо, пользуясь тем, что он слаб и отрезан от всего мира? Все это со свойственной ему обстоятельностью и здравомыслием разъяснял консулу Фабий. Вероятно, он воображал, что Публий не понимает того, что ясно было бы и ребенку.

Дело было, конечно, не в том, чтобы выманить Ганнибала. Публий единственный из всех понял, что не с Ганнибалом воюет Рим, а с Карфагеном. Ганнибал уже проиграл Италию, не был страшен, и только потому Сципион решался на несколько лет оставить Италию. Иное дело Карфаген. Это огромная богатейшая могущественнейшая держава, которая через десять лет могла родить второго Ганнибала. Это ясно показывал пример Сицилии. Еще в те времена, когда эллины разбили персов при Саламине, начали пунийцы наступать на Сицилию. Эллины сопротивлялись поистине героически. Сколько битв выиграли они у западных варваров на суше и на море! Сколько выставили великих полководцев, таких как Дионисий, Тимолеонт и Агафокл! И что же? Они сокрушали отдельных вождей, но не Карфаген. Между тем каждая новая война истощала силы сицилийцев. Варвары выжигали их поля, сравнивали с землей города, вырезали жителей. Многие годы требовались, чтобы залечить эти язвы. А сами пунийцы в это время жили в полной безопасности: города и поля Африки процветали, на войне они не потеряли ни одного человека — ведь сражались они силами наемников, а их можно было купить сколько угодно, если есть деньги. А денег у карфагенян было более чем достаточно. И вот, несмотря на все подвиги эллинов, Сицилию они раздавили.

Теперь очередь была за Римом. Двадцать четыре года длилась Первая Пуническая война. Италия вышла из нее обессиленной, а Карфаген даже не почувствовал урона. Правда, пунийцы потеряли Сицилию, но Гамилькар Барка дал им нечто лучшее — Испанию с ее неистощимыми запасами золота. Оттуда, а не из Карфагена на первых порах шла помощь Ганнибалу.

Не прошло и двадцати лет, и вот карфагеняне начинают новую войну, вдесятеро тяжелее первой. И ведется она теперь на территории Италии. Пятнадцать лет страна предавалась пожарам и опустошениям, Ганнибал разрушил четыреста городов, в одних битвах истребил более трехсот тысяч италийцев. Италия обезлюдела, поля опустели. А Карфаген? Что он потерял? Ни одного человека. За них гибли галлы, балеары и

ливийцы. Если бы сегодня Публий разбил Ганнибала в Италии и заключил мир, то за несколько послевоенных лет карфагеняне сумели бы выкачать из Ливии все то, что они потеряли в войне с Римом. А тем временем подрос бы сын или племянник Ганнибала и снова напал бы на Италию, которая уже не имела бы сил ему сопротивляться. Карфаген представлял собой поэтому какую-то страшную гидру, которая, чем более ее рубили, тем могучее и сильнее поднималась перед обессиленным Геркулесом[31].

Вот откуда родился план Сципиона. Он задумал лишить Карфаген всех его владений и превратить в рядовой финикийский городок. Тогда и только тогда он уже не возродится более. Для этого надо было отнять у пунийцев Испанию и Ливию: Сицилия и Сардиния были уже в руках римлян. Только в этом надо видеть причину того, что Публий пять лет тому назад поехал в Испанию. Ведь и в Италии было немало забот, и больше славы сулили победы над войсками Ганнибала, чем его братьев и родичей. И патриотизм требовал прежде всего защитить родную страну. Итак, не жажда подвигов звала его в Испанию. Но и не жажда мести овладела Сципионом, который поспешил заключить в Иберии союз с Андобалой и Масиниссой, убийцами своего отца.

Итак, у Публия были иные причины рваться в Испанию. Цель своего пребывания в Иберии он видел и не в том, чтобы, как его отец и дядя, охранять границы страны и не пропускать пунийцев в Италию. Иначе не смотрел бы он так равнодушно на то, как Газдрубал, сын Барки, отправляется в Италию. Именно в этом обвиняет его Фабий, а вслед за ним и новейшие историки. Создатель головокружительно-смелых планов, любивший самые отчаянные предприятия, человек, решившийся почти один ехать к варварскому царю во враждебную страну, тут Сципион почему-то не сделал даже попытки задержать Газдрубала. Не странно ли? Дело в том, что у него была другая цель, и ради этой цели он все готов был бросить на карту. Он не хотел терять воинов и не хотел рисковать, сражаясь с Газдрубалом, ибо у него перед глазами была эта цель — вырвать Испанию из рук пунийцев. И он упорно добивался этого четыре года. Наконец вся страна вплоть до океана была очищена от карфагенян. Тогда все уговаривали его отдохнуть, но он не мог позволить себе ни минуты отдыха. Теперь его целью стала Африка. Он остановил свой взгляд на Ливии. Он задумал из данницы пунийцев превратить ее в сильную дружественную Риму державу. Тогда ни Сицилия, ни Иберия, ни Ливия не дадут пунийцам ни асса. Соседство враждебной Ливии свяжет их по рукам и

Единственный сохранившийся портрет Сципиона на медной монете из Канузия. Работа довольно грубая. Изображение лишь приблизительно передает черты лица нашего героя

Финикийский бог Решеф. Древнее изображение из Библоса. *Бронза. XIX—XVIII вв. до н. э.* Храм Решефа в Карфагене поражал своей роскошью

Терракотовая маска из Карфагена. *VII—VI вв. до н. э.*

Финикийский бог Бес. Очень популярное у пунийцев божество, изображения которого во множестве находят в Карфагене. *Бронза. XIX—XVIII вв. до н. э.*

Финикийская богиня плодородия. *Угарит. Слоновая кость. XIV в. до н. э.*

Золотые драгоценности из Карфагена. *VII—VI вв. до н. э.*

Изображение финикийской женщины. *Угарит. Слоновая кость и золото. XIV в. до н. э.*

Изображение финикийца. Бронзовая статуэтка. *XIX—XVIII вв. до н. э.*

Женская фигура из Карфагена. *Терракота. VI в. до н. э.*

Карфаген. Мужская фигура. Найдена в тофете — священном месте, где сжигали детей. *Терракота. VII—VI вв. до н. э.*

Западный берег Сицилии. Карфагенская колония. Тофет. *VII—III вв. до н. э.*

Кливус Палатини — улица, которая вела с Форума на Палатин

Современный вид Форума. На первом плане видны три колонны — это остатки храма Кастора. На его высоком постаменте стоял цензор во время смотра всадников. Возле этого храма был дом Сципиона

Алтарь Ларов. Такие маленькие алтари были в каждом римском доме. Лары в коротких туниках. Между ними одетый в тогу Гений, которого всегда сопровождает изображение змеи

Великий цирк, где проходили состязания колесниц

Круглый храм на Бычьем Форуме.
Одно из древнейших из сохранившихся римских святилищ.
Так выглядели римские храмы в описываемую эпоху

Испанка времен Сципиона. *Иберия. IV—III вв. до н. э.*

Карфагенские монеты из Испании, вероятно, изображающие братьев Ганнибала. Вверху — Газдрубал, внизу — Магон, он в диадеме, как царь. На обороте — боевой корабль

Голова женщины
из Великой Греции.
Терракота. IV в. до н. э.

Аппиева дорога,
ведущая из Рима на юг.
Современный вид

Пуниец из Испании.
Терракотовая статуэтка с о. Ивисы (маленький остров у восточного побережья Испании). *IV в. до н. э.*

Знатная богато одетая пунийская женщина.
Терракотовая статуэтка с о. Ивисы. *V—IV вв. до н. э.*

Развалины театра в Сиракузах

Греческий театр.
Сицилия

Греческий пир.
Изображение на вазе.
Юноши возлежат
с чашами в руках.
Их развлекают
танцовщица
и флейтистка

Греческая танцовщица
из Южной Италии.
Изображение на вазе

Фреска из Рима. Одиссей
и лестригоны. Изображен пейзаж
Сицилии или Южной Италии

Терракотовая маска из Карфагена. *VIII—VI вв. до н. э.*

Пунийская крепость близ Карфагена

ногам. Деньги и флот они отдадут римлянам. Вот тогда-то великий Карфаген больше никогда не поднимет голову.

План этот возник у Публия не внезапно. Он много думал над ним и изучал историю прошлых войн. Дионисий и Агафокл стали его любимыми героями (*Polyb., XV, 35, 6; ср.: Liv., XXVIII, 43*). Но, увы! Ничего этого не сказал в тот день перед сенаторами Публий Сципион. Он презрительно молчал под враждебными взглядами отцов. Они не понимали его и от души возмущались тем гордым презрением, с которым он говорил с Фабием. Ропот прошел по собранию. И вот поднялся Фульвий Флакк, прославившийся своей жестокостью при взятии Капуи. Он спросил, правда ли, что в случае отказа сената консул собирается апеллировать к народу. На это Сципион спокойно отвечал, что сделает все, что найдет нужным, в интересах Республики. Флакк воскликнул, что он ни минуты не сомневался, что консул ответит именно так, и воззвал к сенату, назвав Сципиона нарушителем всех законов.

Однако открытого столкновения на этот раз не состоялось. Отцы были очень недовольны дерзким консулом, но боялись, что он приведет свою угрозу в исполнение. Им было ясно, что тут будет не так, как с триумфом: Сципион будет бороться до конца. Им пришлось идти на уступки. Начались долгие совещания и переговоры. В конце концов сенат предложил Публию такой вариант: он получает провинцией не Африку, а Сицилию. Оттуда он, если хочет, может переправиться в Африку. Они ему ничего не запрещают и ничего не дают. Ни денег, ни флота, ни армии он не получит. Но если кто-нибудь пойдет за ним добровольно или если он найдет возможным взять с собой штрафной батальон из Сицилии, сенат ему мешать не станет (*Liv., XXVIII, 45—46*). «Ему разрешили взять только тех, кто сам захочет, если таковые найдутся, — пишет Аппиан, — и воинов из Сицилии и денег ему не дали, разве кто пожелал бы из дружбы помочь Сципиону» (*App. Lib., 28—29*).

«Другой на месте Сципиона, вероятно, заявил бы, — говорит Моммзен, — что африканскую экспедицию или следует предпринимать с иными средствами, или не следует предпринимать вовсе. Но он был так самоуверен, что соглашался на всякое условие, лишь бы только добиться желанного назначения главнокомандующим»*. Конечно, он мог бы привести свою угрозу в исполнение и апеллировать к народу. Но роль народного вожака внушала ему непреодолимое отвращение, вся его древняя кровь аристократа возмущалась

* *Моммзен Т.* История Рима. Т. I. С. 616.

против этого. И он был слишком горд, чтобы просить о чем-то отцов и интриговать в сенате. Он принял условие.

Казалось, сенат сделал уже все, чтобы провалить экспедицию. Но Фабий не унимался. «Он обрушился на Сципиона с другой стороны, — пишет Плутарх, — он удерживал и отговаривал молодых людей, желавших отправиться в поход, кричал в сенате и в Народном собрании, что Сципион не просто бежит от Ганнибала, но уводит из Италии всю оставшуюся у Рима силу, в своекорыстных целях соблазняя молодежь пустыми надеждами и побуждая бросить на произвол судьбы родителей, жен и отечество, у ворот которого стоит неодолимый враг. Своими речами он запугал римлян» (*Plut. Fab., 25*).

То, что теперь называлось сицилийским войском, которое разрешили взять Сципиону, были каннские беглецы, которых сам сенат объявил преступниками и которым запретил вступать на землю Италии. Из них едва можно было сформировать два легиона, притом это были люди, уже десять лет не бравшиеся за оружие, озлобленные всеобщим презрением. «Так пренебрежительно отнеслись вначале римляне к войне, которую немного спустя заслуженно стали почитать самой великой и славной» (*App. Lyb., 29*).

Прекрасный остров

Разрешив все вопросы с сенатом, консул Сципион уехал в Сиракузы. «Вы не раз слышали, что Сиракузы — самый большой из греческих городов и самый прекрасный в мире; оно на самом деле так», — пишет Цицерон. Он не устает восхищаться стройной планировкой города, поразительной красотой храмов, чудесными статуями и картинами. Одни только двери знаменитого сицилийского храма привлекали толпы паломников со всего света. «Трудно перечислить, сколько греков писало об их красоте» (*Cic. Verr., IV, 117—124*). Видимо, сицилийские тираны напоминали великолепных и пышных правителей Флоренции и, подобно этим последним, не жалели усилий, чтобы превратить свой город в прекраснейший дворец. Замечательная библиотека и огромный театр были гордостью Сиракуз.

Удивительная красота этого города поражала даже эллинов, привыкших к утонченной прелести, но после Рима с кривыми улочками и жалкими уродливыми домами он производил впечатление какого-то волшебного сна. И жизнь Сиракуз резко отличалась от римской.

На первый взгляд жизнь эта казалась сплошным веселым праздником, где можно было отдохнуть душой после суровых римских будней. Нарядные толпы людей с утра устремлялись на улицы и окружали какого-нибудь философа с длинной бородой, в потертом плаще, который рассказывал о природе богов. Юноши жадно внимали ему, засыпали вопросами, брели за ним по палящему солнцу. Но вот раздавался зов с палестры — и все бегом бежали в гимнасий упражняться, ибо «жадная, благоговейная влюбленность в жизнь»*, свойственная эллинам, заставляла их горячо восхищаться красотой тела. А по праздникам устраивали великолепные театральные представления. Но за всей этой легкомысленной радостью скрывалась глубочайшая мудрость. Пребывание в течение хотя бы нескольких дней в греческом городе было равносильно обучению в университете. Эллада, даже покоренная, сохранила какое-то волшебное обаяние. Под власть ее чар подпадали великие цари и полководцы, мало того, целые народы и племена.

Вот в такую-то страну и к таким людям попал внезапно Публий Сципион. Он был поражен, восхищен и полностью отдался вихрю стихии. Многие римляне его времени и последующих веков тоже глубоко восхищались Грецией. Но они не давали чувству увлечь себя и сохраняли вид холодного и презрительного равнодушия. Прекрасно зная греческий, они делали вид, что его не понимают, и упорно объяснялись с эллинами через переводчика. И во всем прочем они не давали грекам заметить, что их настолько интересует греческая культура, чтобы они когда-нибудь тратили время на ее изучение. Цицерон рассказывает о двух знаменитых ораторах — Люции Крассе и Антонии, блиставших в дни его ранней юности. Обычно считалось, что они совершенно чужды эллинской культуре. Цицерон, однако, будучи еще мальчиком, подолгу гостил в доме Красса и заметил, что по-гречески оратор говорит так, будто никогда не знал никакого другого языка, что он принимает у себя ученых греков и подчас охотно обсуждает с ними сложные и отвлеченные философские вопросы. Наведя справки, Цицерон узнал, что и Антоний, будучи в Афинах, вел беседы с учеными мужами и иногда мог блеснуть совершенно неожиданными для него знаниями.

Почему же об обоих ораторах сложилось такое мнение? Цицерон объясняет это так: «Красс не скрывал, что он учился, но старался показать, что учением этим не дорожит и что здравый смысл соотечественников ставит выше учености

* Выражение Вересаева.

греков; а Антоний полагал, что у такой публики, как наша, его речь встретит больше доверия, если будут думать, что он вовсе никогда не учился. Таким образом, и тот и другой считали, что впечатление будет сильнее, если делать вид, что первый не ценит греков, а второй их даже не знает» (*Cic. De or., II, 4*). Именно так должен был поступать римлянин, дороживший своей репутацией. К подобным уловкам часто прибегал и сам Цицерон. Когда по молодости лет он неловко выставил напоказ свое восхищение эллинами, он стал часто слышать за своей спиной с насмешкой произнесенные слова «Грек!» и «Ученый!» — «распространенные среди римской черни бранные слова» (*Plut. Cic., 5*). И потом всегда умело скрывал свое восхищение греческой культурой.

Вот почему римлянин, открыто проявлявший интерес к эллинам, бросал вызов общественному мнению. Но Публий Корнелий был так горд, что не мог унизиться до притворства. И вскоре в Риме с ужасом заговорили о его непристойном поведении. Консул римского народа должен был важно шествовать по улицам в военном плаще. А впереди шагали и расчищали ему дорогу ликторы со связками прутьев и секирами. Вид его должен был быть неприступен, поступь величава, обеды же должны были отличаться чинностью и тишиной (*Cic. Verr., V, 28*). Что же сказать о консуле, который один, без всякой охраны, без приличествующей его сану свиты, бегает по городу в греческом плаще и сандалиях, беседует с философами, с утра до ночи пропадает в театрах и даже — о, ужас! — занимается гимнастикой в палестре (*Liv., XXIX, 19; Plut. Cat. mai., 3*). Чтобы понять, какое впечатление на римлян должны были производить рассказы о поведении их молодого консула, достаточно вспомнить, что у Цицерона в речи против наместника Сицилии Верреса в одном ряду с обвинениями в чудовищных злодеяниях — убийствах, вымогательствах, грабежах, попрании всех законов, божеских и человеческих, — стоит: «Ты в звании наместника провинции* показывался людям в тунике и пурпурном плаще», то есть в греческой одежде (*Cic. Verr., V, 137,* ср.: *IV, 54; V, 31*). Тацит приводит забавный рассказ, как Германик вызвал недовольство Тиберия тем, что попытался подражать Сципиону: «Он повсюду ходил без всякой стражи, в открытой обуви и таком же плаще, какой носили местные греки, подражая в этом Публию Сципиону, который, как мы знаем, сходным образом поступал в Сицилии, хотя война с карфагенянами была в полном разгаре» (*Tac. Ann., II, 59*).

---

* То есть в том звании, в котором был сейчас Сципион.

Особенно возмущали римлян упражнения в палестре. Цицерон передает общее мнение всех своих соотечественников, уверяя, что палестра — источник безнравственности и развращенности. Юношам, говорит он, следует законом запретить обнажаться и заниматься гимнастикой (*Cic. De re publ. IV, 4;* ср. *Plut. Qu. Rom., 40; Cic. Tusc., IV, 33*). Войско Сципиона подражало во всем своему полководцу. Следуя влечению своего веселого и щедрого характера, он устраивал непрерывные празднества и увеселения, словно был не полководцем, а устроителем игр (*Plut. Cat. mai., 3*). Пиры, карнавалы, подарки, которыми он щедро осыпал окружающих, — все эти безумства, казалось, занимали все его внимание. Греки были восхищены и очарованы новым римским консулом (*Val. Max., III, 6, 1; Liv., XXIX, 1*). Он дарил их милостями и оказывал ряд важных услуг. Он поспешил загладить все несправедливости, причиненные им Марцеллом (*Liv., XXIX, 1*).

Естественно, в Риме были в ужасе от поведения консула. Отцы не верили своим ушам. Узнали же они об этом вот как. Квестором Публия в Сицилии был Марк Порций Катон, столь знаменитый впоследствии. Тогда это был еще совсем молодой человек, ровесник Сципиона, но уже тогда он отличался суровым и непреклонным характером. Он был близок к Фабию, и тот успел еще в Риме настроить его против консула. Теперь же поведение этого повесы до глубины души возмутило Катона. Порций всегда гордился своей грубой прямотой, считая ее свойством настоящего мужчины. Вот почему он, подойдя к Сципиону, «без всяких обиняков» обличил его, «ставя ему в упрек не величину расходов, а то, что он губит исконную римскую простоту, ибо воины, не зная нужды ни в чем, привыкают к удовольствиям и изнеженности. Сципион отвечал, что, на всех парусах идя навстречу войне, он отнюдь не нуждается в таком чрезмерно аккуратном квесторе — ведь не в деньгах, а в подвигах ему придется отчитываться перед римским народом» (*Plut. Cat. mai., 3*). Катон был оскорблен до глубины души. Он сейчас же уехал, чтобы донести сенату о преступном поведении консула. В Риме с возмущением заговорили о легкомысленном молодом человеке, который словно приехал не на войну, а на прогулку, который «занимается книжками и гимнастическими упражнениями» и «проводит жизнь в праздности и изнеженности» (*Liv., XXIX, 19*).

Над головой Сципиона собиралась гроза, но он ни о чем не подозревал, занятый другими заботами. Перед ним стояла задача из народной сказки: в кратчайший срок собрать

армию, обучить ее, вооружить, построить флот и приготовить припасы — и все это без денег! Кажется, мало кто, глядя на этого веселого беспечного юношу в греческом плаще и сандалиях, так увлеченного театром, догадывался, какой сложной и тяжкой работой он занят.

Трудности и приключения

Публий пустил в ход весь свой кредит и все свое искусство убеждать. Он брал деньги взаймы у частных лиц, а главное, у италийских общин, заверяя их клятвой, что возместит сторицей после победы. Особенно помогли ему этруски, связанные с ним общностью происхождения. Много помогли ему и сицилийцы. Очень нужен был Сципиону флот. И вот благодаря его усилиям через 40 дней у него были прекрасные корабли — тяжелые боевые суда, оснащенные машинами. У Сципиона было 40 военных и 400 транспортных судов.

Хуже всего дело обстояло с армией. По-видимому, Публию удалось набрать около семи тысяч добровольцев. Кроме того, в его распоряжении были штрафные батальоны, состоявшие из беглецов, спасшихся после Канн. Сицилия была для них местом ссылки. Им запрещено было ступать на территорию Италии, пока там находится Ганнибал. Когда на остров прибыл Марцелл, изгнанники, толпой сбежавшись к нему, упали к его ногам и со слезами молили вернуть им честное имя. Они заклинали его дать им место в строю и испытать в какой-нибудь битве. Они кровью смоют свой позор. Марцелл был глубоко растроган и просил сенат разрешить ему исполнить их просьбы. Но отцы сухо ответили, что римский народ в трусах не нуждается. Марцелл был разгневан и опечален без меры (*Plut. Marcell., 13*).

Этих-то людей сенат передал теперь Сципиону, во-первых, потому, что их было не жалко, во-вторых, желая унизить консула*. «Но Сципион, — говорит Ливий, — вовсе не относился с презрением к этого рода людям, так как знал, что поражение при Каннах понесено не из-за трусости» (*Liv., XXIX, 24*). И уж конечно, эти люди были преданы ему до гроба.

Было у Сципиона еще 300 воинов, которыми он особенно дорожил и хотел использовать в коннице. Аппиан и Ливий называют их добровольцами (*App. Lib., 29; Liv., XXIX, 1*), но скорее прав Плутарх, который пишет, что то были единственные из испанских солдат, которых ему позволили взять

---

* *Моммзен Т.* История Рима. Т. I. С. 616.

с собой (*Plut. Fab., 25*). Но как ни выделялись они своим искусством, для Сципиона они были бесполезны — у них не было ни коней, ни вооружения. Зато консулу позволили сделать набор среди сицилийских греков.

Публий записал в набор 300 юношей из самых богатых семей. Они должны были явиться на тренировку в полном вооружении и на конях. Эти изнеженные молодые люди не могли совершить увеселительную прогулку на лодке, не натянув над собой пурпурный тент от солнца. Жизнь они привыкли проводить в наслаждении и роскоши. Можно себе представить, в какой ужас привела их перспектива сражаться в суровой Африке. А когда стратег заставил их целый день под палящим солнцем проделывать сложные и утомительные упражнения, они совсем пали духом. Измученные, едва держась в седле, ехали они домой. Вдруг консул остановил коня и резко спросил, отчего это у них такой унылый вид. Может быть, они не хотят сражаться в римской армии? Разумеется, несчастные новобранцы хором ответили, что очень хотят служить в Африке. Однако Сципион нахмурился и сурово напомнил, что такое Африка, что там нет даже городов, поэтому, если кто-то чувствует, что не в состоянии сражаться, пусть лучше скажет прямо, чем своим нытьем отравлять жизнь остальным. Все молча переглядывались. Наконец один, осмелев, выступил вперед и, запинаясь, пробормотал, что ему не хотелось бы ехать в Африку.

Все с тревогой следили за стратегом — не разгневает ли его эта дерзость? Но Публий ободрил юношу, похвалил за откровенность и сказал, что найдет ему заместителя, если грек временно уступит тому своего коня и оружие. Тот с восторгом согласился. Тогда Публий поманил одного из тех трехсот испанских ветеранов, которые не имели лошадей. Остальные новобранцы с завистью смотрели на товарища, поднялся ропот, все говорили, что это несправедливо: они тоже не хотят служить. Сципион сказал, что они могут последовать примеру товарища. Не прошло и получаса, как все сицилийцы разбежались, а воины Публия были экипированы (*Liv., XXIX, 1*). «И вот у Сципиона вместо сицилийцев стало триста италийских юношей, прекрасно снаряженных чужими конями и оружием. Они сразу же воспылали к нему горячей благодарностью и до конца были ему преданы» (*App. Lib., 33*).

Однажды Публий стоял на берегу моря и наблюдал за их упражнениями. Какой-то любопытный грек подошел и спросил, на что он надеялся, задумав столь смелый план — перенести войну в Африку. Сципион указал на своих воинов, потом на высокую отвесную скалу над морем и сказал:

— Среди них нет ни одного, кто не кинулся бы оттуда вниз головой по моему приказу! (*Plut. Reg. et imp. apophegm., Scipio mai., 4*).

И все-таки радоваться было пока нечему. В распоряжении у римского военачальника была какая-то разнородная масса — мальчишки-новобранцы, наказанные солдаты, уже десять лет не бравшиеся за оружие, кое-кто из италиков. Даже вооружение у них было чужое. Надо было в короткий срок спаять их в одно целое, создать из этого жалкого сброда боеспособную армию, обучить ее своей новой тактике и вывести в бой против великого Карфагена и неодолимого Ганнибала. Поэтому он не знал ни минуты покоя. Со своими воинами он проделывал трудные упражнения. Солдатам штрафного батальона и конникам он объявил, что устроит им нечто вроде экзамена перед отъездом в Африку. Кто окажется недостаточно искусен, того он с собой не возьмет. Греческим юношам, освобожденным от военной службы, он приказал дать место для тренировок своим заместителям и следить за их упражнениями, в противном случае они сами поедут в Африку.

Своей ловкостью и искусством его солдаты должны были возместить свою малочисленность. По словам Аппиана, у него было всего 16 тысяч пехоты и 1600 всадников (*App. Lib., 51*), а Ливий говорит, что его источники дают цифру от двенадцати до тридцати пяти тысяч (*Liv., XXIX, 25*). Вероятнее всего, что у Сципиона было не более двадцати—тридцати тысяч*. Однако он мог надеяться на многочисленную и прославленную нумидийскую конницу Сифакса и Масиниссы. Но тут-то судьба приготовила ему самый страшный и неожиданный сюрприз.

В один прекрасный день к римскому военачальнику явились нумидийские послы. Они передали ему письмо от Сифакса следующего содержания. Царь писал, что по-прежнему любит Сципиона, необычайно к нему расположен, но за время их разлуки он вступил в брак с Софонисбой, дочерью Газдрубала, а потому, если Публий вздумает высадиться в Африке, он вынужден будет защищать родину своей жены и тестя. Прочитав это письмо, Публий приветливо улыбнулся, сказал послам несколько приличествующих случаю слов и поскорее выпроводил вон, сунув наскоро написанное письмо, где увещевал Сифакса более для приличия, чем искренне веря в успех. Публий спешил отослать послов прежде, чем кто-либо из римлян узнает о их приходе. Но он опоздал.

---

* Скаллард принимает цифру в 35 тысяч. См.: *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 115.

Многие видели, как ливийцы в своих причудливых одеждах, с наброшенными на плечи звериными шкурами прогуливались по Сиракузам. Все ожидали от консула объяснений. Тогда он позвал на собрание воинов и объявил, что получил письмо от своего друга Сифакса, который торопит его скорее переправиться в Африку (*Liv., XXIX, 24*). Так сделал он потому, что знал наверное: если в Риме узнают об истинном положении дел в Африке, его, конечно, никуда не пустят.

Пришли вести и от Масиниссы (их привез Лелий, который совершил в это время короткую разведочную экспедицию в Африку). Масинисса сообщал, что по-прежнему любит Сципиона, необычайно к нему расположен, но за время их разлуки он успел потерять свое царство, сейчас он ведет жизнь разбойника, скрывается в степях с несколькими товарищами и с нетерпением ждет, когда Сципион приедет и снова посадит его на престол. Все надежды на помощь ливийцев рушились как карточный домик. К несчастью, весь разговор происходил в присутствии солдат, и они могли испугаться, совсем пасть духом. Но все спасло необыкновенное умение Публия владеть собой. Всем, кто наблюдал тогда за Сципионом, показалось, что он чрезвычайно обрадован вестями. Он оживленно расспрашивал обо всем Лелия, заставлял повторять слова Масиниссы о том, что тот все надежды свои полагает на него, и играл свою роль до того правдоподобно, что воины не только не пали духом, но даже приободрились, уверенные, что получили самые радостные вести, какие только можно себе представить (*Liv., XXIX, 5*)*.

Так сенат и не узнал о катастрофе в Африке. И все же над головой Сципиона снова сошлись тучи. Однажды в сенат явились послы из греческого города Локры, расположенного в Южной Италии. Этот город издревле был в союзе с Римом, но во время войны изменил и перешел к Ганнибалу. Сейчас там стоял пунийский гарнизон. Послы буквально ворвались в сенат, кинулись к ногам отцов и, плача и рыдая, со свойственной греками экспансивностью молили избавить их от гибели, убрать от них Племиния. Сенаторы были растроганы их жалостным видом, но греки так кричали, что они сначала ровно ничего не могли понять. О чем они просят? Кто такой Племиний? Наконец они с большим трудом поняли, что Племиний — это римский офицер. Он ограбил весь город, кричали послы, обобрал даже священнейший храм Персефоны, и, если его не уберут, они умрут от отчаяния. Но как в

* Замечательно, что Ливий так наивен, что верит всей этой комедии и воображает, что Сципион обрадовался вестям о Масиниссе.

городе вообще мог очутиться римский офицер, ведь там войска Ганнибала, спросили изумленные сенаторы. Да ведь город захватил Сципион, отвечали послы, и поставил там гарнизон с этим ужасным Племинием.

Сенаторы буквально окаменели от изумления. Как мог Сципион, находясь в Сицилии, захватить италийский город? Как допустил это Ганнибал? А дело было так. Жители Локр давно уже втайне возмущались жестокостью и наглостью карфагенян, которых они так необдуманно сделали своими владыками. Многие бежали из города. Беглецы и изгнанники собрались в близлежащем городе Региуме. Им удалось войти в тайные сношения с жителями Локр, составился заговор против пунийцев. Но нужна была помощь римлян. Однако вместо того, чтобы сообщить обо всем наместнику Южной Италии Крассу, они почему-то обратились к Публию Сципиону, хотя его отделяло от них море, хотя он готовился вот-вот переправиться в Африку и вообще по закону не имел права вмешиваться в дела чужой провинции. Они не ошиблись. Публия все эти соображения нимало не смутили, и он послал к Локрам трехтысячный отряд во главе с Племинием. Ночью римляне поднялись на стены и вступили в бой с карфагенянами. Жители помогали римлянам. Кончилось тем, что римляне овладели одной укрепленной частью города, а пунийцы — другой.

Тут только Ганнибал узнал, что происходит буквально в нескольких шагах от него, и поспешно двинулся к городу. Подойдя к стенам, он собирался приступить к штурму, но ворота внезапно распахнулись и оттуда вышло римское войско во главе со Сципионом. Ганнибал, быть может пораженный его стремительностью, без боя повернул прочь.

Сципион, по словам локрийцев, тут же покинул город, так как безумно спешил. Поэтому он сказал, что не станет ничего решать относительно Локр, пусть они поскорее шлют послов в Рим, и сенат, конечно, примет справедливое решение. Он убежден только, что, хотя в несчастье локрийцы и предали римлян и те имеют все основания на них гневаться, их положение под властью оскорбленных римлян будет много лучше, чем под властью друзей-карфагенян (*Liv., XXIX, 6—8*). В Локрах остался римский гарнизон во главе с Племинием, который так отличился при взятии города. Но этот Племиний, по словам локрийцев, оказался просто каким-то чудовищем. Его алчности и бесстыдному произволу не было границ. Он обобрал весь город, не стыдясь ни богов, ни людей...

Наконец сенаторы обрели дар речи и спросили, пробовали ли они жаловаться на Племиния Сципиону. Послы отвеча-

ли, что стратег сейчас уже, вероятно, в Африке. Один раз они к нему посылали, но он был страшно занят и ни в чем не пожелал разбираться. Сенату и прежде приходилось слышать жалобы на римских наместников. Не так давно сицилийцы умоляли защитить их от Марцелла. Отцы были тронуты, но не решились оскорбить знаменитого полководца. Но теперь все было по-иному. Фабий был восхищен тем, что нежданный случай дал ему в руки неоценимое оружие против Публия Сципиона. До этого он был неуязвим. Теперь же разом наделал уйму правонарушений. Прежде всего, он не имел никакого права покидать свою провинцию. Сколько объяснял ему Фабий незаконность и преступное легкомыслие такого образа действий, говоря о его поведении в Испании! И что же? На Публия его слова, оказывается, не возымели ни малейшего действия. Случай с Племинием воочию показал полный развал дисциплины, царивший в лагере Публия. Фабий и тут оказался прав! «Этот человек рожден на погибель военной дисциплины!» — воскликнул старый диктатор (*Liv., XXIX, 19*).

Все сошлось одно к одному. Тут явился Катон и донес сенату о непристойном поведении полководца. «Катон вместе с Фабием в сенате обвинили Сципиона в том, что тот бросил на ветер огромные деньги и вел себя как мальчишка, пропадая в палестрах и театрах, точно не на войну, а на праздник приехал» (*Plut. Cat. mai., 3*). Кроме того, Сципиона обвинили в том, что он делит награбленное добро с Племинием и этим-то и объясняется его странное поведение. Фабий потребовал, чтобы полководца немедленно лишили командования, вызвали в Рим и предали суду как святотатца и преступника. Но именно последнее обвинение и было ошибкой Кунктатора. Метелл, верный друг Сципиона и его всегдашний защитник в сенате, с возмущением спросил отцов: неужели они могут хоть на минуту поверить, что Публий Корнелий Сципион — грабитель и насильник?! Даже злейшие враги Сципиона должны были признать, что это низкая клевета.

В конце концов приняли следующее решение. В Локры посылается комиссия, которая должна расследовать преступления Племиния, возместить гражданам все причиненные им убытки, самого же преступника немедленно арестовать и в оковах отправить в Рим. Им надлежало выяснить, сколь велика ответственность главнокомандующего. Сенат не знал, где находится сейчас вездесущий Сципион — в Сицилии, Италии или Африке. Но послам велено было найти его, где бы он ни был, и, если он виновен, плыть за ним хотя бы в самую Африку и вернуть его в Рим немедленно. За-

мечательно, что с послами отправили и трибунов, так как отцы боялись, что этот гордый и своевольный человек не пожелает им повиноваться. А уж авторитет трибунов обязан признать даже сам Публий Сципион.

Публия Корнелия часто сравнивали с Алкивиадом, столь же красивым и обаятельным героем, задумавшим столь же фантастическую экспедицию. Сейчас ему и впрямь грозила опасность подвергнуться участи Алкивиада. Этот блестящий полководец, как известно, с огромным трудом убедил сограждан предпринять грандиозную Сицилийскую экспедицию, но, когда флот был уже у берегов Сицилии, появился афинский корабль и потребовал, чтобы Алкивиад сложил с себя полномочия и явился перед судом. Это безумное решение привело афинян к ужасающей катастрофе. Теперь сенат готовил такую же судьбу Сципиону.

С чисто римской четкостью, быстротой и умелостью послы разобрали дело и возместили убытки локрийцам. Они составили точный список всех отнятых у них вещей, и все до последней драхмы было возвращено. При этом послы, разумеется, убедились, что награбленным Племиний с консулом не делился. Тем не менее, закончив все свои дела в Локрах, они спросили граждан, есть ли у них претензии к Сципиону. Если они считают его виновным, он будет немедленно лишен командования. Греки горячо поблагодарили римлян. Они решительно заявили, что им доподлинно известно, что злодеяния свои Племиний совершил без ведома консула. Они не желают быть врагами этого великого человека. Они думают, что Сципион принадлежит к людям, которые, будучи сами безупречны, не могут в то же время карать чужие грехи (*Liv., XXIX, 21*).

Не довольствуясь этим, послы спросили сицилийцев, нет ли у них жалоб на Сципиона. Но тут вместо жалоб на них полился поток восторженных похвал. Итак, с этим было покончено, и теперь члены комиссии отправились в Сиракузы к Сципиону, чтобы лично проверить слухи о «внешности и бездеятельности императора и распущенности военной дисциплины» (*Liv., XXIX, 21*).

Сципион не мог не знать о деятельности послов. Они приехали его *судить*. Но, по словам одного автора, у него был слишком высокий дух и слишком гордый характер, а потому он не умел быть обвиняемым и не мог унизиться до оправданий (*Liv., XXXVIII, 52*). Он всегда считал, что не обязан отчитываться в своих поступках ни перед кем (*Polyb., XXIII, 14, 8*). И он принял следующее решение. Когда прибыли послы, он встретил их с той особой светской любезно-

стью и изысканной учтивостью, которыми не устают восхищаться современники. Он так повернул дело, будто они гости из Рима, и они так и не сумели объяснить цели своего визита. Словно выполняя долг гостеприимства, он показал им свое войско и флот. Говорят, они замерли от восхищения. Они поздравляли Публия, уже уверенные, что он с триумфом вернется из Африки (*Liv., XXIX, 22*).

Это было последнее приключение Публия в Сицилии. Настал наконец день отъезда. Много дней до того прошло в хлопотах и сборах. Публий за всем следил лично.

Много огромных кораблей отплывало из сиракузской гавани за последние полстолетия, но никогда не видели сицилийцы такого блистательного зрелища (*Ливий*). Хотя армия Сципиона была ничтожна по сравнению с прежними, грандиозность его замысла и совершенно особенное, ему одному свойственное счастье привлекали все взоры. Поэтому с утра в гавани толпилось несметное множество народа. Сошлись все жители окрестных мест, пришли посольства от всех греческих городов пожелать удачи этому необыкновенному человеку. Пришли и многочисленные римские солдаты, когда-то сражавшиеся под его началом. Вся эта разношерстная толпа, озаренная ярким солнцем, представляла столь живописное зрелище, что «не только смотревшие с суши любовались флотом, но и отплывавшие любовались землей, которая вся кругом была усыпана народом».

Все взоры были устремлены на молодого полководца, стоявшего на палубе. Через глашатая Публий водворил молчание, затем сказал:

— О боги и богини, населяющие моря и землю! Вас молю и прошу, чтобы все, что я совершил, совершаю и собираюсь совершить, пошло на благо мне, римскому народу и плебеям, союзникам и латинскому племени, которые следуют за римским народом и мной, которые на суше и на море подчиняются нашей власти, и чтобы всем моим начинаниям вы оказали свое милостивое содействие и благословили добрым успехом. Чтобы воинов вы вернули вместе со мной домой здравыми и невредимыми, одержавшими над врагом победу, украшенными трофеями, обремененными добычей и празднующими триумф. Чтобы вы дали нам отомстить недругам и врагам, чтобы вы дали народу римскому сделать с карфагенянами то, что народ карфагенский хотел сделать с нашим государством.

Сказав это, Публий обратился с горячей молитвой к волнам, прося их хранить римские корабли. И подал знак к отплытию (*Liv., XXIX, 25, 5—27, 13*).

Глава шестая

АФРИКА

Dixitque tandem perfidus Hannibal:
.....
Carthagini jam non ego nuntios
Mittam superbos: occidit, occidit
Spes omnis et fortuna nostris
*Nominis...**

Hor. Carm., IV, 4, 49; 69—72

Ветер дул попутный, но мгла стояла такая, что люди не видели друг друга с кораблей. Туман был весь этот день и всю следующую ночь. А наутро с первыми лучами солнца мгла рассеялась. Капитан показал Публию рукой вперед и сказал: «Земля!» Сципион взглянул в том направлении, куда он указывал, и увидел сушу. Он помолился богам, чтобы вид Африки послужил Риму и ему во благо. Капитан спросил, не прикажет ли он причалить. Но военачальник велел двигаться вдоль берега. Снова пал туман, и снова настала ночь. А когда вновь взошло солнце, Публий спросил, как называется ближайший мыс. «Прекрасный», — отвечал капитан.

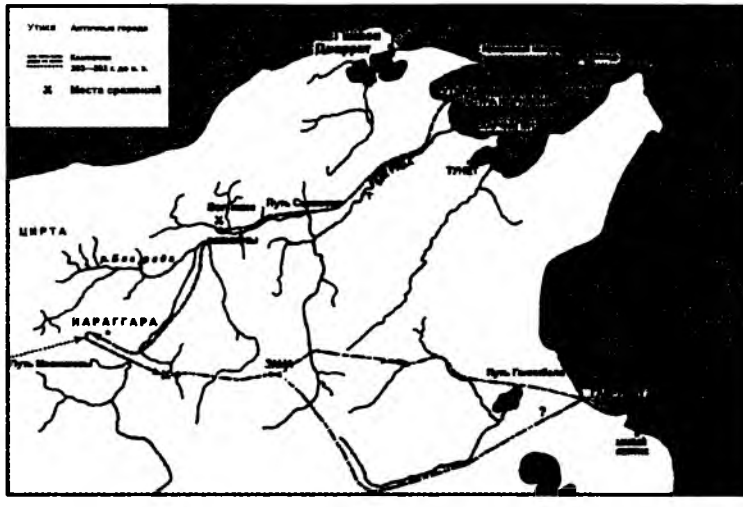
— Мне нравится это название, — сказал Сципион, — веди туда корабли (*Liv., XXIX, 27*).

Едва успели римляне разбить лагерь, как к ним примчалось несколько всадников. Во главе их ехал Масинисса. Обстоятельства требуют, чтобы мы подробнее остановились на жизни и судьбе этого человека.

Масинисса

Рядом с Карфагеном лежала страна нумидийцев, или номадов, как их называли греки. «Они пьют молоко и сок плодов, а пищей им служит мясо диких зверей... Они кочуют вместе со скотом. Когда скот покидает свое пастбище, они переносят свои шалаши в другое место. А ночуют они там,

* И сказал наконец коварный Ганнибал: «Я уже не пошлю в Карфаген гордых послов: пала, пала вся наша надежда и счастье нашего имени» (Гораций. Оды).



Северо-Западная Африка времен Сципиона

где их застанет вечер... Спят и едят они на сырой земле, посуду изготовляют из дерева и коры» (*Mela I, 6*).

Все античные авторы утверждают, что нумидийцы — народ отважный, дерзкий, умный и коварный. Говорят, до сих пор в Алжире среди арабского населения выделяются их потомки — люди со светлыми глазами, гибким станом, живым умом и неукротимым нравом*. К этому племени и принадлежал Масинисса.

Это был человек необыкновенных душевных и телесных сил. «Он был высок и могуч до старости», — говорит Аппиан (*App. Lib., 106*). Он обладал несокрушимым здоровьем. Полибий впервые увидел царя нумидийцев, когда тому было уже за 90. Масинисса поразил его. Он мог целый день неподвижно стоять на ногах под палящим солнцем и мог сутки проскакать на коне. Умирая, он оставил четырехлетнего сына. Это особенно потрясло Полибия (*Polyb., XXXVII, 10*). Ум его нимало не притупился от старости. До конца дней своих Масинисса выигрывал битвы и вел тонкую внешнюю политику. Он без труда припоминал малейшие подробности прошлого, и можно поверить Цицерону, что он помнил не только все подвиги Сципиона, но и каждое его слово (*Cic. De re publ., VI, 10*).

---

* *Ратцель Ф.* Народоведение. СПб., 1903. Т. 2. С. 494, 495.

Таков был этот человек в девяносто лет. Тогда же он был в расцвете сил. Его ловкость, коварство, отвага и стремительность ужасали карфагенян и превращали его в их глазах в какого-то вездесущего демона. Вот как они столкнулись с Масиниссой. У номадов в Ливии было много царьков, говорит Аппиан, но Сифакс стоял над всеми и пользовался у других необычайным почетом (*App. Lyb., 36*). Масинисса же был сыном Галы, царька племени массилиев. Когда Сифакс заключил союз со Сципионами, отцом и дядей теперешнего военачальника, карфагеняне, постоянно пользовавшиеся раздорами своих беспокойных соседей-вассалов, поспешили поссорить с ним Галу. Юный неукротимый Масинисса рад был случайно напасть на Сифакса. В душе его жила честолюбивая мечта уничтожить всех своих соседей и одному стать владыкой Нумидии. Он изгнал Сифакса из его страны, и тот бежал в Испанию. Но Масинисса настиг его и здесь. Сифакс запросил у карфагенян мира. Царю разрешили вернуться в его царство, но Масинисса остался в Испании и стал служить под знаменами пунийцев. Именно он погубил отца и дядю Сципиона и вообще был неоценим для карфагенян.

В это время в Иберию прибыл новый полководец — Публий Корнелий Сципион. Масинисса имел все основания полагать, что он явился мстить в первую очередь именно ему. И сразу судьба дала в его руки оружие — в плен попал юный племянник Масиниссы, Массива. Нумидиец, естественно, думал, что Сципион расправится с ним с изысканной жестокостью и тем отплатит за все то зло, которое Масинисса причинил римлянам. Так делали все люди, с которыми до сей поры имел дело сын Галы. Но вместо того Сципион обласкал мальчика, осыпал дарами и отпустил к дяде. Это поразило Масиниссу. Но он не подал и виду и продолжал служить верой и правдой своим владыкам. Когда же Сципион нанес карфагенянам сокрушительный удар под Илипой и враги рассеялись кто куда, Масинисса вместе с Магоном Баркидом бежал в Гадес. Он понял, что настало время осуществить свой заветный план. Он объявил Магону, что у него нет больше сил жить в четырех стенах и кони его тоскуют по воле. Брат Ганнибала поверил коварному нумидийцу и отпустил его «погулять». А тот сейчас же дал знать Сципиону, что хочет его увидеть, только непременно лично. И вот в глухом уединенном месте они встретились.

Надо полагать, что Масинисса выглядел так, как другие представители его племени. По словам Страбона, они заплетают волосы в очень сложные и затейливые прически, до блеска начищают зубы и надевают массу золотых украше-

ний. Вместо плаща они накидывают на плечи шкуры львов или леопардов, вместо щитов носят выделанную слоновью кожу (*Strab., XVII, 3, 7*). Публий предстал перед ним в одежде простого римского воина без единого украшения. Длинные волосы падали до плеч. Романтические приключения Сципиона уже давно волновали душу Масиниссы, и он мечтал его увидеть. «Нумидиец и раньше, слушая о подвигах Сципиона, изумлялся ему; он создал в душе своей его образ, прекрасный и величественный; но при виде его он почувствовал почтение еще большее... Нумидиец был сначала ошеломлен, а затем стал благодарить за своего племянника, говоря, что... он хочет служить Сципиону и, если римляне пошлют Сципиона военачальником в Африку, он надеется, что Карфагену скоро придет конец» (*Liv., XXVIII, 35*). Он прибавил, что здесь в Иберии он Публию бесполезен, но в Африке будет ему верным другом. И они протянули друг другу руки. Но договор они держали в тайне. Масинисса как ни в чем не бывало вернулся к Магону в Гадес.

Пунийцы были изгнаны из Испании. Между тем старый Гала, отец Масиниссы, умер. Масинисса не имел никаких прав на престол, так как у нумидийцев престолонаследие передается не по прямой линии. Но не в характере Масиниссы было отказываться от власти. После отчаянной борьбы он овладел троном Галы. Сифакс, к этому времени опять сделавшийся другом карфагенян, смотрел на приключения Масиниссы равнодушно. Он полагал, что его должно мало трогать, кто из царьков станет владыкой массилиев. Но Газдрубал, сын Гескона, смотрел на это по-другому. То ли он догадывался о дружбе Масиниссы со Сципионом, то ли, как он сам объяснял, просто страшился безумного честолюбия Масиниссы, но только Газдрубал начал внушать своему податливому зятю, что Масинисса умнее, способнее и честолюбивее, чем все ранее существовавшие цари Нумидии. Он, как пламя, не остановится, пока не уничтожит все на своем пути. Надо затушить этот пожар еще в зародыше.

Сифакс двинулся против своего беспокойного соседа и разбил его. Масинисса с несколькими преданными ему людьми ускользнул от погони и бежал в горы. Здесь нумидийцы разбили шалаши и стали вести жизнь разбойников. Набеги Масиниссы были столь отчаянны, жестоки и наглы, что карфагеняне прокляли час, когда вздумали связаться с этим вездесущим демоном. Всадники Масиниссы отличались поразительной ловкостью: они могли нападать, ускользать от преследования, вновь нападать, не прекращая битвы ни днем ни ночью. Они и их кони, которые бегают за нумидий-

цами, как собаки *(Strab., XVII, 3, 7)*, могли легко переносить голод и жажду. Масинисса и его друзья иногда питались одной травой. «Таких-то людей собрал вокруг себя Масинисса... и повел разорять и грабить соседние племена». Враги таскали за собой тяжелые повозки с припасами, а Масинисса шел налегке, так как жил грабежом. «Он легко ускользал и нападал... Часто, даже когда его настигали, он разделял свое войско, кружил, войско его убегало по частям, сам же он с несколькими товарищами где-либо укрывался, а потом ночью или вечером они соединялись в условленном месте. Сам-третей прятался он в пещере, и его не нашли, хотя враги стояли лагерем возле самой пещеры» (*App. Lib., 42—49*).

Наглость Масиниссы дошла до того, что купцы уже открыто приставали к берегу, поджидая, когда разбойники притащат им захваченную добычу. Карфагеняне снова бросились к Сифаксу, умоляя избавить их от ужасного Масиниссы. Царь нашел, что ниже его достоинства самому выступать против шайки бандитов. Поэтому он послал против нумидийцев своего военачальника со значительными силами. На сей раз разбойников застали врасплох. Сам Масинисса был заперт на вершине горы. Но он как-то сумел с пятьюдесятью всадниками спуститься по одному ему известным тропинкам. Но его заметили. Воины Сифакса кинулись за ним. Все нумидийцы, кроме Масиниссы и его четырех товарищей, были убиты. Их неотступно гнали, как оленей, и наконец прижали к широкой, бурной реке. Израненный Масинисса, не задумываясь, кинулся в поток. За ним кинулись его товарищи. Течение подхватило их, и в мгновение ока они скрылись из виду. Никто из преследователей не решился плыть за ними. Это казалось равносильным верной смерти. Да и без того было ясно, что загнанные, истекающие кровью нумидийцы погибли. Они воротились и сообщили Сифаксу, что Масинисса мертв. Карфаген вздохнул спокойно.

Но они ошиблись. Масинисса всего с двумя друзьями чудом спасся из потока. С трудом дополз он до какой-то пещеры, где, как раненый зверь, лечился травами. Как только он смог снова сесть на коня, все трое выехали из своего укрытия и со страшной дерзостью двинулись прямо к столице Масиниссы возвращать отцовское царство. До карфагенян почти одновременно дошла весть, что Масинисса жив и что он снова царь массилиев.

Если бы Масинисса успокоился и тихо сидел в своем царстве, его оставили бы в покое. Но он пылал жаждой мщения. И тут же напал на своего заклятого врага Сифакса. На сей раз царь уже никому не мог поручить поимку Маси-

ниссы. Он собрал большое войско и сам двинулся против дерзкого и бессмертного врага. Масинисса был разбит. Его окружили. Возле него было всего две сотни всадников. Он разделил свой отряд на три части и велел пробиваться в трех направлениях. Они должны были встретиться в условленном месте. Но из трех отрядов прорвался только один — Масиниссин, остальные погибли. Сын Сифакса гнался за ним по пятам. Но, кидаясь то туда, то сюда, Масинисса путал следы, как заяц, обманывал его, и наконец доведенный до отчаяния юноша отказался от преследования.

Масинисса скрылся за Малым Сиртом, где-то возле сказочного племени гарамантов. Все свои надежды теперь он возлагал только на Сципиона и со страстным нетерпением ожидал его прибытия (*Liv., XXIX, 28—32*). Как видим, подвигам Масиниссы могли бы позавидовать Большой Змей, Быстроногий Олень или любой другой из знаменитых индейцев Купера.

Честолюбие этого человека было неукротимо. И здесь он напоминал Югурту, который кинжалом, войной и ядом устранял с пути всех соперников. Но честолюбие Масиниссы было незаурядного характера, как у Сифакса. Его вовсе не прельщало быть одним из варварских князьков бродячих племен. Он мечтал создать великую державу, вроде эллинистического царства, со столицей в богатом и роскошном городе, лучше всего в Карфагене. Своей цели он впоследствии достиг. Он раздвинул отцовское царство, создав огромную державу от границ Мавритании у Океана до Киренаики. Номадов, бывших кочевников, он приучил к земледелию и оседлому образу жизни. Он собрал огромные богатства и создал прекрасное войско (*Polyb., XXXVII, 10; App. Lib., 106*). Он стал чеканить монету с символами царской власти и с греческими надписями. Он приносил жертвы в эллинских храмах, а одному своему сыну даже дал греческое образование (*Liv. ep., L*).

Не сумел достичь он только последнего — завоевать великий Карфаген. Чувства его к этому городу были противоречивы и соответствовали прекрасному описанию Флобера: «Вид Карфагена раздражал варваров. Они восхищались им и в то же время его ненавидели. Им одновременно хотелось и разрушить Карфаген, и жить в нем». Так и Масинисса. Он ненавидел Карфаген, как истый ливиец, клялся, что пунийцам принадлежит в Африке клочок земли не более воловьей шкуры, но в то же время мечтал сделать Карфаген своей столицей, а детям дал пунийские имена.

Хотя в сношениях с врагами Масинисса был воплощенное коварство, дружбе он был верен. Едва ли не единственный из современных ему владык, он возвращался домой спо-

койно, не опасаясь заговоров сыновей и придворных: так крепки были связующие их узы. Публию Сципиону этот хищный зверь был предан как собака. В самые страшные моменты, когда судьба их висела на волоске, верность Масиниссы ни на минуту не поколебалась.

Их положение бывало отчаянным, и каких только благ не сулили ему враги за предательство! Но Масинисса был тверд, как сталь. Сципион тоже верил ему слепо. Окруженный врагами, он беспечно отдал все свое войско в руки нумидийца, всю судьбу свою и Рима вверив его чести. И он не ошибся в Масиниссе: всю жизнь до последнего вздоха он свято чтил Публия и их связывала самая тесная дружба.

Впоследствии Масинисса рассказывал Полибию о безмерной алчности и мелочности Ганнибала (*Polyb., IX, 25, 2—5*). Этот герой не способен был его увлечь. Зато Сципион был его богом. «Своим состраданием к побежденным Сципион навеки снискал нерушимую дружбу Масиниссы» (*Diod., XXVII, 8*). Цицерон рисует нам Масиниссу уже глубоким стариком. В дом его приходит Сципиан Эмилиан, приемный внук Публия*. «Мне ничего так не хотелось, — рассказывает Эмилиан, — как увидать царя Масиниссу, лучшего друга нашей семьи. Когда я пришел к нему, старик обнял меня и заплакал. Немного погодя он взглянул на небо и сказал:

— Благодарю тебя, Великое Солнце**, и вас, остальные небожители, за то, что вы позволили мне прежде, чем я покину эту жизнь, увидеть в моем царстве, под моей крышей Публия Корнелия Сципиона, от одного имени которого я воскресаю. Никогда не забуду я этого самого лучшего и совершенно непобедимого человека!..

Меня принимали с царским великолепием, и мы провели в беседе добрую часть ночи, причем старик не мог говорить ни о чем, кроме Публия Африканского, припоминая не только все его поступки, но и каждое его слово» (*Cic. De re publ., VI, 9—10*).

Масинисса умер через год после этой встречи и на смертном одре поручил судьбу своего царства Эмилиану, носившему имя «того самого лучшего и совершенно непобедимого человека».

---

* *Публий Корнелий Сципион Младший Эмилиан* — урожденный Эмилий, внук Люция Павла, консула, погибшего при Каннах. После смерти нашего героя он был усыновлен его семьей. Во время Третьей Пунической войны совершил блистательные подвиги. Разрушил Карфаген, за что получил прозвище Африканский, как и Публий.

** Солнце, по свидетельству Геродота, было высшим божеством ливийцев (*Herod., IV, 188*).

Огонь. 203 год до н. э.

Все это случилось через 50 лет. А сейчас молодой нумидиец, бывший царь, а ныне атаман разбойников с маленьким отрядом, прибыл в лагерь Сципиона. Иначе надеялся Публий свидеться с Масиниссой. Он думал, что союзником его будет могущественный царь массилиев, а вышло, что он принимает у себя нищего изгнанника. Но Публий и виду не подал, что разочарован. Напротив, он высказал столько самой непосредственной радости при виде нумидийца, что и все войско почло его приход для себя величайшим счастьем.

Между тем положение в Африке было таково. Защита Карфагена поручена была нашему старому знакомому Газдрубалу, сыну Гескона. В Испании он проигрывал Сципиону сражение за сражением. Потом он лично увидел римского полководца. Публий произвел на Газдрубала неизгладимое впечатление. Он внушил ему восхищение и сверхъестественный ужас. Больше всего на свете он боялся снова иметь с ним дело. Став во главе обороны Карфагена, он прежде всего заставил карфагенян послать Ганнибалу подкрепления, требуя, чтобы он любыми путями задержал Публия в Италии. Но из этого ровно ничего не вышло. Тогда Газдрубал прибег к совершенно невероятному средству. У него была дочь Софонисба, обладавшая, если верить рассказам о ней, какой-то сказочной красотой, обольстительными чарами, умом и властным характером. Девушка эта была тонким политиком и всецело предана интересам родного государства. Эту-то неотразимую красавицу Газдрубал поспешил познакомить с Сифаксом, и ей удалось поймать престарелого царя в свои сети. Ливийцы вообще от природы влюбчивы, и Сифакс влюбился с бешеной страстью. Не теряя времени, Газдрубал сыграл свадьбу, заставив счастливого жениха поклясться, что у него будут общие друзья и враги с Карфагеном. Сразу же после брака Газдрубал «при содействии ласк девушки» (*Ливий*) заставил Сифакса написать под его диктовку письмо к Сципиону, где царь предупреждал римлянина, что разорвет с ним союз, если он вздумает приехать в Ливию. Это-то письмо и доставило Сципиону столько хлопот. Но, к ужасу Газдрубала, и это не помогло. Сципион высадился в Африке.

Газдрубал набрал колоссальное войско. У него самого было 30 тысяч пехотинцев и три тысячи всадников, а зять привел к нему еще 50 тысяч пеших и десять тысяч конных. Сципион стоял против них на пустынном берегу с горсткой воинов, без единого союзника. Римский военачальник не стал продвигаться в глубь страны. Он разбил лагерь на голой косе, да-

леко выдававшейся в море. Место это с тех пор называли Кастра Корнелия (*Корнелиев лагерь*). Через 150 лет в Африке высадился Цезарь. Его восхитили стратегические преимущества выбранного Сципионом места, и он тоже разбил здесь лагерь. «Это отвесный горный хребет, — пишет он, — вдающийся в море, с обеих сторон очень крутой и труднодоступный» (*Caes. B. C., II, 24*). Действительно, врагу нельзя было подойти к лагерю: со всех сторон его защищало море.

Если крепость Сципиона была неприступна, то надо сознаться, что она очень малоудобна была для житья. Это была узкая голая каменная гряда, со всех сторон открытая свирепым зимним ветрам. Не всякий сенатор, который, сидя дома, упрекал Публия в изнеженности, решился бы провести зиму там, где жил теперь этот военачальник, который всего несколько месяцев тому назад в модном плаще и сандалиях наслаждался прелестью жизни в Сиракузах. Положение маленького войска Сципиона усугублялось тем, что оно подчас не имело самого необходимого. Правда, то один, то другой магистрат в провинции вспоминал о нем и присылал то хлеба, то оружия. Когда один претор отправил им из Сардинии хлеб, Сципион по обыкновению очень вежливо его благодарил, но тут же сказал, что им более всего нужно не хлеба, а теплой одежды. Претор прислал им 1200 тог и 12 тысяч туник, количество, которого не хватило бы и на половину отряда *(Liv. XXIX, 36)*. Так «проводил он зиму на бесплодном скалистом полуострове, где его бдительно стерегли две враждебные армии»*. Положение Сципиона можно было назвать отчаянным. «Дать сражение, — говорил он Лелию, — значит погубить армию». По словам Лелия, в эту зиму Сципион перебрал сотни планов, но все его не устраивали (*Polyb., XIV, 1, 5*). Он искал такой выход, который бы сразу со стремительной быстротой повернул события в его пользу, как взятие Нового Карфагена в Испании. «Он верил, что его собственный гений найдет выход из положения»**. И план был найден.

Казалось бы, все преимущества были теперь на стороне Газдрубала. Он мог одним ударом раздавить крошечное войско врага. Но нет! Его терзал тот же мучительный страх. Ни за что на свете не хотел он снова дать бой Публию. И вместо того чтобы действовать или хотя бы обдумать план кампании, он стал уговаривать Сифакса завязать мирные переговоры. Сифакс всем сердцем откликнулся на это предложение.

---

* *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 122, 123.
** Ibid. P. 125.

От природы вялый и нерешительный, он ввязался в эту злосчастную войну только по настоянию жены. К тому же его грызла совесть за то, что он поднял оружие против Сципиона. И вот теперь к Публию стали ходить посольство за посольством, убеждая его уехать из Африки. Они заверяли его честным словом, что сейчас же после его отъезда карфагенское правительство отзовет Ганнибала. Страх делал Газдрубала совершенно слепым. Он не видел всей нелепости своих предложений и упрямо цеплялся за эту последнюю соломинку. В это же время послы еще пытались переманить Масиниссу, суля ему союз с Карфагеном, золото, обещая признать царем массилиев и выдать за него дочь Сифакса (*App. Lib., 71*). Но Масинисса и слышать об этом не хотел.

Публий, разумеется, понимал, что речи послов были чистейшим вздором. Он ни на йоту не верил в честное слово Газдрубала, сына Гескона, и знал, что Ганнибал его не послушается. Но решительно отказав послам, переговоров он не прервал. Дело в том, что он не потерял еще надежду вернуть себе дружбу Сифакса. Он видел, что царь очень к нему расположен, тяготится войной, и полагал, что ему вообще наскучила дружба с карфагенянами, а возможно, и Софонисба, ибо он знал «врожденное нумидийцам непостоянство в привязанностях и их вероломство перед богами и людьми» (*Polyb., XIV, 1, 3—4*). Но в последнем он ошибся. Царь попрежнему боготворил Софонисбу. Каждый день ходили к Публию в лагерь послы, умоляя заключить мир. Но возвращались они домой с неутешительными известиями. Сципион был непреклонен. И вдруг очередное посольство сообщило, что он колеблется. Тут царь воспрянул духом. Посольства буквально атаковали Публия. Сципион делался с каждым разом все уступчивее и уступчивее. Постепенно он позволял себя уговорить. Ливиец был в восторге. Он поведал о своей удаче Газдрубалу. Пуниец радовался без меры. Наконец к Сципиону отправилось последнее посольство, чтобы подписать условия мира.

Разумеется, Публий не мог принимать всерьез предложения Сифакса. Просто он наконец нашел тот план, который искал всю зиму. Через своих послов он узнал, что лагерь карфагенян сделан из дерева и листьев, а шалаши нумидийцев — из тростника и соломы. И он решился. О своем плане Публий, как всегда, рассказал одному только Лелию, который оказал ему неоценимую помощь. Каждый день стороны посылали друг к другу послов, но Сципион всякий раз отправлял несколько ловких воинов, переодетых рабами. Послы задавали Сифаксу различные вопросы, пытаясь уточнить условия ми-

ра. Порой они задерживались в неприятельском лагере на несколько дней. За это время лазутчики Сципиона успевали осмотреть все ходы и выходы. Возвратясь, они все рассказывали вождю. Он расспрашивал поодиночке каждого, сверял их показания, а потом еще советовался с Масиниссой, который знал местность как свои пять пальцев. Так Сципион составил подробный план обоих лагерей. Но никто из его воинов еще ни о чем не подозревал.

Итак, послы явились к римскому военачальнику за окончательным ответом. Выслушав их, Публий велел им немедленно возвращаться назад и передать, что Корнелий Сципион жаждет мира, но военный совет его отвергает. Поэтому он считает переговоры прерванными, а себя в состоянии войны с карфагенянами. Сделал он так, говорит Полибий, чтобы не напасть на врага во время переговоров и не стать, таким образом, лжецом. Теперь же «Публий находил свое поведение безупречным, что бы там ни случилось».

Между тем Газдрубал и Сифакс с нетерпением ожидали возвращения послов. Ответ Сципиона был для них как снег на голову. Все их надежды внезапно рухнули. Чем неожиданнее был удар, тем он казался тяжелее. Они сели рядом в одной палатке и целый день до самой темноты просидели так в глубочайшем унынии, спрашивая друг друга в тоске, что же теперь делать. То они хотели запереть Сципиона на узком мысе, то думали выманить его на равнину, где он со своим маленьким войском должен неминуемо погибнуть[32]. Наконец они пошли спать, отложив решение до утра. Они и не подозревали, какое их ждет пробуждение.

Глубокой ночью, когда всё спало, Публий позвал к себе в палатку лучших офицеров и объявил, что сейчас они неожиданно нападут на оба лагеря и подожгут их. Около третьей стражи ночи он велел дать негромкий сигнал трубой и вывел войско из лагеря в глубочайшем молчании. Стояла непроглядная тьма. Публий остановился и разделил свое войско на две части: половину отдал Лелию и Масиниссе, половину взял себе. Лелий и Масинисса должны были поджечь лагерь Сифакса, Сципион взял на себя лагерь Газдрубала, так как это было труднее и опаснее. Сципион сказал воинам несколько слов, чтобы вдохнуть мужество и решимость. Он напомнил, что один неверный шаг может погубить все. Ибо врагов во много раз больше, чем их*. Стоит им заметить римлян первыми — и они погибли.

---

* Часть войск Сципион оставил в лагере на случай нападения из Утики, часть послал к Утике, чтобы отвлечь внимание врагов и в то же время для защиты лагеря, если из Утики заметят, что он его покинул.

— Нам нужны, друзья, — сказал он, — смелость, быстрота и отчаянная битва. Предупредим врагов, напав на них первыми... Их поразит неожиданность нашего появления и сама невероятность поступка... Смелостью и счастьем мы превосходим их... Мы нападем на них с доброй надеждой и со стремительной смелостью. Обстоятельства более всего требуют этих качеств (*App. Lib., 76—84*).

Он принес жертвы Страху и Смелости, двум самым нужным им этой ночью богам (*ibid.*).

Гай Лелий разделил свой отряд на две части, и они с противоположных сторон устремились на лагерь и подожгли его. Скученные, крытые соломой шалаши мгновенно вспыхнули, как сухой хворост. Пламя летело по крышам. Сонные, пьяные нумидийцы не понимали, что происходит. Все были уверены, что пожар начался случайно. Люди гибли от огня, оружия врагов и в страшной давке. Море огня бушевало над лагерем. А Сципион ворвался в лагерь Газдрубала и поджег его. Никто ничего не понимал, люди метались по лагерю, пытаясь потушить огонь, «не сознавая ни себя, ни окружающего». Они не могли и помыслить, что все случившееся — «дело отваги и коварства врагов». Тут наконец добудились Газдрубала. Взглянув на все происходящее, он закричал, что это вовсе не пожар, а Сципион; нечего тушить огонь, надо спасаться бегством. И он тут же бежал, бросив войско. С ним спаслись несколько всадников и зять Сифакс. Все же остальные нашли свой конец в эту ужасную ночь.

«Среди многих славных подвигов, совершенных Сципионом, этот мне кажется самым блестящим и поразительным», — заключает свой рассказ восхищенный Полибий (*Polyb., XIV, 1—5*)[33].

Великие равнины. 203 год до н. э.

Газдрубал, сын Гескона, был поражен и растерян. Еще вчера он надеялся превратить Кастра Корнелия в ловушку и со своей огромной армией и флотом запереть римлян между Утикой и Карфагеном. А сегодня он жалкий беглец. Из всей армии уцелело всего 2,5 тысячи человек. Карфагеняне были в ужасе. Многие предлагали сейчас же послать за Ганнибалом. Другие советовали идти к Сципиону и молить о мире. Но большинство членов Совета не утратили присутствия духа. В течение пятнадцати лет они привыкли к непрерывным победам, нелегко было им смириться с поражением.

А римляне ликовали. Они слепо верили в своего полко-

водца, смеялись и говорили, что скоро злополучная война кончится. Публий сжигал добычу в жертву своему союзнику огню, а солдаты почти даром сбывали ее купцам. Карфагеняне же срочно собирали новую армию. Газдрубал обратился за помощью к зятю. Но тот отвечал, что с него довольно воевать со Сципионом, и двинулся домой, не слушая никаких уговоров. Сын Гескона прибегнул тогда к последнему средству — к Софонисбе. Она со слезами заклинала царя спасти карфагенян. И он послушался на свою погибель.

У Газдрубала было теперь около тридцати тысяч войска, то есть все еще, видимо, больше, чем у Сципиона. И вот сын Гескона решил применить к римскому военачальнику тот прием, который чуть не погубил некогда Ганнибала. Он задумал воспользоваться тактикой Фабия Кунктатора. Если уж она удалась в Италии, то тем более должна удасться в Африке с ее необозримыми степями. Войска отступили к самым границам царства Сифакса. Теперь Публий должен был бросить свой лагерь и флот на произвол судьбы и идти в глубь страны. А карфагеняне будут заманивать его все дальше в дикие степи, пока все его маленькое войско не погибнет.

Сципион оставил часть армии возле лагеря, взял всего 12 тысяч легковооруженных воинов, стремительно повел их к Великим Равнинам, где находились враги, и разбил их так быстро, что ни о каком затягивании войны не могло идти речи. Газдрубал бежал в Карфаген[34], Сифакс — в свое царство (*Polyb., XIV, 6—8*). Сципион послал Лелия и Масиниссу с конницей в погоню за Сифаксом. Они должны были неотступно преследовать его, не давая остановиться и собраться с силами.

Карфагеняне думали, что сам Публий вернется в свой лагерь. Но вместо того он стремительно двинулся к Тунету, оплоту и защите Карфагена, и захватил его прежде, чем они успели опомниться. Так же быстро он захватил и несколько других городов. Теперь он господствовал над всей страной вплоть до Карфагена. И пунийцы трепетали от ужаса, видя его так близко от себя. Карфагеняне решились на последний отчаянный шаг. Они задумали неожиданно ударить по брошенному римлянами лагерю и, главное, по их флоту, состоявшему из тяжелых судов. Но Публий заметил их корабли из Тунета, мгновенно разгадал их план и стремительно двинулся на них по суше. Он прибыл на место раньше врагов. «Тут он нашел, что его палубные суда, прекрасно приспособленные для подъема машин и прилаживания их к городским стенам, вообще для осады, совершенно непригодны для битвы на море, тогда как неприятельский флот всю зиму го-

товился к морскому сражению» (*Полибий*). Поэтому о морской битве не могло быть и речи. И в его уме тут же возник план действий.

Когда пунийцы подошли к римлянам, они увидели следующее: весь римский флот был в бухте, причем у входа в четыре ряда стояли на якоре тяжелые грузовые суда, крепко связанные между собой. Они представляли собой своего рода крепостную стену, надежно защищавшую другие корабли. Между ними были оставлены только узкие промежутки, из которых легкие триеры совершали вылазки, как из крепостных ворот. Карфагеняне простояли некоторое время в недоумении перед странной крепостью Сципиона и наконец попытались ее атаковать. После долгих мучительных попыток был разбит первый ряд грузовых судов, после чего карфагеняне отступили (*Polyb., XIV, 10, 6—11; Liv., XXX, 10*). А между тем ненавидевшая пунийцев Африка глухо волновалась. Почва уходила у карфагенян из-под ног.

Софонисба

Тем временем Лелий и Масинисса упорно преследовали Сифакса. Наконец царь остановился и решил дать им битву. Однако счастье ему не благоприятствовало. Он был разбит, упал с коня и попал в плен к неприятелю. Его с торжеством притащили к Лелию, обрадовав этим более всего Масиниссу, его старинного недруга. Теперь нумидиец начал умолять Лелия пустить его вперед с конницей. Он-де знает, как захватить столицу Сифакса Цирту. Но ему нужен царь Сифакс. А сам Лелий пусть не спеша следует за ним. Просьба Масиниссы показалась Лелию вполне разумной: ведь нумидиец лучше знал свою страну. И вот римлянин отдал ему пленника и отпустил его вперед с конницей, не подозревая, к каким роковым последствиям это приведет.

Масинисса понесся вперед, как сокол. Дойдя до Цирты, он велел гражданам сдаваться и неожиданно показал им их царя со скрученными за спиной руками. Ливийцы были поражены и убиты. Они не смели противиться победителям и безропотно открыли им ворота. Можно себе представить торжество Масиниссы. Он, по милости Сифакса ставший беглым разбойником, спавший на сырой земле и скитавшийся по степям, как дикий зверь, теперь с победой входит в роскошный дворец своего соперника, таща за собой на веревке самого униженного хозяина. Масинисса расхаживал по комнатам дворца, упиваясь его богатством и великолепием и со-

знанием своего могущества. Вдруг дверь отворилась и в комнату вбежала изумительной красоты женщина и бросилась к его ногам. То была Софонисба, дочь Газдрубала, сведшая с ума Сифакса и погубившая его царство. Не обращая внимания на связанного мужа, она бросилась к Масиниссе...

Лелий неспешным шагом двигался вперед. Войдя во дворец, он замер. В парадном зале праздновали веселую свадьбу Масиниссы с Софонисбой, а пленный Сифакс стоял в углу, терзаясь адскими муками. Лелий на секунду потерял дар речи, но в следующий миг он заговорил, и возмущению его не было границ. Он не мог признать брак законным. Ведь Сифакс был жив. Масинисса стал возражать. Но римлянин наконец сурово прервал его и пригрозил, что отнимет у него Софонисбу силой. Масинисса ужасно испугался. Он начал униженно умолять Лелия сжалиться. Наконец, потеряв терпение, Лелий объявил, что уходит, пусть их дело разбирает Сципион. Масинисса ухватился за это предложение и клялся, что послушает Сципиона: как тот скажет, так он и сделает.

Масинисса и Лелий еще немного задержались в Цирте, а пленного царя отправили к Публию. Сципион в то время был в своем лагере на берегу моря. Солдаты, услыхав о победе, высыпали из палаток. Увидав перед собой связанного царя, они пришли в восторг и устроили нечто вроде маленького триумфа. Они водили его по улочкам и перечисляли народы, которые раньше были под его властью. Но тут из палатки вышел Публий и велел им немедленно остановиться. Он приказал тотчас же развязать царя, взял его за руку и ввел в свою палатку. Его взгляд не выражал радости, напротив, он казался печальным. Он вспомнил, как некогда Сифакс, гордый и счастливый, принимал его как гостя в своем доме. А теперь ливиец стоял перед ним понурый, раздавленный, потерявший все; и Сципион проникся к нему жалостью. Отныне Публий обращался с ним не как с пленником, но как с гостем. Сифакс не только не был связан, но ходил повсюду, имел приличествующую его сану свиту и, по словам античных авторов, был у Сципиона в таком же почете, как Крез у Кира (*Diod., XXVII, 6, 1—2; App. Lib., 116; Liv., XXIX, 24*)* [35].

---

* Поведение Сципиона с Сифаксом представляет особый интерес для воссоздания его характера. В его поступках с испанскими вождями, их семьями, прекрасной пленницей и Массивой при желании можно увидеть тонкий расчет: он хотел привлечь на сторону Рима испанцев, Масиниссу и прочих. Но несчастный нумидийский царь никому уже не мог принести никакой пользы. Это было сломанное в игре великих держав орудие карфагенян: его не пожалела даже бывшая жена. Один Сципион проявил к нему искреннее сострадание.

Когда они остались одни, Сципион сказал с горьким чувством:

— Какой демон затмил твой разум? Ведь ты был моим другом и сам убеждал меня приехать в Африку, а теперь солгал перед богами, именем которых мне клялся!

— То Софонисба, дочь Газдрубала, которую полюбил я на свою погибель, — отвечал пленный царь[36]. Его утешает только одно, мрачно прибавил Сифакс, эта женщина вошла теперь в дом Масиниссы, его злейшего врага. Она сведет и его с ума, сделает врагом римлян, и он погибнет, как погиб Сифакс (*App. Lib., 114—115;* ср.: *Liv. ibid.; Diod, XXVII, 6*).

Обеспокоили ли Сципиона эти зловещие пророчества, возмутила ли его наглость Масиниссы, который женился на супруге Сифакса (*Liv., XXX, 14*), только он решил положить конец этой истории.

Тем временем из Цирты вернулись Лелий с Масиниссой. Нумидиец пребывал между страхом и надеждой и робко заглядывал в глаза Сципиона. Но прочесть в них ничего не смог. Римский военачальник созвал всех солдат на собрание и при всех осыпал Лелия и особенно Масиниссу самыми лестными похвалами, до небес превознося их доблесть и военное искусство. О прекрасной дочери Газдрубала не было сказано ни слова. Масинисса приободрился. Но когда все разошлись, Публий взял Масиниссу за руку и сказал, что ему необходимо поговорить с ним наедине. О чем они говорили, нам неизвестно, но совершенно ясно, что Публий настаивал на том, чтобы нумидиец возвратил Софонисбу. Масинисса плакал навзрыд и попросил разрешения подумать. Это Публий ему разрешил.

Масинисса пошел в свою палатку и начал «думать», то есть принялся жалобно стонать и вопить. Конечно, он надеялся разжалобить Сципиона. Но тот уже принял решение и выдержал характер. Наконец нумидиец издал душераздирающий вопль и позвал верного раба. Он дал ему чашу с ядом и велел передать Софонисбе. Другие говорят, что Масинисса сам сел в седло, поскакал к Софонисбе и заставил ее выпить яд. Так погибла дочь Газдрубала* [37].

Узнав обо всем происшедшем, Сципион был потрясен и больше всего испугался за Масиниссу. Он боялся, чтобы нумидиец не наложил на себя руки от горя. Он отвел Масиниссу к себе и утешал. Весь день нумидиец не выходил из

---

* Первая версия принадлежит Ливию, который прибавляет, что Софонисба вела себя с удивительным бесстрашием, вторая — Диодору и отчасти Аппиану (*Liv., XXX, 15; Diod., XXVII, 7; App. Lib., 118—119*).

его палатки. На другой день Сципион снова созвал все войско, снова до небес превознес подвиги Масиниссы, назвал его царем всей Ливии и надел на голову золотой венок. И Масинисса, прибавляют античные авторы, утешился*.

Мир. Нарушение клятв. Приезд Ганнибала

Великого царства Сифакса более не существовало. Сам царь пленником жил в лагере Сципиона. Армия карфагенян была уничтожена. Важнейшие города были в руках врагов. Помощи ждать было неоткуда. В таких тяжких обстоятельствах карфагеняне отбросили всякую гордость и отправили послов к Публию просить мира. Послы простерлись перед римским военачальником в прах, ползали у его ног и целовали его сандалии. Потом они поднялись и поносили себя самым ужасным образом. Сципион был поражен этим восточным способом изъявления чувств**, но само прибытие карфагенян не было для него неожиданностью. Он считал войну законченной. Карфагеняне потеряли все. Разрушать же их город и уничтожать жителей Сципион не собирался. Поэтому он с охотой заключил мир на следующих условиях:

карфагеняне немедленно отзывают Ганнибала и все свои войска из Италии;

отказываются от притязаний на Испанию и все острова между Африкой и Италией;

выдают римлянам весь свой военный флот, кроме двадцати кораблей;

выдают всех пленных и перебежчиков;

римскому войску они выдают 500 тысяч модиев пшеницы и 300 тысяч модиев ячменя;

уплачивают римлянам контрибуцию в размере пяти тысяч талантов и выдают заложников (*Polyb., XV, 8, 7; Liv., XXX, 16*).

Карфагеняне были так испуганы и унижены, что с радостью приняли предложенные условия. Было заключено перемирие, с тем чтобы обе стороны смогли отправить послов в Рим, так как ратифицировать мир мог только римский народ. Немедленно после заключения перемирия Сципион отпустил Масиниссу, который горел желанием вернуть отцовское царство и покорить всю Нумидию. С ним он отпустил

---

* Лелия Сципион также увенчал золотым венком — это уже второй золотой венок, полученный им на войне, — награда неслыханная! (*Liv., XXX, 15*).

** Это видно из Полибия (*Polyb., XV, 5—7, 13*).

и всю свою конницу. Лелия он отправил в Рим с вестью о победе. А сам Публий провел зиму в суровой и неприступной Кастра Корнелия.

Сенаторы провожали Сципиона на войну с тяжелым сердцем. Фабий внушал, что он ведет воинов на смерть. Но едва «Сципион высадился в Африке, сразу же в Рим полетели вести об его удивительных подвигах, о величии и блеске его побед, а вслед за молвою, подтверждая ее, прибыла огромная добыча и пленный нумидийский царь» (*Plut. Fab., 26*). И наконец пришло известие, что те самые карфагеняне, которые победителями носились по Италии, униженно молят мира у ног Сципиона. Рим был потрясен. Народ гордился удачами своего избранника, но сенат медлил. Прежде отцы не верили в успех предприятия, теперь победа сделала их чересчур неуступчивыми. Они неодобрительно качали головами и твердили, что Публий Корнелий слишком уж щадит врага. Многие молодые честолюбцы надеялись, что командование в Африке будет передано им. Прежде они дрожали при одной мысли об Африке. Но Публий одерживал свои победы так легко, играючи, что, казалось, успехи в Ливии достаются без всякого труда. Фабий прямо предложил сменить Сципиона, ибо счастье не может так долго благоприятствовать одному человеку. Но народ ответил бурей возмущения. Фабия называли старым ворчуном (*Plut. Fab., 26*). А Сципиона возносили до небес. Мир, продиктованный им, был утвержден, несмотря на сопротивление сената[38].

А к Ганнибалу явились послы от Карфагена. Они сказали, что он должен оставить свои «неисполнившиеся и неисполнимые» надежды и ехать домой спасать родной город. Пуниец плакал и скрежетал зубами, покидая землю, где не потерпел ни единого поражения. Он проклинал римлян, а еще более карфагенян (*Plut. Fab., 26; Liv., XXX, 20*). Наконец он немного успокоился и предложил своим наемникам следовать за ним. Однако большинство италийцев было не в силах покинуть родину. Тогда Ганнибал заявил, что назавтра наградит их и простится с ними. Но, когда они собрались, он окружил их заранее приготовленными войсками и всех перебил (*App. Hannib., 59—60*). Ливий пишет, что они укрылись в священнейшем храме Юноны, но «их подло перебили в самом храме» (*Liv., XXX, 20*). Перешедшие некогда на его сторону италийские города он отдал на разграбление солдатам (*App. Hannib., 58*). «И вот Ганнибал отплыл в Африку, после того как он целых шестнадцать лет опустошал Италию, заставил людей испытать тысячи бедствий... А подвластным ему и союзникам причинял насилия, как врагам...

И теперь они были ему уже не нужны и он отнесся к ним бессердечно, как к врагам» (*ibid., 60*).

Ганнибал, последний оставшийся в живых сын Барки, медленно и неохотно плыл на родину, которую покинул ребенком. Первое, что он увидел в Африке, была разоренная гробница. Он содрогнулся, увидев зловещее знамение, и велел покинуть это проклятое место и плыть дальше. Он высадился у Малого Лептиса близ Гадрумета.

Приезд Ганнибала взволновал карфагенян. Они были уверены, что великий полководец легко рассеет римские легионы. Теперь мирный договор их только стеснял. Они рвались в бой. Но повели они себя с обычной для них наглостью и вероломством. Они не отправили послов к римлянам, а вместо того напали на римское торговое судно, разграбили его, а экипаж заковали в цепи (*Polyb., XV, 1*).

Этот поступок глубоко возмутил Публия. Впрочем, он не думал, чтобы карфагеняне действительно решили таким способом разорвать мир, который так долго вымаливали. Это было бы слишком подло и глупо. Он все приписывал необузданному порыву толпы, распаленной голодом: Карфаген в эту зиму испытывал нужду в продовольствии. Поэтому он послал пунийцам послов, которые должны были им напомнить о договоре. Придя в Совет, они с обычной для римлян резкостью, ничуть не смягчая выражений, напомнили, как карфагеняне ползали в ногах у Сципиона. «Военачальник римлян и члены Совета прекрасно помнят все это, сказали послы, и с изумлением спрашивают себя, что заставило карфагенян забыть прежние речи, как дерзнули они нарушить клятву и попрать договор... Если вас постигнет поражение, к каким богам будете взывать вы о помощи? В каких выражениях станете молить победителя пожалеть вас в вашей плачевной доле? Вероломством и безумием вы, как и подобало, отняли у себя всякое право на сострадание богов и людей». Послы говорили смело и спокойно, убежденные, что их охраняет международное право. Они и не подозревали о коварном намерении карфагенян. Те не дали им никакого ответа и отпустили. Римляне отправились домой, пораженные невежливостью пунийцев, которые не проводили их до дому, как того требовал обычай. Между тем карфагеняне устроили на них засаду, дабы потопить в море людей, которые говорили столь дерзкие речи. Нападение произошло внезапно. Огромный численный перевес был на стороне врага. Вся команда погибла. Послы спаслись чудом (*Polyb., XV, 1—2*).

Больше оскорбить Сципиона, чем это сделали карфагеняне, было нельзя. «Это был человек слова, непоколебимо-

го, как утес»*, и ничто его так не возмущало, как клятвопреступление. Он немедленно выступил против карфагенян, не вступая более ни в какие переговоры, и стал брать у них штурмом город за городом. В этот-то момент, когда военачальник римлян был так разгневан, вернулся из Рима Лелий с карфагенскими послами и сообщил, что мир заключен. Теперь в руках Публия в свою очередь оказались карфагенские послы. Узнав о происшедшем, они приготовились к смерти, уверенные, что римлянин заставит их жестоко поплатиться за вероломство соотечественников. Но Сципион принял их с изысканной вежливостью и велел с почетом проводить домой. Причем охрану их он поручил одному из послов, только что подвергнувшемуся нападению. «Он думал не о том, чего заслужили карфагеняне, а о том, как надлежит поступать римлянам... И вот, восторжествовавши своим великодушием над тупостью врагов, он привел в уныние карфагенян и самого Ганнибала» (*Polyb., XV, 4—5*).

Карфагеняне, боявшиеся Сципиона, требовали, чтобы Ганнибал немедленно дал ему битву. На это сын Барки со злобой отвечал, чтобы они не лезли в его дела: он сам знает что ему делать. Между тем сам Сципион находился в чрезвычайно опасном положении: он отпустил Масиниссу со всей своей конницей и теперь слал нумидийцу посла за послом, передавая, что пунийцы нарушили мир и ему срочно нужна его помощь. Если Масинисса не подоспеет, то судьба его маленького войска предрешена.

Но не так-то легко было найти нумидийца в бескрайних степях его родины. И Публий, как всегда быстро, принял отчаянно смелый план. Он бросил свой лагерь, Тунет и стремительно двинулся в Нумидию на поиски неугомонного царя. Он был убежден, что Ганнибал не станет тратить времени на захват его лагеря. Ведь его цель — не дать Публию соединиться с Масиниссой. Он не ошибся: Ганнибал двинулся за ним на запад. Сципион был уже возле Нараггары. Ганнибал стал лагерем поблизости.

По всегдашнему своему обыкновению Ганнибал послал лазутчиков, которые должны были подробно осмотреть неприятельский лагерь, а также рассказать Ганнибалу, что представляет собой римский военачальник. Пуниец любил знать в точности, с кем он имеет дело. Лазутчики проникли в лагерь Публия, но их тотчас же схватили и привели к полководцу. Они ждали себе жесточайшего наказания, но вме-

---

* Слова Моммзена, вообще-то весьма неблагосклонно относившегося к Сципиону. См.: *Моммзен Т.* История Рима. Т. I. С. 596, 597.

сто того римский вождь дал им в провожатые трибуна и велел провести их по всему лагерю. Когда они воротились, Публий спросил, всё ли они хорошо осмотрели. Получив утвердительный ответ, Сципион дал им денег на обратный путь и велел возвращаться к Ганнибалу. Пуниец был изумлен до глубины души. «Пораженный великодушием и отвагой римлянина, Ганнибал воспылал страстным желанием говорить с Публием» (*Polyb., XV, 5*).

Он отправил в римский лагерь послов, прося Сципиона о личном свидании. Один римский историк даже передает, что он сам явился в римский лагерь в одежде посла (*Liv., XXX, 29*). Публий отвечал, что уведомит Ганнибала, когда ему желательно будет с ним увидеться. Тяжело было гордому Ганнибалу дожидаться, пока римский военачальник соблаговолит назначить ему аудиенцию[39].

На другой день в лагерь Публия стремительно въехал отряд конницы. Впереди скакал Масинисса, некогда жалкий изгнанник, ныне же царь всей Ливии. Публий встретил Масиниссу с обычной приветливостью. Нумидиец без конца рассказывал о своих увлекательных подвигах, Публий поздравлял его и восхищался им. Масинисса привел шесть тысяч конницы и четыре тысячи пехотинцев. С этим войском Публий отошел к Нараггаре и оттуда послал к Ганнибалу сказать, что готов с ним увидеться (*Polyb., XV, 5, 12—14*). Для свидания была выбрана ровная открытая долина. На середину ее вышли оба полководца, роковые для своих народов, по выражению Ливия, вышли одни, оставив своих воинов. Долго они молчали, с изумлением и любопытством глядя друг на друга. Первым заговорил Ганнибал. Он говорил со своим молодым соперником мягко, почти отеческим тоном, восхищаясь его успехами и с грустью вспоминая о своей померкшей славе. Он просил его не испытывать судьбу и заключить мир.

— Только я очень боюсь, Публий, что ты не послушаешь моих советов, хотя они так убедительны. Ибо ты еще так молод, а все твои начинания в Иберии и Ливии всегда имели желанный конец и ты до сих пор не испытал на себе превратности судьбы. Но вот тебе один замечательный пример человеческой судьбы, взятый не из далекого прошлого, но из нашего времени. Тот самый Ганнибал, который после битвы при Каннах был обладателем почти всей Италии, вскоре затем подошел к самому Риму, в сорока стадиях от города разбил свой лагерь и уже обдумывал, что делать с вами и вашей землей. И вот теперь я в Ливии прихожу к тебе, римлянину, для переговоров о жизни моей и карфагенян.

И Ганнибал заклинал Сципиона помнить об этом, не да-

вать новой битвы и немедля заключить мир. Риму он уступил Испанию, Сицилию и острова. Такой мир, по словам Ганнибала, должен был покрыть Публия неувядаемой славой.

Сципион отвечал вождю пунийцев, как всегда, вежливо, но более холодно. Он сказал, что принял бы условия Ганнибала, если бы он явился с ними к нему в Сицилию. Но Ганнибал опоздал. Карфагеняне успели запятнать себя клятвопреступлением. «Что остается теперь делать? Поставь себя на мое место и отвечай. Не изъять ли из договора наиболее тяжелые для вас условия? Для того разве, чтобы карфагеняне получили награду за свое преступление и взяли себе за правило награждать своих благодетелей вероломством». В заключение он объявил, что его условия — безоговорочная сдача карфагенян (*Polyb., XV, 6, 8;* ср.: *Liv., XXX, 30—31*).

Несомненно, Ганнибал, всегда умевший понять характер противника и самым блистательным образом воспользоваться его слабостями, обративший в свою пользу дерзкую запальчивость Гая Фламиния и глупое тщеславие Варрона, и теперь хотел воспользоваться тем же приемом. Он много должен был слышать о своем молодом противнике и совсем недавно был свидетелем его поступка с лазутчиками. Он знал, что римлянин горд и великодушен. И он постарался разжалобить его и ослепить невиданным зрелищем: у ног его сам грозный Ганнибал. Но он ошибся. Вероятно, сам Ганнибал принял бы теперь любые условия. Но Карфаген никогда не пошел бы на это. Оставалось принять вызов.

Зама. 202 год до н. э.

Теперь должно было совершиться то, о чем 17 лет мечтал Ганнибал. Судьба войны должна была решиться в одной битве. Но совсем иначе, чем он предполагал.

Карфагеняне, видимо, уповали на победу. Зато римлян в городе охватил смертельный страх. Имя грозного Баркида доныне наводило на них ужас. Старый Фабий пророчил, что «как раз теперь государство стремительно летит навстречу опасности. Ведь в Африке под стенами Карфагена Ганнибал будет сражаться еще ожесточеннее, и Сципиону предстоит встреча с воинами, на руках у которых еще не высохла кровь многочисленных полководцев — диктаторов и консулов... Город снова пришел в смятение и, хотя война была перенесена в Африку, поверил, что беда подступила к Риму ближе прежнего» (*Plut. Fab., 26*).

Каковы были чувства самого Ганнибала, мы не знаем. Но

Публий Корнелий воротился в римский лагерь таким счастливым и веселым, словно уже одержал победу, а не готовился к страшной битве. Он был горд и ясен (*Liv., XXX, 32*). Что-то торжественное и спокойное чувствовалось в нем. Он говорил друзьям о величии предстоящего. До наступления завтрашней ночи, сказал он, мы будем знать, Рим или Карфаген будет диктовать законы народам (*ibid.*).

Взошедшее солнце озарило обе армии. «Никогда еще не было столь испытанных в бою войск, столь счастливых и искусных в военном деле полководцев, никогда еще не сулила судьба борющимся столь ценных наград. Победителю предстояло получить власть... над всеми дотоле известными нам странами мира, — говорит Полибий. — Неужели кто-нибудь может остаться безучастным к повести об этом событии?» (*Polyb., XV, 9, 3—5*).

Оба вождя, по словам Полибия, проявили все свое искусство в расстановке войск. Ганнибал поставил свою армию в три линии: впереди лигуры, кельты, балеары, мавры числом около 12 тысяч. Во втором ряду были карфагеняне и ливийцы. Последними стояли наемники — старая гвардия Ганнибала. Они-то, по мысли полководца, и должны были решить исход битвы. Фланги его прикрывала конница. Впереди всех стояли 80 слонов, которым предстояло прорвать линию врага и смять его.

Сципион поставил свое войско тоже в три ряда: *hastati, principes, triarii**. Все они были разделены на маленькие самостоятельные отряды — манипулы. Он расположил их друг за другом, колоннами, так что между ними образовались как бы живые коридоры. Коридоры эти он заполнил легковооруженными юношами, державшими в руках обитые железом дротики, которые, словно ручные катапульты, они должны были метать в слонов. В любой момент они могли укрыться в поперечные проходы между манипулами (*Polyb., XV, 9, 6—10; 11, 1—4; App. Lib., 173*). Конница была на флангах, на левом командовал Лелий, на правом — Масинисса. Сам Сципион стоял в центре.

Вожди обходили воинов и по обычаю ободряли их. Публий Сципион просил их быть достойными самих себя и своей родины и помнить, что победа над врагом даст римлянам власть над всем миром.

— Если же битва окончится несчастливо, павшие в битве воины найдут себе в смерти за родину прекраснейший па-

---

* Это три основные категории, на которые разделялась римская пехота в соответствии со своим возрастом и вооружением.

мятник, а бежавшие с поля боя трусы покроют остаток дней своих позором и бесчестьем... Итак, когда судьба обещает нам великолепнейшую награду, победим ли мы или ляжем мертвыми, неужели мы покажем себя низкими глупцами и из привязанности к жизни отринем высшее благо и примем на себя величайшие беды! (*Polyb., XV, 10*)[40].

Сказав это, «Сципион выпрямился: лицо его было так радостно, будто победа уже одержана» (*Liv., XXX, 32*).

Ганнибал же напоминал своим солдатам непрерывные победы в течение семнадцати лет. А сейчас перед ним ничтожная горстка воинов, не сравнимая с армиями, которые они разбивали при Требии, Тразименах и Каннах. Это какой-то сброд. И он призывал их помнить, что все называют их непобедимыми воинами. После этого был дан сигнал к битве.

Атаку начали слоны. Однако римляне сразу напугали животных звуками рожков и оттеснили в заранее приготовленные Сципионом живые коридоры, где легковооруженные воины, метая в них дротики, выгнали их за линию фронта. Пользуясь смятением, Лелий и Масинисса одновременно ударили по коннице врага и обратили ее в бегство. Сами они бросились в погоню. Теперь пехоте одной предстояло завершить битву. Оба войска грозно и мерно сходились. Когда они сошлись близко, римляне разом ударили мечами о щиты и издали дружный боевой клич. И воины Ганнибала в ответ закричали. Но это был нестройный и беспорядочный шум, ибо войско их было разноплеменным.

«Много смешалося здесь языков разноземных народов», — вспоминает Полибий слова Гомера. Пестро было и вооружение карфагенян. Римляне же облачены были в блестящие доспехи, на груди у них сверкал медный нагрудник, а шлем украшал великолепный султан из перьев красного или черного цвета, почти в локоть длиной. Воины казались, по словам очевидцев, гораздо выше ростом и колыхающийся султан придавал им красивый и внушительный вид, «ибо вооружение римлянина и обороняет его, и поднимает его дух» (*Polyb., VI, 23; XV, 15, 8*).

Однако трудно было римлянам, ибо наемники Ганнибала были много сильнее и ловчее и в рукопашной битве брали верх. Но все же они шаг за шагом теснили врага, ибо боевой строй Сципиона имел огромные преимущества. На беду еще карфагеняне, составлявшие второй ряд Ганнибалова войска, дрогнули и отступили. В ярости военачальник велел наемникам выставить вперед копья и не пускать пунийцев в строй. Так карфагеняне и погибли жалкой смертью, частью перебитые римлянами, а частью своими же товарищами.

Пространство между сражающимися было залито кровью, завалено телами убитых и раненых, истекавших кровью. Сципион звуками труб отозвал своих назад, велел перенести всех раненых в тыл и перестроил армию. В центр он поставил *hastati*, а *principes* и *triarii* расположил тесно сомкнутым строем на флангах. Войска с новой яростью кинулись друг на друга. «Сражающиеся считали своим долгом держаться на своих местах до последнего издыхания. Наконец возвратились из погони за конницей Масинисса и Лелий» и ударили врагу в тыл. Большая часть воинов Ганнибала была перебита тут же на месте. Остальные кинулись врассыпную. Римляне бросились в погоню. Только жалкие остатки карфагенской армии успели скрыться. Сам Ганнибал, говорят, стрелой несся к Гадрумету, а Масинисса неотступно гнался за ним, мечтая взять живым и покрыться бессмертной славой. Но Ганнибал успел проскакать в ворота*. Римлян, согласно Полибию, пало около полутора тысяч, карфагенян около десяти тысяч, немного менее было взято в плен**. Это был конец (*Polyb., XV, 10—14; ср.: Liv., XXX, 33—35*)[41].

Подводя итоги этой великой битвы, Полибий отдает должное гению Ганнибала. «Он сделал все так, как только может и обязан сделать доблестный вождь», — говорит он. Прежде всего Ганнибал вступил в переговоры с римским военачальником, а это значит, что предыдущие успехи не затмили ему разум. Когда же его принудили дать битву, он проявил в ней все свое военное искусство. Чтобы разорвать римские ряды, он поставил вперед слонов. Затем он поставил наемников, затем карфагенян и только под конец лучших и испытанных воинов, рассчитывая, что силы римлян истощатся, а, главное, оружие притупится и тогда-то они столкнутся с его ветеранами.

Но он встретился с совершенно новым строем, созданным Сципионом семь лет тому назад в Испании. Перед ним была уже не сплошная линия, которую он думал прорывать атакой слонов, но небольшие манипулы, которые расступились и пропустили животных. Оружие у воинов Сципиона тоже было новым: испанские мечи не тупились от ударов. «И если Ганнибал, до того времени непобедимый, сражен был теперь, то нельзя осуждать его строго... Как гласит пословица, «достойный встретился с еще более достойным» (*Polyb., XV, 15, 4—8; 16, 5—6*).

---

* *App. Lib., 203.*

** По Ливию, римлян было убито 1,5 тысячи, врагов убито было 20 тысяч, столько же взято в плен; по Аппиану, римлян пало 2,5 тысячи, еще больше нумидийцев, карфагенян 25 тысяч и 8,5 тысячи взято в плен (*App. Lib., 209, 210*).

Заключение мира

Сразу же после окончания битвы Публий отправил домой посла, который должен был принести римлянам самую радостную новость, которую они слышали со времен основания города. Вестником счастья он выбрал конечно же Лелия (*Liv., XX, 36; App. Lib., 207*). Через несколько дней после победы к Сципиону явился в полном составе весь карфагенский Совет тридцати*. Старейшины с воплем кинулись на землю, целовали его ноги, посыпали голову пеплом и безудержно рыдали. Но тщетно пытались смягчить они римского военачальника. Их чрезмерный, неестественный способ выражения горя только раздражал его, так как он знал, что за ним скрываются ложь и обман. Они уже ползали раз у его ног и царапали себе лицо, но потом нагло его обманули. И теперь он потерял стольких друзей в роковой битве! Поэтому он велел им подняться и сказал:

— Вы не достойны никакого снисхождения! Вы столько раз нагло преступали договоры с нами и еще недавно с нашими послами поступили так бесстыдно и так преступно, что не можете ни отрицать, ни возражать. Вы молите меня, вы, которые не оставили бы даже имени римского народа, если бы победили! Но мы никогда не сделаем с вами ничего подобного. Помните об этом и считайте благом любой договор, какой бы вы ни получили! (*Polyb., XV, 17; App. Lib., 230—232*).

Вот какие условия предложил Сципион послам.

Карфаген сохраняет полную свободу и автономию; в его распоряжении остаются все города Африки, которыми он владел до начала войны; все его имущество; в город не вводится чужеземного гарнизона.

Зато карфагеняне должны возместить римлянам все убытки, понесенные во время перемирия, выдать пленников и перебежчиков, весь военный флот, кроме десяти триер, всех боевых слонов. Они не должны без разрешения римлян объявлять войну ни одному народу. Они должны отказаться от Ливии; страна становилась свободной под властью первого местного царя Масиниссы; границы ее должен указать Сципион. Уплатить римлянам десять тысяч талантов контрибуции в течение пятидесяти лет.

Вот такие условия объявили старейшины в Карфагене. Их встретила буря негодования. Простой народ кричал от

---

* То есть верхушка карфагенского Совета (*Кораблев И. Ш.* Ганнибал. С. 16).

возмущения. Говорили, что карфагеняне должны проявить ту же непреклонность, которая спасла римлян после Канн. Один горячий оратор поднялся на трибуну и начал пламенную речь, заклиная сограждан выказать твердость. Речь его была прервана самым неожиданным образом. Из толпы вышел какой-то человек и грубо и бесцеремонно стащил оратора с возвышения. Это был Ганнибал Баркид. Знать завопила от негодования. Ганнибал резко ответил, что он не знает их обычаев, так как покинул город девяти лет, а вернулся сорока пяти. Но если его поступок и не очень учтив, зато умен и превосходен. Неужели карфагеняне не знают, что сделали бы они с римлянами, улыбнись счастье им, а не Сципиону? Чего ожидали они от римлян еще вчера? Пусть же теперь благодарят судьбу, что военачальник римлян столь милостив, пусть идут немедля в храмы и молят богов, чтобы римский народ одобрил условия мира, предложенные Сципионом. Речь его произвела на карфагенян огромное впечатление. Они немедленно согласились на мир (*Polyb., XV, 18—19, ср.: App. Lib., 239—242*).

Ганнибал был прав, говоря, что следует усердно молить богов, чтобы римляне согласились на предложенный Сципионом мир. Это вызвало много споров в римском сенате. Фабия, главного противника Сципиона, уже не было в живых. Он не дожил до «великого и неколебимого благополучия своего отечества» (*Plut. Fab., 27*) и умер в уверенности, что государство во главе со Сципионом летит навстречу гибели. Но и без него у Публия было довольно недоброжелателей. Кроме того, даже очень расположенные к нему люди находили его образ действий странным. Они хотели, чтобы он навеки раздавил Карфаген и избавил Рим от постоянного страха. На это уполномоченный Сципиона возражал, что мир римляне должны заключить не ради карфагенян, а ради себя самих, чтобы показать, как надо умеренно и великодушно пользоваться счастьем (*Polyb., XV, 17, 3*). И теперь они должны показать гуманность, верность и справедливость, которые считаются главными свойствами римского характера. Тогда поднялся один из противников мирного договора и сказал следующее:

— Во время войны, отцы сенаторы, надо думать только о том, что выгодно. И раз город этот еще могуществен, нужно тем более остерегаться его вероломства... И раз мы не можем заставить его отказаться от вероломства, надо отнять у них их могущество. Сейчас самый подходящий момент, чтобы уничтожить страх перед карфагенянами, ибо они совсем бессильны и находятся в безвыходном положении и не-

чего ждать, пока они снова окрепнут. Что же до справедливости, то, мне кажется, она не касается города карфагенян, которые в счастье со всеми несправедливы и надменны, в несчастье умоляют, а когда добьются своего, вновь преступают договоры...

И вот их-то, говорит он, надо спасти, боясь возмездия богов и ненависти людей! Я же полагаю, что сами боги довели карфагенян до такого положения, чтобы они наконец получили возмездие за нечестия, которые совершили в Сицилии, Испании, в Италии и в самой Африке против нас и против других, ибо они постоянно заключали договоры, скрепляли их клятвами, а потом творили злые и ужасные дела. Я напомню вам о том, как поступали они не с нами, а с другими народами, чтобы вы увидали, что все обрадуются, если карфагеняне будут наказаны.

Они перебили всех поголовно жителей Закинфа, знаменитого испанского города, бывшего с ними в договоре, хотя те их ничем не обидели. Заключив договор с союзной нам Нуцерией и поклявшись отпустить жителей с двумя одеждами, они заперли сенаторов в баню и подожгли ее, так что те задохлись, а уходящий народ закололи копьями. А заключив договор с ахерранами, они бросили их сенат в колодец, а колодец засыпали... Замучили они до смерти и Регула, нашего полководца, который, будучи верен клятве, вернулся к ним. Долго было бы рассказывать, как поступал Ганнибал с нашими городами и лагерями, воевал ли он, строил ли козни или заключал договоры; как обошелся он, уезжая, со своими союзниками, как он истреблял города и уничтожал своих соратников. Скажу только, что он обезлюдил 400 наших городов. Они мостили реки и рвы, бросая туда наших пленных, других кидали под ноги слонам, третьим приказывали сражаться друг с другом, ставя братьев против братьев и отцов против сыновей. И вот недавно, прислав сюда послов, они умоляли о мире и клялись, и послы их еще были здесь, а в Африке они уже захватили наши корабли, а воинов связали. Вот до чего они доходят в своей безрассудной жестокости.

Какая же может быть жалость, какое сострадание к людям, которые сами никогда не проявляли к другим ни доброты, ни умеренности? К тем, кто, как сказал Сципион, не оставил бы даже имени римлян, будь мы в их руках? И на их договоры и клятвы мы будто бы можем положиться? Неужели? Да есть ли договор, есть ли клятва, которую они не попрали бы! Так не будем им подражать, говорит он. Но какой же договор мы нарушаем? Нас не связывает соглашение. Так не будем, говорит он, подражать их жестокости. Значит,

он предлагает стать друзьями и союзниками этих свирепых людей? Ни того ни другого они не достойны... Нет, пусть они отдадутся на наше усмотрение по обычаю побежденных, как делали многие народы, а мы посмотрим. И что бы мы ни дали им, пусть считают милостью, а не договором. А разница между ними вот в чем... Если они отдадут себя на нашу милость, мы возьмем их оружие и сама их жизнь будет в нашей власти, они поймут, что у них нет ничего своего, и сбавят спеси, благодарные за все, что получили. Если же Сципион думает иначе, обсудите наши мнения...

Вслед за тем встал друг Сципиона* и изложил его мнение:

— Не о спасении карфагенян теперь мы заботимся, отцы сенаторы, но о том, чтобы римляне были верны по отношению к богам и имели добрую славу среди людей, дабы не поступить нам более жестоко, чем сами карфагеняне; и нам, обвиняющим карфагенян в жестокости, не следует в таком деле забывать о гуманности, о которой мы всегда так заботились в менее серьезных делах... Если мы разрушим город, властвовавший над морем... молва об этом обойдет все земли и навсегда останется в памяти людей. Пока с тобой сражаются, следует бороться, но когда противник падет, его надо пощадить. Ведь и среди атлетов никто не бьет упавшего, даже многие звери щадят упавшего противника. Ведь прекрасно, если счастливые победители страшатся гнева богов и ненависти людей. Вспомните все, что они нам причинили, и вы увидите, какое это страшное деяние судьбы, что об одной жизни молят ныне те, кто так прекрасно состязался с нами из-за Сицилии и Испании, кто совершил такие удивительные и великие деяния...

Я лучше напомню вам, хоть вы и сами это знаете, как поступали с подобными людьми наши отцы. Именно это поведение помогло им достигнуть такого счастья. (Тут оратор рассказывает, как различные племена Италии вероломно поступали с римлянами, но те их неизменно великодушно прощали.)

Ибо благородно и благочестиво не истреблять племена людей, но увещевать их. Что такое претерпели мы от карфагенян, что заставило бы нас изменить свой характер, благодаря которому мы процветали вплоть до нынешнего дня? Может быть, дело в том, что этот город больше тех? Но тем больше он достоин сострадания... А потому я вам советую пожалеть их, дабы не заслужить ненависти людей, памятуя о превратностях человеческого счастья... Нет ничего страш-

* Возможно, Лелий, возглавлявший посольство.

нее безжалостности на войне, ибо божеству это ненавистно и оно переменчиво... Пренебрегши советом Сципиона, мы оскорбим человека, так любящего родину, и такого исключительного полководца, который против нашего желания организовал поход в Африку и, не получив войска, сам собрал армию и добился там таких успехов, на которые мы не могли и надеяться. Просто удивительно, что мы, вначале столь равнодушные к этой войне, теперь вдруг настроены так воинственно и непримиримо... Право, у них хватит бед и без нас. Их будут теснить все соседи, ненавидящие их за прежние насилия, а Масинисса, вернейший наш друг, будет за ними следить...

Взвесив все это, Сципион велел нам внять мольбам карфагенян. Уступим же их просьбам и нашему полководцу (*App. Lib., 248—287*)[42].

Возможно, речи оратора и не тронули бы собрания, но слишком много значило теперь имя Сципиона. У народа оно было всесильно. Вот почему мир был заключен на предложенных условиях. Римский военачальник велел вывести карфагенские корабли в море и сжечь на глазах граждан. Вслед за тем он сделал очень любопытный жест. Мы говорили уже, что отцы решили показать страшную суровость по отношению к беглецам. Но еще суровее были они с римскими пленными. После Канн сенат отказался выкупить пленных, на эти деньги были выкуплены рабы, которые сражались бок о бок с римлянами. Лучше уж рабы, чем трусы, полагали они. Сципион совершенно иначе смотрел на это. Он говорил, что не презирает беглецов, ибо не их трусость была причиной поражения. Сейчас же, когда к нему привели пленников, он встал, взял одного из них за руку и посадил рядом с собой. Этим он показал, что пленные вызывают у него глубокое сострадание и почтение и человек, пострадавший от карфагенян, достоин сесть подле римского полководца (*Plut. Reg. et imp. apophegm., Scip. maior, 6*).

Окончив все дела, он отплыл на родину. Медленно ехал Сципион по ликующей Италии, и воздух звенел от восторженных криков тысяч людей, вышедших его встречать (*Liv., XXX, 45*). Рим ждал его, затаив дыхание. Все последние месяцы римляне были в мучительной тревоге, но вот пришло известие, что Публий разбил в сражении самого Ганнибала и «растоптал гордыню покорившегося Карфагена, принеся согражданам радость, превзошедшую все ожидания» (*Plut. Fab., 28*). «Чувства, с каким народ ждал Публия, соответствовали величию его подвигов, а потому великолепие и восторги толпы окружали этого гражданина... Римляне теперь

не только чувствовали себя свободными от всякого страха, но и господами врагов своих, поэтому радость их была беспредельна» (*Polyb., XVI, 23*).

Наконец триумфальное шествие въехало на Священную дорогу. Как всегда, все были в венках, шли трубачи, ехали повозки, нагруженные добычей, проносили изображения взятых городов... «Потом шли белые быки, а за быками слоны, а потом пленные вожди карфагенян и нумидийцев. Перед самим полководцем шли ликторы в пурпурных хитонах и хор кифаристов и флейтистов, все подпоясанные, в золотых венках, как в этрусских шествиях. Они шли строем, пели и плясали... А потом множество кадильниц и полководец в ярко расписанной колеснице в волнах фимиама. В венце из золота и драгоценных камней, одетый по отеческому обычаю в порфиру, затканную золотыми звездами, он держал в руках скипетр из слоновой кости и лавр, который римляне всегда называют символом победы... А потом войско по когортам и манипулам, все в венках и лаврах» (*App. Lib., 293—297*).

Римляне глядели на карфагенское оружие и изображения городов, и все, что они пережили за 17 лет, словно ожило перед их глазами. Они вновь содрогались от ужаса, вспоминая Канны, и снова им казалось, что Ганнибал у ворот. И «римляне забыли всякие границы в выражении благодарности богам и любви к виновнику этой необычайной перемены» (*Polyb., XVI, 23*).

Действительно, говорят, его чествовали, как бога. Рассказывают даже, что ему «хотели поставить статую в Комиции, на Рострах, в Курии, наконец, в самой *cella* храма Юпитера Всеблагого и Величайшего; хотели поместить его изображение в одежде триумфатора среди лож богов на Капитолии» (*Val. Max., VI, 1, 6*)[43]. Но Публий наотрез отказался от всех этих лестных и соблазнительных предложений, «проявив себя почти столь же великим, отвергая эти почести, как добывая их» (*ibid.*). Единственная награда, которую он согласился принять, это прозвище *Африканский*, которое должно было передаваться его потомкам из поколения в поколение. С тех пор, подражая ему, полководцы начали прибавлять к своему имени названия покоренных областей.

«По завершении торжества римляне в течение многих дней устраивали блестящие игры на средства щедрого Сципиона» (*Polyb., XVI, 23*).

КНИГА ВТОРАЯ

МИР

Глава первая

СНОВА ДОМА

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И стал теперь, как смертные, как мы.

Б. Пастернак

Возвращение

После ярких кампаний в экзотических далеких странах, населенных дикими народами, после стольких невероятных приключений Публий Сципион наконец вернулся домой к обычной жизни. Прошло почти десять лет с тех пор, как он уехал в Испанию. С настороженным вниманием приглядывался сенат к этому чудесному герою. Слишком уж высоко вознесла его судьба. А демократические государства не менее, чем тирании, безжалостны к великим победителям. Судьба Фемистокла и Мильтиада — яркое тому свидетельство. Отцы с тревогой спрашивали себя: захочет ли гордый победитель отречься от своего блеска и величия и стать частным человеком? И сможет ли он?..*

В самом деле, фортуна дала Публию Сципиону огромную неограниченную власть, и за десять лет он успел к ней привыкнуть. Правда, военное счастье возносило в те годы и других полководцев над законами Республики. Марцелл, например, был консулом пять раз, столько же Фабий, Флакк — четыре раза. И все-таки их судьбу нельзя было сравнить с судьбой Публия. Все эти вожди почти не покидали Италии и все время были на глазах квиритов. Когда кончался срок их полномочий, они вновь становились частными людьми. А потом надевали белую тогу соискателя и просили римский народ оказать им милость. Сложив свои полномочия, они давали римлянам отчет в своих действиях, причем зачастую ими бывали недовольны, и победоносный полководец должен был смиренно оправдываться и просить прощения. К тому же всем им было уже много лет, когда Республике понадоби-

---

* Мысль Скалларда.

лись их военные таланты. То были совершенно сложившиеся люди, воспитанные в суровом послушании законам.

Совсем не то Публий. Он получил власть еще мальчиком, тут же уехал, вскоре стал полным, бесконтрольным владыкой дикой богатой страны. Там он отвык от гражданской жизни, от смиренного подчинения законам и властям. Неслыханные победы должны были вскружить ему голову. Он стоял во главе боготворившей его армии*. И его воины, и испанцы, и греки, и карфагеняне все его решения приписывали божеству и чуть ли не считали его сыном Юпитера. Варвары называли его царем, союзники — Надеждой и Спасением**, пунийцы чеканили монету с его изображением. Полибий прямо говорит, что стоило ему только захотеть, и он стал бы царем любой из завоеванных им стран. Такой успех мог опьянить кого угодно. Ведь Александр Македонский превратился из образованного эллина в жестокого деспота, который требовал, чтобы перед ним повергались ниц и называли его богом. «Не то что человек, само божество, если можно так выразиться, возомнило бы о себе сверх меры в таком счастье», — говорит о Сципионе Полибий (*Polyb., X, 40, 9*).

Отцы мельком видели Публия, когда он приехал из Испании. Тогда его поведение показалось им своевольным и дерзким. Он добился командования в Африке почти что силой, он, казалось, презирал сенат и вел себя, по мнению отцов, как высокомерный царь, а не как магистрат римского народа. Все это не обещало в будущем ничего хорошего. И вот теперь он вернулся в блеске славы. Победоносный полководец, победитель Ганнибала, спаситель Италии, завершивший самую страшную войну, какую знал когда-либо Рим. Он был кумиром народа и армии. Не зная, как выразить ему свой восторг, квириты предложили ему неслыханные, безумные почести, которые грозили ниспровергнуть всю конституцию Рима***. И что же?

Он отказался от всех наград и знаков отличия. Он облачился в тогу мирного гражданина, которую не надевал уже столько лет. Он снова сидел на скамье рядом с прочими сенаторами. Он стал обычным человеком. Отцы с изумлением увидели, что не пытается он апеллировать к своим ветеранам, не заигрывает с народом, не проводит популярных законов, не стремится на войну, чтобы увенчать себя новыми

---

* Испанские солдаты прислали даже в Рим письма, требуя, чтобы их вождя избрали консулом (*Val. Max., VIII, 15, 1*).

** Слова послов из Сагунта римскому сенату.

*** См. примечание 43 к книге первой.

лаврами, более того — он почти не выступает в сенате. Он без борьбы отказался от своего могущества и от всех заманчивых даров, которые сулила ему судьба.

«Изумление наше перед необычайным величием души этого человека станет еще больше, когда мы взглянем на его жизнь, — пишет Полибий, — кроме замирения Иберии он сокрушил могущество Карфагена, покорив власти родного города наибольшую и самую лучшую часть Ливии — от жертвенников Филена до Столпов Геракла, покорил Азию и царей Сирии*, подчинив римлянам благодатнейшую и обширнейшую часть земли, при этом имел случай захватить царскую власть, в какой бы стране ни задумал и ни пожелал. Но Публий благородством души настолько превосходил всех людей, что отклонил от себя высшее благо, какое только люди могут просить у богов, именно царскую власть, хотя судьба много раз давала благо это ему в руки; выше собственного почетного и завидного положения он ставил отечество и свой долг перед ним» (*Polyb., X, 40, 9*).

В 199 году до н. э. Публий Корнелий был выбран цензором. Это высшая римская магистратура, и она является как бы последней ступенью общественной лестницы. Цензор должен был иметь политический опыт, но главное, что от него требовалось, — это строгая честность. «Эта должность считается самой высокой из всех и облекает огромной властью» (*Plut. Paul., 38*). Собственно, цензор проводил перепись населения и определял имущественный ценз каждого гражданина. Но при этом он мог карать преступления, против которых закон бессилен: предательство, ложь, трусость, разврат. Римляне не считали возможным наказывать таких людей изгнанием или штрафом, но не желали, чтобы недостойные люди ими управляли. Вот почему цензор мог удалить любого человека из сената или исключить из сословия всадников. Он стоял посреди Форума на постаменте храма Кастора и перед ним один за другим проходили все граждане Рима, а народ смотрел затаив дыхание. И вот цензор спокойным ясным голосом говорил, обращаясь к какому-нибудь именитейшему гражданину: «Останови коня, Марк Клавдий!» И среди полнейшей тишины строго и веско перечислял его вины. Иногда дело ограничивалось лишь строгим замечанием. Но такое замечание считалось величайшим позором для римлянина.

Строга и сурова была власть цензора. Эмилиан, изысканнейший поклонник изящных искусств, будучи цензором,

---

* Это случилось много лет спустя после описываемых событий. См. главу третью.

исключил из трибы центуриона, который двадцать шесть лет тому назад не участвовал в одной битве. Он же закрыл школу танцев, показавшихся ему не соответствующими римской строгости (*Cic. De or., II, 272; Macrob. Sat., III, 14, 7*). Строг был и цензор Гракх, честнейший гражданин Рима. Один из сенаторов с восхищением вспоминал, что, когда этот суровый муж возвращался вечером домой, граждане тушили у себя свет, чтобы он не подумал, что они слишком много времени уделяют вину и веселым беседам (*Plut. Ti. Gracch., 14*)*.

К сожалению, не всегда цензоры бывали столь безупречно честны. Так, несколько лет назад весь Рим поразило скандальное поведение цензоров Клавдия Нерона и Ливия Салинатора, которые ненавидели друг друга настолько, что, забыв всякие приличия, отняли друг у друга коней.

Конечно, никто не стал бы подозревать Публия Африканского в подобной мелочности и низости. Но все же римляне с волнением ожидали, кого исключит Сципион из сената и кому сделает замечание. День настал, и, к величайшему изумлению квиритов, Публий утвердил весь список сената, никому не сделав ни единого замечания. Такую же снисходительность он проявил и к всадникам (*Liv., XXXII, 12*).

В обязанности цензора входило также назвать достойнейшего гражданина Рима. Его имя ставили первым в списке сенаторов**. Реальных преимуществ это не давало, но считалось большой честью. Но Публий не успел ничего сказать: его опередил коллега, второй цензор, ученый юрист Элий Пет. Он сказал, что отыскал достойнейшего гражданина и этот гражданин — Публий Африканский. Так «легкомысленный молодой человек», как называли его когда-то отцы, стал главой сената.

После цензуры Сципиона отцы окончательно убедились, что Публий хочет жить частной жизнью. Конечно, *принцепс сената* появлялся в Курии и со скучающим видом слушал заседания. Но ни разу там даже не слыхали его голоса. Конечно, он бывал на Форуме и узнавал последние новости от завсегдатаев, праздной толпы, слонявшейся у Ростр. Но ни разу не выступал он перед квиритами. Как относился Публий ко всей этой суете общественной жизни, видно из одной его фразы, которую он любил часто повторять и которая глубоко поразила современников:

---

* Оба они принадлежали к семье Публия: Эмилиан — по усыновлению внук Сципиона, Гракх — его зять.

** *Princeps senatus.*

— Я никогда не бываю так занят, — говорил он, — как когда я ничем не занят, и никогда не бываю менее один, чем когда я один*.

Быть занятым для знатного римлянина означало заниматься государственными делами. Значит, Сципион с нетерпением ждал, когда же кончатся скучные государственные дела и можно будет заняться тем, что, на его взгляд, было действительно важным. И никогда не бывало ему так одиноко, как когда он пребывал среди нелепой сутолоки Форума и сената. Но чему же посвящал он свои досуги? И кто были его незримые собеседники? Цицерон дает понять, что, по его мнению, Сципион увлекся творениями греков. Плутарх говорит об этом прямо: «Сципион Старший на досуге от войны и государственных дел занимался литературой и говорил, что, когда он на досуге, он более всего занят» (*Plut. Reg. et imper. apophegm. Scip. Maior, I*).

Только одно, казалось, увлекало Сципиона среди суеты общественной жизни — он очень любил покровительствовать способным людям простого рода. У него был настоящий дар отыскивать таланты: кажется, никто за всю историю Рима не выдвинул столько «*новых людей*». И первым и главным был, конечно, его лучший друг Лелий, который, не занимая ни одной должности, стал первым лицом после полководца в Испании и Африке. После войны Гай с помощью своего друга прошел всю лестницу общественных почестей и наконец, правда не без труда, достиг консулата. Это был великолепный подарок Республике, ведь семья Лелия благодаря своему блестящему образованию и исключительным нравственным качествам стала гордостью Рима.

Быть может, читатель помнит того храброго солдата из войска Лелия, который первым взошел на стену Нового Карфагена? Его звали Секст Дигитий, и он был даже не римлянин, а из латинских союзников. Сципион вскоре обнаружил в нем способности к военному делу, стал выделять и отличать, и вот с его помощью Дигитий стал претором и уже как полководец отправился в ту самую Испанию, где начал службу простым воином. Он навсегда сохранил почтение к своему бывшему императору и дружеские чувства к Лелию.

Следующим протеже Публия был незнатный офицер Квинт Минуций Терм, который сражался под его началом в Африке. Он оправдал славу ученика Сципиона, был отличным воином и полководцем, одерживал блестящие победы и

---

* Цицерон (*De re publ., I, 27; De off., III, I*) сообщает эти слова со ссылкой на Катона, современника Публия.

один раз благодаря своей исключительной находчивости спас римское войско, запертое в ущелье, когда перед всеми уже «маячил призрак Кавдинского поражения» (*Frontin., I, 5, 16*). Минуций и Публий также навсегда остались друзьями.

Все эти люди были воинами, и Сципион мог смотреть на них как на своих учеников, что должно было придавать их взаимоотношениям особую мягкость и задушевность. Но среди его протеже мы видим подчас самых неожиданных людей. Мы узнаем, например, о писце его Цицерее, которого Публий выдвигал. Через десять лет после смерти патрона Цицерей стал претором. За год до того он поразил весь Рим своим великодушием. Он домогался претуры, имел все шансы на успех и вдруг узнал, что один из его соперников — Люций, младший сын его давно умершего патрона. «Когда он увидал, что все центурии предпочитают его Сципиону, он удалился из храма и, сбросив белую тогу», стал умолять квиритов отдать голоса Корнелию. В результате Люций был выбран, ибо его великодушный соперник «уступил претуру памяти Публия Африканского» (*Val. Max., III, 5, 3; ср. III, 4, I*)[44].

Итак, Сципион удалился от дел. Еще Цицерон очень желал бы узнать во всех подробностях, чему он посвящал свой досуг. Увы! Он не писал мемуаров, и мы можем только гадать об этом. Во всяком случае ясно, что он любил теперь более всего жить дома в кругу семьи, занимался чтением и воспитанием детей.

Семья Сципиона

Отец и дядя Публия были убиты на войне. Матери, вероятно, тогда уже не было в живых. Но уже вскоре после своего возвращения победитель при Заме предстает перед нами главой семьи, отцом четырех детей.

Женился он очень рано, безусловно, еще до отъезда в Испанию[45] на Эмилии Терции, дочери того самого Эмилия Павла, который командовал римскими войсками в злополучной битве при Каннах. Сципион в то время сам распоряжался своей судьбой и сам выбрал себе невесту. Его не остановили ни ее бедность, ни зловещая слава, связанная с именем ее отца, ни отсутствие у девушки-сироты знатных покровителей, которые могли бы оказать ему протекцию в сенате. Эмилия унаследовала то особое благородство, которое современники считали отличительной чертой их рода. Она всю жизнь горячо любила мужа, была нежна, кротка и считалась в Риме образцом беззаветно преданной жены (*Val. Max., VII,*

6, 1). Однако какие жестокие испытания послала им судьба! Они жили в суровое время, когда мужчины год за годом непрерывно проводили на войне, а жены в печальном одиночестве склонялись над работой или часами молились за мужей в храмах, подметая волосами алтари богов*. Этих женщин прекрасно рисует нам современник описываемых событий Плавт.

Это страшный насмешник, который не щадил ни богов, ни людей. Почтенные римские старцы, богатые юноши, простой народ и даже доблестные воины, гроза пунийцев, были равно мишенью для его ядовитых шуток. Но и для него есть нечто святое — это женщины, терпеливо ждущие мужей. Их образы то и дело встают перед нами со страниц его комедий.

Вот знатная дама, жена полководца. Едва она успела с ним обвенчаться, как он уехал на войну. Она ждет его месяц за месяцем, наконец поздно вечером долгожданный гость приезжает и на заре опять покидает дом. Она провожает его и в грустных словах описывает свою невеселую долю: «Не мало ли в нашей жизни, в наших буднях радостей, если вспомнить, сколько кругом горя?.. Я испытала это на себе. Как мне мало дано было счастья: всего одну ночь, пока я видела моего мужа, но он внезапно ушел от меня перед рассветом. И я чувствую себя теперь такой одинокой, ибо ушел тот, кто мне дороже всех. И больше боли теперь от разлуки с мужем, чем было радости от его прихода. Но меня радует, что он победил врагов и вернулся со славой. В этом мое утешение. Пусть уходит, лишь бы он вернулся домой со славой. Я все перенесу, все вытерплю до конца твердо и стойко, только бы мне дано было увидеть моего мужа победителем. Этого мне довольно. Ведь доблесть — лучший дар. Доблесть выше всего, всего на свете. Она спасает, она защищает нашу свободу, благополучие, нашу жизнь и наш дом, наших родителей, родину и детей. Доблесть заключает в себе все: все блага есть у того, кто доблестен» (*Plaut. Amph., 633—651*).

А вот другая картина. Две молодые женщины, родные сестры, мужья которых уехали далеко за море и уже три года как пропали без вести. Старшая из сестер, видимо, пала духом. Она горько жалуется на судьбу и сравнивает себя с несчастной Пенелопой. Младшая, кроткая и вместе твердая, возражает: «Что ж, это наш долг. Мы делаем только то, что велит любовь». Новая тяжкая забота терзает старшую. Что, если мужья покинули их и давно им изменили? Младшая

---

* Римский обычай: так поступали женщины во время опасностей (*Polyb., IX, 6, 3—4; Liv., XXVI, 9*).

спокойно утешает ее и говорит, что они должны быть верны своему долгу, что бы ни случилось; даже если мужья перед ними виновны, ну что же, они не должны подражать им в этом (*Plaut. Stich.*).

Участь Эмилии очень напоминала судьбу этих героинь Плавта. Но она была много несчастнее большинства римских матрон: ведь у других мужья возвращались хотя бы раз в год, Публий же был в Испании безвыездно четыре года, а вернувшись, почти тотчас же вновь уехал. Из двух плавтовских сестер Эмилия, конечно же, напоминала более младшую: молва говорила, что она безгранично любит мужа, способна простить ему любую измену и будет только терпеливо ждать, когда он к ней опять вернется[46].

Существует мнение, что в первой пьесе «Амфитрион» изображена семья Сципионов*. Но пока это остается только предположением. Зато вторая пьеса о двух сестрах имеет к победителям при Заме прямое отношение. Она поставлена в 200 году до н. э., когда повсюду гремели торжества по случаю возвращения Сципиона**. Нетрудно догадаться, что мужья молодых героинь, уехавших за море на три года, — это участники Африканского похода Публия, продолжавшегося как раз три года. Пьеса очень отличается от обычных комедий Плавта. Там нет ни завязки, ни интриги. Содержание комедии предельно просто: женщины с тоской ждут мужей, вот наконец они приезжают и наступает безудержное, бесшабашное веселье. Господа и рабы вместе пляшут от восторга.

Такая же невероятная радость пришла в семью Сципиона. Эмилия не могла и не хотела скрывать своего счастья. Она сбросила мрачные темные одежды, которые носили римлянки со времени Каннской катастрофы, и нарядилась в светлые яркие платья. Ее выезд поражал своим великолепием. Полибий видел ее. Он пишет: «Эмилия... выступала с блеском и роскошью в праздничных шествиях женщин, как и подобало римлянке, делившей жизнь и счастье со Сципионом» (*Polyb., XXXII, 12, 3*).

Как уже говорилось, боги благословили брак Публия и Эмилии и у них родилось четверо детей — два мальчика и две девочки. Они получили самое изысканное греческое образование. Гай Лелий, деливший, по-видимому, не только военные походы, но и все увлечения своего друга, дал своему единственному сыну столь же блестящее воспитание.

---

* См. примечание 21.

** В 200 году до н. э. Сципион праздновал игры по случаю своей победы (*Liv., XXXI, 49*).

* * *

Итак, Сципион ушел от общественной жизни. И все-таки, хотя он молчал и ни во что не вмешивался, его присутствие незримо ощущается повсюду. Такой яркий человек одним своим существованием влиял на окружающее общество. Его взглядам изумлялись, его слова повторяли, ему подражали тысячи восторженных поклонников, за ним ходили толпы любопытных, его воспевали поэты. Вся эта эпоха проходит под знаком Сципиона. На всех предметах лежит его отсвет. Более того, он подобен волшебнику из сказки, который, войдя в темную, мрачную горницу, разом превращает ее в сияющий, великолепный чертог. Так изменился и сам Рим.

Новые веяния

Целых полтысячелетия римляне беспрерывно вели тяжелые, упорные войны со своими воинственными соседями. Мужчины несли постоянные тяготы и лишения, подчиняясь неумолимо суровой дисциплине. А в результате они не наживали богатств. Их соседи были почти так же бедны, как и они сами. Каждый клочок земли стоил трудов, страданий, многих лет войны. Римляне выходили из войн нищими. Рассказывают, что победитель Пирра Маний Курий сам варил себе репу в простом горшке, когда явились послы самнитов подкупать его золотом, а Цинциннат пахал, когда его выбрали диктатором. Если и есть преувеличение в этих рассказах, то все же они верно передают дух той бедной, суровой эпохи. «Воинственным и диким племенем Ромула» назвал своих соотечественников один из первых римских поэтов* (*Gell., XVII, 21, 46*).

Хлеб свой добывали они тяжким трудом на полях. «Мужественные потомки воинов-пахарей, привыкшие взрыхлять землю сабельскими** мотыгами и таскать вязанки хвороста, исполняя волю суровой матери, в час, когда тени от холмов становятся длинными и усталых быков выпрягают из упряжки и солнце, удаляясь в своей колеснице, приносит сладостное время отдыха» (*Hor. Carm., III, 6, 37—44*). Сами римляне называли жизнь свою грустной и суровой. Они не знали ни изысканных удовольствий, ни развлечений, ни

---

* Порций Лицин.

** Сабелы — племя Италии.

обаяния тонкой красоты, которой поклонялись эллины. Город их поражал не только греков, но и соседей-кампанцев своим мрачным, унылым видом, кривыми улочками и бедными уродливыми домами. «Рим и не имел, и не знал ничего красивого, в нем не было ничего привлекательного, радующего взор: переполненный варварским оружием и окровавленными доспехами, сорванными с убитых врагов, увенчанный памятниками побед и триумфов, он являл собой зрелище мрачное, грозное и отнюдь не предназначенное для людей робких... Рим в то время можно было назвать святилищем неукротимого воителя Ареса» (*Plut. Marcell., 21*).

Действительно, дома были некрасивы и мрачны. Внутренних садиков, где эллины любили проводить время среди цветов и освежающих фонтанов, у римлян не было. Не было красивых галерей, статуй и ярких мозаик. Дом состоял из низких клетей и большого атриума*, главным украшением которого был громоздкий шкаф с восковыми масками умерших предков и окровавленные доспехи убитых врагов. Этими мрачными трофеями римляне очень гордились и, несмотря на государственные запреты, увешивали ими свои жилища. Конечно, изящной мебели и картин не было и в помине.

Развлечений было до удивительного мало. В гости ходили нечасто, и, подобно тому как отец семейства сам пахал, мать самолично стряпала простой бедный обед. Дорогих вин и изысканных закусок тогда не знали. На особо торжественных пирах мальчики воспевали воинские подвиги предков (*Cato Orig., fr. 118*).

Кроме зрелища торжественных воинских триумфов, когда по Священной дороге проезжал победитель в золотой колеснице, запряженной белыми конями, в блестящей одежде Юпитера Небесного, а за ним под звуки флейт несли добычу, воображение римлян питали церемонии при похоронах знатных людей. Когда умирал кто-нибудь из знатных граждан, тело его со всеми знаками отличия несли в погребальном шествии на Форум. За ним в траурных одеждах следовали все его друзья и родственники. Но не они одни. Как мы говорили, в доме римлянина хранились восковые маски его умерших предков. И вот во время похорон за гробом шли люди, наиболее схожие с предками видом и ростом, надев их маски. «Люди эти одеваются в одежды с пурпурной каймой, если умерший был консул или претор... или в шитые

---

* Атриум — главная комната дома. Крышу поддерживают деревянные колонны. В потолке квадратное отверстие, откуда в комнату отвесно падает свет. Под ним бассейн, где скапливалась дождевая вода.

золотом, если он был триумфатор... Сами они едут на колесницах, а впереди несут пучки прутьев, секиры и прочие знаки отличия». Все это фантастическое шествие медленно двигалось к ораторскому возвышению, Рострам. Здесь оно останавливалось. Предки сходили с колесниц и рассаживались вокруг в креслах из слоновой кости. Покойного поднимали на Ростры и ставили на ноги лицом к площади. Сын или ближайший родственник умершего поднимался за ним на Ростры и произносил речь, где восхвалял подвиги умершего. Затем он обращался к предкам и прославлял каждого из них, одного за другим. Народ слушал в благоговейном молчании, и в памяти всех воскресали деяния далекого прошлого и недавнего настоящего (*Polyb., VI, 53—54, 1—2*). Это торжественное, странное и печальное зрелище должно было глубоко поражать воображение людей.

Несколько раз в год устраивали игры в Великом Цирке, который лежал на огромной зеленой равнине между Палатином и Авентином. Там происходили состязания колесниц. Один современник описывает, с каким напряженным вниманием все взоры были прикованы к «жгучему» колесу повозки и к консулу, который должен был подать знак начинать бег (*Enn. Ann., fr., 88—90*). Еще утром в день игр по Тусской улице, где стоял дом Сципиона, шла праздничная процессия цирка. Она поднималась на Капитолий, брала оттуда статуи богов и вместе с ними по Священной дороге мимо Старых Лавок ехала в Цирк. Боги стояли на великолепных колесницах, а за ними шли ряженые: Мандукус с огромными щелкающими челюстями пугал бежавших за ним толпой детей*. Цитерия весело шутила и зубоскалила. У римлян было так мало развлечений, что этим они непременно хотели поделиться с богами. Их ставили на ложа, и они вместе со всеми смотрели веселые скачки**. Но вот яркий день кончался, а с ним исчезали блестящие колесницы и скачки и жизнь опять становилась грустной и суровой.

Несколько раз в год приезжали бродячие комедианты с юга Италии, смуглые, загорелые люди, закутанные в яркие лохмотья. Прямо на улице, где попало, разбивали они импровизированные деревянные подмостки и, надев смешные уродливые маски, показывали короткие забавные сценки, вся соль которых заключалась в беспрерывной беготне и драках.

---

* Один персонаж Плавта говорит: «У меня так стучат зубы, что я мог бы сыграть Мандукуса в цирковой процессии».

** *Буассье Г.* Археологические прогулки по Риму. М., 1915. С. 55, 56.

Так тянулась жизнь без изменения из года в год. Но Пуническая война все перевернула. Могучий толчок пробудил все силы общества. Друг Сципиона Метелл говорил, что Ганнибал пришел в спящую Италию и разбудил римлян (*fr. 3*).

В дни Второй войны с Пунийцем поступью крылатой
Муза в край сошла суровых, диких Ромула сынов, —

пишет один древний поэт (*Порций Лицин*) (*Gell., XVII, 21, 45*). И впрямь, словно ураган налетел на римлян. Разом, как из-под земли, явились поэты, писатели, историки, ораторы. Вся жизнь, будто по волшебству, изменилась.

Римляне избавились от смертельной опасности, страх их более не томил. «Оставь страх перед врагами, Рим, ведь мои победы воздвигли вокруг тебя твердыню», — говорит в написанной в то время поэме Сципион Африканский (*Enn. Scipio, fr. 12—14*). Фортуна им улыбалась. Они одерживали победу за победой. «С каждым днем положение государства становится все лучше и радостнее», — говорит один современник (*Liv., XXXIV, 4*). Самые светлые и блестящие надежды ласкали воображение римлян. Один военачальник того времени рисует картину того, как римляне всех победят своим оружием и благородством. «В Азию, в Сирию и во все богатейшие царства от восхода солнца откроется доступ для римлян; границами нашей державы от Гадеса до Красного моря станет океан, который окружает землю кольцом, и весь род людской станет чтить имя римлян первым после богов» (*Liv., XXXVI, 17*). Плавт чуть ли не в каждой своей пьесе весело поздравляет сограждан и желает им и в дальнейшем таких же успехов.

Слава, непрерывные победы, восторженное почитание у иноземцев, богатство и, казалось, несокрушимое и безоблачное счастье хлынули на римлян. В довершение они познакомились с греками, побывали в других землях, а там люди жили совсем иначе, не грустно и сурово, а, напротив, весело и беззаботно. И римляне разом словно вырвались к свету и радости, как их далекие потомки в XIV веке. Они как с цепи сорвались. Всем вдруг захотелось веселья и развлечений. И они полились рекой. Люди, не жалея денег, украшали свой родной город и собственные дома статуями и картинами. Теперь их уже не устраивали «песни фавнов», как презрительно назвал неумелые попытки своих предшественников первый римский поэт Энний. Начались настоящие театральные представления. «В то время был цвет поэтов», — вспоминая свою молодость, говорил Плавт (*Casina, 18*). Эти представления положено было устраивать всего два-три раза в год. Но теперь римляне требовали их еще и еще. Число праздников

непомерно росло. Чуть ли не каждый полководец, возвращаясь с войны, внезапно вспоминал, что в самый опасный момент боя дал клятву устроить сценические игры, и, несмотря на крайнее недовольство приверженцев старины, отцы давали скрепя сердце свое согласие.

Эти игры представляли довольно странную картину. Подмостки наскоро разбивали где придется. Ни стульев, ни скамей и в помине не было. В день игр стульев нельзя было достать, да еще сенат запретил сдавать их в аренду, чтобы поубавить театральную горячку. Напрасно! Народ валом валил от мала до велика. Некоторые тащили собственные стулья и ставили их иной раз прямо на сцену. Опоздавшие долго бродили, ища свободного местечка, и наконец под насмешки актеров оставались стоять весь спектакль (*Plaut. Poen., 20—21*). Рядом с теми, кто успел сесть, стояли толпы, с вожделением глядя на их места (*Plaut. Mil. glorios., 81—82*). Разряженные матроны долго рассаживались, весело болтая и громко смеясь. Рабы проталкивались вперед, норовя занять место впереди граждан. Кормилицы с младенцами на руках не отрывали глаз от сцены (*Plaut. Poen., 20—33*). Солнце ярко светило, озаряя огромную толпу зрителей, праздничные наряды мужчин и женщин, и все улыбалось в блеске, освещенное солнцем (*Lucr., 80—83*).

Римляне с жаром набросились на все развлечения, подобно людям эпохи Возрождения, которые чередовали самые утонченные и самые грубые развлечения, или императору Петру I, который покупал за огромные деньги прекраснейшие картины и статуи из Европы и в то же время устраивал шутовские карнавалы или обливал приезжающих послов водой. Римляне теперь обожали пиры, и в моду вошло кулинарное искусство (*Liv., XXXIX, 6*). У Энния, первого из поэтов, придерживавшихся мистического учения о переселении душ, есть целая гастрономическая поэма, воспевающая всякие закуски. За бочонок сельдей платили больше, чем за пару быков (*Polyb., XXXI, 24; Cato, Orat., fr., 145*). Бедная стряпня хозяйки дома уже никого не устраивала. У Плавта раб важно говорит, что желает пообедать изящно и пышно, а не вульгарно, по-варварски (*Plaut. Casina, 746—747*), то есть как римляне, которые не умеют как следует готовить. Катон говорит, что раньше на еду тратили медяки, а теперь сотни (*Cato, Orat., fr. 139*). Теперь модно стало нанимать за бешеные деньги ученых поваров. Этот разряд людей весьма ярко живописал Плавт. Они были буквально напичканы какими-то напыщенными рассуждениями о своем высоком искусстве, о супах, ароматом которых питается сам Юпитер, о дивных, небесных закусках и в то же время норовили стянуть ложку или кувшин.

Римляне то с восторгом смотрели Еврипида или Менандра, собирали лучших актеров и музыкантов Греции, то вдруг приказывали этим музыкантам затеять шуточную потасовку между собой, потому что так будет еще смешнее (*Polyb., XXX, 14*). В конце праздника иногда устраивали пир под открытым небом. На Форуме для всех накрывали столы, а если шел дождь, народ разбивал палатки, ибо никто не хотел уступать судьбе и природе ни мгновения веселья. После Форума никто уже не желал идти домой и сидеть, забившись в свою нору. Римляне шли в гости или звали к себе друзей. Страсть к вечеринкам настолько возросла, что ревнители старины попытались провести закон, ограничивающий число сотрапезников (*Macrob. Sat., III, 17, 2; Cato, Orat., fr. 139—146*). Теперь римлян более не устраивали их унылые жилища. Им хотелось иметь дома большие и светлые, а в комнатах, по словам Катона, ставили статуи и на стенах вешали картины (*Cato, ibid., fr. 94, 95, 98*). Гости возлежали теперь на изысканных ложах (*Plin. N. H., XXXVII, 12*). Появились греческие диваны с бронзовыми ножками, ковры и прелестные столики (*Liv., XXXIX, 4*). Перед пирующими ставили красивую посуду из чеканного серебра (*Plin., ibid.*). «Появились на пиршествах певицы, играющие на цитре и арфе, и другие развлечения и забавы для пирующих» (*Liv., XXXIX, 6*). А иной раз и сами молодые гости, забыв степенную важность, весело плясали и пели стихи (*Cato, ibid., fr. 114—115*).

Чаще всего обедали теперь не в мрачном атриуме, а в садах среди благоухающих цветов[47]. Да и сами дома изменились. Один герой Плавта, расхваливая дом, говорит, что строил его не какой-нибудь варвар-кашеед, а греческий мастер (*Plaut. Mostell., 828*). А кашеедами греки прозвали когда-то римлян за их бедный стол.

Одно обстоятельство, казалось, усилило у римлян склонность к веселым пирам. В 205 году до н. э. они перевезли в свой город из Малой Азии культ Великой Матери богов, надеясь, что могучая богиня оборонит их от пунийцев. Сейчас враги были разбиты, страх прошел, но Великая Мать прочно заняла место в римском пантеоне. Культ ее, столь неистовый и мрачный на родине, в Италии сделался мягким и степенным*. Все сводилось к великолепному шествию причуд-

---

* Характер этого культа изменился только при Клавдии. См.: *Lyd.* De mens., IV, 41; *Фрэзер Дж.* Культ Аттиса и христианство. М., 1925. С. 24; *Scullard H. H.* Festivals and Ceremonies of the Roman Republic. N.-Y., 1982. P. 99; *Штаерман Е. М.* Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 126. Ср.: *Dionys.* Ar., II, **19**, 4.

ливо одетых людей, которые под звуки странной восточной музыки двигались по залитым весенним солнцем улицам Рима, а зрители кидали им под ноги розы, серебряную и медную монету. А потом римляне чуть ли не неделю веселились и устраивали блестящие игры. Так вот, под эгидой новой богини стали возникать *товарищества,* или клубы*. Члены их в дни празднества устраивали ритуальные пиры. Знатные люди поочередно приглашали друг друга в гости и угощали обедами. Разумеется, каждый хотел превзойти прочих и ослепить гостей праздничным великолепием стола. В конце концов сенат положил конец этому веселому соперничеству и в 161 году до н. э. издал специальный декрет, запрещавший членам клубов тратиться на изысканные лакомства и повелевавший довольствоваться хлебом, зеленью и вином (*Gell. II, 24*). Но пышен или скромен был стол, на обедах всегда царило самое пылкое веселье (*Cic. Senect., 45*). Видимо, более бедные члены товариществ обедали в складчину. Плавт упоминает подобные «обеденные» клубы, члены которых обычно собирались у Рыбного Форума (*Curcul., 476*).

Изменился и сам город. Теперь полководцы и магистраты наперебой спешили украсить его статуями, колоннами, изящными постройками. Каждый хотел оставить на память о себе что-нибудь прелестное, чарующее взор. Вожди, возвращавшиеся из Греции и Македонии, привозили в Рим знаменитейшие статуи и посвящали их в храмы. Гай Лелий, после того как он трижды (!) повторил Плебейские игры, состоявшие главным образом из театральных представлений, поставил три медные статуи — Церере, Либеру и Либере (*Liv., XXXIII, 25*). Другой римлянин, вернувшись домой с победой, пожелал увековечить это событие, соорудив арки перед храмами Фортуны и Матери Матуты на Бычьем Форуме и в Великом Цирке. На арках он поставил золоченые статуи (*Liv., XXXIII, 27*). Эмилий Павел, шурин Сципиона, установил вызолоченные щиты на кровле храма Юпитера и возвел два портика — у ворот Трех близнецов и на Марсовом поле (*Liv., XXXV, 10*). Но всех превзошел Публий Африканский, который построил у подъема на Капитолий грандиозную триумфальную арку с семью золочеными статуями и двумя конями, а перед аркой — два мраморных бассейна (*Liv., XXXVII, 3*). Ни о чем подобном отцы их и не слыхивали.

Одеваться стали красиво и ярко, как итальянцы времен Ренессанса. Мы видим на полотнах великих мастеров XIV—XVI веков юношей с длинными кудрями, с пальцами, уни-

---

* *Scullard H. H.* Festivals and Ceremonies of the Roman Republic. P. 100.

занными перстнями, в костюмах, поражающих своей яркостью: иногда одна штанина красная, другая — синяя. Правда, мужчины Рима до этого не доходили, зато современники не устают описывать, каких только изысканных нарядов не измыслило женское кокетство. Матроны разъезжали теперь в колесницах, сопровождаемые пышной свитой. «Они укутаны в золото и пурпур», — говорит Катон (*Cato, Orig., fr. 113*). Про современную красавицу Плавт говорит: «Разряжена, вызолочена, разукрашена изящно, со вкусом, модно» (*Plaut. Epidic., 222*). Следуя всем капризам непостоянной моды, дамы надевали сетки для волос, диадемы, золотые обручи, ленты, повязки, браслеты, шали (*Cato, Orig., fr. 113*). Каждый год новые моды и новые названия для платьев, говорит Плавт (*Plaut. Epidic., 229—235*). Вот некоторые из этих названий: царский стиль, экзотический стиль, «волна», «перышко» и т. д. Плавт пишет о бесконечных оборках, рукавчиках, о новых изысканных цветах, которые теперь предпочитали римские кокетки: платье цвета ореха, мальвы, ноготков, воска, шафрана (*Plaut. Epidic., 229—235; Aulul., 505—520*). Тонкие модные ткани стали теперь привозить из Пергама (*Plin. N. H., XXXVII, 2*). Один современник описывает новое платье с пышным шлейфом, ниспадавшим до туфелек (*Enn. Ann., fr. 353*). Волосы римские красавицы стали красить в золотой цвет, подобно женщинам Возрождения (*Cato, Orig., fr. 114*). Богатых дам роем окружали ювелиры, портные, башмачники, парфюмеры (*Plaut. Aulul., 505—520*), да и мужчины подчас появлялись на Форуме в чересчур элегантном виде, с кудрями, умащенными благовониями[48].

Жажда радостей и наслаждений вытеснила из сердца римлян важную строгость. Вновь появившиеся поэты в еще неумелых пламенных стихах стали славить любовь. Один пишет: «Когда я пытаюсь, Памфила, открыть тебе муку своего сердца, виной которой ты, слова замирают у меня на устах. Пот течет по моей несчастной груди, я пылаю желанием. Так я, пылая, молчу и погибаю вдвойне».

«Факел может затушить сила ветра и слепящий дождь, падающий с неба. Но мой огонь, разожженный Венерой, не может погубить ничто, кроме Венеры»*.

В одной комедии Плавта старик замечает, что сейчас у молодых людей вошло в обычай влюбляться (*Plaut. Pseud., 433—435*). И действительно, трудно себе представить бо́льших безумцев, бо́льших рабов любви, как они сами себя называ-

---

* Валерий Эдитуй (*Gell., XIX, 9*). Первое стихотворение навеяно, несомненно, знаменитыми строками Сафо.

ют, чем юноши Плавта. Они буквально погибают от страсти. Страдание злополучного Пенфея, разорванного вакханками, ничто по сравнению с муками такого влюбленного (*Plaut. Mercat., 470*). Он мечется как в бреду из дома на улицу и с улицы снова в дом. Он весь пылает. «Если бы не слезы у меня в глазах, — говорит он, — голова загорелась бы» (*ibid., 588—590*). «На меня обрушился пылающий вулкан бедствий!» — восклицает этот несчастный (*ibid., 618*). Зато счастливцы воспевают свое счастье в самых восторженных и кощунственных с точки зрения старой морали выражениях. «Пусть цари владеют царством, богачи — богатством, пусть другие получают почести, пусть воюют, дайте мне владеть ею одной!» — говорит один (*Plaut. Curcul., 178—180*). «За целым царством я не стал бы гнаться так, как за ее поцелуем!» (*ibid., 211*). «Я живу только для любви», — говорит другой (*Plaut. Mercat., 471—473*). «Я бог!» — восклицает счастливый любовник (*Plaut. Curcul., 165*, ср. *Mercat., 604*). Недалеко то время, когда Теренций объявит любовь величайшей святыней и все простит влюбленному.

Веселый шум не утихал даже ночью, даже тьма не приносила спокойствия. По улицам ходили веселые и буйные компании молодежи (*Plaut. Amph., 156*). У окон красавиц стояли юноши с цветами, пели серенады, осыпали цветами порог[49], писали на дверях любовные стихи (*Plaut. Pers., 569; Mercat., 408—410*).

Всех охватило страстное желание славы, каждый жаждал успеха, триумфов. Часто бывало теперь, что победитель, которому отказывали в триумфе, устраивал его на свой страх и риск. А так как римляне чуть ли не каждый год одерживали блестящие победы, то зрелище этих шествий начало вызывать у народа равнодушие. «Не дивитесь, зрители, что я не справляю триумфа, — говорит один персонаж у Плавта, — это стало теперь слишком избитой вещью» (*Bacch., 1069*). Чтобы поразить воображение капризных квиритов, победители старались придать своему въезду как можно больше блеска и необычайности.

Сказать, что Публий Сципион был захвачен всем этим веселым вихрем, значило бы не сказать ничего. Сципион во всем этом блеске задавал тон, все новое исходило, казалось, от Сципиона и имело Сципиона своим знамением. Это он создал «великое и несокрушимое могущество своего отечества» (*Плутарх*). Это он стал открыто восхищаться греческим театром, литературой и вообще греческой жизнью. Он, казалось, заразил общество своей радостной уверенностью в счастье Рима, в его великое будущее. В свое время в Сици-

лии о нем говорили, что он ведет себя не как командующий войском, а как устроитель празднеств. Это было во время войны, в самый тяжелый для самого Публия момент. Можно ли удивляться, что он так безудержно отдался веселью теперь? Он устраивал блестящие игры и великолепные пиры (*Polyb., XVII, 23, 6; Liv., XXXI, 49*), со страстью отдался своему давнишнему увлечению театром. Он приближал к себе поэтов*, украшал Рим, чтобы он более походил на прекрасные города Эллады. Он сделался законодателем мод: подражая ему, юноши стали носить перстни с геммами (*Plin. N. H., XXXVII, 85*). Прямо кажется иногда, что этот влюбленный в искусство человек с кудрями и блестящими кольцами словно сошел с полотна какого-нибудь мастера эпохи Возрождения.

* * *

Необузданное веселье той эпохи лишь на первый взгляд могло показаться бездумным. Люди того времени жили напряженной внутренней жизнью. Никогда не было еще в Риме такого блеска талантов, такого страстного стремления к знаниям. Один знатный человек, Эмилий Павел, шурин Публия, вызвав лучших греческих наставников, учил своих детей грамматике, философии, риторике и — мало того! — рисованию и лепке (*Plut. Paul., 6*). Два других сенатора, Фабий Пиктор и Цинций, занялись римской историей. Фабий Лабеон и Попилий, оба консуляры, сочиняли стихи (*Suet. Terent., 4*). Первый настоящий римский оратор Цетег, консул 204 года до н. э., был так красноречив, что восхищенный Энний назвал его «душой богини убеждения» (*Cic. Brut., 57—59*). Ученейший юрист Секст Элий систематизировал право. Еще во времена Цицерона у всех судей на руках были его записки (*Cic. De or., I, 240; Brut., 79*). Но всех превзошел Сульпиций Галл, тогда еще юноша (он лет на 25 был моложе Публия). Знатнейшего рода, безукоризненной честности сенатор и консул, Галл был человеком с изумительно тонким вкусом, наделенный любовью к красоте (*Cic. Brut., 78*). И вот этот государственный муж сделался страстным астрономом и математиком. «Мы видели, как в своем рвении измерить чуть ли не все небо и землю тратил свои силы Гай Галл, — вспоминает одно лицо у Цицерона. — ...Сколько раз рассвет заставал его за вычислениями, к которым он приступал ночью, сколько раз ночь заставала его за занятиями, на-

---

* См. следующий подзаголовок.

чатыми утром! Какая для него была радость заранее предсказать нам затмение Солнца или Луны» (*Cic. Senect., 49*).

Красноречие, юриспруденция, история были детьми той блестящей эпохи[50]. Но, пожалуй, никто из служителей изящных искусств не прославился так, как отец римской поэзии, любимый поэт Цицерона и Лукреция, образец для Вергилия, тот, «кто первым принес с высот Геликона вечнозеленый венец» в Италию, — Квинт Энний (*Lucr., I, 117—118*).

Отец римской поэзии. Энний

Энний был родом из маленького осского городка Рудии в Южной Италии*. Возможно, он был наполовину грек. Во всяком случае, он получил греческое воспитание и в его груди, по его словам, билось три сердца — осское, греческое и римское (*Gell., XVII, 17*). Смолоду он был поклонником изящных искусств и самозабвенно занимался науками. Пуническая война, которая словно исполинская волна прокатилась по всей Италии, подняла его с места и забросила далеко от родного городка. В стихах его дышит ужас, который он тогда испытал. Энний рисует Ганнибалову войну в виде ужасного демона — это «исчадие ада, — пишет он, — дева-богатырка в плаще воина; в ней слились ливни, пламя, эфир и тяжкая персть». Она «взломала железные двери и засовы войны» (*Enn. Ann., fr. 258—261*). Пришлось Эннию оставить дорогие его сердцу науки и пойти простым центурионом в римскую армию.

Он не любил войны. «Она изгоняет мудрость, — говорит он, — и все решает грубая сила; добрый оратор не в чести: в почете свирепый воин. Состязаются не в ученых речах, а в оскорблениях; ко всему примешивается ненависть; дела решает не право, а меч» (*Ann., fr. 262—268*). В конце войны судьба забросила его в Сардинию. Там он начал давать уроки греческого своему начальнику Катону (*De vir. illustr., 41, 1; Sil. It., XII, 393*). Вероятно, учитель понравился суровому ученику. Вернувшись в Рим, Катон взял Энния с собой. «Мне кажется, это событие по значению не уступает любому сардинскому триумфу», — пишет Непот (*Cat., I, 4*). С тех пор Энний поселился в Риме и никогда его не покидал.

Энний жил в самой унизительной бедности, перебивался уроками греческого языка (*Suet. De gramm., I*). Он поселился в маленьком домике, в бедном квартале Авентина на ка-

* Он родился около 239 года до н. э.

кой-нибудь из тех грязных узких улиц, которые живописует нам Плавт. Именно тогда, оставив все другие увлечения, Энний всецело отдался одному — поэзии. Но это на первых порах не принесло ему ничего, кроме неприятностей. Его прежний покровитель Катон пришел в ужас и с отвращением отвернулся от бывшего учителя, занявшегося столь презренным ремеслом. И вероятно, Порций был не одинок.

Но Энний все мужественно перенес. Что же удерживало поэта в этом жалком, некрасивом городе? Самые крепкие узы на свете — любовь. Энний всем сердцем, всей душой полюбил римлян, прямо-таки влюбился в них. Вскоре он почувствовал их ответную симпатию и твердо решился внести в город Ромула светоч цивилизации.

Энний был удивительный человек. Настоящий кладезь премудрости, он знал все на свете и всем на свете интересовался: и историей, и философией, и кулинарным искусством, и природой затмений, и звездами. Трудно назвать вещь, которая ускользнула бы от его жадного внимания. В то же время, подобно всем римским поэтам, Энний вел жизнь довольно беспутную. «Наш отец Энний, — говорит Гораций, — никогда не принимался за рассказ о войнах, если не был пьян» (*Hor. Ep., I, 19, 7—8*). И сам Энний признавался, что бывает поэтом, только когда он под хмельком (*Enn. Sat., fr. 21*). Часто его можно было видеть в какой-нибудь грязной таверне с кувшином вина и томиком его любимого Гомера в руках. Он пил и читал и опять пил, пока не засыпал тут же на месте*.

Но вино не мешало ему трудиться. Он работал всю жизнь, создал все жанры римской литературы, внес в латинский язык сладкозвучные размеры эллинской музы, писал комедии, трагедии, эпос, поэмы, лирические стихи, сатиры, философские размышления. Он был не только поэтом, но и историком. Он предпринял грандиозный труд: написал стихами всю римскую историю от гибели Трои до своего времени — «Анналы». На сцене он то выводил безумного Ореста, за которым гонятся Фурии, или юную Ифигению, идущую на заклание, то показывал согражданам Ромула в пурпурном плаще и похищение сабинянок. В римских офицерах, которых он описывает, без труда узнавали Аяксов и Тевкров Гомера (например, *Ann., fr. 409—416*), зато в Ахилле и Неоптолеме видели молодых римлян его времени. Он любил пересыпать свою речь шутками и афоризмами. Его слова, стихи, острые выражения ходили по всему Риму, они стали пословицами и поговорками.

---

* В таком виде он предстает в своем знаменитом сне. См. ниже.

Он был весел и общителен. Имел кучу друзей и знакомых. Подчас он бывал грубоват даже с самыми знатными из них[51]. Слова вырывались у него из самого сердца подобно языкам пламени (*Enn. Sat., fr. 6—7; Cic. De or., II, 222*). В нем было нечто влекущее. Он производил глубокое и сильное впечатление. Не только спокойный и мудрый Назика, не только пустой и тщеславный Нобилиор, но сам суровый Катон, ненавидевший все греческое, подпал на некоторое время под власть его чар. Он был блестящим собеседником. Умел молчать и слушать, умел ответить огненно и остроумно, умел часами рассказывать о седой старине. Усталые патриции, возвращавшиеся с Форума или из сената, часами слушали Энния (*Enn. Ann., fr. 210—227; Gell., XII, 4*).

Энний мог бы извлечь много выгод из знакомства с великими мира сего. Однако, подобно всем своим детям, римским поэтам, он был совершенно непрактичен. Он дружил с богатейшими людьми, а сам жил в тягчайшей бедности. Нобилиор взял его с собой на войну, чтобы он воспел его подвиги. Энний с блеском это выполнил и сделал этого ничтожного человека знаменитым на века. Но из всей блестящей добычи, захваченной Нобилиором, Эннию достался только один плащ (*Symmach. Epist., I, 20, 2*). Как тут не вспомнить Катулла, который неизменно возвращался нищим из богатейших провинций, и его не менее беспечных друзей, которые привезли из золотой Испании всего лишь одну расшитую салфетку, которую на ближайшем же пиру у Катулла благополучно украли.

Другой бы на месте Энния пришел от всего этого в уныние, но отец поэтов был весел и беспечен, как дитя. Старый, нищий, страдающий сильнейшими болями в суставах — болезнь, которая свела его в могилу, — он ничуть не падал духом и сравнивал себя с конем, победителем на Олимпийских играх (*Cic. Senect, 14*). «В семидесятилетнем возрасте... он нес на себе два бремени, которые считаются самыми тяжелыми, — бедность и старость, и нес так, словно они его чуть ли не услаждали» (*ibid.*). До смерти он сохранял прежнюю ясность. В автоэпитафии он пишет: «Пусть никто не рыдает надо мной и не совершает надгробного плача. Зачем? Я живой буду летать по устам[52]» (*Ep., 9—10*).

Этому-то Эннию суждено было сыграть в жизни Публия Сципиона большую роль. Энний прибыл в Рим, когда Публий уехал к стенам Карфагена[53]. Вряд ли до того он видел Сципиона. Но сейчас казалось, что дух Сципиона незримо присутствовал повсюду. Все взоры были прикованы к далекой Африке, где решалась судьба Рима, а может быть, и все-

ленной. У ворот стояли толпы людей и жадно спрашивали проходящих путников, нет ли вестей о Сципионе. В храмах печальные женщины, закутанные в темные покрывала, простирались у алтарей, со слезами моля Юнону дать победу Сципиону. На Форуме у Ростр люди сходились группами и шепотом передавали друг другу последние слухи о Сципионе. «Скоро Сципион разбил в сражении самого Ганнибала, низверг и растоптал гордыню покорившегося Карфагена, принеся согражданам радость, превзошедшую все ожидания, и поистине

Он город, бурей потрясенный, вновь воздвиг».
(*Plut. Fab., 26—27*)

Как страстно все ждали тогда возвращения великого героя! Он медленно двигался к Риму, и тысячи людей выбегали на дорогу и устилали его путь цветами. Весь Рим высыпал на улицу. Народ теснился на площадях, на ступеньках домов, на плоских крышах. Быть может, и Энний стоял в тот день в толпе, прижавшись к какой-нибудь колонне, и жадно вглядывался в лицо этому сказочному герою, который, в золотом венце и расписной тунике Царя Небесного, медленно проплывал мимо него в блестящей золотой колеснице.

Неизвестно, как произошло их более близкое знакомство. Но уже скоро мы видим Энния своим человеком в доме Корнелиев[54]. Публий, совершенно равнодушный к общественным предрассудкам, не задумываясь сделал своим другом человека, которого и знать-то, по словам Катона, было зазорно. В то время это приписали обычным странностям Публия. Но позже, когда настал просвещенный век, образованные люди стали с гордостью вспоминать об этой дружбе, видя в ней доказательство того, что уже тогда лучшие люди Рима умели ценить поэзию. «Наш Энний был дорогим другом Старшему Публию Африканскому», — говорит Цицерон (*Cic. Arch., 22*). Но победитель Ганнибала не только радушно распахнул свой дом перед Эннием. Он сделал нечто большее. Он завещал похоронить этого оска в фамильной усыпальнице рода Сципионов и поставить там статую поэта. Это настолько поразило современников и все последующие поколения, что они не устают удивляться и восхищаться странным поступком Корнелия. «Обратимся теперь к славе нашей родины, — пишет Плиний, — Старший Публий Африканский приказал поместить статую Квинта Энния в своей усыпальнице. И рядом с его славным именем, украшенным трофеями третьей части мира, можно прочесть имя поэта» (*Plin. N. H., 114*)[55].

Энний, несомненно, был очень восторжен и наделен самым пылким воображением. Надо ли удивляться, что его так поразил Публий? Энний теперь не знал покоя, он исписывал горы бумаги, пытаясь воссоздать его образ. Он написал о нем поэму, посвятил ему три книги своих «Анналов», целую книгу сатур, из четырех сохранившихся лирических стихотворений три посвящены Сципиону[56], но он все был недоволен собой и говорил, что только его любимец Гомер мог бы достойно описать Публия (*Suidas, s. v. Εννιος*). Из всех этих произведений сохранились короткие, но иногда очень выразительные отрывки.

«Весь огромный мир небесный остановился в молчании, грозный Нептун дал отдых суровым волнам, Солнце остановило путь своих коней с летящими копытами. Стали вечно текущие реки, деревьев не трогает ветер» (*Scipio, fr. 1—4*).

«Ужасная Африка содрогнулась вдруг от страшного гула» (*Ann., fr. 306*).

«Какую статую, какую колонну должен соорудить тебе римский народ, чтобы она красноречиво говорила о твоих подвигах!» (*Scipio, fr. 10—11*).

«Оставь, о Рим, страх перед врагами: ведь мои подвиги соорудили вокруг тебя твердыню» (*Scipio, fr. 12—14*).

«От самого восхода солнца, там, за Меотийскими болотами, нет никого, кто мог бы сравниться с ним подвигами» (*Ep., fr. 1—2*).

«Здесь лежит тот, кому ни согражданин, ни чужеземец был не в силах воздать награды, достойной его трудов» (*Ep., fr. 5—6*).

Он дал своему герою прозвище *fulmen belli* — молния войны, которое охотно повторяли римские поэты и писатели. Намекал ли он на его стремительность, на ужас, который он наводил на врагов, подобно Юпитеру, или считал его словно бы излучающим ослепительный свет[57], мы не знаем.

Энний не мог не знать о таинственных легендах, окружавших его героя. Об этом шептались в храмах, на площадях, в тавернах. Энний был поэт, наделенный пылкой фантазией, но вера Гомера казалась ему уже наивной. Скепсис Еврипида и поздних философов вошел в его плоть и кровь. Как же относился поэт ко всем этим чудесным рассказам? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего выяснить религиозные и философские взгляды Энния. Как ни странно, но поэты Рима, презиравшего философию, все были настоящими философами. Они не могли просто описывать свои чувства, их мучили вечные вопросы. Невозможно представить себе Лукреция, Вергилия, Горация и Овидия

без учения Эпикура, Платона или Зенона Стоика. Это они унаследовали от своего отца Энния. Он вставлял в трагедии философские рассуждения, он наполнял ими страницы своих «Анналов», даже в его описании Девы Войны чувствуется влияние Эмпедокла и его учения о четырех стихиях. Не довольствуясь всем этим, Энний писал еще целые философские поэмы. Но какой же доктрины он придерживался?

Часто можно встретить утверждение, что он был скептиком-эпикурейцем*. Действительно, кажется, Энний относился с некоторым презрением к народной религии. Он издевался над оракулами, «которые сами не в силах найти дорогу, но показывают путь другому, которые сулят богатства тем, у кого сами выпрашивают гроши» (*Cic. Div., I, 132*), он видел в богах какие-то физические элементы (*Cic. Nat. deor., II, 4; Enn. Epich., fr. 10—14*, etc.), а главное, он перевел поэму Евгемера Безбожника, где доказывалось, что боги — это люди, законодатели или обманщики, вознесенные на небо людским суеверием или тупостью (*Cic. Nat. deor., I, 119*).

Но те, кто глубже знал его философию — Лукреций, Гораций, Персий, — уверяют, что Энний был человек глубоко верующий, даже настроенный мистически. Лукреций говорит, что он верил в переселение душ (*Lucr., I, 112—117*), а Гораций даже укоряет его за то, что он впадал в «пифагорейский бред», то есть увлекался мистическим учением Пифагора (*Hor. Ep., II, 1, 50; ср.: Pers., IV, 10*). С этим вполне согласуется то, что он перевел на латынь пифагорейца Эпихарма.

Как же совместить скепсис Энния и его глубокую религиозность? Как один и тот же человек мог переводить и Евгемера, и Эпихарма? По-видимому, Энний изменил свои взгляды с годами. Как и многие другие, в молодости он был почти что атеистом, но с возрастом все более и более обращался к религии. Известно, что так было с Горацием, который был в юности эпикурейцем, а под старость — платоником**. Быть может, переворот этот произошел у Энния постепенно, исподволь. Но сам он говорит, что то было озарение. Ему явилось возвышенное и мистическое видение***.

---

* *Буассье Г.* Римская религия от времен Августа до Антонинов. С. 49, 50; *Warmington E. H.* Remains of Old Latin. Vol. I. Ennius and Caecilius. L., 1979. P. XXI.

** Такой же переворот произошел у нас с Пушкиным. Певец «Гавриилиады» написал «Отцы пустынники».

*** Так я трактую сон, которым открываются «Анналы».

Однажды Энний, как всегда со свитком Гомера и кувшином вина, сидел в таверне в грязном портовом городишке Луна (*Enn. Ann., fr. 14*). Он читал и читал, пока вдруг не задремал. «Он был скован легким нежным сном» (*Enn. Ann., fr. 4*), и вдруг «перед ним появился облик вечно цветущего Гомера. Он обливался солеными слезами и открыл перед ним всю природу вещей» (*Lucr., I, 121—126*). Энний увидел «некие храмы Ахерусии, где пребывают не наши тела и не души, а некие образы, отличающиеся страшной бледностью» (*ibid.*). Он увидел всю вселенную. Видел, как в птенцов входит душа (*Enn. Ann., fr. 7—10*). Узнал, что по смерти наши души переселяются в животных (*Lucr., I, 112—117*). Гомер открыл ему, что душа его переселилась в тело прекрасного павлина, а из павлина стала Энниеm (*Enn. Ann., fr. 13, 14; Pers., VI, 10; Tertull. De An., 33*). Более мы ничего об этом видении не знаем. Проснувшись, Энний бросился записывать свой сон (*Enn. Ann., fr. 3*). Этим величественным видением и открывается самое замечательное его произведение «Анналы».

Итак, Энний придерживался учения того загадочного братства, мысли которого, как подземные воды, сами оставаясь скрытыми, питали все философские системы древности. Обратимся же к пифагореизму.

Учение Пифагора

Все или почти все религии учат, что душа бессмертна. Греческая религия не составляла исключения. Самое раннее свидетельство тому находим у Гомера. Во время своих странствий Одиссей посетил печальный край киммерийцев, где находится вход в обитель Аида, и заглянул в царство мертвых*. Жизнь теней уныла и мрачна. Никогда не светит там солнце. Вечный сумрак и туман окутывают их мир. Тени лишены памяти и разума. Бесцельно блуждают они по асфодельным полям, издавая тонкий писк, как летучие мыши. Великие герои древности, прекрасные жены, делившие ложе с самим Зевсом, все без различия томятся в этом призрачном царстве. У них остается только смутная тоска. Ахиллес говорит, что предпочел бы быть последним бедняком там, под сияющим солнцем, чем царем мертвецов (*Od. XI, 13, 540*).

---

* Именно заглянул. Одиссей не спускался в обитель Аида, не видел Цербера и подземных рек. Мертвые выходили к нему отведать крови.

Но человеческое сознание не могло примириться с таким мрачным взглядом. Как? Неужели великие герои, свершившие блестящие подвиги, мелькнут, подобно падучей звезде, чтобы навеки кануть в вечном, унылом прозябании? Неужели не будет никакой награды за доблесть и благородство? И вот возникает легенда о елисейских полях, обители блаженных душ. Первое упоминание о них встречается у того же Гомера, хотя оно, казалось бы, стоит в полном противоречии со всем рассказанным им в XI песни «Одиссеи». Менелаю предсказано:

Будешь ты послан богами в поля Елисейские, к самым
Крайним пределам земли, где живет Радамант русокудрый.
В этих местах человека легчайшая жизнь ожидает.
Нет ни дождя там, ни снега, ни бурь не бывает жестоких.
Вечно там океан бодрящим дыханьем Зефира
Веет с дующим свистом, чтоб людям прохладу доставить.
(*Od., IV, 563—568. Пер. В. В. Вересаева*)

Однако, согласно Гомеру, туда не может попасть душа праведника. Из всех героев Троянской войны в елисейские поля допущен лишь Менелай — «ибо супруг ты Елены и зятем приходишься Зевсу» (*Od., IV, 569*). Да и он отправится туда не после смерти, а будет перенесен богами живым (*ibid., IV, 562*).

Елисейские поля в последующие века стали помещать на острове, затерянном где-то далеко-далеко на западе. Порой путешественники, вернувшись из дальних стран, рассказывали удивительные истории об этом дивном острове*. Там жили, по их словам, герои Троянской войны, причем Ахиллесу, храбрейшему из смертных, в жены досталась прекраснейшая из жен Елена. Многие искали этот остров и даже мечтали на нем поселиться.

Но вот в VI веке до н. э. явился Пифагор и перевернул все представления современников. То был удивительный человек. Он мог говорить с дикими зверями, гладил белого орла. Когда он приблизился к реке, она человеческим голосом воскликнула: «Радуйся, Пифагор!» Люди при встрече принимали его за бога Аполлона. На Олимпийских играх вся Греция увидела, что у него золотое бедро. В один и тот же день и час его видели в разных городах Италии. Он мог беседовать с богами и слышать дивные звуки музыки сфер (*Ael. Var., II, 26, IV, 17; Arist. De Pyth., fr. 1; Porph. Vit. Pyth., 30*).

Его учение было окутано глубокой тайной. Члены его

* См., например, прелестный рассказ Павсания (*III, 19, 11—13*).

братства давали священную клятву не разглашать *сокровенного*. Поэтому до нас дошли лишь отдельные фрагменты. Он считал всю вселенную живой, а звезды — разумными существами. Согласно его учению, весь мир связывает воедино дивная гармония. Каждая звезда, двигаясь, издает чудный звук, а при вращении мира звучит могучий вселенский оркестр — музыка сфер. Бог, по мнению Пифагора, не имеет человеческого облика — это дух, пронизывающий всю природу (*Sext. Adv. math., IX, 127; Cic. Nat. deor., I, 27*). Один его последователь* писал: «Божество не имеет человеческой головы, украшающей туловище, и из спины у него не выходят две руки, у него нет ни ног, ни быстрых колен... Он только дух святой и чудесный, обегающий быстрой мыслью весь мир». О душе Пифагор говорил: «Это Бог в нас» (*Jambl. Vit. Pyth., 240*). О теле: «Это темница духа». По его учению, душа по смерти не погибает, но вселяется в другое тело, в человека или животное. Сам Пифагор рассказывал, что появился на свет много веков назад, еще до Троянской войны. От богов он получил дар — помнить свои былые перерождения. Много раз спускался он в обитель Аида, много раз рождался вновь (*Diog., VIII, 4*).

Он не совершал кровавых жертвоприношений и не вкушал мяса[58]. Тягчайшим преступлением считал он убийство животных, «связанных с нами узами братства» (*Porph. Vit. Pyth., 108*). «Пифагор и Эмпедокл объявляют, что основание права — одно для всех живых существ, и возвещают, что неискупимые наказания угрожают тем, кто совершил насилие над животным» (*Cic. De re publ., II, 19*).

Пифагор говорил далее, что души падают на землю из области Млечного Пути (*Macrob. Comm., I, 12*), а остров Блаженных находится на небе (*Jambl. Vit. Pyth., 82*). Но почему душа — это бог в нас? Отчего души падают с небес? Что происходит между перерождениями? Сколько будет продолжаться метемпсихоза и какова ее цель? На все эти вопросы помогают нам ответить поэмы другого великого ученого и чудотворца древности — Эмпедокла.

Эмпедокл был последователем Пифагора, но держался в стороне от братства[59]. Его слова были полны глубочайшего смысла и глубочайших прозрений. Так, он утверждал, что свет распространяется с конечной скоростью. Он был великий чародей — укрощал ветры, исцелял больных и даже воскрешал мертвых (*Diog., VIII, 67*). В праздничных одеждах и медных сандалиях обходил он города, «опоясанный перевя-

---

* *Эмпедокл, fr. 134*; о нем см. ниже.

зями и цветущими венками». Мужчины и женщины, говорит он, «следуют за мной тысячами, спрашивая о пути к спасенью. Одни нуждаются в предсказаньи, другие — в излечении разных болезней» (*Empedocl. B, fr. 112*).

Но несмотря на весь этот почет, он бывал задумчив и грустен. Вот как он объяснял причину своей тоски:

Существует роковой закон, древнее постановление богов,
Вечное, утвержденное великими клятвами:
Если кто-либо осквернит свои члены преступным убийством
Или осмелится нарушить клятву,
Какой-либо Демон, жизнь которого продолжается века,
Он будет бродить тридцать тысяч лет вдали от счастливых,
Принимая последовательно всевозможные образы смертных,
Переменяя скорбные пути жизни.
Сила эфира толкает вас в море,
Море извергает вас на твердь земли, земля в пламя
Неугасимого солнца, а оно бросает в вихри эфира,
.....
Так и я теперь изгнан богами и блуждаю,
Покорный яростной ненависти.

(*Empedocl. B, fr. 115. Пер. Э. Радлова*)

«Все мы... — чужеземцы, гости и изгнанники. Душа находится в изгнании», — говорил Эмпедокл (*Plut. De exil., 17, p. 607 C*). Дух, живущий в нас, есть, таким образом, падший ангел, который томится в земном теле, как в темнице. Он входит в земное тело «вследствие стремительной потери крыльев» (*Empedocl. B, fr. 121*). Сам Эмпедокл рождался уже много раз: «Некогда был я уже и юношей, и девой, был кустом и птицей, был я также рыбой немой, всплывающей из вод» (*Diog., VIII, 77*). Свое первое рождение на земле, свой первый крик он описывает так: «Я плакал и рыдал, видя непривычную страну» (*Empedocl. B, fr. 118*). Постоянно мучила Эмпедокла жгучая тоска по небесной родине: «После такого почета и великого счастья я, несчастный, блуждаю по лугам смертных» (*Empedocl. B, fr. 119*).

С ужасом и отвращением говорит он о кровавых жертвоприношениях. Увидав человека, убивающего перед алтарем быка или барана, он в отчаянии восклицает: «Отец, схватив сына, изменившего образ, убивает его с молитвой, великий безумец! Жертва кричит и умоляет своего палача, а он не слушает кричащего, но, убив его, приготовляет в жилище преступный пир» (*Empedocl. B, fr. 137*). Вспоминая, как ранее по неразумию он ел мясо животных, Эмпедокл восклицает: «Увы! Отчего не уничтожил меня жестокий день раньше, чем познали мои уста преступную пищу» (*Empedocl. B, fr. 139*).

Но вот подошел срок *очищения**. 30 тысяч лет окончились, и дух Эмпедокла снова обрел крылья.

«Друзья, обитающие большой город белокурого Агригента... привет вам! Я для вас уже более не человек, а бессмертный бог», — обращается он к своим согражданам (*Diog., VIII, 62. Пер. Э. Радлова*).

О смерти Эмпедокла существует такой рассказ. Однажды был великолепный пир. Среди приглашенных был Эмпедокл. Всю ночь гости веселились. Наутро хватились Эмпедокла, но его нигде не было. Наконец один из гостей, бывший ночью в саду, рассказал, что в полночь он услышал громкий голос с неба, звавший Эмпедокла. Затем он увидал свет с неба, огонь факелов и более ничего. Любимый ученик Эмпедокла Павсаний сказал тогда, что не слезы надо проливать, но молиться, ибо Эмпедокл вернулся на небо и стал богом (*Diog., VIII, 68*)[60].

Теперь нам ясно, откуда берутся души. Согласно учению пифагорейцев, это свергнутые с небес демоны. Вот почему тело — темница для духа. Но, когда после многих перерождений преступление искуплено, души вновь возвращаются в селения блаженных. В последнем своем перерождении, говорит Эмпедокл, они становятся пророками, поэтами, целителями или вождями. Затем они «возносятся до величаемых высочайшими почестями богов» и «разделяют жилище и стол бессмертных» (*Empedocl. B, fr. 146*). Но какова судьба души между перерождениями? Ведь Пифагор утверждал, что много раз уже спускался под землю и снова рождался. Это отчасти можно восстановить из мистического рассказа Платона, которого пифагорейцы, как и Эмпедокла, обвиняли в разглашении их тайн.

Платон рассказывает, что после одной битвы среди убитых нашли тело Эра. Хотя он пролежал уже много дней, его тела не коснулось тление и он напоминал спящего. Когда его возложили на погребальный костер, он очнулся и поведал, что душа его, выскользнув из тела, полетела вместе с прочими душами и оказалась в неком божественном месте. Там души предстали перед судьями, которые, тщательно взвесив их прегрешения, праведников на тысячу лет посылали на небо, а грешников на тысячу лет — под землю. Что делали они на небе и под землей, Эр не видел. Он заметил лишь, что с неба они спускались с веселыми, радостными лицами, а из-под земли появлялись измученные, покрытые

---

* Этим словом назвал Эмпедокл поэму, в которой описывает свое падение с небес и земные перевоплощения.

пылью и грязью. Затем все направились к мойрам, перед которыми разбросаны были бесчисленные жребии будущих жизней. Каждая душа сама выбирала себе жизнь. Одни поспешно хватали жизнь могучего тирана, другие предпочитали быть тихими, незаметными людьми, третьи желали родиться животными. Когда жизнь была выбрана, души отправились в дальний путь. Много дней брели они по безводной пустыне, томимые жаждой. Наконец они дошли до реки Забвения и бросились пить. Те, кто выпил много, забыл все. Кто пил умеренно, сохранил слабые и смутные воспоминания о прошлой жизни и небе. Напившись, души легли спать на берегу реки. В самую полночь раздался удар грома, страшный вихрь поднял души, они закружились по небу, рассыпались звездами и, стремительно упав вниз, вселились в смертное тело (*Plat. De re publ., 614—621*).

Апофеоз Сципиона

Теперь мы можем хоть отчасти представить себе взгляды Энния. Надо сказать, что этот гражданин Рудий знал о мистическом учении Пифагора, возможно, больше нас. В Южной Италии, куда переселился Пифагор, его почитали за божество и его философия стала чуть ли не официальной религией. Во всяком случае, в италийских захоронениях постоянно находят «золотые таблички» с изречениями Учителя и указаниями, как вести себя душе в загробном мире*. Таким образом, обращение к пифагорейству для Энния было возвращением к религии его детства.

Говорил ли он когда-нибудь об этом таинственном учении Сципиону? Быть может, он рассказывал своему другу о музыке сфер? Быть может, ясными лунными ночами, поднимая глаза к небу и любуясь сонмами сверкающих звезд, они видели в них прекрасные и разумные существа, совершающие священную пляску вокруг небесного огня?** Быть может, они толковали о своих прошлых перерождениях? Кто знает. Видимо, в ту пору в Риме, как и в эпоху Раннего Возрождения, это чудесное учение находило живой отклик в душах людей. Друзья Лоренцо Великолепного тоже увлекались пифагореизмом. Шекспир в одной из своих самых возрожденческих пьес рисует двух влюбленных, которые смотрят на звезды прекрасной лунной ночью. Юноша говорит:

---

* Своеобразный аналог египетской «Книги мертвых».

** Мысль Эпихарма.

Взгляни, как небосвод
Весь выложен кружками золотыми;
И самый малый, если посмотреть,
Поет в своем движенье, точно ангел,
И вторит юнооким херувимам.
Гармония подобная живет
В бессмертных душах; но пока она
Земною, грязной оболочкой праха
Прикрыта грубо, мы ее не слышим.

«Венецианский купец». Акт V, сцена 1

Мне кажется, что знакомство со Сципионом еще укрепило Энния в его мистическом учении. Я, разумеется, не хочу утверждать, что Публий сделался восторженным поклонником Пифагора и разжег еще больше рвение Энния. Для этого у нас нет ни малейших данных. Но сам Сципион был для поэта живым доказательством учения Пифагора. Он напоминал дивного гостя из мира духов, изгнанника небесных рощ, которого, подобно Эмпедоклу, роковое постановление богов бросило в обыденный, прозаический мир. В глазах поэта то был падший демон, потерявший крылья, но все еще окруженный ослепительным сиянием. Пифагорейцы, как сообщает Аристотель, в числе величайших тайн сохраняли такое деление живых существ: бог, человек и создания, подобные Пифагору (*Jambl. Vit. Pyth., 31*). Такое существо, «творение, подобное Пифагору», с удивительным мастерством и блеском рисует Гофман, сам чрезвычайно близкий к учению пифагорейцев[61], в чудесной сказке «Золотой горшок». Герой рассказа, студент Ансельм, в маленьком провинциальном городишке встречается со странным человеком. Это почтенный архивариус Линдгорст, состоящий на королевской службе. Но он непонятный, чудной старик, и есть в нем нечто таинственное, пронизывающее до мозга костей и вызывающее трепет. То в кофейне он пугает почтенных бюргеров рассказами о своих родичах из мира духов, то, чтобы помочь приятелям разжечь трубку, он щелкает пальцами — и из рук его вылетают искры. То, уходя от студента, он исчезает в колеблющемся тумане, а вместо него с криком взлетает седой коршун. Студент Ансельм страстно влюблен в дочь этого чудесного человека. И вот она рассказывает ему об отце. Оказывается, архивариус происходит из чудесного племени саламандров и некогда был любимцем Князя духов. Но однажды Саламандр совершил тяжкое преступление. В гневе Князь духов загасил его огонь и сверг Саламандра на землю. Он стал человеком и, вступив в скучную, обыденную жизнь, должен был переносить все ее стеснения. Но у него остались воспоминания о прежнем его бытии, он жил в гармонии со всей

природой, и ему служили по-прежнему духи. Но он должен был пройти тяжкий искус прежде, чем разрешено будет ему вернуться к своим братьям саламандрам. А пока он должен был, несмотря на высшую природу, подчиниться мелким условностям человеческой жизни, и от этого-то, по словам его дочери, происходили те странности, которыми он дразнил прочих людей[62].

Вот таким странным созданием был в глазах поэта Энния Сципион. И это-то объясняет ту удивительную вещь, о которой я собираюсь сейчас рассказать.

Дружба между Сципионом и Эннием оборвалась в 183 году до н. э. со смертью нашего героя. Эннию было тогда около пятидесяти шести лет. Смерть друга и покровителя страшно поразила поэта. Все снова и снова пытался он выразить свои чувства в лирических стихах. Постоянным лейтмотивом здесь звучит мысль, что Публий был неповторимым, единственным, уникальным (см. *Ep. 1—2; 3—4; 5—6*). В то же время удрученного печалью поэта осенила вдохновенная мысль: раз Публий был творением, подобным Пифагору, то и смерть его есть, собственно, не смерть, а восхождение к богам, *апофеоз** [63]. Он вернулся к богам, поэтому, говоря словами Павсания, не слезы надо лить, а возносить молитвы новому небожителю. Лактанций свидетельствует: «У Энния Публий Африканский говорит так:

— ...Мне одному открыта великая дверь неба» (*Lact. Inst. div., I, 18*).

Этот несколько странный образ — огромная дверь, которой заперто небо, проходит через все творчество Энния. Вид неба всегда его волновал. В его сиянии ему чудился лик верховного бога (*Cic. Nat. deor., II, 4*). Небеса представлялись ему исполинскими синими храмами с прозрачными колоннами из эфира, гигантскими арками и тяжкими дверями (*Enn. Ann., fr. 46; 63—64; Sat. 3; Ep. 3—4; Cic. De or., III, 162*). Эти образы очень удивляли даже восторженных почитателей поэта (*Cic. Ibid.*).

Вот эта-то тяжкая дверь неба, по словам Энния, открылась перед одним Публием Сципионом. Таким образом, Энний рискнул заявить, что римлянин, его современник, сделался богом. Вещь неслыханная! Лактанций, христианский писатель, с возмущением пишет, что язычники не только чтили ложных богов, как Цереру, Минерву, но поэт Энний

---

* Апофеоз — по-гречески буквально «обожествление, превращение в бога». Поэтому апофеоз какого-то героя, например Геракла, — это его вознесение на небо в сонм богов.

дошел до того, что поместил смертного человека Публия Африканского «не только в храм, но на небо» (*Inst. div., I, 18*). У того же писателя мы находим любопытнейшую фразу. Он говорит, что Геркулес «почитается в числе богов, как Публий Африканский» (*ibid.*). То есть не Публий — как Геркулес, а Геркулес — как Публий!

Энний знал, что мысли его чужды традиционной римской религии, а потому постарался отыскать в римской истории других обожествленных героев, пример которых мог бы в глазах современников освятить его смелое начинание. Кроме Сципиона и Геркулеса он отыскал еще двоих — Энея, прародителя римского народа, и Ромула. Больше сохранилось фрагментов, повествующих об этом последнем. Согласно Эннию, Ромул был человеком, но происходил от божественного корня (*Ann., fr. 114*). То был великий полководец, вождь, который вывел свой народ из мрака в залитые светом поля (*Ann., fr. 120*). По смерти же он вознесся на небо и стал богом (*Ann., fr. 114*). Невольно создается впечатление, что Ромул в описании Энния весьма напоминает Сципиона. Почти дословно повторяются и столь знаменитые в Античности слова о единственном человеке, который взойдет на небо. Юпитер у Энния говорит Марсу: «Будет *один* (курсив мой. — *Т. Б.)*, которого ты вознесешь в синие храмы неба» (*Ann., fr. 63—64*). То же, очевидно, произошло и с Энеем. Сервий пишет: «Согласно Эннию, он (Ромул. — *Т. Б.)* находится среди богов с Энеем» (*Serv. Aen., VI, 777*; ср.: *Aug. C. D., 22,* 4).

Можно предположить, что апофеоз Сципиона был описан с какой-то особой поэтической силой, во всяком случае, он глубоко запечатлелся в памяти потомков. Последующие века видели нашего героя посреди синих небесных храмов осыпанным звездным светом, овеянным дивными звуками музыки сфер. Причиной этого были, однако, не только стихи Энния, но и навеянное этими стихами величественное видение — «Сон Сципиона», которым Цицерон закончил свое «Государство»[64].

Герой диалога, Сципион Эмилиан, внук Публия Африканского и наследник его славы, приезжает в Африку по стопам своего деда, и во сне его посещает божественное видение. К нему спускается его великий предок, сам Сципион, ставший, как и говорил Энний, богом. Он поднимает юношу ввысь, в синие небесные храмы. Эмилиан видит всю вселенную. Перед ним круг ослепительного сияния. Оказывается, они уже на Млечном Пути. Звезды, прекрасные и разумные, окружают их. Они слышат какие-то дивные звуки.

то музыка сфер, чудесная гармония вселенной. В заключение Сципион говорит юноше, что эта чудесная страна — родина наших душ (*Cic. De re publ., VI, 9—29*).

Трудно даже представить, какое впечатление «Сон Сципиона» произвел на европейское человечество. Макробий его комментировал, Данте подражал ему, возрожденцы восхищались им, Петрарка перелагал в своей «Африке». Гофман рассказывает, что прочел это произведение еще ребенком. «Я, помню, убегал иной раз, в светлые лунные ночи, из дому и прислушивался, не донесет ли ветер до меня отголоска тех чудных звуков»*.

Так Сципион в сознании всех людей последующих веков остался жителем звездного неба, не бренной земли.

Тайна гроба Нумы

Энний создал целое возвышенное и несколько туманное учение (недаром Гораций пишет, что он впадает в «пифагорейский бред»). Прежде всего он решил перевести для римской публики Эпихарма. Эпихарм был учеником Пифагора (*Diog., VIII, 78*). «Он переложил в стихи мысли пифагорейских мужей и, скрывая учение Пифагора под видом шутки, таким образом распространял их» (*Jambl. Vit. Pyth., 226*). Его комедии имели какой-то особый, ни с чем не сравнимый блеск. Платон даже ставит его наравне с Гомером и говорит, что в комедии Эпихарм сделал то же, что Гомер в трагедии (*Theaet., p. 152 DE*). Естественно, звучные яркие стихи Эпихарма запоминались куда лучше, чем ученые трактаты философов. Поэтому Энний справедливо полагал, что для римлян они подойдут лучше.

Энний вслед за Эпихармом считал, что бог не имеет человеческого облика, но есть некий дух. Юпитер — это сияющее небо (*Cic. Nat. deor., II, 4*). Юнона — Земля, а Прозерпина — Луна (*Enn. Epich., 10—14*). Вся вселенная состоит из четырех элементов: воды, земли, дыхания и солнца (*ibid., 3*). Земля представляет собой тело, а огонь — дух или мысль, ее пронизывающую (*ibid., 7*). Небо представляет собой величественные синие храмы. Такие же, но только темные храмы лежат в недрах земли, в области Ахерусии. Там живут какие-то бледные образы усопших. Души после смерти переходят в другое тело, обычно в животных. Душа есть часть солнца, которая всецело дух (*ibid., 8—9*). Но, как мы видели, есть

---

* *Гофман Э. Т. А.* Автомат.

люди, которые уже не перерождаются, но восходят к Млечному Пути и становятся небожителями.

Энний был человеком очень общительным и, наверное, делился своими мыслями со многими друзьями. Возможно, у него были ученики и последователи. Возможно, он сам и его друзья были учениками какого-нибудь прибывшего в Рим пифагорейца. Во всяком случае, несомненно, что в Риме в то время возник кружок пифагорейцев. Это можно восстановить из многих указаний. Энний пишет пифагорейские поэмы. Сами идеи пифагорейцев носятся в воздухе. Плавт, поэт плебеев, который и понятия не имел о философии стоиков или эпикурейцев, оказывается, немало знает о пифагорейцах. Один из его героев говорит, что он верит в переселение душ и даже предполагает, что знакомый ему сводник сделается в будущей жизни голубком (*Plaut. Rudens, 887—890*). В другой пьесе упоминаются *satilla*, частички мировой души, пронизывающей, согласно Пифагору, вселенную (*Plaut. Trinum., 492*). Эти подчас туманные для нас намеки были сразу понятны самой широкой публике. Но самое главное свидетельство существования кружка пифагорейцев — это странное предание о Нуме и еще более странные, прямо-таки фантастические события, потрясшие Рим на рубеже III—II веков до н. э.

История говорит, что основал Рим царь Ромул. То был пылкий и неукротимый воин, истинный сын Марса, убивший в стычке родного брата. Всю жизнь Ромул провел в походах и очень мало заботился о мирной гражданской жизни. Религия была в небрежении, и Рим словно бы был лишен души. Вот душу-то и вложил в него второй царь Рима Нума Помпилий. Об этом Нуме в народе рассказывали бесчисленное множество преданий и легенд, как у нас о Владимире Красное Солнышко. В этих рассказах он предстает перед нами как настоящий сказочный герой. Передавали, что у него была жена, фея Эгерия. Она, подобно героиням наших сказок, научила мужа, как изловить лесных чудищ Пика и Фавна. Нума подмешал вина в воду источника, из которого пили эти дива. Они захмелели, и царь схватил их. Тут они стали оборачиваться всякими тварями, но Нума крепко держал их, пока те ему не покорились и не свели с неба самого Юпитера. В доме Нумы чуть не каждый день происходили удивительные чудеса. Иной раз сойдутся к нему гости, сядут за его простой стол, уставленный грубыми горшками со скудной пищей, и вдруг, как по мановению волшебной палочки, горшки превращаются в драгоценные кубки и блюда, а бедная еда — в изысканные яства (*Plut. Num., 15; Ovid. Fast., III, 290—330*).

Но неожиданно о царе Нуме стали рассказывать совсем другие вещи. Из героя сказки он превратился в мудреца-философа. Говорили, что уже в юности он был задумчив, погружен в себя и мечтал о нездешнем. Однажды он повстречал мудреца Пифагора, приехавшего в то время в Италию. Философ открыл ему сокровенные тайны своего учения. С тех пор Нума охладел к будничной жизни. Целыми днями скитался он по лесам и рощам, быть может, пытаясь услышать отзвуки музыки сфер.

Став царем Рима, Нума решил дать своим подданным под видом религии пифагорейское учение. Он запретил делать изображения богов, полагая, вслед за своим учителем, что у бога нет ни рук, ни ног, а это лишь дух святой и чудесный, а потому грешно изображать его в виде человека. Затем он, по завету пифагорейцев, запретил совершать кровавые жертвы. Словом, весь установленный им ритуал даже в деталях удивительно напоминал пифагорейский (*Plut. Num., 14*). Так Рим превратился по существу в пифагорейскую общину. Эта чистая религия просуществовала 170 лет. Исказили ее последние цари Рима — Тарквинии, по происхождению этруски. Они стали ставить статуи богам, ввели кровавые жертвы, и религия Рима стала грубой и жестокой, как и все народные культы (*Plut. Num., 8; Varro apud Aug. C. D., IV, 31*).

Предание о Нуме вошло в плоть и кровь римлян. Все были уверены, что создатель их религии был пифагореец. Но вот скрупулезные исследования античных историков повергли это предание в прах.

— Публий Африканский, достоверно ли предание о том, что царь Нума был учеником самого Пифагора и, во всяком случае, пифагорейцем? Ведь мы часто слышали это от старших и полагаем, что это всеобщее мнение.

Так спрашивает Эмилиана один из участников диалога Цицерона «О государстве». И вот какой убийственный ответ он слышит:

— Все это неверно, Манилий. Это не просто выдумки, но выдумки нелепые и невежественные... Пифагор приехал в Италию приблизительно через сто сорок лет после смерти Нумы (*Cic. De re publ., II, 28—29*).

Итак, рассказ о пифагорейце Нуме — ложь. Но откуда в таком случае могла возникнуть эта легенда? Первое, само собой напрашивающееся предположение: поскольку заповеди Пифагора и Нумы настолько схожи — «они родные братья», по выражению Плутарха, — естественно возникло мнение о заимствовании. Долгое время европейские ученые так и ду-

мали. Еще Буассье как непреложный факт сообщает, что Рим 170 лет не знал изображения богов, и склонен объяснять этот факт некими особенностями римского духа. Но вот начались археологические раскопки и ученые в большом количестве стали обнаруживать изображения богов, относящиеся ко времени «царя-пифагорейца» и его ближайших предшественников. Итак, сообщение о том, что Нума, как и пифагорейцы, не воздвигал кумиры богов, неверно.

Второе объяснение. Это сказание взято из анналов. Но Цицерон специально оговаривает, что в официальных анналах об этом ни звука (*ibid., II, 28*). Третье объяснение. Это народное предание. Однако кажется невероятным, чтобы народ говорил что-нибудь о философских воззрениях героя. Мы видели, что в народных сказаниях Нума — чудесный волшебник, муж нимфы, а не философ. К тому же Овидий, собиравший римские легенды, уверен, что статуи богам стояли еще во времена древних царей. Плиний же и Проперций, опираясь на предания и летописи, пишут, что статуи воздвигал сам Нума *(Prop. IV, 2, 69; Plin. N. H., XXXIV, 33)*. Итак, не истина, не народная легенда и не рассказ анналиста. Так что же тогда?

Мне представляется, что легенду эту создали и распространили люди, хорошо знакомые с пифагорейским учением. Причем сделали они это с определенной целью, а именно, чтобы доказать, что истинная неиспорченная римская религия и пифагореизм — одно и то же. Кто же был создателем легенды? И прежде всего, когда он жил? Во времена Цицерона она была широко распространена, причем сам оратор утверждает, что ей верили как непреложной истине уже во времена юности Эмилиана, то есть в середине II века до н. э. Однако в понтификальных книгах и официальных анналах ее еще нет. Вот почему напрашивается предположение, что возникла она во времена Второй Пунической войны, когда римляне впервые познакомились с греческой культурой. Но римские пифагорейцы не довольствовались этой легендой. Они пошли дальше в своем стремлении сделать римскую религию пифагорейской.

В 181 году до н. э. один небогатый римлянин вскапывал свой огород. Неожиданно что-то зазвенело под его плугом. Он начал копать и обнаружил странной формы сундук. На нем была надпись: «Здесь покоится Нума Помпилий, сын Помпона, царь римлян». Тогда тот человек вспомнил, что его земля располагается на Яникуле, именно там, где, по преданию, похоронен царь Нума. Движимый любопытством, он открыл сундук. К его изумлению, в нем не оказалось ника-

ких следов тела. Очевидно, оно полностью истлело. Зато он нашел два свитка, написанных на папирусе самим Нумой. Один список был на греческом, другой — на латыни. Они говорили о религии.

Человек заявил о своей находке в сенате. Взволнованные отцы собрались, чтобы исследовать рукописи основателя римской религии. Выяснилось, что на свитках «была записана пифагорейская философия» (*Cassius Gemina, fr. 37*). Тогда друзья старины обрушились на опасные книги. Решено было предать их огню[65].

Это поистине поразительный рассказ. Как можно поверить, что царь Нума оставил философские книги? Как он мог быть пифагорейцем, когда Пифагор еще не родился? Или книги принадлежали не ему, а другому пифагорейцу? Но нет. На гробе было вырезано имя царя римлян[66]. И что такого страшного содержали эти книги? Почему отцы решились бросить их в огонь? Какая-то захватывающая тайна связана с этими древним гробом. Взвесив все, надо решительно признать, что погребение не могло принадлежать царю Нуме. Он не мог оставить пифагорейский трактат на двух языках. Не мог папирус сохраниться в сундуке 530 лет. А если бы он по каким-то причинам и избежал разложения, то куда же делось тело? Оно, говорит историк Гемина, истлело от времени. Но это невозможно. Труп не мог исчезнуть бесследно. Остался бы клок волос, куски кожаной обуви, кости, наконец, хоть пряжка, хоть застежка — хоть что-нибудь бы уцелело! И тем более дико слышать, что истлели без следа кожа, кости, металлические вещи, а папирус прекрасно сохранился! Нет, тела в сундуке никогда не было. Он изготовлен был для одних лишь рукописей. Но значит, перед нами сознательная подделка. Кто-то изготовил сундук с надписью, положил в него рукописи и зарыл его именно там, где, по преданию, покоилось тело царя Нумы. Эта подделка была искусно сделана, с тем чтобы ввести сенаторов в заблуждение. Но кто и зачем сделал это и почему отцы предали рукописи огню?

Изготовили гроб Нумы, конечно, те же люди, которые до этого пустили слух, что царь был пифагорейцем. Этим можно объяснить ту непроглядную тайну, которая окутывает все это событие. В самом деле, кто-то составляет книги, пишет их на папирусе, делает сундук, вырезает на нем надпись, зарывает его глухой ночью в землю — а между тем никаких слухов об этом не просочилось, хотя, несомненно, в предприятии участвовало несколько человек. Выполнить эту задачу было под силу только тайному братству. Цель

этого предприятия ясна. Книги Нумы были словно бы письмом основателя римской религии к своим далеким правнукам, где он заклинал их отречься от иноземщины и вернуться к чистому, как снег, учению своих предков. Подобного рода факты хорошо известны из истории Востока*. Если бы книги Нумы были обнародованы, пришлось бы действительно внести какие-то изменения в культ. Очевидно, этого-то и боялись отцы. Но какую же опасность таило учение Нумы?

Гемина говорит, что книги были сожжены из-за содержавшейся в них философии. Более подробный ответ, как мне кажется, можно найти в сочинениях римского теолога середины II века до н. э. — Сцеволы. Сцевола пишет, что религия, предлагаемая философами, вредна для народа по следующим причинам. Во-первых, философы учат, что некоторые люди могут по смерти вознестись на небо и стать богами. Во-вторых, они утверждают, что «в городах стоят неистинные изображения богов, а истинный бог не имеет ни пола, ни возраста, ни определенного облика» (*Aug. C. D., IV, 27*). Но ведь это именно то, что утверждали греческие пифагорейцы и Энний! Сцевола мог иметь некоторое представление о содержании роковых книг. Отец его по возрасту вполне мог присутствовать на том заседании сената, где книги решено было предать огню.

Замечательно, что находка гроба Нумы совпала с попыткой Энния обожествить Сципиона (Публий Африканский умер в 183 году до н. э., гроб нашли в 181 году до н. э.). Поразительно, что в то время как в образованных кругах Рима возникло тайное общество пифагорейцев, среди простолюдинов сложилось братство поклонников Вакха, тоже тайное, сопровождавшееся мистическими обрядами и неистовствами. Оно было раскрыто в 186 году до н. э. и также запрещено декретом сената. По-видимому, описываемая эпоха была временем напряженных религиозных поисков, столь непохожих на холодное равнодушие и скепсис последних лет Республики.

---

* Г. Масперо пишет: «Известно, что на Востоке часто случается слышать, что такая-то книга найдена в храме такого-то бога». Факт этот, по его словам, указывает на то, что автор, желая сообщить своему произведению большую авторитетность, приписывал его богам или обожествленным пророкам прошлого. Так, богам приписана была часть египетской «Книги мертвых», неизвестный же автор Второзакония приписал свое творение величайшему герою далекого прошлого, создателю иудейской религии Моисею (*Масперо Г.* Древняя история народов Востока. М., 1911. С. 486, 487).

* * *

Энний на много лет пережил Сципиона. Он умер в глубокой старости и завещал сжечь себя на холме Яникуле, где был похоронен его герой Нума*.

Все это, однако, случилось гораздо позже. Сейчас же римляне неожиданно были вовлечены в столь запутанную и опасную игру, что оказались вновь на краю бездны, словно судьба отбросила их назад ко дню каннской катастрофы. Поэтому оставим поэтов и философов и снова обратимся к делам мира и войны.

---

* *Warmington E. H.* Remains of old Latin. Vol. I. P. XXIII.

Глава вторая

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРЕЦИИ

Опять увенчаны мы славой,
Опять кичливый враг сражен,
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашен.
.....
Восстань, о Греция, восстань.
Недаром напрягала силы,
Недаром потрясала брань
Олимп, и Пинд, и Фермопилы.
При пенье пламенных стихов
Тиртея, Байрона и Риги
Страна героев и богов
Расторгла рабские вериги.
Под сенью ветхой их вершин
Свобода юная возникла...

А. С. Пушкин

В 200 году до н. э., едва отгремели грозы Ганнибаловой войны, в Рим явилось посольство из Афин, Родоса и Пергама. От имени всех свободных эллинов они заклинали квиритов вспомнить о родстве с греками. Во имя этого они молили спасти их от произвола македонского царя Филиппа, который с неслыханной жестокостью притесняет эллинов континента и Малой Азии.

В другое время квириты были бы, вероятно, очень польщены этим предложением и оценили бы все выгоды, с ним связанные. Но сейчас они смертельно устали, о чем со свойственной римлянам резкостью и прямотой и объявили в Народном собрании. Но сенаторы взглянули на дело по-другому. Консул, выступив перед Народным собранием, напомнил, что Филипп — один из самых могучих и дерзких царей своего времени. Он мечтает возродить великую Македонию Александра. После битвы при Каннах Филипп решил, что римляне уничтожены, и поспешил предложить союз новой великой силе — победоносному Карфагену, вернее, Ганнибалу. Македонская фаланга сражалась против римлян при Заме бок о бок с пунийцами. Один раз римляне с удивительной беспечностью позволили Гамилькару и Ганнибалу создать империю в Испании. Так же они намереваются поступить и сейчас, позволив другу Ганнибала захватить Грецию и большую часть Малой Азии. Потом Филипп нападет на них в Италии, но

будет поздно. Притом они оттолкнут естественных союзников и друзей — эллинов. После небольшого колебания квириты решились. Война Македонии была объявлена (*Liv., XXXI, 2—7*).

Положение в Греции

Эллада, где предстояло воевать римлянам, была в ужасном положении. Никогда, даже во дни былого могущества, страна не была единой. Ранее во времена Греко-персидских войн она распадалась на отдельные города, претендовавшие на первенство. Сейчас их место заняли *союзы* городов, имевшие свою конституцию, территорию, обычаи. Их раздирали непрерывные междоусобные войны. «Не знаю, почему, — с грустью замечает историк Полибий, — пелопоннесцы, наиболее склонные к спокойному человеческому существованию, издавна наслаждались им меньше всех... Напротив, они, как выражается Еврипид, "всегда зажигали войны и никогда не имели покоя от брани"» (*Polyb., I, 106, 4—5*). Братоубийственные войны велись с несвойственной эллинам жестокостью. Этоляне, захватив общегреческие освященные традицией святилища Дий и Додону, безжалостно разграбили их, сожгли храм, где столько веков благоговейно молились их предки. Когда же победоносный вождь этого славного похода вернулся домой, его не судили, не признали нечестивцем, говорит Полибий, но превознесли почестями и взирали на него как на доблестного мужа, оказавшего услугу государству (*V, 62, 2—4; 67, 3*). Во время этих войн не только убивали людей, жгли дома, но истребляли деревья, уничтожали поля, чтобы отнять у людей все средства к существованию. Таково было озлобление на себе подобных, замечает Полибий (*XXIII, 15*).

Вот каковы были междоусобные войны между племенами. Но и внутри каждого города было неспокойно. Ибо всякий город стоял на пороге революции. Каждую минуту могла вспыхнуть резня между богатыми и бедными, между сторонниками тирании и ее противниками. В эти дни кровь лилась рекой. Об этолянах, например, Полибий пишет: «В междоусобной войне не было жестокости, перед которой они остановились бы, а теперь, когда незадолго перед тем была испробована братняя кровь в арсинойской резне... они были на все готовы и так одичали, что не давали правителям своим собираться на совещание. Посему безначалия, насилие, убийства наполняли страну. Действий осмысленных,

рассчитанных по плану не было вовсе. Напротив, все делалось без толку, наобум, как будто ураган налетел на них. Такое же положение было в Эпире» (*XXX, 11, 1—12, 1*).

В Беотии вот уже 25 лет (221—196 годы до н. э.) не было ни одного судебного решения, ни общественного постановления (*Polyb., XX, 6, 1*). Кинефяне «с давних пор... обуреваемы были непрестанными жестокими распрями, в которых многие были умерщвлены и изгнаны, сверх того имущество расхищалось, производились все новые переделы земли» (*ibid., IV, 17, 4—5*).

Представители враждебных партий не останавливались ни перед чем. Они призывали македонцев, ночью открывали ворота этолянам и с их помощью устраивали кровавую резню, в которой часто гибли сами. Но и этого мало. Во многих городах были тираны. Приходили они к власти путем страшного насилия, а держались только террором. Вот рассказ только о двух из них. Тиран Аргоса, проливший море крови, страдал манией преследования. Он даже не решался выходить из дома днем, а выползал из своего логова ночью, как чудовищный змей. Арат, поклявшийся избавить Элладу от этой пагубы, умертвил его на поле боя. Но ему наследовал его сын. Когда же Арат сделал попытку захватить Аргос, граждане не рискнули ему помочь, парализованные ужасом. Арат вынужден был отступить. Но все же граждане были наказаны. 80 человек были подвергнуты пыткам и удавлены на глазах своих семей (*Polyb., II, 59, 8—10; Plut. arat. 26*).

А вот рассказ о другом.

«Тиран лакедомян Набис... вконец истребил противников своей власти в Спарте, изгнал граждан, выделявшихся богатством... а имущество их и жен роздал... своим наемникам. Это были убийцы, грабители, воры, обманщики. Вообще Набис старался отовсюду собрать вокруг себя людей, для которых родина была закрыта подлыми и преступными деяниями. Объявивши себя вождем и царем таких людей, обративши их в своих оруженосцев и телохранителей, Набис... рассчитывал... надолго утвердить свою власть... Он не довольствовался изгнанием граждан: для изгнанников нигде не было безопасного и надежного пристанища. За одними он посылал в погоню убийц, которые и убивали их на дорогах, других возвращал из места ссылки и предавал смерти. В довершение всего по тем городам, где поселялись изгнанники, он... нанимал дома, смежные с жилищем изгнанников, и поселял в них критян, а они продырявливали стены и через отверстия метали стрелы, которые поражали насмерть изгнанников, когда одни из них в собственных жилищах стояли,

другие лежали, так что ни место, ни время нисколько не спасало несчастных лакедомян от гибели. Такими-то мерами Набис истребил очень много лакедомян» (*ibid., XXIII, 6*).

Естественно, тысячи людей оставались без крова и пищи. Дороги кишели разбойниками. «Запасаться оружием было тогда делом обычным, потому что чуть ли не любой в те времена покушался на чужое имущество и жизнь» (*Plut. Arat., 6*). Выходить из города было опасно, посольства, посланные иностранным державам, зачастую до места не доходили: их захватывали заложниками или убивали. Существовали целые пиратские государства, как Союз этолян, занимавший Среднюю Грецию. В их конституции было записано, что они могут грабить кого угодно, и они не стесняясь разоряли земли и врагов, и друзей, а однажды, внезапно напав на Спарту, угнали 50 тысяч человек.

От всего этого в Элладе ощущалась страшная усталость. Все мечтали хотя бы ненадолго насладиться миром. Полибий с грустью говорит об обработке полей, унаследованных от предков жертвоприношениях, всенародных празднествах... «По причине непрерывных войн прежнего времени все подобные предметы в большинстве городов были почти забыты» (*V, 106, 2—3*). Будучи людьми впечатлительными и восторженными, эллины жили теперь надеждой, что откуда-то из далеких земель явится прекрасный душой чужеземец и спасет их. Потому-то они так охотно призывали иноземцев. Одно время они приняли за своего спасителя беспринципного авантюриста Деметрия Полиоркета. Афиняне объявили его богом и сложили в честь него гимн:

«Высшие из богов и благодетельнейшие приближаются к этому городу... Деметра и Деметрий несут нам счастье. Она приходит, чтобы совершить у нас священные таинства Девы. И он, ясный, как подобает богу, прекрасный и улыбающийся, является вместе с ней... О сын светлого неба, ты, сын Посейдона и Афродиты! Другие боги или далеко, или не имеют ушей; может быть, их и совсем нет или они не смотрят на нас. Но тебя мы видим близко. Ты стоишь перед нами не каменный или деревянный, но телесный и живой. Итак, мы молимся тебе: сотвори нам мир, о возлюбленный, ибо ты господин его» (*Athen., VI, 253*).

* * *

В Элладе того времени было несколько политических сил. Наибольшим влиянием пользовался Ахейский союз, который объединял почти весь Пелопоннес. Конституция

союза была демократична, поведение умеренно, и он заслужил всеобщее уважение эллинов. Вознесся союз при Арате, который поставил себе целью освободить всю Грецию от тиранов и от македонцев. Он был уже почти у цели, но в это время страшно усилился старый враг ахейцев Спарта. Спартанский царь захватывал у союза город за городом, и Арат решился на ужасное предательство: он собственными руками снова предал всю Элладу Македонии. В важнейших греческих городах были поставлены македонские гарнизоны, сам Арат превратился в македонского вельможу, а союз стал почти что рабом македонскому царю. Теперь Филипп не только полновластно распоряжался всеми делами ахейцев, но, вступая в какой-нибудь их город, «открыто посылал за всякой женщиной, которая только приглянулась ему, а если та не являлась немедленно на его зов, он в сопровождении буйной толпы врывался в дом и там оскорблял женщину». Ахейцы все терпели покорно и «сносили чудовищные обиды» (*Polyb., X, 26, 1—6*).

Второй силой был Этолийский союз. Это были разбойники, жившие в неприступных горах Средней Греции. Но, несмотря на свои ужасные грабежи, эти пираты не лишены были благородства и упорно боролись против Филиппа за свободу Эллады.

Афины и Спарта стояли особняком. Спарта была ныне под властью тирана Набиса, а до этого около сорока лет ее потрясали перевороты и революции. Афиняне сильны были только моральным своим авторитетом. Но они были слабы и заискивали перед всяким сильным владыкой. «Они не принимали участия ни в каких движениях прочих эллинов... Они простирались в прах перед всеми царями... и по легкомыслию своему мало заботились о соблюдении достоинства» (*ibid., V, 106, 6—8*). Но к чести их надо сказать, что они были очень великодушны. Если кому-то требовалось задобрить могучего врага, к нему непременно слали афинян.

Наконец, существовал еще Филипп Македонский. Об этом владыке следует поговорить особо. Он пришел к власти семнадцати лет. Греки очарованы были его умом, талантами и благородством. Его называли любимцем Эллады и твердо верили, что именно этот юноша возродит былое величие Древней Греции. Но со временем с Филиппом произошел такой же переворот, как с Иваном Грозным, который из великого воителя Казани превратился в свирепого тирана. Говоря о Филиппе, Полибий вспоминает аркадскую сказку о человеке, который, отведав человеческой крови,

Греция и Македония

превращается в волка. Так и македонский царь, говорит он, вкусив раз людской крови, стал свирепейшим зверем. Он беспощадно уничтожал и друзей, и врагов, вырезал целые семьи, твердя, что из оставшегося в живых младенца вырастет со временем грозный мститель. Всюду чудились ему заговоры, и днем он не знал ни минуты покоя. А ночью являлись ему страшные тени убитых и терзали его до рассвета. Но, вставая с постели, он начинал казнить с еще большим ожесточением. «Ни один из прежних царей не обладал в такой мере, как Филипп, ни достоинствами, ни пороками», — говорит Полибий (*X, 26, 7*). В самом деле, он был смел, энергичен, находчив, умен, остроумен. В то же время он был свиреп, коварен, мстителен, развратен, страдал припадками ярости.

Этот-то царь мечтал возродить былое могущество Македонии, а для этого покорить эллинов материка и Малой Азии. Пользуясь раздорами среди греков, он окончательно подчинил себе Ахейский союз, захватил важнейшие греческие города и поставил в них македонские гарнизоны. Он был почти что у цели, когда в Элладе появились римляне.

Первые годы войны

Ситуация в Греции была сложной и запутанной. Очень много требовалось от полководца, который взял бы на себя ведение этой войны. Прежде всего он должен был завоевать любовь эллинов. А это было не так-то просто для варвара. Он должен был, по словам Плутарха, более полагаться на красноречие, чем на меч (*Plut. Flam., 2*). Он должен был восхищаться великим прошлым Эллады, свято чтить законы и обычаи всех мелких городков и в то же время одним властным словом уметь пресечь взаимные распри. Он должен был спокойно выслушивать жалобы шести-семи различных партий какого-нибудь крохотного поселения и давать быстрый и точный ответ. При этом он должен был обладать изящными манерами и говорить чистым греческим языком — а то он показался бы эллинам грубым варваром — и совершать красивые и великодушные поступки, ибо греки были чувствительны ко всему прекрасному.

Но такого вождя в римском войске не было. Напротив, римляне воевали нехотя, угрюмо и меньше всего думали о том, чтобы пленить эллинов. В конце концов войска даже объявили забастовку, говоря, что не желают сражаться за чужие интересы. Консулы делали вид, что возмущаются свое-

волием солдат, но в душе их одобряли. Они сами, получив полномочия, тянули под любыми предлогами время, чтобы подольше пробыть в Риме и попозже поехать на эту ненужную и непопулярную войну (*Plut. Flam., 3*).

Прием, оказанный им в Греции, еще более их разочаровал и расхолодил. Римляне приехали в Афины вместе с царем Пергама Атталом. Им предстало роскошное зрелище. Весь народ с женами и детьми высыпал встречать царя. Все храмы были открыты. Все алтари были украшены цветами, на каждом жертвеннике лежало животное, и царя просили его заколоть. Аттала буквально осыпали почестями: афиняне назвали его именем одну из фил, причли его к своим родоначальникам, непрерывно лучшие ораторы произносили в его честь восторженные речи. Родосцев также ласкали на все лады (*Polyb., XVI, 25—26*).

Одни римляне ровно ничего не получили и были на этих торжествах, по греческой поговорке, «как осел на посвящениях». Вообще надо сознаться, что греки и римляне вначале совсем не понравились друг другу. Римляне казались грекам холодными, насмешливыми и необычайно гордыми; вдобавок они любили окружать себя атмосферой неприступности. Например, даже отлично зная греческий, они говорили с эллинами только через переводчиков. А римлян греки раздражали своей непомерной угодливостью, льстивостью и легкомыслием. Они не могли скрыть насмешливой улыбки, видя эти бесконечные венки, слыша по каждому ничтожному поводу гром рукоплесканий и взрыв непомерного восторга. Цицерон, живший много лет спустя и глубоко восхищавшийся Грецией, тем не менее никак не мог примириться с этими свойствами греков. В одном частном письме он пишет: «Что касается самих греков, нужно тщательно остерегаться дружеских отношений с ними за весьма немногими исключениями, если кто-нибудь окажется достойным Древней Греции. Настолько очень многие из них лживы, легкомысленны, а вследствие продолжительного рабства приучены к чрезмерной угодливости... Они склонны к чрезмерной дружбе, но не особенно надежны, ибо не осмеливаются противиться нашим желаниям и завидуют не только нам, но и своим соотечественникам» (*Quint. fr., I, 1, 5(16)**.

Так продолжалось два года. Война шла через силу, вяло. Римляне застряли на севере в горах. Но вот на третий год консулом был выбран Тит Квинктий Фламинин.

---

* Ср.: *Fam., XIII, 78, 1.*

Тит Фламинин

Тит принадлежал к новому поколению. Он был представитель молодежи, выросшей во времена Пунической войны: ему не было и десяти лет, когда Ганнибал вторгся в Италию. Тит почти что вырос на поле боя, уже в 18 лет был опытным офицером и ему поручили даже управлять захваченным у врага Тарентом. Он наделен был от природы живым умом, бурной энергией и неугомонным характером. Тит был совершенно неспособен, подобно Сципиону, спокойно сидеть дома. Всю жизнь он посвящал кипучей деятельности: то выезжал основывать колонию, то отправлялся на войну, то находился в посольстве, то интриговал в сенате. Даже под старость, когда человеку полагалось отойти от всяких дел, Тит не знал ни минуты покоя, за что его часто осуждали (*Plut. Flam., 20*). А в то время, о котором идет речь, он был буквально одержим мечтами о приключениях и подвигах.

Титу было около двадцати лет, когда он услышал о блестящих подвигах Публия Сципиона. Подобно всей молодежи, Тит восхищался Сципионом, подражал ему, смотрел на него как на своего кумира. Стать вторым Сципионом было его мечтой[67]. Когда началась война в Греции, Тит сразу понял, что это его «Тулон». Он выставил свою кандидатуру в консулы, хотя ему не было и тридцати лет и он не занимал никакой должности, кроме квестора. Ну и что же? Ведь Сципион был как раз его возраста, когда стал консулом, а до этого тоже не занимал никакой должности, кроме эдила. Став консулом, несмотря на сопротивление стариков, Тит «взял в набор почти исключительно тех воинов, которые служили в Испании и Африке» под началом Сципиона и знали его новую боевую тактику, и переправился в Грецию «с большей поспешностью, чем имели обыкновение делать другие консулы» (*Liv., XXII, 9*).

Тит разом обворожил греков. Они отправлялись к нему заранее предубежденные, ожидая увидеть грубого варвара. Но вместо того они видели очаровательного молодого человека, который говорил по-гречески как прирожденный афинянин и с искренним восторгом рассуждал о великой Элладе и ее возрождении. Они разом уверовали в Тита и прониклись глубоким убеждением, что это и есть тот герой, которого они так долго ждали (*Plut. Flam., 5*).

Тит и впрямь производил самое приятное впечатление. Он импонировал своими простыми, дружелюбными манерами, обаятельной веселостью и задорной насмешливостью. Он был чрезвычайно общителен. Везде у него были приятели. В Риме им счета не было. Но вот стоило ему приехать в

Грецию, выяснилось, что вождь эпиротов, упорных врагов римлян, его хороший приятель. Он разбил впоследствии македонского владыку и взял в заложники его юного сына. И что же? Вскоре обнаружилось, что этот мальчик обожает Тита, чтит его больше отца и всех близких. Когда приезжали послы из Малой Азии, то они, окончив свою официальную миссию, неизменно направлялись на обед к всеобщему приятелю Титу Фламинину (*Liv., XL, 5; App. Maced., IX, 6; Nep. Hann., 12, 1*). Не всегда эти друзья были солидные, почтенные люди. Например, очень близким его приятелем был мессенец Дейнократ, отчаянный сорвиголова и повеса (*Polyb., XXIII, 5, 2—13*). Эта дружба доставила впоследствии Титу много горьких минут. Его приятель поднял войну в Греции и втянул родное государство в чудовищную авантюру. Он приехал в Рим в надежде, что Тит ему поможет. Сам он был попрежнему весел и беспечен, пировал с утра до вечера, развратничал, слушал певцов и певичек и наконец исполнил какой-то новомодный танец в женской одежде. Тит ничего ему тогда не сказал, но когда на следующий день Дейнократ подошел к нему с какой-то просьбой, Тит с досадой отвечал:

— Хорошо, Дейнократ, я сделаю все что могу. Удивляюсь только, как ты можешь бражничать и плясать после того, как накликал на эллинов столько забот.

Дейнократ искренне удивился и очень смутился (*ibid.*).

При всем этом Тит был умен, и тонок, и талантлив. «Всякое предприятие он вел очень умело», — говорит Полибий (*Polyb., XVIII, 12, 2*). Но лишь тот, кто очень хорошо знал этого человека, понимал, что Тит «один из проницательнейших римлян, обнаруживавший несравненную предусмотрительность и ловкость не только в государственных делах, но и в личных сношениях» (*ibid., XVIII, 12, 3—4*). Иными словами, Тит был очень хитер, чего греки сразу не заметили, но зато хорошо узнали позднее. «При всем том, — заключает свою характеристику Полибий, — Тит был еще очень молод» (*XVIII, 12, 5*).

Войско римлян, когда к нему прибыл новый консул, давно уже стояло в бездействии. Тит разом сдвинул войну с мертвой точки. Прежде всего он свиделся с представителями эллинских общин и совершил чудо — ему удалось объединить в единый союз ахейцев, этолян*, беотийцев, афинян и малоазийских греков, — словом, он сделал то, что до

* Этоляне примкнули к римлянам еще до приезда Тита более всего из ненависти к македонскому царю. Но Квинктий выполнил самую трудную задачу — привлек к союзу ахейцев.

него не удавалось еще ни одному политику. Даже с тираном Набисом он заключил договор. Теперь Тит действительно мог выступать от имени всей Эллады. Ахейцы никогда бы не поручили переговоры о своем будущем этолянину, этоляне никогда не доверились бы спартанцу, а афиняне — фиванцу, но римлянину Квинктию все верили. И Тит требовал теперь от Филиппа не просто прекратить войну и возместить потерпевшим убытки, нет, он от имени всех греков приказывал ему освободить Элладу. Каким-то чудом Тит сумел сообщить свой энтузиазм римлянам. Они сражались теперь с невероятным рвением, считая, что для них нет славы лучше, чем слава освободителей Эллады (*Polyb., XVIII, 11, 11*).

Греки и римляне сражались теперь плечом к плечу, и очень многое удивляло эллинов. Они изумлялись, видя, как римляне, оторванные от своих коммуникаций, голодные, идут по вражеской стране, но никогда не позволяют себе грабить. Еще более поражала их выносливость римлян. Полибий рассказывает, что Тит, не зная, где придется разбить лагерь, приказал воинам тесать палисадины и нести их с собой. «Невыполнимой кажется эта задача по эллинским понятиям и нравам, но весьма легкой по римским. Так, эллины едва могут в походах выдержать тяжесть одних только сарисс и с трудом переносят причиняемое ими утомление. Напротив, римляне со щитом на кожаном ремне через плечо, с дротиками в руках, не тяготятся нести еще палисадины» (*Polyb., XVIII, 18, 1—4*).

Удивлялись греки и великой религиозности римлян. Давно проникнутые холодным скептицизмом, они с презрением глядели на набожные молитвы своих новых друзей. Они с усмешкой рассказывали, что римский консул «совершал ауспиции... возглашал обеты, как жалкий жрец-прорицатель» (*Liv., XXXV, 48*). Полибий пишет: «То самое, что осуждается у всех других народов, именно богобоязнь, у римлян составляет основу государства». Религия, говорит он, настолько пронизывает их частную и общественную жизнь, «что невозможно идти дальше в этом отношении». И историк замечает, что его соотечественники находят такое поведение нелепым (*Polyb., VI, 56, 7—9*).

Титу удалось оттеснить Филиппа и разбить его в небольшом сражении. Царь видел, что чаша весов склоняется в сторону римлян. И он попросил Тита и его союзников явиться на переговоры. Эти переговоры настолько ярко передают характер этой войны, эллинов и Филиппа, характер всей этой смутной эпохи, что на них необходимо остановиться подробнее.

Переговоры с Филиппом

Свидание назначено было на берегу Малийского залива. Тит и представители всех эллинов сидели на берегу и ждали Филиппа, который должен был приплыть на корабле. Наконец показалось царское судно. «Тит и спутники его подошли к морю, а Филипп оставался на корабле, хотя и близко к суше. На предложение Тита сойти на берег Филипп, ставши на корабле, отвечал, что не сойдет. На новый вопрос Тита, чего он боится, Филипп отвечал, что кроме богов он не боится никого, но не доверяет очень многим из присутствующих, больше всего этолянам. Римский военачальник с удивлением заметил, что опасность одинакова для всех, как и одинаково положение всех их. Но Филипп на это возразил, что Тит ошибается, ибо, случись что с Фенеей (стратегом этолян. — *Т. Б.)*, многие смогут занять должность союзного стратега этолян. Напротив, умри Филипп, никого не найдется теперь, кто мог бы стать царем македонцев. Все находили, что непристойно начинает Филипп переговоры».

Тогда консул предложил ему объяснить причину его прибытия. Но царь, настроенный все говорить против, немедленно возразил, что объяснять следует не ему, а Титу, хотя сам только что так настойчиво просил свидания. Не тратя времени на пререкания, римлянин отвечал, что его собственные требования будут просты и ясны — очистить Элладу. Сам Тит более ничего не говорил. Он предоставил слово союзникам.

Представитель Пергама потребовал, чтобы Филипп возвратил захваченные им корабли, и пожаловался, что македонский царь кощунственно и безбожно осквернил и разрушил святилище Афродиты. Затем говорили родосцы и ахейцы. Но особенно много шума подняли этоляне. Они, как и римляне, потребовали очистить Элладу и отдать им назад их города. Тут слово взял Александр, который слыл среди этолян за человека красноречивого. Он произнес очень длинную обличительную речь против Филиппа. Царь подвел свой корабль ближе, выпрямился во весь рост и закричал, что «сочиненная Александром речь по своей лживости и напыщенности достойна этолянина». Но он не успел развить свою мысль, как его перебил Фенея, союзный стратег этолян, страдавший близорукостью. Он назвал речь царя нелепой болтовней, ибо, сказал он, надо или побеждать, или покоряться сильнейшему. Положение Филиппа было трудное, но, оставаясь верен себе, он обратился к Фенее со словами:

— Да это, Фенея, и слепой видит.

Вообще Филипп был весьма находчив и насмешлив. Оглушив Фенею этой неожиданной наглостью, царь снова обратился к Александру. Осыпав этолян насмешками и упреками, он воскликнул наконец:

— Сколько раз я и прочие эллины обращались к вам с требованием отменить закон, дающий вам право громоздить добычу на добычу, а вы отвечали, что из Этолии скорее будет изъята Этолия, чем этот закон!

Тит с удивлением спросил, что значат эти выражения. Филипп попытался объяснить смысл этих слов. Дело сводилось к тому, что конституция этолян разрешала им грабить кого угодно.

— И они еще смеют жаловаться! — воскликнул Филипп. — ...Но возмутительнее всего, что этоляне приравнивают себя к римлянам и требуют, чтобы македонцы очистили всю Элладу от своих войск. Хотя во всяком случае предъявление мне подобного требования есть наглость, но в устах римлян оно еще терпимо, но никак не в устах этолян. Какую же Элладу вы велите мне очистить?.. Ведь большинство этолян не эллины... Или вы их уступаете мне?

Тит засмеялся, а Филипп продолжал: «Впрочем, против этолян сказано достаточно». Тут он перешел к жалобам Пергама. Конечно, требование отдать корабли тоже показалось ему наглостью. Но он согласился на это, как он дал понять, ради Тита. Что же касается кощунства, им совершенного — он вырубил священный участок Афродиты, — то он пообещал Атталу хорошего садовника.

Тит опять засмеялся в ответ на новое издевательство Филиппа. А царь перешел к ахейцам, называя их предателями. Что до их требований, то один город он обещал им отдать, а о другом поговорить с Титом.

Покончив со всем этим, он повернулся к консулу и сказал, что обращается к одному только Титу и римлянам, и спросил его о судьбе некоторых городов. Но Тит и рта не успел раскрыть. «Вместо него пожелали отвечать ахейцы и этоляне», то есть подняли невообразимый шум. Филиппу, разумеется, вовсе не интересно было их слушать, а потому он объявил, что пора расходиться. Уже темно. В заключение он попросил дать ему список требований каждой стороны. «Он одинок, — говорил Филипп, — не имеет советников, поэтому желает наедине поразмыслить над предъявленными требованиями». Это была шпилька по адресу Тита, который силен чужим умом и окружен советчиками. Титу новая насмешка Филиппа доставила большое удовольствие. Но, не желая, чтобы другие поняли это, он сказал:

— Понятно, Филипп, почему ты одинок теперь: ты погубил ведь всех друзей, которые могли бы дать тебе прекрасный совет.

Царь македонян улыбнулся ядовитейшей* улыбкой и замолк (*Polyb., XVIII, 1—7, 7*).

У Полибия передан с необыкновенной яркостью удивительный характер этих переговоров. Это не обмен мнениями, а обмен ругательствами. Все перебивают друг друга, кричат и ссорятся. Из этого рассказа ярко вырисовывается характер Филиппа. Историк сравнил его однажды с диким зверем, гонимым собаками. Это сравнение особенно подходит к этим переговорам. Все, особенно этоляне, окружают его, как свора псов, но чуть один из них подскочит слишком близко — дикий волк лязгнет зубами и дерзкий с визгом отскакивает назад. Его находчивость, насмешливость, наглость и жестокость видны как на ладони. Замечательно и поведение Тита. Сразу заметно, что он насмешлив и любит шутки. Он смеется и тогда, когда Филипп задевает его союзников, которых он взялся защищать, и даже когда царь попытался уколоть побольнее его самого. Это доставляет ему огромное удовольствие, которое он постарался скрыть от друзей.

На другое утро союзники опять пришли на берег моря. Но Филипп не появлялся. Прошло утро, настал день. Уже стало смеркаться, а царя македонцев все не было. Тит, привыкший к римской точности, уже давно говорил, что ждать, очевидно, бесполезно. Но греки смотрели на дело по-иному. Когда почти совсем стемнело, появился Филипп. Он и не подумал извиняться, а просто сказал, что долго думал над предъявленными ему требованиями. Это была ложь. Просто он понял, что греки опять на него набросятся и весь день опять пройдет в пустых криках. Поэтому, подъехав к берегу, он попросил Тита приблизиться и переговорить с ним наедине, потому, пояснил он, что ему надоели праздные пререкания и он хочет по-настоящему договориться о деле, а это возможно только с Титом. Консула это предложение удивило. Он считал невежливым по отношению к союзникам вступать в сепаратные переговоры с царем. Но все греки дружно советовали ему пойти и переговорить с Филиппом. Тогда Тит позвал своего друга Аппия Клавдия, все остальные отошли и царь наконец спустился на берег. Разумеется, Филипп был достаточно умен и понимал, что ни Тит, ни Аппий не станут посягать на его жизнь, а потому не стал поднимать вопрос о том, сможет ли кто-нибудь стать

* В подлиннике: «сардонической».

римским консулом, если погибнет Тит. Квинктий с Филиппом довольно долго ходили по берегу моря, наконец они распрощались. Царь снова поднялся на корабль, а Тит вернулся к своим. Что сказал македонцам Филипп, мы не знаем, говорит Полибий, нам известно только то, что поведал нам Тит. Римский консул со свойственной ему четкостью и ясностью изложил условия Филиппа. Все это были полумеры, которые никого не удовлетворили. Греки разом издали возмущенный вопль. Филипп понял, как приняты его предложения. Он поспешил уехать, попрощавшись с Титом и заверив его, что приедет завтра.

На третий день Филипп опять появился и, обращаясь теперь исключительно к Титу как к единственному положительному человеку среди всего этого гама, просил его не прерывать переговоров. Он просил разрешения отправить послов в сенат. Эллины в ответ кричали и требовали немедленной битвы. Наконец, когда они немного угомонились, Тит сумел вставить слово. Он заметил, что требование царя вполне законно, что все равно без согласия римского народа он, Тит, ничего не может решить и что наконец наступает зима, а зимой никто не воюет. Этими доводами он вполне убедил эллинов. На самом деле у Тита были свои причины действовать так, как он действовал, но об этом ни Филипп, ни греки не догадывались (*Polyb., XVIII, 7—9; Liv., XXXII, 32—34*). Тит, вероятно, поражен был удивительным характером этих переговоров. Если бы он лично не переговорил с Филиппом, дело вообще не сдвинулось бы с мертвой точки. Причины же, почему Тит решил дать Филиппу снестись с сенатом, были следующие. Срок полномочий его кончался. Вопрос стоял о том, пришлют ли ему преемника. Консул решил, что в этом случае он заключит мир, если же ему продлят полномочия, продолжит войну с македонским царем[68]. На этом основании можно было бы обвинить Фламинина в двуличии, но, к чести Тита, надо сказать, что он почти не сомневался в успехе. Настолько хитро и обдуманно он действовал.

Прежде всего он тщательно отобрал состав греческого посольства в Рим. Эллины должны были красноречиво рассказать отцам о своих бедах. Тит был уверен, что им удастся разжалобить сенаторов. Среди посольства находился местный царек Аминандр. Тит решил, что присутствие коронованной особы придаст посольству блеск и занимательность. А главное, Тит связался со своими друзьями в сенате. Они должны были отчаянно интриговать, чтобы ему продлили полномочия, а посольство пока любыми путями задержать и не пускать в сенат.

Все случилось так, как и хотел Тит. Как только ему утвердили провинцией Грецию, друзья его ввели эллинов в сенат. При этом они дали им четкую инструкцию, как говорить и как держать себя, а посольство царя Филиппа задержали, чтобы оно вошло в сенат непременно позже греков. Дипломатия Тита увенчалась полным успехом. Отцы были так растроганны, что даже слушать не хотели послов Филиппа. Решено было воевать, а война поручена была Квинктию.

Киноскефалы. 197 год до н. э.

Решительная битва произошла в суровом горном ущелье, называемом Киноскефалы — Собачьи Головы. Если битва при Заме не вызвала особого интереса среди греков, то к событиям при Киноскефалах были прикованы взоры всего мира. И не только потому, что решалась судьба Греции, Македонии и Малой Азии. Дело в том, что македонцы владели искусством фаланги. Строй этот всего полтора века назад дал Александру Великому власть над миром. Он считался непобедимым. Его тщательно скрывали от народов Востока в уверенности, что в нем-то и заключен вернейший залог победы. Эмилий Павел, шурин Сципиона, признавался впоследствии, что за всю жизнь не видел ничего страшнее фаланги. К тому же Филипп был несомненно прекрасным полководцем, молодой же военачальник римлян был еще никому не известен с этой стороны.

Фаланга напоминала бронированное чудовище, которое все сокрушало на своем пути. Полибий говорит, что нет в мире силы, которая выдержала бы лобовой удар фаланги. Подобно острому мечу, она разрезала любое войско, и отдельные его части становились беспомощными. Так случилось и на сей раз. Фалангиты неслись вперед, разбрасывая противников в разные стороны. Уже вестники примчались к Филиппу со словами:

— Царь, неприятель бежит, не теряй случая! Сегодня твой день, твое счастье!

Уже Филипп торжествовал. Но он радовался рано. Легион, реформированный Сципионом, невозможно было разрезать на части. Поистине он напоминал тех животных, которых можно разрубать на куски, не причиняя им ни малейшего вреда, ибо каждый член продолжает жить и быстро вырастает в целое животное. Ведь легион состоял из манипул, которые легко расступались перед врагом. «Когда Тит увидел, что его войска не в состоянии выдержать наступления фаланги»,

он развернул правый фланг, обошел фалангу и ударил ей в бок. Замечательно, что Полибий приписывает честь победы столько же Титу, сколько и одному военному трибуну, прошедшему школу Сципиона, который быстро сообразил, как надо действовать. Филипп еще не понял, что случилось, а был уже разбит наголову. Македонцев пало около восьми тысяч, около пяти тысяч взято в плен (*Polyb., XVIII, 22—27*).

В этот светлый для римского оружия день случилось одно небольшое обстоятельство, несколько омрачившее всеобщую радость. Как мы уже говорили, римляне, отрезанные от своих баз, последнее время очень бедствовали. Однако они утешали себя мыслью о великолепной добыче, которая ждет их после битвы в царском лагере. Когда македонцы дрогнули, римляне по приказу Тита, не думая о добыче, кинулись их преследовать, дабы не погубить всего дела. Они возвратились в радостном возбуждении и устремились к лагерю. Какова же была их досада, когда они увидели, что лагерь уже пуст! Этоляне побывали тут раньше их и обчистили все до нитки! Римляне негодовали на союзников, которые все опасности войны взвалили на них, а добычу взяли себе.

Филипп стремительно бежал с поля боя. После битвы при Киноскефалах в нем произошла резкая перемена. Полибий еще раз с изумлением останавливается на характере этого человека. В юности он склонен был к добру, потом в счастье превратился в кровавого и взбалмошного деспота, зато теперь, в несчастье, он высказал столько твердости, достоинства и самообладания, что Полибий имел полное право сказать, что удары судьбы сделали его другим человеком (*XVIII, 33*).

Но этоляне с удивлением стали замечать, что изменился и Тит. Он стал каким-то холодным, молчаливым и высокомерным. С ними он почти не говорил, а совещался только со своими друзьями римлянами. Словом, его как подменили. Этоляне с недоумением спрашивали себя, что случилось со стратегом римлян. Они сумели подыскать два объяснения. Во-первых, они имели все основания полагать, что их безумная алчность при разделе добычи раздражала римлян и что Тит не забыл случая с лагерем (*Polyb. XVIII, 34, 1*). Во-вторых, они заметили, что Тит не только честолюбив, но мелочно, иногда по-детски тщеславен. Он необыкновенно чувствителен был к комплиментам, аплодисментам и похвалам[69]. А между тем этоляне всем и каждому твердили, что разбили македонцев они, а вовсе не римляне, и, по выражению Полибия, с необыкновенной наглостью приписывали честь победы над Филиппом себе и наполняли Элладу шумом о своих доблестях (*XVIII, 34, 2; Plut. Flam., 13*). Это возмущало Тита

больше, чем какие-то присвоенные этолянами деньги, будь то хоть сокровища Креза. Некий Алкей Мессенский взялся воспеть великую победу над Македонией. Стихи были написаны в форме автоэпитафии македонских воинов. Вот как они звучали:

Здесь без могильных холмов, без надгробных рыданий, о путник,
Тридцать нас тысяч (*Sic! — Т. Б.*) лежит на Фессалийской земле.
Нас этолийская доблесть повергла и храбрость латинян*,
С Титом пришедших сюда от Италийских равнин.
Горе стране Македонской! Сломилась надменность Филиппа,
С битвы, оленя быстрей, он, задыхаясь, бежал.

Стихи эти подлили масла в огонь. Сам Филипп, привыкший всю свою жизнь выслушивать нападки греков и отвечавший им бранью и насмешками, отнесся совершенно спокойно к тому, что на него обрушился очередной эллин. Это вызвало у него только прилив едкого остроумия. Он ответил Алкею двустишием, в котором высмеял его напыщенный стиль:

Здесь без коры, без листвы возвышается кол заостренный.
Путник, взгляни на него! Ждет он Алкея к себе.

Но Тит вспыхнул, когда услышал злополучные стихи, где на первое место была поставлена доблесть этолян, а потом уже «Арес латинян» (*Plut. Flam., 9*). Возможно, этоляне и верно подметили слабости Тита, и все же они жестоко ошибались. Немного позднее Тит сказал этолянам, что они не понимают ни характера римлян, ни его намерений (*Polyb., XVIII, 37, 1*). И это было правдой. Этоляне так до конца его и не поняли, и всегда его поступки были для них неожиданностью. Так и сейчас они объясняли его поведение мелкими ссорами и дрязгами, а между тем он действовал по заранее продуманному плану. Теперь он слишком хорошо знал этолян и прекрасно понимал, что после изгнания македонцев этоляне будут господами Эллады (*Polyb., XVIII, 34, 1*). Для Греции это было бы гибелью. Поэтому, если римляне желали водворить хоть какой-то порядок в Элладе, с этолянами надо было порвать.

Тем временем в лагерь союзников явились послы от Филиппа просить перемирия. Тит тут же согласился. При этом военачальник римлян был необыкновенно вежлив и любезен с послами. Этолян это поразило. Они помнили, что раньше, когда Филипп был еще грозен, Тит не очень-то с ним церемонился. Теперь же, когда он повержен, Квинктий стал

* В подлиннике — «Арес латинян».

с ним так подчеркнуто обходителен. Почему? Этолянам мгновенно стало все ясно. «К тому времени продажность и нежелание делать что-либо безвозмездно стала в Элладе явлением обычным, а у этолян эта черта нравов вошла в общее правило. Вследствие этого этоляне не могли допустить, чтобы столь резкая перемена в Тите в отношениях к Филиппу произошла без подкупа. Не имея понятия о нравах и исконных установлениях римлян в этих случаях, этоляне судили по себе», — пишет Полибий (*Polyb., XVIII, 34, 7—8*). Сам историк, который 17 лет прожил среди римлян и несколько лучше представлял себе их характер, объясняет, что ничего подобного просто быть не могло. Между тем поведение Тита казалось совершенно естественным для римлянина. В Риме считалось, что с победоносным врагом следует разговаривать властно и надменно, с побежденным же мягко и любезно. Но всего этого этоляне не знали, как не знали, какой сюрприз преподнесет им в ближайшем будущем Тит.

Филипп попросил разрешения еще раз переговорить с союзниками. Но перед этим надлежало решить, какие условия мира продиктовать Македонии. Представители эллинских государств собрались в Темпейском проходе. Когда все были в сборе, римский военачальник встал и предложил каждому высказаться. И немедленно выступили этоляне. Оратором от них был тот самый красноречивый Александр, который в свое время пререкался с Филиппом. Прежде всего он ядовито поблагодарил Тита, что он наконец-то созвал всех на совещание. Затем он заявил, что Тит совершенно несведущ в положении дел, если думает, что Эллада и Рим могут быть спокойны, пока жив Филипп и существует Македония. Если Квинктий не уничтожит царя, то он нанесет ущерб родине и будет обманщиком в глазах союзников, которые ему доверились. Долго говорил в этом смысле Александр и наконец замолчал.

Тит сидел неподвижно и ни разу не прервал оратора. Когда он кончил, римлянин взял слово. Он сказал, что Александр не понимает ни характера римлян, ни намерений его, Тита, но меньше всего он понимает выгоды эллинов. Прежде всего, римляне никогда не уничтожают врага. Тут он сослался на образ действий Корнелия Сципиона. Сколько зла причинили римлянам Ганнибал и карфагеняне, но, хотя римляне имели возможность стереть их государство с лица земли, они его пощадили. Кроме того, разве союзники все вместе не участвовали некогда в переговорах с Филиппом? Если бы царь выполнил тогда их требования, они бы больше не подняли оружия. Теперь они разбили царя и могут заставить

его исполнить все то, что когда-то от него требовали. Но не больше того. Почему же они настроены так непримиримо?

— Неужели это потому, что мы победили? Но такой образ действий — верх безумия. Пока враг ведет войну, доблестному противнику подобает действовать настойчиво и с ожесточением, в случае поражения вести себя с достоинством и не падать духом, а победителю подобают умеренность, кротость и сострадание. Ваши же теперешние требования как раз противоположны этому.

Наконец Тит напомнил, что для эллинов выгодно лишь принижение Македонии, но не ее окончательное уничтожение, ибо Македония была всегда заслоном Эллады от варваров. Поэтому он сам и его друзья-римляне, закончил проконсул, решили заключить с Филиппом мир на предложенных раньше условиях. Тогда вскочил Фенея и закричал, что они воевали зря: Эллада погибла. Поднялся шум, казалось, совещание грозило превратиться в нечто подобное переговорам с Филиппом. Но тут неожиданно Тит поднялся с места и в гневе воскликнул:

— Замолчи, Фенея, хватит болтать вздор! Я заключу мир на таких условиях, что Филипп при всем желании не сможет вредить эллинам!

Как ни странно, этоляне, столь наглые и дерзкие этоляне, которых никак нельзя было заставить замолчать хоть на минуту во время переговоров с царем, после этих слов Тита вдруг разом притихли. После этого собрание разошлось (*Polyb., XVIII, 36—37; Liv., XXXII, 12*).

Возникает вопрос: почему на переговорах молчали ахейцы? Хотели ли они также гибели царя или сочувствовали римлянам? Я полагаю, что они полностью поддерживали Тита по следующим причинам. Главной заботой ахейцев было оторвать римлян от этолян, их заклятых врагов. Поэтому они настолько были довольны ссорой Тита с этолянами, что и не думали о Филиппе. Кроме того, они понимали, что царь македонцев теперь действительно не опасен для них.

На другой день все снова собрались. Явился и Филипп. Царь держался очень сдержанно и умно. Этоляне беспрерывно его задевали, прицеплялись к каждому его слову. Тит великодушно его защищал. Ахейцы и все прочие эллины поддерживали Тита. При этом проконсул проявил столько ловкости и замечательного умения трактовать отдельные пункты договора, что все только диву дались, а этоляне буквально онемели от досады и смущения (*Polyb., XVIII, 38*).

Можно заметить, что Тит, говоря о принципах внешней политики римлян, буквально повторял слова Публия Сципи-

она[70]. Теперь он продиктовал Филиппу точно такие же мирные условия, какие Публий продиктовал Карфагену. Армия царя сокращалась до шести тысяч человек, флот — до минимума, Филипп лишался права объявлять кому-либо войну без согласия Рима, римлянам он выплачивал контрибуцию. Как и карфагеняне, Филипп лишился всех своих владений за пределами Македонии. Сципион отдал отнятую у карфагенян Ливию Масиниссе. А Тит? Что он сделает с материковой Грецией и малоазийскими общинами, отвоеванными у Филиппа? Вот вопрос, который теперь волновал всех.

Истмийские игры. 196 год до н. э.

Однако сомнения греков длились недолго. Филипп вывел свои гарнизоны из трех ключевых городов: Акрокоринфа, Деметриады и Халкиды — города эти назывались «цепи Эллады», — и тотчас же Тит ввел туда римские легионы. Тогда греческим политикам стало ясно, что произошло не освобождение Греции, а смена господ (*Polyb., XVIII, 45, 6*). Среди таких-то настроений наступило время Истмийских игр. Это знаменитый древний праздник, великолепием своим уступавший лишь Олимпийским играм. В эти дни в Истм стекались люди не только со всей Греции, но из Малой Азии, из Египта, Месопотамии, со всей великой державы Александра, ибо эллины тогда рассеяны были повсюду.

Зрители расселись на огромной равнине и с нетерпением ждали начала представления. Обычно в дни празднества болельщики разговаривали между собой о лошадях, о знаменитых атлетах и бегунах, гадали об исходе состязаний и заключали друг с другом пари. Но сейчас разговоры вертелись вокруг политики. Об играх, казалось, и не думали. Говорили о судьбе Эллады. Этоляне поносили римлян и Тита и спрашивали, что лучше: македонские колодки или римские? Римские, конечно, легче и изящнее, но уж от них грекам ввек не избавиться. Тит, говорили они, конечно, наш благодетель, ибо он, развязав Греции ноги, накинул ей веревку на шею. Со всех сторон слышны были споры. Одни говорили, что римляне ни за что не освободят «цепи Эллады», другие, более дальновидные и тонкие политики, с хитрой улыбкой замечали, что непременно освободят, а сами займут города не менее важные, но менее знаменитые. Знатоки только спорили, какие именно города.

В это время на арену вышел глашатай и попытался водворить тишину. Но толпа, растревоженная и возбужденная всеми этими разговорами и ожидаемым зрелищем, сначала

не обращала на него внимания. Наконец среди относительной тишины, которую водворил трубач, глашатай произнес:

— Римский сенат и полководец с консульской властью Тит Квинктий, победив на войне Филиппа и македонцев, даруют эллинам Европы и Малой Азии свободу, дабы они не содержали у себя гарнизонов, не платили дани и жили по отеческим законам*.

Тут началось что-то невероятное. В первую минуту не все даже поняли эти слова. Им казалось, что голос слышится им во сне. Поднялся страшный шум. Все требовали, чтобы глашатай повторил. Его поставили на самое высокое место, и он снова прочел то же самое. Весь стадион вскочил, раздался такой оглушительный крик и такой взрыв рукоплесканий, что, говорят, птицы, кружившие над ареной, замертво падали на сцену. Все звенело от воплей. Волна звуков долетела до моря, до зрелища никому уже не было дела. Все были как в экстазе. Все рвались приветствовать спасителя и освободителя Эллады.

Титу угрожала страшная опасность. Ведь вся эта ревущая многотысячная толпа ринулась к нему, и каждый хотел схватить его за руку, заглянуть в лицо и излить на его груди свой восторг и благодарность. Вот почему уже впоследствии, когда все несколько пришли в себя, эллины начали задавать себе вопрос: как вообще их освободитель остался жив; некоторые передают, что он вскочил и стремительно убежал сразу после объявления глашатая. Толпа будто бы, вопя, ринулась за ним. Но Тит успел скрыться в палатке. Все обступили палатку и неистово кричали, но Квинктий не вышел, хотя они простояли почти до ночи (*Plut. Flam., 11*). Однако, по-видимому, это не так. Даже страх смерти не мог заставить Тита отказаться от искушения присутствовать на своем триумфе и пожать плоды всеобщего восторженного обожания. Он остался. Говорят, что только молодость, ловкость и энергия спасли Титу жизнь в этот день (*Liv., XXXIII, 33*). «Толпа закидала его венками и лентами и едва не разорвала на части» (*Polyb., XVIII, 46, 12*).

Люди никак не могли успокоиться. Ночью никто не спал. До рассвета все вместе пировали, поздравляли друг друга, плакали и призывали благословение богов на голову всех римлян, а более всего Тита (*Polyb., XVIII, 46; Plut. Flam., 10—11; Liv., XXXIII, 32—33*).

Это эффектное театральное представление было совершенно в духе Тита. Его собственная радость и восторг были, пожалуй, не меньше, чем у эллинов, только выражались

* В подлиннике перечисляются все эллинские общины.

не так бурно. Отныне лед треснул. Между римлянами и греками воцарились самая горячая любовь и дружба. Полибий говорит, что всеобщий восторг был такой, о котором даже трудно составить представление современному читателю (*XVIII, 46*). Все были как пьяные. Люди обнимались на улицах, и эллины твердили: «Есть же на свете такой народ, который подвергается трудам и опасностям, ведя войны за свободу других, переплывает моря с тем, чтобы на земле не было несправедливой власти, чтобы везде царили справедливость, естественное право и законы» (*Liv., XXXIII, 33*).

Тот самый Алкей, который так недавно раздосадовал Тита своими стихами, теперь взялся воспевать его подвиги. Он писал:

Некогда Ксеркс приводил на Элладу персидское войско,
И из Италии Тит войско с собою привел.
Но если первый стремился ярмо наложить на Европу —
Освободить от ярма хочет Элладу второй.

(*АР, XVI, 5. Пер. Л. Блюменау*)

В Греции начали чеканить золотую монету с изображением Тита. Но этого мало. Жители Смирны, малоазийского города, воздвигли храм Роме, богине Рима (*Tac. Ann., IV, 56*). Но большинство греков пошло еще дальше. Они обожествили самого Тита (*Plut. Flam., 16*). Ему воздвигали храмы, посвящались гимны, портики. Плутарх приводит заключительные строки гимна, который пели в святилищах богу Титу:

Верность великую римлян мы чтим,
Клянемся ее охранять.
Девы, воспойте
Зевса Великого, римлян и Тита.
О, Пеан Аполлон! О, Тит Избавитель!

(*ibid.*)

Тит был слишком тщеславен, чтобы воспротивиться этой неслыханной почести. Кроме того, разве Публия Сципиона не называли богом или полубогом? А теперь и его, Тита, почитают как бога, и не дикие испанцы, а цивилизованнейший народ, греки. Тит не только допускал, чтобы его величали божеством, но даже сам начал так называть себя. По греческому обычаю он посвятил в Дельфы оружие и золотой венок со следующими надписями:

(*Диоскурам*)

Отпрыски юные Зевса и Спарты цари, Тиндариды,
Вы, чьи сердца веселит скачка ретивых коней!
Вам этот дар дорогой посылает потомок Энея
Тит. Он Эллады сынам снова свободу принес.

(*Аполлону*)
Чтобы достойно твои благовонные кудри украсить,
Этот венец золотом сыну Латоны принес
Вождь Энеадов великий. Даруй же и ты, Стреловержец,
Титу, что равен богам*, славу за доблесть его.

(*Plut. Flam., 12*)

Тит, как видим, написал обращение к богам в форме изящных греческих дистихов и без ложной скромности именовал себя «великим Энеадом» и «божественным Титом».

Война с Набисом. Последние распоряжения в Греции. 195 год до н. э.

Собственно, после Истмийских игр Тит мог бы воротиться домой. Но он пока не торопился. В Греции его задерживало многое. Во-первых, в стране царил полный хаос, провозгласить свободу Эллады и оставить ее в таком положении было бы обманом и подлостью. Тит хотел навести в Греции хотя бы относительный порядок. И прежде всего его тревожил Набис. Мало того что этот знаменитый своей свирепостью тиран владел старейшим и славнейшим городом Пелопоннеса, он организовал еще целую террористическую организацию, с помощью которой убивал своих политических врагов, где бы они ни находились**. Он держал в страхе весь полуостров. Во время смут последней войны с Филиппом он совсем осмелел и захватил Аргос, который называли кремлем Пелопоннеса. Эта история столь характерна для того времени, что ее стоит здесь рассказать поподробнее.

Вскоре после приезда Тита в Грецию Филипп решил расположить к себе тирана. Царь захватил у ахейцев Аргос и поставил там свои гарнизоны. Теперь же он дал знать Набису, что передаст ему город в обмен на его помощь. Набис отвечал, что он не захватчик, а освободитель Эллады, а потому не может принять Аргос иначе как по просьбе самих жителей. Уважая эту щепетильность Набиса, созвали собрание. Все как один пришли в ужас и решительно отказались призывать тирана. «Тогда он решил, что имеет все основания разграбить город» (*Liv., XXXII, 38*). Ночью македонцы открыли ворота. Наемники Набиса ворвались в город и учинили там страшный грабеж и резню. Однако тиран, получив Аргос, немедленно отказался помогать Филиппу.

---

* В подлиннике: «божественному».

** См. выше: глава вторая, «Положение в Греции».

Набис вконец ограбил жителей. Вызывая по одному граждан, у которых, по его расчетам, были деньги, он говорил, что благо государства требует пожертвовать деньги ему, Набису. «Если названный гражданин поддавался внушениям, то тиран этим довольствовался. Если же кто начинал уверять, что денег у него нет, и отклонял требования тирана, Набис говорил ему примерно так:

— Кажется, я не умею убедить тебя. Полагаю, однако, моя Апега убедит тебя».

Это было имя жены Набиса. Дело в том, что тиран «велел изготовить следующую машину, если только позволительно называть машиной такой снаряд. Это была роскошно одетая фигура женщины, лицом замечательно похожая на жену Набиса... Чуть только он произносил эти слова, как являлось упомянутое изображение. Взяв "жену" за руку, Набис поднимал ее с кресла, и "жена" заключала непокорного в свои объятия, крепко прижимая к своей груди. Плечи и руки этой женщины, так же как и грудь, были усеяны железными гвоздями, которые прикрывались платьем... Так Набис погубил многих, отказывавших ему в деньгах» (*Polyb., XIII, 7*)[71].

Конечно, действия Набиса были нетерпимы. Ахейцы, с которыми сейчас более всего сблизился военачальник римлян, ненавидели спартанского тирана всеми силами своей души. Уничтожить его было их самой заветной мечтой. И на это было две причины: первая — явная, открытая, о которой они говорили и твердили повсюду, и вторая — тайная, скрытая, в которой они, быть может, не решались признаться даже самим себе. Первая — это страшные злодеяния, творимые Набисом. Вторая же, скрытая, заключалась в том, что каждый пелопоннесец с молоком матери всосал глубокую ненависть к Спарте. Некогда этот великий город поработил весь полуостров и обращался с жителями с варварской жестокостью. Без дрожи никто на Пелопоннесе не мог вспомнить о владычестве Спарты. И вот теперь пришло время расплаты. Поработить, сокрушить, стереть с лица земли эту ненавистную Спарту — вот какова была заветная мечта ахейцев. И тут-то им мешал Набис. Ибо, несмотря на все то зло, какое он причинил Лакедемону, нельзя отрицать, что он создал сильнейшую армию, с которой ахейцы тягаться не могли. Все попытки победить тирана на поле боя кончались ничем, надеяться же на то, что римляне будут воевать со Спартой, Аристен, стратег союза, не смел.

А между тем Тит решил положить конец произволу Набиса. Но, как всегда, у него была еще другая, задняя мысль. Вот в чем она заключалась. После победы над Филиппом у Рима

появился новый могущественный враг, сирийский царь Антиох Великий. Он грозил обрушиться на Грецию*. А этоляне из ненависти к Титу готовы были вступить с ним в союз. При таких условиях вывести гарнизоны из Греции означало оставить эту разоренную и разобщенную страну в добычу Антиоху и этолянам. Следовательно, под любым предлогом надо было пока оставить гарнизоны в Элладе. Но, с другой стороны, сделать это было невозможно, ибо сам Тит торжественно обещал на Истмийских играх убрать солдат из греческих городов. О том, чтобы попробовать что-нибудь объяснить при создавшихся обстоятельствах, нечего было и думать. Последовали бы взрыв возмущения, разговоры о смене господ, о колодках и шейных петлях, ядовитые насмешки этолян, а всего этого Тит уже вдоволь наслушался и вовсе не желал повторения. Положение казалось безнадежным. Но изворотливый ум Фламинина и тут нашел выход.

Греки ни за что не хотят, чтобы римские гарнизоны оставались у них еще хотя бы один день? Прекрасно. Но есть способ сделать так, чтобы они на коленях умоляли об этом. Надо предложить им войну с Набисом. Они, конечно, за это ухватятся. И Тит со всем войском, может быть, еще на год задержится в Греции. А за год, быть может, все разрешится. Тит убедил сенат в своей правоте. Получив наконец от отцов письмо с поручением воевать против Набиса, он созвал союзников на совет. Но Тит не был бы Титом, если бы просто вздумал объявить о предстоящей войне. Вместо того он сказал с безразличным видом, что кончил все дела в Элладе. Но, может быть, у эллинов будут еще просьбы к нему? При этих словах сердце Аристена, конечно, забилось. Не сказать ли об Аргосе?.. И вдруг, словно прочтя его мысль, Тит опять заговорил:

— Желаете ли вы оставить во власти Набиса Аргос?.. Этот вопрос интересует только вас. Римлян он, понятно, нисколько не касается. Если вас это не трогает, то мы и подавно отнесемся к этому спокойно и хладнокровно. Итак, я вас спрашиваю.

Ахейцы в восторге ушам своим не верили. Но прежде чем кто-нибудь из них успел открыть рот, вскочили этоляне, которые теперь язвили Тита так же, как некогда Филиппа. Они заявили, что сами избавят Элладу от Набиса, пусть только Тит убирается восвояси. Это вывело ахейцев из последних границ человеческого терпения. Аристен завопил, воздев руки к небу:

---

* Об этом подробнее см. в следующей главе.

— Да не допустят всеблагие боги, покровители Аргоса... чтобы этот город лежал, как награда, между спартанским тираном и этолийскими разбойниками! Да этот город будет захвачен вами в еще более жалком виде, чем тираном! Тит Квинктий, море не защищает нас сейчас от этих разбойников! Что же будет с нами, если они устроят крепость посреди Пелопоннеса?! У них только эллинский язык и человеческий образ, нравы же и обычаи свирепее, чем у любого из варваров, они хуже диких зверей!

И он умолял Тита отнять город у Набиса и так устроить дела в Греции, чтобы защитить ахейцев и от тирана, и от этолян. Тут все повскакали с мест и напали на этолян. Тит величественно и холодно сказал, что дал бы этолянам подобающий ответ, но все так озлоблены против них, что он считает своим долгом не разжигать страсти, а успокаивать их. Поэтому он возвращается к исходному вопросу и спрашивает, что решили эллины об Аргосе. Все дружно воскликнули, что решили воевать (*Liv., XXXIV, 22—24*).

После этого союзники стали обсуждать, где начать военные действия. Греки считали, что воевать надо под Аргосом, Тит как истинный ученик Сципиона объявил, что идти нужно прямо на Спарту. Этот грозный некогда город до сих пор внушал пелопоннесцам ужас, и не без внутренней дрожи согласились они идти туда за Титом.

В Аргосе вспыхнуло восстание, в самой Спарте было неспокойно. И все же тиран решился воевать. Но когда римляне захватили приморские города, оплот Набиса, и подступили к самым стенам Лакедемона, Набис дрогнул и послал послов с просьбой о мире (*Liv., XXXIV, 29—30*). Тит согласился дать Набису аудиенцию. Он вышел к тирану, окруженный представителями греческих общин. Набис сильно волновался и приготовил очень длинную и патетическую речь. Время от времени он останавливался и вспоминал, что спартанцу надлежит быть кратким. Он заявил прежде всего, что вовсе не захватывал Аргоса, а освободил его исключительно по просьбе самих жителей. Что же касается того, что его называют свирепым тираном, то вся его вина в том, что он освобождает рабов и наделяет землей неимущих. По этому поводу он сказал несколько возвышенных и приличествующих случаю слов о равенстве.

К несчастью, эта речь не произвела ни малейшего впечатления на Тита Фламинина. Он коротко ответил, что ни на йоту не верит, что аргосцы сами призвали Набиса. Что же касается освобождения чужих рабов и раздачи чужой земли, то он, Тит, считает это не очень-то красивыми поступками.

Но он даже говорить об этом не станет, так как все это ерунда по сравнению с теми злодеяниями, которые тиран совершает ежедневно. Тут Тит со свойственной ему простотой и ясностью спокойно перечислил все преступления, которые Набис совершил только за последнее время, проявив при этом удивительную осведомленность в лаконских делах (*ibid., XXXIV, 30—32*).

Тиран, видимо, был очень напуган. Он попросил себе день на размышления, а наутро заявил, что уходит из Аргоса, и спросил, чего еще желает от него Тит. Эти слова сказаны были в присутствии греческих союзников. Все как один вскочили и закричали, что ни о каких переговорах не может быть и речи. Тирана нужно уничтожить. Но когда очередь дошла до Тита, он неожиданно заявил, что готов на мир с Набисом, разумеется, на приемлемых условиях. В ответ поднялась целая буря. Римлянина не хотели и слушать. И только удивительная хитрость Тита, который сначала сделал вид, что подчиняется общему решению, а потом предъявил союзникам совершенно невозможные для них требования, заставила греков согласиться на мир. Но повиновались они скрепя сердце и затаили в душе обиду.

Вырвав у греков согласие на мир, Тит к их величайшей досаде опять, как после Киноскефал, пригласил на совещание только римлян и вместе с ними составил такие условия. Набис должен был вывести все гарнизоны из Аргоса и других захваченных городов. Фактически власть Набиса ограничивалась Спартой. Окрестные города объявлялись свободными — впервые в истории Лаконики. Он должен был сократить свой военный флот до двух кораблей, распустить свое войско из критских стрелков, терроризировавших весь Пелопоннес, и не вести войн без согласия римлян. Он выплачивал контрибуцию в рассрочку и выдавал заложников.

Все эти условия — точная копия с мирного договора, продиктованного Сципионом Карфагену. Совершенно такие же требования предъявил недавно сам Тит Филиппу. Но полагалось решить еще один важнейший вопрос. Касался он так называемых спартанских изгнанников. Это были люди, в свое время высланные Набисом или бежавшие из Спарты. Их дома, их жен и детей Набис отдал своим приспешникам. Все ожидали, что Тит сейчас потребует их возвращения, но он, ко всеобщему изумлению, этого не сделал. Он приказал, чтобы им вернули жен, но только в том случае, если сама жена того пожелает. В противном случае пусть остается с новым мужем. Против воли ни одна женщина не должна следовать за изгнанником, объявил Тит (*Liv., XXXIV, 33—36*).

Условия, предложенные римлянами, привели Набиса в отчаяние. Мало того что он терял все, кроме самой Спарты, он должен был отказаться от своих критян и, что еще ужаснее, от приморских городов и флота, а он жил пиратством. Он объявил условия мира наемникам. Те пришли в бешенство, и спартанцы, даже не предупредив римлян, во время мирных переговоров засыпали их градом стрел. Тит тогда окружил город кольцом и повел войско на приступ. Римляне отбросили армию тирана и ворвались в город. Набис затрепетал от страха и потерял голову. Один Пифагор, правая рука тирана, осуществлявший все военные операции, не утратил присутствия духа. Он поджег город. Спарта запылала. Тит немедленно велел трубить отступление. Таким образом, когда Спарта была почти взята, римляне отозваны были назад и воротились в лагерь. Тотчас же к палатке Тита явился спаситель Лакедемона Пифагор умолять римлянина о прощении. Тит гордо велел ему удалиться, но Пифагор упал к его ногам и обнял его колени. Тит сразу же смягчился. Кончилось тем, что мир заключен был на прежних условиях (*Liv., XXXIV, 37—40*).

Почему Квинктий так поступил? Почему заключил он мир с Набисом? Он хорошо понимал, что тиран опасен. Кроме того, как человек очень тщеславный, он должен был болезненно переживать, что мир с Набисом — темное пятно на его блестящей репутации, что греки, до сих пор носившие его на руках, никогда не простят ему этого. Стало быть, он имел очень серьезные причины поступить так, как он поступил. Что же им двигало?

Сам он в разговорах с эллинами обычно объяснял свое поведение тем, что он мог раздавить тирана только под обломками Спарты, а он, Тит, никогда бы не допустил, чтобы в огне пожара погиб славнейший город Эллады. Это объяснение не лишено основания. Для Тита Спарта была овеянным романтическими легендами городом Елены и Диоскуров, Ликурга и Леонида. Для ахейцев же это был политический враг, которого надо стереть с лица земли. И все же Тит не был до конца искренним. Ведь он продиктовал мир еще до пожара Спарты, когда городу не грозила опасность превратиться в развалины. Очень мало я верю и тому, чтобы римляне, взявшие штурмом столько твердынь, столько раз врывавшиеся в пылающие города, могли серьезно испугаться этого пожара, охватившего только ближайшие к стене дома.

Ливий говорит, что Тит боялся, что ему пришлют преемника и тот с блеском закончит войну с Набисом. Ливий имеет обыкновение объяснять таким образом действия всех полководцев. Но в данном случае он вряд ли угадал. Тит имел в

то время слишком большое влияние на сенат и народ, чтобы серьезно бояться соперника. И уж если он так страшился этого, он должен был взять город, когда римляне туда ворвались. Нет, Тит руководствовался, по-видимому, совсем другими соображениями.

Он хорошо видел, что положение гораздо сложнее, чем казалось ахейцам. Положим, он уничтожил бы Набиса и вернул изгнанников. К чему бы это привело? Конечно, к гражданской войне. Ведь изгнанники вернулись бы совершенно нищими. Их дома, имущество и семьи были бы в руках у чужих людей, а заставить их отказаться от захваченного можно было только силой. А пока будет полыхать пламя войны, Спарта станет легкой добычей соседей-ахейцев. А еще неизвестно, что для спартанцев лучше — местный тиран или чужеземный властелин, ненавидящий все лаконское, который будет стремиться ослабить их, унизить и погубить.

Тит в то время уже несколько по-другому смотрел на Ахейский союз: он знал, какими безжалостными владыками могут стать ахейцы. Вероятно, этому способствовало одно новое знакомство, которое он завел совсем недавно. Во время похода на Спарту он очень подружился с Дейнократом-мессенцем, тем самым, который много лет спустя плясал в Риме в женском платье. Впрочем, очень ошибется тот, кто на основании этого решит, что этот Дейнократ был просто каким-то шутом. Он был очень знатного рода и получил самое блестящее воспитание, что должно было импонировать аристократу Квинктию. Дейнократ был любезен и находчив, вежлив и обходителен. Полибий замечает, что у Дейнократа не было глубокого государственного ума, но внешне он казался безукоризненным политиком. Он был очень смел, и не просто смел — ему свойственна была какая-то бесшабашная удаль, он, как гомеровские герои, выходил перед войсками и вызывал на бой храбрейшего. Вдобавок ко всему этому он был отчаянно весел и страстный волокита (*Polyb., XXIII, 5, 4—8*). Все эти качества, и серьезные, и пустые, были именно такого свойства, что очень привлекали к нему Тита. В задушевных беседах с римлянином ночью под походным шатром Дейнократ открывал ему сердце: он смертельно ненавидел союз, мечтал освободить от него родную Мессену и красочно живописал его деспотизм и произвол.

Эти рассказы должны были произвести известное впечатление на Тита. Кроме того, разве он сам не видел, какой злобой горят сейчас ахейцы, как они рвутся стереть Спарту с лица земли? Ко всему прочему, Тита, как истого римлянина, очень волновала судьба женщин, согласившихся на брак

с сообщниками тирана. Он предвидел худшее и не мог допустить произвола по отношению к ним.

Все расчеты Тита оказались совершенно верны. Через несколько лет после описываемых событий Набис был убит и ахейцы воспользовались этим. Они захватили Спарту, срыли ее стены, сторонников тирана частью перебили, частью продали в рабство, а на вырученные деньги «как бы в насмешку», по выражению Плутарха, построили в Мегалополе портик. «Чтобы насытить свою ненависть к спартанцам», по словам того же Плутарха, они отменили все вековечные установления Ликурга и таким образом «перерезали жилы Спарте» (*Plut. Philop., 16*). Порядок, установленный в Лакедемоне ахейцами, был столь ужасен, что спартанцы, едва оправившись, послали в Рим послов умолять о защите, причем во главе посольства стали те самые изгнанники, которые были возвращены ахейцами! «Они утверждали, что... подорвано могущество города и лакедемонянам оставлено государство бессильное и несвободное. Бессильное потому, что число спартанцев (после набега ахейцев. — *Т. Б.)* ничтожно и к тому же стены города разрушены. Несвободное потому, что они не только повинуются союзным решениям ахейцев, но и в частной жизни обязаны повиноваться предержащим властям союза» (*Polyb., XXII, 1, 9; 15, 7—8*). Благодаря противодействию ахейцев смуты не прекращались еще десять лет. Рим атаковали посольства. Одни требовали, чтобы изгнанникам вернули все имущество, другие — только часть; одни требовали возвращения новых изгнанников, другие с пеной у рта этому противились (*ibid., XXIII, 1, 6*). А отцы, вполне естественно, не могли и не хотели в этом разбираться. Все эти затруднения предвидел Тит, а потому и оставил пока в Спарте *status quo.*

Закончив спартанский поход, Фламинин двинулся на север, к Истму. Здесь его тщеславие было вполне удовлетворено тем приемом, какой оказали ему освобожденные им аргосцы. Они осыпали его самыми горячими выражениями благодарности, и главное — устроили древние Немейские игры, введенные еще Гераклом. Председателем мимо всех обычаев назначили иноземца Тита (*Liv., XXXIV, 41*). Аргосцы ликовали, Тит упивался славой, зато ахейцы были мрачны, как ночь. Этоляне от всего происшедшего пришли в восторг: они издевались над ахейцами и язвительно поносили римлянина, который делал вид, что не обращает на них ни малейшего внимания.

Это была последняя кампания Тита. Он намеревался вскоре покинуть Элладу. Впрочем, эти последние дни были для него очень напряженными. Он все время занимался устроением дел в освобожденных городах. Были среди них та-

кие, которые всю жизнь прожили под македонским игом и не имели собственных законов. Тит составил для них конституцию, возможно, более умеренную. Прощание его с греками представляло собой эффектное театральное зрелище, которое он, видимо, уже заранее обдумал. Он созвал в Коринф представителей всех греческих общин. На огромной площади их собралось столько, будто это было народное собрание. Тит выступил перед ними и сказал несколько слов.

Свобода, говорил он, это вещь, к которой надо долго привыкать, и ее не дарят. Поэтому эту свободу, добытую чужим оружием и подаренную иноземцами, они должны старательно беречь, чтобы римский народ знал, что свобода дана людям достойным и дар его попал в хорошие руки. Умеренная свобода, продолжал Тит, спасительна и для отдельных людей, и для целых государств. А неумеренная свобода тяжела для других и гибельна для тех, кто ей пользуется.

Тит оставил свой насмешливый тон и говорил голосом, каким мог бы беседовать отец со своими детьми. Эллины были тронуты до слез. Они кричали и рыдали. Особенно поразил их последний очень красивый поступок римлянина. Он попросил напоследок в благодарность за все, что сделал он для Греции, только одно: отпустить всех италийцев, которые во время Ганнибаловой войны проданы были в рабство и теперь трудились на полях Эллады. Греки с восторгом согласились.

— Завтра, — закончил Тит, — я уезжаю и увожу с собой все римское войско.

Тит еще продолжал говорить, когда все увидели, как по склону Акрокоринфа медленно спускаются, сверкая оружием, римские легионы. Когда их блестящие ряды дошли до площади, Тит повернулся и молча последовал за ними. Ничего не могло быть эффектнее такого прощания! Толпы людей бежали за ним, называя спасителем и освободителем (*Liv., XXXIV, 48—50*). На другой день проконсул покинул Элладу.

Когда Тит вступил на италийскую землю, у него, должно быть, еще голова кружилась от восторга. В первую минуту могло показаться, что он снова в Греции: на пристани его встречали толпы народа! Он ехал в Рим через всю Италию, и его дорогу только что не устилали цветами. Молодой победитель был в упоении. Его ожидал блистательный триумф — мечта всякого римлянина. Но Тит не мог примириться с мыслью, что торжество, ради которого он жил, продлится каких-нибудь несколько часов. Он решил растянуть удовольствие. Триумф его продолжался целых три дня. При этом все было обставлено так картинно и занимательно, что

зрители не ощущали ни скуки, ни пресыщения и с нетерпением каждый раз ждали следующего дня.

В первый день везли вражеское оружие. Македонские шлемы, щиты и некогда непобедимые сариссы медленно проплывали перед римлянами, грозно сверкая на солнце. Затем везли великолепные мраморные и бронзовые статуи. Во второй день на повозках везли груды золота и серебра в слитках и монетах. Богатства Филиппа произвели неизгладимое впечатление на квиритов. Само имя «Филипп» стало в Риме символом сказочной роскоши (*Plaut. Aulul., 86, 704*). А один хвастливый воин у Плавта, который то и дело хвалится какими-то неслыханными и небывалыми подвигами, говорит, что у него тысячи модиев золота Филиппа (*Mil. glorios., 1064*). Не могу отделаться от мысли, что этот эпизод навеян видом огромных телег, груженных царским золотом.

В третий день перед изумленными квиритами пронесли 114 золотых венков, подаренных Титу эллинами. И наконец в блестящей колеснице показался сам триумфатор, сияющий жизнью и счастьем. За колесницей как пленники следовали сын Набиса и македонский царевич Дементий, впоследствии лучший друг Тита. Но самым великолепным украшением триумфа были римляне, которых Тит вернул на родину, числом больше тысячи. Они надели войлочные шапки, как это делают рабы, получившие свободу, и в таком виде следовали за триумфальной колесницей (*Liv., XXXIV, 52; Plut. Flam., 13*) (194 год до н. э.).

Новая смута в Греции

Сбылись самые смелые, самые упоительные мечты, которыми некогда ласкал себя Тит Фламинин. Теперь он действительно сравнился с кумиром своей юности, с Публием Сципионом. Сципион покорил Карфаген и Испанию, а Тит — Спарту и Македонию. Публий, по общему признанию, покорял всех не столько силой оружия, сколько своей добротой и благородством. Так говорили дикие иберы и нумидийцы. А Тита признали своим благодетелем и благороднейшим человеком не какие-нибудь там варвары, а самый цивилизованный народ в мире — эллины. Новый Карфаген, плененный великодушием Публия, стал чеканить серебряную монету с его изображением — честь, которая доселе не выпадала на долю ни одному из римлян. А благодарная Эллада стала чеканить *золотую* монету с изображением Тита. За триумфальной колесницей Сципиона шел спасенный им

из плена Теренций в одежде вольноотпущенника, а за Титом шло более *тысячи* человек в такой одежде. Наконец в Риме давно уже передавали шепотом друг другу, что Публий сродни небожителям, а Тит был *официально* признан богом, ему воздвигали храмы и приносили жертвы.

Правда, природный такт подсказал Титу, чтобы он не очень распространялся среди сограждан о последнем обстоятельстве. Он боялся не суровых укоров и цензорских замечаний, а ядовитых насмешек, которыми осыпали бы его злоречивые римляне. Ибо если в Публии и чудилось им что-то божественное, то в Тите они ничего такого не замечали.

Вскоре Титу на деле удалось доказать, что он не хуже Сципиона. Вот как это случилось. Младший брат Тита Люций Фламинин баллотировался в консулы, а соперником его оказался один из кузенов Публия (193 год до н. э.). Когда Тит узнал об этом, у него сердце забилось от волнения, счастья и гордости. Наконец-то он будет состязаться с самим Сципионом! На собрание, как водится, явились толпы народа. За обоими кандидатами шли друзья и родичи. Тит увидел в толпе Сципиона... Он поднялся на возвышение и заговорил ласково и вкрадчиво. Он сказал, что Публий Африканский, несомненно, совершил великие подвиги, но он уже получил за них награду: был цензором и буквально пресытился славой. А он, Тит, ничего еще не просил у римского народа за свои услуги. Кроме того, он просит за родного брата, а Публий за двоюродного*.

Мягкая речь Тита понравилась квиритам. И все же, быть может, они и склонились бы на сторону другого кандидата, если бы Публий сказал хоть слово. Но он и губ не разжал и стоял спокойный и гордый. Это решило дело. Консулом стал Люций Фламинин. «Слава Тита Квинктия была милее, — замечает Ливий, — слава же Сципиона была так велика, что уже порождала зависть» (*Liv., XXXV, 10*).

Но Тит недолго наслаждался прелестью спокойной жизни в Риме, впрочем, он не любил спокойной жизни. Дело в том, что положение в Греции стало угрожающим. Антиох был по-прежнему готов к войне. Теперь он нашел в Элладе неожиданных союзников в лице этолян. Они заверяли царя, что все греки как один станут на его сторону, ибо освобождение Греции — обман. Они объезжали греческие общины: клялись, интриговали, обещали, торговались. В результате взбаламутили всю страну. В Элладу тогда срочно послали Тита.

---

* Я полагаю, что Титу принадлежали все соображения, приводимые Ливием, хотя с совершенной уверенностью можно приписать ему только последнее, о степени родства.

Тит летал по стране, как ветер, и многих удержал от необдуманных шагов одним своим видом. Главные усилия этоляне направили на то, чтобы привлечь к себе ахейцев. Все понимали, что дружба союза может решить исход дела. Этоляне, конечно, прекрасно знали, как смотрят на них пелопоннесские соседи. Но они понимали, что ахейцы обижены на Тита за мир с Набисом, что Филопемен, самый влиятельный человек в союзе, его личный враг, наконец, они просто надеялись запугать ахейцев нашествием азиатских полчищ. Поэтому они посоветовали Антиоху направить посольство к ахейцам, но не просить их союза — это бесполезно, — а только убедить держаться нейтралитета и не вмешиваться в эту войну.

Когда послы от царя и этолян вошли в союзное собрание ахейцев, их ждал там сюрприз: первый, кого они увидели, был Тит Фламинин. Он каким-то чудом успел приехать раньше их. Это привело этолян в ярость. Они разом потеряли все необходимое хладнокровие. Первыми говорили царские послы. Они очень долго распространялись о непобедимости сирийского войска, о бесчисленных лучниках, конных, пеших, о колесницах и прочем. Затем поднялись этоляне. Присутствие Тита, который молча насмешливо на них смотрел, действовало на них раздражающе. Вот почему они, вместо того чтобы говорить о Сирии, снова завели речь о Киноскефалах. Ложь этолян разрасталась с неимоверной быстротой. Сперва они говорили, что римляне не победили бы без них, потом, что они победили без римлян, сейчас же они заявили, что спасли самого Тита, ибо без них римлян перебили бы самым жалким образом. Далее они, естественно, говорили о черной неблагодарности Тита, а в заключение не совсем логично просили ахейцев соблюдать нейтралитет.

После них взял слово Тит. Он ответил и тем и другим со своей обычной насмешливостью. По поводу похвальбы азиатских послов он сказал следующее. Он, Тит, раз был в гостях у одного приятеля, и тот старался угостить его получше. С удивлением Тит видел на столе все новые разнообразные мясные блюда. Тит восхитился богатством стола, но тут же стал упрекать друга, который ради него несет такие непомерные расходы. Но приятель с улыбкой отвечал: «Это все свинина, Тит, только по-разному приготовленная». Так и воины царя — все сирийцы, только по-разному одетые. А сирийцы — жалкая смесь всех народов, невоинственны, трусливы и испорчены рабством. Что до этолян, то Тит заметил, что ему нет нужды говорить о Киноскефалах ахейцам, которые прекрасно помнят, как было дело. Пустое хвастовство этолян

пусть действует на царских послов, которые еще не знают, с кем связались.

Наконец он заметил, что нет ничего глупее, как в борьбе между великими державами держаться нейтралитета. Ахейцы просто достанутся в жертву победителю. В заключение он просил ахейцев серьезно подумать, кому они хотят довериться: царю и этолянам или римлянам, чью верность слову они уже испытали. Ахейцы приступили к голосованию. Голоса были подсчитаны. Огромное большинство ахейцев проголосовало за то, чтобы воевать на стороне римского народа (*Plut. Flam., 15, 17; Liv., XXXV, 48—50*).

Тит настолько уверовал в свою удачливость, красноречие и обаяние, что решил явиться к своим врагам этолянам, выступить на их союзном собрании и образумить их. Но из этого ровно ничего не вышло. Стратег этолян даже не удостоил Тита ответом, а только сказал, что ему недосуг. Вот когда этоляне разобьют лагерь на берегах Тибра, у них будет время побеседовать. Тита вывела из себя не сама угроза — она была слишком нелепа, чтобы принимать ее всерьез, — но чудовищное легкомыслие, с каким этоляне ввергают в новую войну истерзанную Грецию и Италию. Он вспыхнул от гнева и воскликнул, что никто не изведает тяжести войны раньше, чем сами этоляне, что отныне все между ними кончено и они враги навеки (*Liv., XXXV, 33*). Вскоре оказалось, что слова Тита были пророческими.

Месть Тита

В 191 году до н. э. Антиох переправился в Грецию. Доверившись этолянам, он вообразил, что вся Эллада встанет под его знамена, и взял с собой ничтожную горстку из своих несметных войск. Но почти никто к нему не примкнул, кроме самих этолян да тирана Набиса, которого этолянам удалось подбить на возмущение. При этом спартанского владыку ничуть не смущало, что его родной сын был заложником в Риме. Но однажды, когда они вместе устраивали военные упражнения, этоляне, глядя на лежащую поодаль богатую Спарту, не смогли устоять против искушения. Они убили своего друга тирана и галопом поскакали в город. Если бы, резонно замечает Ливий, они созвали тут же собрание и объявили, что пришли освободить Спарту, их, быть может, приняли бы как героев. Но вместо того они, как шайка бандитов, молча въехали в город и бросились грабить дворец. А спартанцы не менее быстро кинулись к оружию,

окружили их и перебили всех до единого. Ахейцы, воспользовавшись смутой, захватили Спарту и произвели там все те жестокости, о которых говорилось ранее. Тем и кончилось участие Спарты в войне против Рима (*Liv., XXXV, 35—36*).

Консул Маний Ацилий Глабрион переправился в Элладу и без труда разбил маленькую армию Антиоха. Сам царь сбежал, и совершилось то, что и предсказал Тит. Вся тяжесть войны пала на этолян. Хотя этоляне все последнее время действовали нелепо, просто глупо, но в трусости не обвинил бы их и заклятый враг. Они защищались отчаянно, как дикий зверь, загнанный в угол. Но силы были слишком неравны. Пришлось этолянам, как ни было им горько, идти к консулу просить мира. Во главе посольства стоял наш старый знакомый Фенея.

Этоляне, кажется, воображали себе Глабриона похожим на Тита. Но они жестоко ошиблись. Тит происходил из знатнейшего патрицианского рода: манеры у него были изысканные, он получил прекрасное воспитание и благоговел перед великим прошлым Эллады, а врожденное благородство не позволяло ему обидеть слабого. Глабрион же был *человек новый**, происходил из низов, был резок, груб и неотесан, и Греция ровно ничего не говорила его сердцу.

Фенея по обыкновению приготовил длинную речь, но консул резко оборвал его, сказав, что ему сейчас не до болтовни. Этоляне растерялись, опять открыли было рот, но Маний снова оборвал их, заметив, что нечего тянуть: им остается только отдаться на милость римлян. Напуганные этоляне совсем не поняли, что значит это выражение, а спросить у консула не посмели. В конце концов они решили, что это что-то хорошее, потому что речь идет о милости. Но тут они ошиблись самым ужасным образом, потому что выражение это означало отдать себя на полное усмотрение победителя, причем последний обязался лишь сохранить им жизнь, но мог продать вместе с женами и детьми.

Посовещавшись, этоляне снова пришли к Манию. Тот угрюмо и с досадой выслушал их длинные речи, когда же наконец этоляне объявили, что отдаются на милость победителя, консул сухо сказал:

— Это действительно так, этоляне?

Те отвечали утвердительно. Тогда консул начал перечислять свои требования. Он еще не кончил, как Фенея воскликнул:

— Но это несправедливо и противоречит обычаям эллинов!

Консула эти слова не разгневали, но он хотел, чтобы это-

---

* Так в Риме называли незнатных людей, выдвинувшихся благодаря собственным заслугам.

ляне осознали свое положение и пришли в ужас. Поэтому он мрачно произнес:

— Что вы еще толкуете об обычаях эллинов, долге и приличии после того, как отдались на милость римлян! Да если я только захочу, я велю заковать вас всех в цепи и отвести в тюрьму!

И он немедленно велел принести цепи и сковать этолян. «Фенея и его товарищи стояли, не говоря ни слова, словно это необычное обращение сковало им не только тело, но и душу» (*Polyb.*). Но тут вмешались присутствовавшие римские офицеры. Они просили консула не обижать послов. Маний наконец уступил. С этолян сняли оковы. Только тогда Фенея нашел в себе силы пробормотать, что для того, чтобы договор вошел в силу, нужно еще согласие народа. С тем Маний и отпустил их (*Polyb., XX, 10*).

У этолян было много пороков. Но они были горды и свободолюбивы. Когда Фенея вернулся, его рассказ вызвал бурю ярости. Решено было перенести что угодно, но не идти более к Глабриону. Теперь этоляне затворились в городе Навпакте. Это самой природой укрепленное место, неприступная скала над проливом, отделяющим Среднюю Грецию от Пелопоннеса. Крепость, расположенная на вершине горы, напоминала скорее разбойничье гнездо, чем город. Неудивительно, что консул тщетно осаждал Навпакт, но этоляне знали, что гибель их неизбежна, и оборонялись с отчаянием обреченных.

Однажды они, как всегда, стояли на башнях. Вдруг они увидели совсем возле стены какого-то одинокого римлянина, который осматривал укрепления. Он поднял голову. Они не могли ошибиться — то был Тит Квинктий Фламинин. Его назначили легатом Глабриона «в угоду эллинам», как говорит Плутарх, а скорее он сам добился этого назначения, боясь, что Маний погубит все его дело. Увидав человека, в смертельной ненависти к которому они клялись, этоляне издали душераздирающий вопль. Они зарыдали, протянули к Титу руки и бессвязно умоляли их спасти. Тит знаками показал, что ничего не может сделать, и поспешно ушел. Этоляне провожали его глазами. Когда он скрылся из виду, исчезла и их последняя надежда.

А Тит вернулся в лагерь и вошел в палатку консула. Взглянув на него, Глабрион увидел, что он мрачен и озабочен. Не успел консул спросить, что с ним, как Тит воскликнул:

— Маний Ацилий, ты что, не видишь, что происходит, или видишь, но не понимаешь, как это важно для государства?!

Маний встревожился и с волнением стал спрашивать Тита, что случилось. Фламинин мрачно отвечал, что консул вот

уже очень давно стоит возле маленькой этолийской крепости, потерял массу времени, союзники тем временем захватывают область за областью, а скоро кончается срок полномочий Глабриона. Что он скажет в Риме? Маний смутился. Он признался, что совсем не знает, что предпринять: ведь уйти от стен нельзя, это будет позор. Что же делать? Он настойчиво просил совета у Тита. Тот погрузился в размышления и наконец сказал, что придумал. Он готов выручить Глабриона и великодушно берется докончить осаду сам. Консул горячо его благодарил.

Попрощавшись с Манием, Тит бегом бросился к крепости. На сей раз на стены высыпал весь город. Опять раздались стоны и рыдания. Тит поманил этолян рукой. Через минуту Фенея со всеми членами совета лежал у ног Тита и в слезах молил о прощении. Тит сказал:

— Ваше положение заставляет меня умерить свой гнев и не говорить резко. Случилось то, что я и предсказывал, и вам невозможно даже сказать, что случилось это не по вашей вине. Но по какой-то воле рока я назначен поддерживать Элладу и не перестану оказывать благодеяния даже неблагодарным.

И он заключил с этолянами перемирие (*Liv., XXXVI, 33—35*). Существует много рассказов о том, как он подобным же образом спасал греческие города то от разгневанных римлян, то от македонцев, то от самих греков. Каких усилий стоило ему спасти Спарту от жестокости ахейца Филопемена! Ибо он считал «своим долгом не допускать гибели ни одного города освобожденной Греции» (*Liv., XXXVI, 34*). И как он хитрил и изворачивался для этого!

Война в Греции на этом не кончилась. Она продолжалась, то вспыхивая, то затухая, еще много лет. Но и в период смут, и даже когда измученная страна окончательно перешла под власть Рима — никогда не стирался из памяти греков образ их освободителя, этого человека, полного мелких слабостей и в то же время такого мягкого и великодушного. Плутарх рассказывает, что и в его время, через столько веков после смерти Тита, ему поклонялись как богу в храмах, пели пеаны и творили молитвы (*Flam., 17*). «Не будь римский военачальник от природы человеком великодушным, чаще обращающимся к речам, чем к оружию, не будь он так убедителен в своих просьбах и так отзывчив к чужим просьбам, не будь он так настойчив, защищая справедливость, — Греция отнюдь не так легко предпочла бы новую чужеземную власть своей, привычной» (*Plut. Flam., 2*).

Война в Греции, повторяю, продолжалась, но настоящий наш очерк, посвященный Титу Фламинину, закончен.

Глава третья

ВОЙНА С АНТИОХОМ. 196—190 годы до н. э.

И повторится все, как встарь...

А. Блок

В кольце врагов

В то время как Тит и эллины были опьянены счастьем, римляне в городе были охвачены смертельным страхом. Дело в том, что Антиох, царь колоссальной державы Селевкидов, владевший Сирией, Палестиной, Месопотамией, владыка, прозванный за свое счастье и могущество Великим, самый сильный из наследников Александра, двинулся в Малую Азию и перешел в Европу, захватив города, которые очистил Филипп, те самые города, свободу которым объявил на Истмийских играх Тит Фламинин. Но римляне клялись защищать эти города, а это означало, что они должны были вести войну теперь уже с царем Антиохом. А к этому они были совершенно не готовы.

Этого мало. Страшные слухи пришли из Карфагена. Положение в городе было поистине ужасным. Казна истощена, владения потеряны, а римляне требуют огромной контрибуции. Откуда ее взять? Прежде они выжали бы последнее из ливийцев, им прислали бы золота из Испании. А что делать теперь? В довершение всех бед Масинисса, некогда нищий разбойник, а ныне царь великой Ливии, смотрел на Карфаген с ненавистью. Он сторожил пунийцев, как кот сторожит мышь у норки. А у униженного народа не было ничего, даже войска, чтобы защититься. Защитниками их были римляне, которые, конечно, не простили и не простят никогда.

В городе царили смута и взаимная ненависть. Сенаторы проклинали «отродье Барки», Ганнибала, который их погубил. Ганнибал отвечал им ужасными ругательствами и вспоминал, как они ничего ему не присылали, когда он в тоске ждал подкрепления на берегах Италии. А между тем нищая толпа, которую голод и несчастья сделали свирепой, слонялась по улицам, с бесконечной ненавистью смотрела на пур-

пур и золото богачей и, казалось, ждала только знака, чтобы разорвать их в клочья.

Наконец карфагеняне собрали денег на первый взнос римлянам. Сенаторы с воплями оплакивали потерю золота, царапали лицо и били себя в грудь, глядя, как деньги уплывают в Италию. И тут раздался страшный хохот. Это хохотал Ганнибал. Он простер руку и начал пророчить, как библейский пророк, предрекая, что скоро на голову их обрушатся такие беды, что эта покажется поистине ничтожной (*Liv., XXX, 44*). Римляне взвесили золото и обнаружили, что оно наполовину фальшивое. Карфагеняне жестоко поплатились за свою хитрость: им пришлось тут же в городе занимать деньги у ростовщиков и, конечно, под чудовищные проценты.

Судьба предлагала теперь Ганнибалу тот же путь, что и его знаменитому победителю: стать во главе народа и пойти против сената. Публий Сципион этот путь отверг, Ганнибал принял. Он стал *демагогом**, собрал вокруг себя обездоленные массы и повел их против богачей. Он с лихорадочным нетерпением спешил наскоро залечить кровоточащие раны государства, поставить его на ноги и бросить на новую войну с Римом. Но нужны были деньги. И вот Ганнибал находит, где их достать. Он решает изъять их у бывших членов совета, которые успели их награбить, занимая государственные должности (*Liv., XXXIII, 47*). Но это переполнило чашу терпения правителей государства: они все могли перенести, только не это — когда дошло до денег, они возмутились так, как будто у них отнимали кровное добро, а не наворованное имущество (*Ливий*). Им стало ясно, что Ганнибала надо убрать. Но как? Выступить против него открыто — означало быть растерзанными на улицах города озверевшей чернью. Оставалось одно — донести на него римлянам. И они не остановились перед этим средством.

Карфагенские послы явились в сенат, уверяя, что Ганнибал натравливает народ на Рим и раздувает мятежи (*Val. Max., IV, 1, 6*). Они почти не лгали, говоря, что Баркид готовит войну: он и не скрывал этого и кричал на улицах Карфагена, что деньги нужны ему для борьбы с Римом. Но они еще обвинили его в тайных переговорах с Антиохом, не знаю, истинных или ложных (*Liv., XXXIII, 47—48*).

Сенаторы содрогнулись. Неужели этот ужасный человек снова готовит войну, да еще хочет объединиться с могущественнейшим царем мира? Решено было немедля послать послов в Карфаген, устроить там суд и, доказав вину Ганниба-

* То есть вождем народа.

ла, потребовать его выдачи. Но тут поднялся человек, так долго и упорно молчавший, Публий Корнелий Сципион, и сказал «со своей обычной твердостью», что считает недостойным римлян, не довольствуясь победой над Ганнибалом на войне, вмешиваться в грязные интриги карфагенян и одобрять их лживые доносы (*Liv., XXXIII, 47; Val. Max., IV, 1, 6*). Однако эти слова показались отцам хотя и благородными, но неразумными. Мнение Публия было отвергнуто. В Африку немедленно отправлены были послы, которые должны были привезти мятежного Баркида. Прибыв в Карфаген, римляне введены были в Совет. Послали за Ганнибалом. Но дом его нашли пустым. Обыскали город. Тщетно. Ганнибал исчез (195 год до н. э.).

И вскоре в Рим пришла роковая весть — беглец у Антиоха! Он принят как самый почетный гость, друг, советник. Он торопит царя скорее начать войну с Римом, он готовится встать во главе армии... Теперь Рим очутился в пылающем кольце врагов: на западе — Карфаген, страшный Карфаген, ненависть которого такова, что народ чуть не разорвал злополучных послов, явившихся за Ганнибалом. На востоке — Филипп, жаждущий реванша, и Антиох, величайший царь вселенной, Антиох с Ганнибалом. Что, если они нападут все разом, Антиох соединится с Филиппом и Карфагеном, во главе колоссального войска встанет Ганнибал и бросит на Рим всю державу Александра? Понятны поэтому слова Плутарха, что ни один враг со времен Ганнибаловой войны не внушал римлянам такого ужаса, как Антиох (*Cat. mai., 12*).

В таком положении все взоры обратились только на одного человека — Публия Африканского. Его немедленно выбрали консулом, чтобы он спас Рим (194 год до н. э.). Новый консул созвал сенат и предложил ему свой план действий. Он сейчас же высаживается в Македонии и начинает там войну с Антиохом, не дожидаясь его нападения. Но план этот испугал отцов. Они страшились войны, все еще надеялись ее избежать и хотели, чтобы Публий оставался в Риме и защищал Италию. Кроме того, был еще Тит, тогда находившийся в Элладе. Он, кажется, заложил бы душу, чтобы не передавать Греции и своей славы никому. Но передать ее Сципиону? Это уже было выше его сил. К тому же он был связан целой сетью клятв, обещаний, взаимных упреков с сотней греческих городов, а особенно с этолянами. Ввести войска в Грецию — значило навлечь на себя тучу насмешек, жалоб, обвинений в вероломстве. Все это казалось Сципиону ничтожным по сравнению с огненным кольцом, все теснее сжимавшимся вокруг Рима. Но Тит был очень опытен в

интригах, а сенаторы боялись Антиоха. Вот почему консул получил отказ (*Liv., XXXIV, 43*).

Принял его Публий со своим обычным гордым спокойствием. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Весь срок своего консулата он спокойно оставался дома, отказавшись от всех провинций, смотрел на триумфы других полководцев, слушал толки о том, что ему нужно было бы взять себе провинцией Галлию и там совершить блестящие подвиги. Но он не внимал молве, он думал о своем. Римляне полагали, что консул проводит время в бездействии. Но они ошибались. Он, правда, не усмирял галльских городков и не искал мелких похвал и мелких триумфов. Но он предпринял другое. Четверть века назад, когда Ганнибал вторгся в Италию, он оказался бессилен взять Плаценцию и Кремону, могучие римские колонии в долине Пада, и они до конца остались оплотом римлян на севере. Затем Ганнибал пошел на юг и носился там победителем, ибо он без труда захватывал кампанские и греческие города. На сей раз нападения следовало ждать с юга. И вот Публий задумал укрепить южное побережье такими же колониями, какими были Плаценция и Кремона на севере. По его инициативе выведено было семь колоний: Путеолы, Вольтурн, Литерн, Салерн, Буксент, Темпсу и Кротон (*Liv., XXXIV, 45*).

А Антиох между тем пребывал в нерешительности. Ганнибал торопил его, вдохновлял, убеждал. Он говорил, что слабая, разоренная, истерзанная войнами Греция не представляет никакого интереса. Воевать надо с Римом, и только в Италии. «Дай мне войско и я высажусь в Италии!» — твердил он (*App. Syr., 27—30; Justin., 31, 7—10; Liv., XXXIV, 60*). Но Антиох все медлил. В самом деле, зачем ему было воевать в Италии? Ганнибал, погубивший уже родное государство, конечно, готов бросить на распыл и его собственное. Но стоит ли вести долгую упорную борьбу с самым воинственным народом мира? Затем, кто поручится, что, став во главе армии, Ганнибал останется лишь послушным орудием царя? А что, если он не отдаст Антиоху Италии? К тому же этоляне делали все, чтобы обратить взоры царя на Элладу. Они клялись, что Греция — уже его; стоит лишь ему появиться — и все устремятся под его знамена. Они раздражали его самолюбие, твердя, что поставь он пунийца во главе армии — и все победы припишут ему, а не царю. Они клеветали на Ганнибала, чтобы посеять в сердце царя семена недоверия к его гостю (*Liv., XXXV, 42*). А поведение Ганнибала только усиливало эти подозрения.

Карфагенский полководец был чужд всему духу эллинистического двора. Он с детства привык к суровой жизни в

Пунийское искусство. Терракотовая статуэтка, найденная в Сардинии. *III—II вв. до н. э.*

Развалины храма бога Эшмуна в финикийском городе Сидоне. В Карфагене Совет собирался в храме этого бога. *VI—III вв. до н. э.*

Карфагенянка.
Терракота.
VI в. до н. э.

Сципион был одним из самых любимых героев эпохи Возрождения. Бесчисленные полотна XIV—XVIII веков изображают его великодушный поступок с пленной испанкой.
«Великодушие Сципиона».
Картина Н. Пуссена.
XVII век

«Воздержанность Сципиона». *Картина Дж. Ф. Романелли. XVII век*

Знатная карфагенянка с веером. *Терракота. VIII—VII вв. до н. э.*

Репродукции с картин Боттичелли. Изображений людей времени Сципиона фактически нет. Но есть другая эпоха, эпоха раннего Ренессанса, которая созвучна времени Сципиона. Конечно, современники нашего героя не носили ни ярко-красных штанов, ни шляп с плюмажем. Но ведь и «римские» пьесы Шекспира, особенно «Кориолан», полны разного рода неточностей: тут и шляпы, и перчатки, и даже очки. И в то же время дух Рима живет в этой трагедии XVI века

Небольшой храм на Бычьем Форуме. *I в. до н. э.* Он уже испытал на себе влияние греческих образцов

Атриум дома из Помпей (реконструкция). Он относится к более позднему времени, поэтому просторнее и роскошнее, чем атриумы времен Сципиона

Филипп Македонский. *Изображение на монете*

Коринф. *Современный вид*

Иллюстрация Боттичелли к дантовскому «Раю», автор которого писал под сильным влиянием «Сна Сципиона»

Римлянка I в. до н. э.
Хотя мода за полтора века изменилась, надеюсь, статуя поможет нам представить себе римлянок эпохи Сципиона

Богиня победы Ника. Изображение на монете, выпущенной греками в честь Тита Фламинина. Ника венчает имя Освободителя Эллады

Акрокоринф

Дельфы. Развалины храма IV в. до н. э.

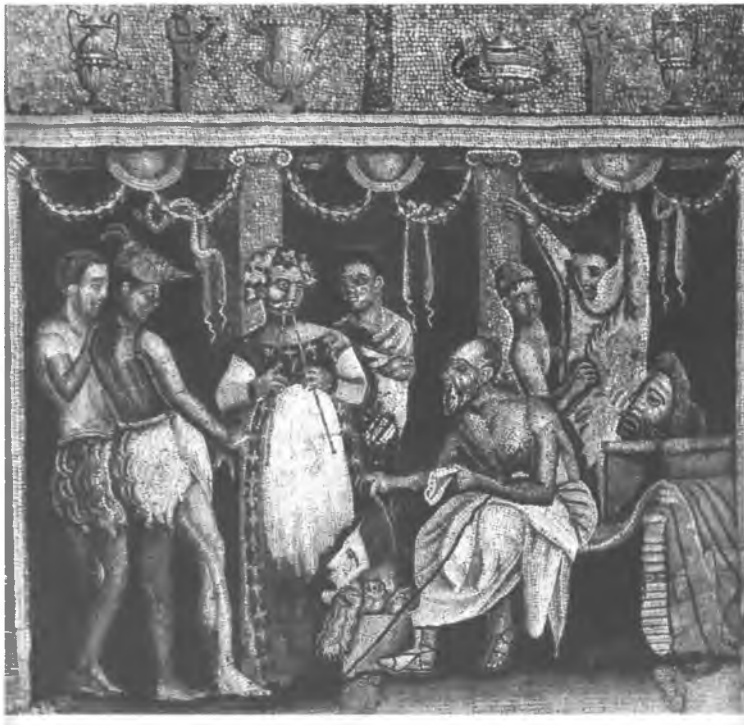
Царь Антиох Великий. *Изображение на монете*

Делос. Аллея львов

Гортина, город на Крите, который посетил Сципион. Аллея с древними платанами

Гортина.
Базилика Святого Тита

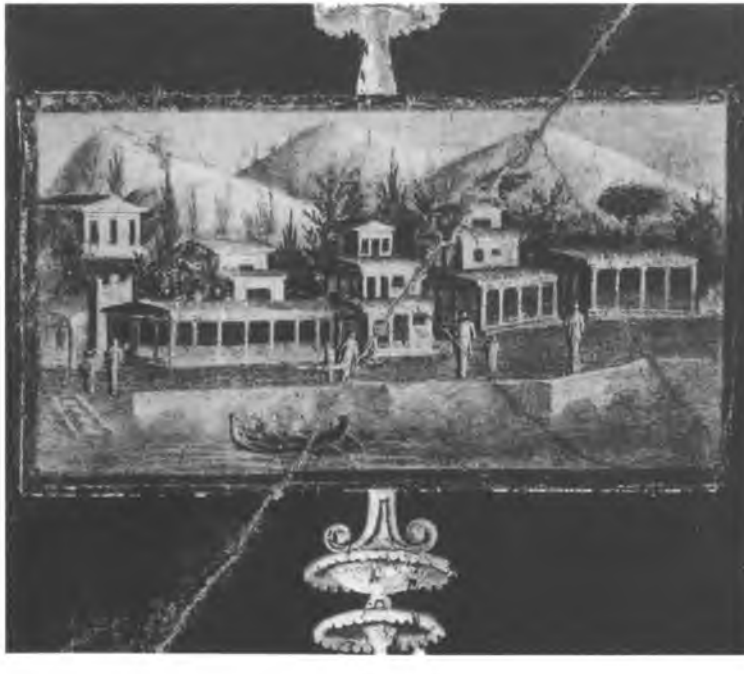
Бродячие актеры на улице. *Мозаика из Помпей*



Актеры репетируют. Лежат маски. Они облачаются в театральные костюмы. Флейтист играет на двойной флейте. *Мозаика из Помпей*

Каменный саркофаг Люция Сципиона Барбата, прадедушки нашего героя. Он найден в фамильной усыпальнице Сципионов, находившейся близ Рима на Аппиевой дороге у Капенских ворот

Италийская вилла на берегу моря. *Фреска из Помпей*



Сцена из новоаттической комедии. Барельеф эллинистического времени из Неаполя. Слева — разгневанный старик-отец, которого удерживает его друг, справа — легкомысленный сын с рабом. Посредине — флейтист, играющий на двойной флейте

Бронзовая статуя этрусской работы I в. до н. э. Знатный римлянин (Авл Метелл) произносит речь перед народом. На нем обычная одежда римского сенатора: недлинная тога, кальцеи — кожаные полусапожки, на подъеме которых знатные люди носили застежку в виде полумесяца

Одна из многих картин эпохи Возрождения, изображающих Сципиона. Эта принадлежит кисти Рафаэля. Сюжет ее необычен. Здесь перед нами эпизод из поэмы Силия Италика, автора времен Империи. Он пишет, что в юности к Публию, как к Геркулесу, явились во сне две прекрасные женщины, Добродетель и Наслаждение, и каждая манила его за собой. Сципион, конечно, пошел путем Добродетели. Сципион спит, склонившись на щит. Слева — Добродетель с мечом и книгой, справа — Наслаждение с цветком и ожерельем

военном лагере. Он рвался в бой, а его держали здесь в золоченой клетке. Он томился и скучал, как дикий зверь в неволе. Вельможи пытались его развлечь: показывали ему статуи и картины, приглашали на лекции и в музеи. Разумеется, мрачный карфагенянин был ко всему этому равнодушен. Однажды его удалось заманить на лекцию одного известного философа, прельстив обещаниями, что рассказ будет о военном деле. Часа два разливался лектор, польщенный присутствием такого слушателя, как Ганнибал. Когда он кончил, все были в восхищении. Тут Ганнибал своим резким, грубым голосом на ломаном греческом языке сказал, что много видел он выживших из ума стариков, но такого полоумного видит в первый раз (*Cic. De or., II, 75—77*).

Этот маленький эпизод прекрасно характеризует его настроение. Он сделался желчен и угрюм. Привыкнув к безусловному подчинению наемников, он раздражался от малейшего противоречия. Он стал говорить в лицо царю невозможные дерзости. Антиох в конце концов тихо его возненавидел и только из вежливости терпел в совете эту зловещую тень. Ганнибал отвечал ему самым искренним презрением. Ему глубоко отвратительным казался и этот ничтожный царь, и изнеженный двор, и философы, и картины, и вообще все вокруг. Однажды Ганнибал, как всегда мрачный и угрюмый, прогуливался по роскошному саду царя Антиоха. Внезапно он увидел человека в римской одежде, идущего ему навстречу. Ганнибал остановился как вкопанный. То был Сципион Африканский.

Это казалось сном. Как мог он, будучи частным лицом, без всяких полномочий, не защищенный международным правом, совершенно один приехать к царю, готовому начать войну с римлянами, к царю, лучшим советником которого стал пуниец Ганнибал!

Нужно было очень плохо знать Сципиона, чтобы поверить, что он так легко смирился с отказом сената. Он просто не стал тратить времени на бесполезные споры. Как только кончился срок его консулата (193 год до н. э.), он изъявил желание поехать послом в Африку. Дело в том, что положение в Карфагене вконец запуталось. Как только исчез Ганнибал, Масинисса решил, что настал его час. Он немедленно напал на Карфаген и начал отнимать у пунийцев город за городом. Те пришли в отчаяние от этой новой напасти и обратились за защитой к римлянам. Обе стороны препирались и обвиняли друг друга. И вот Сципион заявил, что готов поехать и разобраться во всем на месте. Но цель его была другая — он задумал прорвать огненное кольцо вокруг Рима и решил лично явиться в Карфаген.

Пунийцы между тем терзались сомнениями, кого им выгоднее продать — Ганнибала или римлян. Они состояли в тайных сношениях с обеими сторонами и после переговоров с посланниками Баркида каждый раз спешили в сенат с доносом, чтобы очистить себя в глазах квиритов «на всякий случай» (*Liv., XXXIV, 61; App. Syr., 8; Justin., 31, 4, 1—3*). В результате они, разумеется, заслужили ненависть и недоверие обоих противников. Сципион появился перед ними внезапно, словно сверкающая молния. Одним своим видом он внушил им ужас. В их памяти пронеслось все пережитое: и пожар лагеря, и непрерывные поражения, и собственное унизительное бессилие перед этим страшным человеком. Возможно, именно в этот миг они окончательно решились отречься от Ганнибала.

В присутствии трех римских послов состоялся суд между Масиниссой и карфагенянами. Пунийцы доказывали, что земля, захваченная нумидийцем, — их исконное владение и находится в границах, очерченных для Карфагена Сципионом. Но Масинисса вовсе не собирался отказываться от верной добычи. С присущей ему наглостью он отвечал, что никаких границ Сципиона вообще не существовало: это все выдумки карфагенян.

Римские послы пристально смотрели на Публия, пытаясь прочесть на его лице, кто из противников лжет. Ведь кто-кто, а он-то знал, были ли в действительности *границы Сципиона*, и мог одним кивком головы разрешить спор. Но тщетно. Лицо Публия оставалось совершенно неподвижным (*Liv., XXXIV, 62*). Что мог сказать Сципион? Конечно, лгал Масинисса. Но нумидиец был верен ему в самых тяжелых обстоятельствах. Мог ли теперь Публий предать его перед карфагенянами? Нет, никогда. С другой стороны, мог ли он допустить, чтобы так грубо была попрана справедливость и чтобы его любимец безнаказанно грабил беззащитных людей? И Сципион нашел следующий выход. В присутствии послов и карфагенян он не сказал ничего, ни звуком, ни жестом не выдал своих чувств. Однако, когда все разошлись, он имел долгую беседу с Масиниссой. О чем они говорили, мы не знаем. Известен лишь результат: с тех пор Масинисса оставил Карфаген в покое и ни разу не напал на него в течение двенадцати лет, то есть пока был жив Публий. Но как только Сципион умер, он немедленно вновь напал на город и после этого нападал на пунийцев непрерывно до самой их гибели на протяжении тридцати двух лет (182—150 годы до н. э.).

Несомненно, римлянин и нумидиец много говорили о воинственных планах Карфагена. От Масиниссы Сципион мог узнать все подробности. Конечно, он взял с него слово сле-

дить неотступно за пунийцами, извещать его о всех их действиях и вообще быть на страже римских интересов. Помирив Масиниссу с карфагенянами, римские послы отправились домой. Но Сципион за ними не последовал. Распрощавшись с ними, он отплыл на восток, куда именно — не знал никто[72]. Его замысел был прост: он решил поехать прямо к Антиоху, узнать планы царя и Ганнибала, а быть может, и помешать им. Он поступил так же, как когда-то в Иберии, когда на маленьком суденышке чуть ли не один явился к царю Сифаксу.

Вот как случилось, что Ганнибал и Сципион встретились в саду Антиоха. Эту встречу видели несколько человек, случайно там очутившихся. Они рассказывают, что оба полководца медленно подошли друг к другу и пошли рядом. Сципион вежливо пропустил своего побежденного противника вперед. Ганнибал сначала не менял своего надменного и брюзгливого вида, но постепенно все больше и больше увлекался разговором. На губах Сципиона играла легкая ласковая улыбка. Запомнился очевидцам только один момент разговора. Сципион спросил Ганнибала:

— Кого считаешь ты лучшим полководцем?

— Александра Македонского, — отвечал Ганнибал. — Он с горсткой людей покорил огромное царство.

— А кому отдаешь ты второе место? — спросил тогда Публий.

— Пирру, царю Эпира, — отвечал Ганнибал.

«Очевидно, — замечает Аппиан, — доблесть он видел в дерзании, а дерзновеннее этих царей нельзя найти никого».

— А на третьем месте я поставлю самого себя, — продолжал Ганнибал. — Будучи совсем юным, я завоевал Иберию и первый после Мелькарта* с войсками перешел Альпы, вторгся в Италию — такой смелости у вас никто никогда не проявил, — я завоевал у вас четыреста городов, заставил дрожать за собственный город, а из Карфагена мне не присылали ни денег, ни войска.

Сципион увидел, что он собирается продолжать этот возвышенный панегирик, и со смехом сказал:

— Ганнибал, на какое место ты поставил бы себя, если бы я тебя не победил?

Ганнибал мгновенно, не задумываясь, ответил:

— Выше Александра, выше всех на свете!

Все присутствовавшие поняли ответ Ганнибала в том смысле, что Сципиона он считает уже не вполне человеком, а полубожеством, которое нельзя ставить в один ряд с зем-

---

* В греческом оригинале: Геракла.

ными полководцами. О лести не могло идти речи. Зачем бы Ганнибал стал льстить Сципиону? И потом, его угрюмое, надменное лицо, не освещенное ни тенью улыбки, исключало такую возможность. Ответ его, видимо, страшно понравился Публию. По словам одного современника, историка Ацилия, ему понравилось то, что пуниец «выделил его из общего стада полководцев, словно к нему неприменимы были общие мерки» (*Acilius, fr. 5*). Несколько позже на предложение греков поставить ему статую на площади, где стоят уже изображения всех великих полководцев, Публий с легкой насмешкой отвечал:

— Не надо. Я не люблю быть в толпе (*Cic. De or., II, 262*)*.

Ганнибал, казалось, был необыкновенно заинтересован разговором: он никак не хотел расставаться со Сципионом, приглашал его к себе в гости, каждый день с ним встречался и настолько увлекся, что даже не заметил, как обеспокоен его поведением Антиох — царь был поражен переменой в Ганнибале и решил, что пуниец тайно передался римлянам (*App. Syr., 10—11; Polyb., III, 11; Liv., XXXV, 14; Plut. Flam., 21; Pyrrh., 8*)[73].

Разумеется, Публий встречался и с Антиохом. То странное очарование, которое свойственно было этому человеку и покоряло ему все и вся, подействовало и на сирийского царя. В трудный час своей жизни Публий имел возможность в этом убедиться**. Пробыв у Антиоха несколько дней, Сципион уехал. Он появился так внезапно и исчез так быстро, что уже следующее поколение считало рассказ о приезде Сципиона сказкой. Но ездил Публий не зря. Опасность грозила Риму из Азии и Африки. Он был в этих странах и увидел все собственными глазами. Карфагеняне все еще были скованы смертельным страхом, да и Масинисса следил за ними неусыпно. В Азии же царь Антиох все колебался, не

---

* Ганнибал не задал Сципиону в свою очередь вопроса, кого *тот* считает лучшим полководцем. Однако, по счастью, мы знаем, что думал на этот счет римлянин, ибо аналогичный вопрос был ему как-то задан. Полибий сообщает: «Публий Сципион... на вопрос чей-то, кого из людей он считает искуснейшим в государственных делах и соединяющим в себе величайшую отвагу с рассудительностью, назвал сицилийцев Агафокла и Дионисия» (*Polyb., XV, 35, 6*). Несомненно, Сципион имел в виду именно полководческие дарования обоих героев, так как внутреннее управление этих тиранов вряд ли имело что-то привлекательное для гражданина Римской республики, добровольно отказавшегося от власти. Оба царя воевали с Карфагеном, а Агафокл даже высадился в Африке. Так что, если героями Ганнибала были дерзостные вожди, с горсткой воинов высаживающиеся на чужбине, то героями Публия — полководцы, защищавшие родину от карфагенян.

** См. ниже главу третью — «Гром грянул».

верил Ганнибалу, и хотя Сципион не сомневался, что войны не избежать, она должна была быть совсем не такой страшной, как предполагали. Быть может, и сам Сципион проявил свои дипломатические способности, и Антиох окончательно решил не высаживаться в Италии именно после его визита.

Теперь Публий мог возвращаться в Рим. Но он не торопился. Ведь он оказался в Малой Азии среди древнейших греческих городов. И он поспешил этим воспользоваться. Сразу же он отправился на Делос, святой остров, где родились Аполлон и Артемида. Там он мог в свое удовольствие любоваться храмом, небом и морем. За короткий срок своего пребывания он успел стать своим человеком на Делосе[74]. Осмотрев достопримечательности Азии, Публий как ни в чем не бывало отправился домой.

Но здесь я позволю себе остановиться на минуту, чтобы отметить одну замечательную черту в характере нашего героя. В Делосской сокровищнице найдено два золотых венка. На одном стоит имя консула Публия Корнелия, на другом — претора Люция Корнелия. Публий был консулом, а его брат Люций претором в 194 году до н. э., то есть за год до визита Сципиона на Делос. Из этого следует, что оба венка заготовлены были заранее еще в Риме. Таким образом, все путешествие, которое на первый взгляд кажется внезапным капризом победителя Ганнибала, было обдумано еще в Риме до мельчайших деталей. В свои планы Публий посвятил младшего брата и, вероятно, Лелия.

Теперь Сципион мог быть спокоен. Он сделал все, что было в его силах, чтобы смягчить удар, который должен был обрушиться на Рим. Он окружил юг Италии поясом колоний, он лично побывал в Карфагене у Антиоха и Ганнибала, узнал их планы и насколько мог помешал им.

Видимо, около этого времени произошло одно событие, которое глубоко поразило воображение современников. Чуть ли не все античные авторы пересказывают все вновь и вновь с неослабевающим изумлением этот маленький эпизод. Дело заключалось в следующем. В Риме деньгами распоряжался сенат, но доступ к казне имел только избранный народом магистрат — квестор. И вот «однажды потребовались деньги на неотложные нужды, а квестор, ссылаясь на какой-то закон, отказывался открыть в тот день государственное казначейство». Римляне, воспитанные в благоговейном почтении к законам, растерялись и не знали, что делать. «Тогда Публий в сенате объявил, что сам возьмет ключи, ибо государство обязано ему тем, что казначейство заперто» (*Polyb., XXIII, 14, 5—6*).

Гром грянул

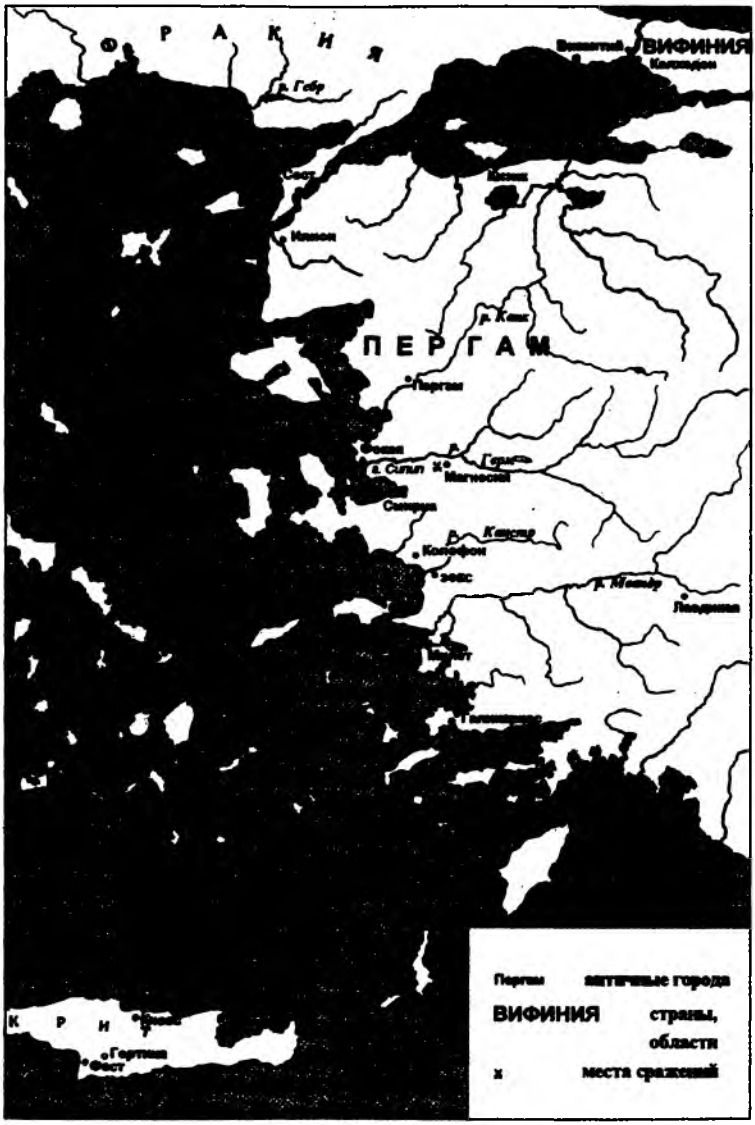
Уже пять лет мир с мучительным напряжением ждал войны с Антиохом. И вот гром грянул. Война началась, и события разворачивались с такой стремительной быстротой, словно ураган всех закружил.

В 192 году до н. э. Антиох высадился в Греции. Высадился без Ганнибала, не вняв его предостережениям и советам. С собой он взял всего лишь десять тысяч войска! Поистине можно было сказать, что, по греческой поговорке, «гора родила мышь». Такое странное поведение великого царя объясняется тем, что этоляне уверили его, что вся Эллада как один восстанет против своих угнетателей римлян, едва увидит его знамена. На деле же почти никто не восстал, кроме самих этолян. Римляне поспешно послали в Грецию войско под командованием консула Мания Ацилия Глабриона. В узком Фермопильском проходе, залитом благородной кровью трехсот спартанцев, римляне наголову разбили Антиоха, и сам он раненый, ошеломленный и пристыженный вскоре бежал из Эллады (191 год до н. э.).

Теперь началась для римлян долгая, трудная и скучная война с этолянами. Между тем в Риме все взоры снова обратились к Сципиону. Все понимали, что война с Антиохом не только не кончилась, но еще по-настоящему и не начиналась. Поражение ничтожного отряда даже и победой нельзя было назвать. Антиох казался страшен, как никогда. И кто же мог спасти Италию, если не Сципион? Но Публий не был консулом и потому не мог командовать армией. И вот римляне прибегли к следующему средству.

Был у Сципиона младший брат Люций. С ранних лет он оставался на попечении старшего брата, и Публий всюду брал его с собой — в Испанию, в Сицилию, в Африку. Это был человек ничем не примечательный и серый, хотя исполнительный офицер. В Риме его считали очень недалеким. Возможно, отчасти он был обязан этим своему слишком блестящему брату, рядом с которым тускнели и меркли скромные достоинства Люция. Беда в том, что Люций этого, видимо, не понимал и стремился во всем, в каждом слове, каждом жесте подражать старшему брату. Публий ходил в Сицилии в греческом платье. Люций распорядился поставить себе *статую*, облаченную в греческий костюм. Публий отправил венок на Делос, и Люций отправил точно такой же венок с точно такой же надписью и т. д.

Тем не менее Люций был не вовсе лишен достоинств, и Публий считал долгом старшего брата тащить его за собой



Малая Азия, Фракия, Крит

по лестнице общественной славы, хотя, говоря по совести, Люций был очень большой обузой и иногда должен был казаться Сципиону тяжкой гирей. Этого-то ничем не примечательного Люция и выбрали консулом (190 год до н. э.), с тем чтобы его сопровождал Публий и руководил всеми его действиями. «Он обещал, что поедет в Азию легатом при Люции Сципионе: старший при младшем, храбрейший при робком, человек величайшей славы при столь ею бедном» (*Val. Max., V, 5, I*)[75].

Никогда еще Рим не имел дела со столь могущественным врагом. Город содрогался от ужаса. Публий же был исполнен своей всегдашней уверенности. Перед отъездом он озаботился об одном: у подножия Капитолия он соорудил триумфальную арку для торжественного въезда после победы над Антиохом. Когда по Италии прошла весть, что Публий вновь командует армией, его ветераны стали записываться в его войско добровольцами, чтобы вновь сражаться под началом любимого полководца и воочию видеть его чудесные победы (*Liv., XXXVII, 3—4*).

Итак, в 190 году до н. э. оба Сципиона высадились в Греции. Антиоха уже не было в Европе, из врагов оставались одни этоляне. Как только Сципионы оказались в Элладе, к ним явилось посольство от афинян. Оно преследовало двоякую цель. С одной стороны, они хотели помочь этолянам и вымолить для них у римлян мир и прощение, а сами этоляне после истории с Манием Глабрионом поклялись не говорить ни с одним римлянином, кроме Тита Фламинина. С другой стороны, афиняне, как истые греки, были любопытны и теперь сгорали от желания видеть знаменитого Публия Африканского. Публий принял их со своей обычной светской любезностью. Он совершенно обворожил своих гостей, они заслушивались рассказами о его сказочных приключениях. Когда же наконец послы завели разговор о деле, Сципион уверил их, что для него не может быть ничего приятнее мира с этолянами. «Он видел в послах пособников своих замыслов, — пишет Полибий. — Дело в том, что Публий желал закончить дело с этолянами почетным миром. А если бы они отказались принять его условия, он решил совсем бросить эту войну и переправиться в Азию в том убеждении, что завершение войны и всего предприятия принесет не покорение этолийского народа, а торжество над Антиохом и утверждение римского владычества над Азией» (*Polyb., XXI, 4, 4—5*).

Афиняне вернулись в полном восторге и с жаром стали убеждать этолян ничего не бояться и довериться великоду-

шию римского военачальника. Но не так-то просто было сломить подозрительность этолян. Перед их глазами все время стоял Маний, и они видели себя в кандалах и ошейниках. Наконец скрепя сердце они отправились. Однако одного взгляда на Сципиона с его утонченной любезностью было довольно, чтобы рассеять все их подозрения. «Еще обходительнее, еще ласковее беседовал Публий с этолянами» (*Polyb., XXI, 4, 10*). Разумеется, поведение Сципиона, как небо от земли, отличалось от поведения грубого Мания Глабриона. Но манеры его не похожи были и на обхождение Тита, с которым этоляне вечно пикировались, вечно издевались один над другим и подкалывали друг друга. С Публием ни о чем подобном не могло идти и речи.

Стоило этолянам заикнуться о мире, как римский полководец уверил их, что это и его заветная мечта. Но заключить мир ему все-таки не удалось, ибо сенат считал этолян изменниками и слышать о них не хотел. Этоляне пали духом. Тогда Сципион предложил им вместо мира длительное перемирие, за время которого они могли бы послать посольство в сенат. На том и порешили. Теперь дела в Элладе были закончены.

Публий вызывал всеобщее восхищение и любопытство в Элладе. Греки по обыкновению рассыпались в льстивых любезностях, тем более что помнили, как благосклонно их слушал Тит, который позволил уставить все города Греции своими статуями (*App. Maced., 4*). И разумеется, его статуя украсила и ту площадь в Коринфе, где стояли все великие полководцы*. Но, как мы знаем, на все лестные и почетные предложения Публий отвечал вежливым, чуть насмешливым отказом.

Римляне спешили к переправе в Азию. Путь их лежал через дикую Фракию. Страна считалась почти непроходимой, и что хуже — тропы и теснины охраняли македонцы, властвовал над которыми Филипп, разбитый, но не примирившийся враг Рима. Трудно поверить, что этот изворотливый и хитрый властитель согласится провести через свою страну римлян. Но римским дипломатам удалось убедить царя помогать Республике против Антиоха. Поэтому Филипп обещал, что пропустит римлян через Фракию.

Когда войска подошли к македонским границам, Публий неожиданно остановился. В ответ на удивленный взгляд Люция его брат сказал, что Филипп кажется ему человеком

---

* *Bull. corr. hellén.* 1964. P. 607 и следующие; *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 287, n. 166.

непостоянным и коварным, поэтому он хочет послать кого-нибудь сейчас к царю, чтобы узнать его настроение. Ехать вызвался молодой офицер Тиберий Семпроний Гракх, человек, которому суждено было сыграть роковую роль в судьбе Сципиона. Тогда это был пылкий и смелый юноша. Мысль ехать одному к жестокому Филиппу, может быть, подвергнуться тысяче опасностей, чтобы спасти римское войско, чрезвычайно его увлекла. Он немедленно сел на коня и помчался к царю македонцев. Была уже ночь, когда Тиберий подъехал ко дворцу. Несмотря на поздний час, все окна были освещены огнями. Филипп по македонскому обычаю проводил время за пирушкой. Эти македонские пиры современники сравнивали с пиршествами лапифов и кентавров. Вина лились рекой. Сотрапезники хмелели и совершенно теряли голову. На одном из таких пиров Александр собственноручно умертвил своего лучшего друга Клита, на другом два сына Филиппа, теперешнего владыки, чуть не зарезали друг друга. Но раздумывать сейчас было поздно. Тиберий смело вступил во дворец.

Царь был уже наполовину пьян, но настроен миролюбиво. Когда же он услышал, что в нескольких милях от него находится знаменитый Сципион Африканский, он воскликнул, что жаждет видеть у себя на пиру такого почетного гостя. Вот как случилось, что несколько часов спустя Сципион и Филипп Македонский очутились за одним столом. Публий завязал с Филиппом разговор, который чрезвычайно увлек царя. Филипп был очарован римлянином. Он держался со своим знаменитым гостем с удивительным тактом. Публий впоследствии говорил, что Филипп принимал его с необычайной светской любезностью, без тени грубой роскоши и раболепия, которые внушали Сципиону отвращение (*Liv., XXXVII, 7*). Разговор зашел о Новом Карфагене. Филипп очень интересовался и недоумевал, как Публий взял его. Римлянин обещал описать царю штурм во всех подробностях. И он сдержал слово. Через некоторое время Филипп получил от Сципиона письмо с подробным рассказом об этом чудесном событии (как знает уже благосклонный читатель, это письмо держал в руках и изучал Полибий, но — увы! — не пожелал привести его в своей «Истории»)*.

---

* Одно из двух: либо Полибий, ближайший друг Сципиона Эмилиана, обнаружил черновик письма Публия Африканского в фамильном архиве, либо он нашел подлинник этого письма в библиотеке македонских царей, которая была подарена Эмилием Павлом тому же Сципиону Эмилиану.

Филипп простер свою любезность до того, что взялся лично сопровождать своих гостей. «Он провел их через Фракию и Македонию по тяжелой дороге на собственные средства, доставляя продовольствие, прокладывая дороги и на труднопроходимых реках наводя мосты... пока не довел их до Геллеспонта» (*App. Maced., 5*).

Итак, в тылу у Сципиона вместо враждебных этолян и Филиппа были друзья. Теперь он желал приобрести союзников в Азии. Он вступил в переписку с вифинским царем Прусией, и, конечно, ему не стоило никакого труда добиться его дружественного нейтралитета (*Polyb., XXI, 11*). Тем временем римский флот нанес страшный удар Антиоху. Тот бежал, покинув Лисимахию и Дарданеллы. Теперь дорога была свободна, и римляне пересекли пролив и вступили в Азию.

Антиох никогда не думал, что римляне последуют за ним в сердце его царства, Азию. Его угодливые царедворцы льстили ему, превозносили его могущество и убеждали, что враги никогда не отважатся на столь безумно смелое предприятие. Один Ганнибал, как всегда мрачный, как ночь, со зловещей улыбкой говорил, что удивляется, почему это римлян нет еще сейчас здесь, с ними (*Liv., XXXVI, 41*). Теперь великий царь находился в самом удрученном состоянии. «Он совсем пал духом, считая, что против него действует злой рок. Все идет против его ожиданий»: он думал, что Эллада восстанет, а она поддержала римлян, «Филипп провел римлян по непроходимым дорогам, а он думал, что Филипп пылает мщением за то зло, которое претерпел от римлян. Всем этим он был приведен в расстройство, а божество, как обычно случается во время несчастий, лишило его способности здраво рассуждать... Как пораженный от божества слепотой», он начал стремительно отступать (*App. Syr., 28*).

Молниеносные действия римлян сломили дух царя. Узнав, что враги уже в Азии, он немедленно послал своего доверенного приближенного Гераклида в римский лагерь. Официально он послан был ко всему военному совету, реально — к одному Публию Африканскому. Царь прекрасно понимал, кто на деле командует римской армией. Имя Сципиона обнадеживало: весь мир знал его великодушие. «Всем народам было известно, каким победителем показал он себя в Испании, а потом в Африке» (*Liv., XXXVII, 35*). Кроме того, у Гераклида было тайное поручение к Публию. Посла поразило, что римляне, пронесшиеся через Фракию, словно на крыльях, сейчас стоят неподвижно и проводят время в праздном бездействии. Сначала это его очень приободрило.

Но вскоре он узнал причину: оказывается, в лагере не было главнокомандующего Публия Сципиона. На вопрос, где он, последовал ошеломляющий ответ — остался в Европе. Когда посол осмелился спросить, что за важные обстоятельства заставили главнокомандующего оставить войско, римляне очень спокойно отвечали, что Публий — *салий**, сейчас настал март, и целый месяц он должен исполнять религиозные обряды. Грек, воспитанный в модном безверии, был поражен набожностью римлян. Говорить было не о чем: без Публия военный совет не собирался и решения не принимались.

Наконец истек месяц и Сципион появился в лагере. Посол изложил поручение царя. Консул отвечал, что может заключить мир, только если царь откажется от всей Малой Азии и заплатит римлянам контрибуцию. Посол был неправомочен принять эти условия. Поэтому он приступил к выполнению своей тайной миссии. «Воспользовавшись удобным случаем, Гераклид сообщил Публию, что ему было поручено, именно: что, во-первых, царь отпустит ему сына без выкупа. Дело в том, что сын Сципиона попал в плен к Антиоху в самом еще начале войны. Во-вторых, что и теперь царь готов заплатить ему столько денег, сколько Публий назначит сам, и впоследствии царь предоставит ему в пользование свою казну, если он поможет принятию предложенных царем условий. Публий отвечал, что ему приятно предложение царя относительно его сына и он будет весьма признателен, если царь выполнит свое обещание. Во всем прочем царь заблуждается, сказал Публий, и в переговорах с ним лично, и с военным советом...

— Являться с предложением мира на равных условиях теперь, когда царь не помешал нашим войскам вступить в Азию, дал себя не только взнуздать, но и оседлать, — значит наверное потерпеть неудачу и обмануться в ожидании...

В награду за выдачу сына Публий обещал дать совет, стоящий предлагаемой милости: согласиться на всякое условие и ни в коем случае не воевать против римлян» (*Polyb., XXI, 14—15*). С этим неутешительным ответом посол воротился к царю.

Антиох, по словам Полибия, решил, что и после поражения ему не смогут продиктовать более тяжелых требований, а потому стал готовиться к бою. Однако надо было решить, что делать с сыном своего врага. То был младший сын Сципиона, Люций, мальчик не старше пятнадцати лет. Как и когда он попал в плен царю, неизвестно. Ясно только, что в от-

---

* См. книгу первую, главу третью, «Молодой повеса».

сутствие отца, бывшего тогда в Европе*. Одно известно точно: когда Люция отвели к Антиоху, он осыпал его милостями, «нельзя было обойтись с мальчиком ласковее и радушнее и оказать ему больший почет, чем тот, который ему был оказан» (*Liv., XXXVII, 34*). Конечно, таким обращением Люций был обязан визиту, который отец его три года назад сделал Антиоху. Однако уважение к Сципиону не помешало царю не только попытаться купить у него мир — это было в обычаях того времени, — но даже начать шантажировать его, пользуясь тем, что в его руках находился Люций. Но гордый, даже надменный ответ римского полководца произвел на Антиоха неожиданное действие: он не только не попытался отомстить, но тут же велел отвезти мальчика к отцу. Очевидно, ему стало стыдно перед Публием и он поспешил доказать ему, что он, Антиох, благородством не ниже Корнелия Сципиона[76].

Битва при Магнесии. 190 год до н. э.

Оба войска встретились на большой равнине у Магнесии. Армия Антиоха поражала своими огромными размерами и живописностью. В самом деле, то была колоссальная разноплеменная масса, где слышалось много языков и наречий: тут были и фракийцы, и фригийцы, ликийцы, памфилы, писидийцы, критяне, киликийцы, каппадокийцы, арабы и много иных народов. Войско являло собою как бы выставку всех достижений военной техники, начиная от ассирийских времен и кончая самыми последними. В центре находилась мощная фаланга, построенная по заветам Александра, а на флангах — сильная и многочисленная конница, среди которой знаменитая *агема*, отборная гвардия македонских царей. Наряду с этим была огромная толпа копейщиков, пращников и лучников. Были арабы на быстрых, как ветер, верблюдах, вооруженные луками и узкими длинными саблями. Были, наконец, и боевые слоны. Римлянам, многие из которых никогда еще не видели фалангу, она показалась подобна грозной стене, слоны же — возвышающимся над ней башням. Кроме того, на равнине стояли серпоносные колесницы, заимство-

---

* «Одни рассказывают, как в начале войны, направляясь морем из Халкиды в Орей, он был окружен царскими кораблями, другие же утверждают, будто это случилось уже после перехода в Азию, когда он с отрядом конников-фрегелланцев был послан на разведку к царскому лагерю, но оттуда навстречу им вылетела конница, и римляне начали отступать; Сципион в этой суматохе свалился с коня и был вместе с двумя другими конниками схвачен и доставлен к царю» (*Liv., XXXVII, 34*).

ванные у древних персов. К ним прикреплены были длинные, острые косы, которые калечили пехотинцев и перерезали ноги коням. Вот почему это пестрое, красочное воинство в необыкновенно пышном вооружении более напоминало многолюдное ополчение Ксеркса, чем современную армию.

Незадолго перед битвой царь устроил смотр своим силам. Он стоял на пригорке, а рядом с ним по обыкновению — угрюмый Ганнибал. Перед ними бесконечными потоками проходили боевые колесницы с блестящими серпами, слоны с башнями на спине, конница и пехота. И на всем этом — на уздечках, упряжи, оружии — ярко сверкало золото. Антиох, совсем павший духом в последнее время, глядя на всю эту силу и великолепие, постепенно утешился и с самодовольной улыбкой, повернувшись к Ганнибалу, спросил:

— Как ты полагаешь, достаточно ли всего этого для римлян?

— Достаточно, вполне достаточно всего этого для римлян, хоть они и очень жадны, — с ядовитой усмешкой отвечал Ганнибал (*Gell., V, 5*). Так оценил пуниец боевые силы царя.

С восходом солнца началась битва. У Антиоха было около восьмидесяти двух тысяч (по Аппиану) или семидесяти двух тысяч (по Ливию) воинов; у римлян — не более тридцати тысяч (*App. Syr., 32; Liv., XXXVI, 14; XXXVII, 2, 37*). Бой был долгим и упорным. Но к концу дня все войско царя рассеялось как дым. Рассказывают, что сами римляне были поражены этой невероятной победой. И такова была сказочная слава царя Антиоха, что «теперь у римлян явилась гордая уверенность, что для них нет ничего неисполнимого благодаря их доблести и помощи богов. И они поверили в свое счастие, ибо они, столь малочисленные, победили столь многих, причем сразу, в первой же битве, в чужой земле, полной стольких народов, сокрушили все приготовления царя, доблесть наемников, славу македонцев и самого царя, приобретшего величайшую державу и прозванного Великим, — и все это в один день. И как песнь звучали для них слова: "Был царь Антиох Великий"» (*App. Syr., 37; 30—37; Liv., XXXVII, 39—43*).

Заключение мира

Античные авторы передают, что Сципион заболел и не участвовал в битве, хотя, быть может, это совсем не отвечает действительности[77]. Во всяком случае, сразу же после сражения он явился в римский лагерь, туда же отправил послов Антиох просить мира. Царь имел все основания ожидать са-

мых тяжелых требований от своих недавних противников. Но Публий вышел к послам и от имени всего военного совета сказал следующее:

— Никогда победа не делала римлян не в меру требовательными, а поражение слишком уступчивыми. Вот почему и теперь послам Антиоха будет дан такой же ответ, что они получили раньше, до сражения.

Условия, продиктованные царю Публием, были точно такими же, что и предложенные им в свое время Карфагену, а позже Титом — Филиппу. Царь должен очистить всю Малую Азию вплоть до Тавра, причем территория частью освобождалась, частью передавалась союзнику Рима Пергаму. Флот царя сокращался до десяти кораблей, а армия лишалась боевых слонов. Царь выплачивал Риму большую контрибуцию и становился «другом римского народа» (*Polyb., XXI, 17*).

Одним из условий договора с Антиохом была выдача карфагенянина Ганнибала. Однако пуниец не стал ждать подписания мира и бежал из Азии. Сципион, как кажется, не сделал ни малейшей попытки его поймать, так что создается впечатление, что он бежал при молчаливом одобрении Публия.

Освободившись от дел, Сципион снова с удовольствием и любопытством осмотрел Азию. На сей раз вместе с братом, который по-прежнему копировал каждое его движение. Он осмотрел знаменитые города Азии, объездил чуть ли не весь Крит*, снова посетил Делос, который, очевидно, произвел на него сильное впечатление. Там приняли его очень торжественно, так как он успел оказать общине делосцев какие-то важные услуги. Делос казался островом-музеем. Он полон был паломниками со всех концов света. В святилище стояли великолепные дары от царей, городов и частных лиц, которые стремились перещеголять друг друга блеском приношений. Почти нет сомнений, что, прохаживаясь по храму, Публий увидел и дары Тита Фламинина, который еще в Греции рассылал приношения во все знаменитые святилища и вряд ли обошел своим вниманием Делос. Зная Тита, не приходится сомневаться, что он и тут изъяснялся пышными стихами, именуя себя «великим» и «божественным».

---

* Он был в Гортине и Аптере. Жители Аптеры заключили *проксению* с Публием и Люцием Сципионами. Проксенами назывались у греков те лица, которые, будучи чужеземцами, оказывали государству важные услуги. За это они получали почетное звание *проксенов*, соединявшееся с разными привилегиями (*Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 61).

Можно себе представить, с какой презрительной улыбкой читал подобные надписи Корнелий, который отказался от статуй в Греции и Риме. Он также поднес Аполлону золотой венок. Покоритель Испании, Африки и Азии написал на нем всего пять слов: «Публий Корнелий, сын Публия, римлянин»*. Так Сципион вновь отказался «ходить в толпе».

В Азии Публий совершил еще один в высшей степени эксцентричный поступок. На берегу Геллеспонта римляне отыскали маленький город Илион — все, что ныне осталось от «широкоулочной» Трои. Подойдя к его стенам, римляне объявили, что они потомки троянцев и пришли засвидетельствовать свое почтение прадедам. Жители Илиона высыпали на стены. Их охватили восторг и изумление. Они говорили, что теперь они нисколько не жалеют о гибели Трои, раз у них благодаря этому появились потомки, которые владеют миром (*Liv., XXXVII, 37*). Этот маленький эпизод показывает, насколько «Илиада» или ее латинские переложения модны были в тогдашнем Риме. Тит постоянно именует себя Энеадом, Публий идет отыскивать свою прародину Трою. Возможно, тут видно влияние Энния, его анналов или многочисленных пьес из гомеровского времени, которые он поставил в Риме.

Идеи Сципиона об исторической миссии Рима

Битва при Магнесии изменила лицо тогдашнего мира. Всего около десяти лет назад греки узнали римлян, и вот они уже владыки вселенной. Если бы во времена битвы при Каннах, когда Филипп и Антиох лелеяли честолюбивые планы, так вот, если бы в то время какой-нибудь гадатель предсказал им, что пройдет несколько лет — и они будут повиноваться безвестным западным варварам, то уж, конечно, они отмахнулись бы от этого пророчества, как от пустого вздора. Ибо «римляне, — говорит Полибий, — пережили столь быструю и решительную перемену в своем положении, как ни один другой из современных народов» (*VI, 1, 7*). Полибий, современник и свидетель этих поразительных событий, можно сказать, так и не может опомниться от изумления. «Римляне, — пишет он, — покорили своей власти весь известный мир, а не какие-нибудь его части, и подняли свое могущест-

* См. статью M. Holleaux в журнале Hermes. 1913. P. 75 ff.; *Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 286, 287.

во на такую высоту, которая немыслима была для предков и не будет превзойдена потомками» (*I, 2, 7*).

С невероятной стремительностью они нанесли удар за ударом и одно за другим сокрушили могущественнейшие государства — Карфаген, Македонию, царство Селевкидов. У них не было теперь соперников, все народы склонились перед великой Республикой. «Все единодушно признали теперь необходимость повиноваться римлянам и покориться их велениям» (*Polyb., III, 4, 3*).

Сципион не просто сыграл в этом внезапном взлете Рима большую роль: современникам часто казалось, что все римское могущество создано им одним. Один его враг с горечью говорил: «Теперь Греции, Азии и всем восточным народам ясно то, в чем давно уже убеждены были Испания, Галлия, Сицилия и Африка — а именно, что Сципион один — глава и опора римского владычества, что под сенью Сципиона укрывается государство, владычествующее над вселенной» (*Liv., XXXVIII, 51*).

Но Сципион был не просто великим полководцем, завоевавшим Риму новые земли. Он не был мечом сената и народа. Нет. И сейчас я подхожу к самому главному. Когда я говорила ранее, что Сципион совершенно отошел от дел, что политика перестала его интересовать, это было правдой, но только отчасти. Верно, что Публия не волновали дрязги в сенате. Верно, что он не стремился выслужиться перед народом. Он не хотел, подобно Варрону и Фламинию, уменьшить власть сената или, как некоторые нобили, принизить народ. Но все-таки он думал о политике, но политике иной. Он мечтал о великой миссии Рима и сам своими руками помог ему стать на то место в мире, которое он должен был занимать согласно его замыслам. Он сам осуществил свои планы, а родились они, вероятно, еще задолго до Замы. И он дожил до того, как его мечта стала плотью. Что же это была за мечта? *Рим должен властвовать над миром.* Но как властвовать? Каковы должны были быть они, эти законы, которые Рим даст человечеству?

Даже поверхностного взгляда довольно, чтобы разглядеть, что все мирные договоры, заключенные в то время, как две капли воды похожи друг на друга. Все они являются копиями договора с Карфагеном. Все они отражают одну политическую линию: Тит при этом ссылается на Сципиона, Сципион — на Тита. В результате этих договоров великие империи — Карфаген, Македония, держава Селевкидов — сохраняли полную внутреннюю свободу, не принимали в свои города иноземных гарнизонов, не платили дани, не ме-

няли своей конституции, не подчинялись римскому наместнику, но сокращали до минимума свою армию и флот и фактически лишались права вести войны. Все отнятые у них территории — Ливия, Греция и Малая Азия — не становились собственностью Рима, но получали свободу и всячески укреплялись. Вместо отдельных степных лоскутных княжеств возникают Великая Ливия Масиниссы, Греция получает свободу и оберегается Римом, царство Пергам становится мощным государством* [78].

Вместо дани побежденные империи выплачивали *контрибуцию*. Она рассчитана была на несколько десятилетий и должна была залечить страшные раны, нанесенные Италии Ганнибалом. Через 30—40 лет, то есть к тому времени, когда Рим должен был окончательно оправиться, прекратился бы и приток золота из Средиземноморья.

Публий очень обстоятельно разъяснял свои взгляды иноземным народам и обосновывал свою позицию. Во время войны с Антиохом он написал много «открытых писем», которые носят характер прокламаций, где он формулирует основные принципы внешней политики Рима**. Вот как Полибий пересказывает одно из них. Сципион пишет, что «римляне ни одного из наследственных царей не лишали власти, напротив, сами восстановили некоторых владык и пределы их могущества расширили. В ряду этих имен они*** называли Андобалу и Колиханта в Иберии****, Масиниссу в Ливии... Точно так же в Элладе поступили они с Филиппом и Набисом. Что касается Набиса, то, имея возможность погубить его вконец, римляне не сделали этого, оказавши ему пощаду, хотя и тирану, и только возложили на него *обычные* обязательства»***** (курсив мой. — *Т. Б.*) (*Polyb., XXI, 11, 4—10*).

---

* Вот почему освобождение Греции не было обманом, как не было обманом возвеличение Масиниссы. Ведь фактически римляне предоставили свободу и Ливии, порабощенной и униженной карфагенянами, хотя, разумеется, было бы глупо устанавливать у нумидийцев демократию. Они объединились под властью национального царя, то есть получили свойственное им правление.

** Нам известны по крайней мере четыре письма Сципиона: Филиппу Македонскому, Прусии Вифинскому, общинам Гераклеи и Колофона. Первое не сохранилось, фрагменты второго приводит Полибий, два последних дошли на эпиграфических памятниках.

*** Все письма подписаны обоими Сципионами — главнокомандующим Люцием и Публием.

**** См. примечание 76.

***** Набису были продиктованы такие же условия, как и карфагенянам, Филиппу и Антиоху. Публий называет их обычными.

В другом письме читаем: «Люций Корнелий Сципион, главнокомандующий римлян, и Публий Корнелий передают привет сенату и народу Гераклеи... Мы дружественны ко всем эллинам, а так как вы отдались на нашу милость, мы постараемся сделать все возможное для вас и постоянно быть вам полезными. Мы даруем свободу вам и всем другим государствам, которые вручили себя нам, мы даем им автономию во всех делах, и во всех других отношениях мы постараемся постоянно вам помогать. Мы получили от вас выражения и обещания доброго расположения и постараемся, чтобы никто не превзошел нас в благодарности»*. Подобные же заявления есть и в письме к колофонянам, подобные же речи говорил Сципион этолянам и афинянам в Греции.

Таким образом, установился *Pax Romana*, римский мир. Войны между великими державами прекращались: цари их лишились клыков и когтей. Все споры решал Рим. Новые национальные государства видели в Риме своего защитника и покровителя. Замечательно, что все дела Рим старался решать в пользу слабых и обиженных. Полибий объясняет это не только интересами политики, но и национальным характером римлян. «Как люди одаренные возвышенной душой и благородными чувствами, римляне соболезнуют всем несчастным и спешат услужить всякому, кто прибегает к ним за покровительством» (*XXIV, 12, 11—12*). Возможно, в этом следует видеть и свойство характера Сципиона.

Мы не знаем, каким образом Сципиону удалось увлечь своей идеей Рим. Именно *увлечь,* ибо все были увлечены, увлечены настолько, что даже отбросили холодную важность, которую римляне так любили напускать на себя. Но победа далась не без борьбы. Нетрудно заметить, что все планы Сципиона натыкаются на глухое сопротивление, что их принимают вначале так же, как некогда план его Африканской экспедиции. Римляне не хотели ни одной из войн. Они не желали воевать с Македонией, и убедили их вовсе не мысли о мировом господстве, их высокой миссии и свободе Греции, а страх, что Филипп нанесет им предательский удар в спину. Не хотели они воевать и с Антиохом. Тянули до последнего целых пять лет. Ливий признает, что за год до начала военных действий в Риме хотя и говорили об Антиохе как о враге, но даже не готовились к войне, то есть надеялись, что столкновения как-нибудь удастся избежать (*Liv., XXXV, 20*). Видимо, людей старого поколения так же трудно было убедить, как некогда Фабия Максима.

---

* *Ditt.*[3], 618.

Вероятно, споры кипели тогда везде — на Форуме, в тавернах, в Курии. Зная Публия, трудно, однако, представить, чтобы он полемизировал в сенате. Вряд ли он даже излагал свои взгляды в Курии. Но, быть может, дома, в кругу друзей он развивал свои любимые идеи. Во всяком случае, мы видим в ту эпоху множество его последователей, если так можно выразиться, целую школу. Даже грубый Маний Глабрион, благоговевший перед победителем Ганнибала, стал горячим адептом его идей. Но самым блестящим среди его учеников был, конечно, Тит. То не был кружок близких друзей: Сципиона и Фламинина, скажем, дружба не связывала. Это были люди, проникнутые одной идеей. И они осуществляли единую политику.

Греция в их замыслах занимала совершенно особое место, ибо все они горячо восхищались этой страной. Попытки перенести в Рим эллинскую культуру, о которых мы говорили в первой главе, и внешнеполитические шаги были частями одного единого плана. Не только блистательный Тит, но и неотесанный Глабрион вслед за Лелием дает театральные игры, воздвигает статуи, а в Греции перед воинами повторяет речи, которые, должно быть, слышал от своего кумира. Он призывает бороться за свободу эллинов и говорит:

— Вам надлежит помнить, что воюете вы не только за свободу Греции, хотя и это было бы величайшей честью (*sic!*)... Римскому господству откроется Азия, Сирия и все богатейшие царства, простирающиеся вплоть до восхода солнца. А после что нам помешает от Гадеса до Красного моря раздвинуть границы римской державы вплоть до Океана, что окаймляет земной круг? И весь род людской станет чтить имя римлян вслед за именами богов! Да будут души ваши достойны подобной награды (*Liv., XXXVI, 17*).

Но Сципион хотел автономии не только для эллинов. С юности живя среди так называемых диких народов, он вступил с ними в теснейшую дружбу. Его связывали чуть ли не братские узы с ливийцем Масиниссой и детьми испанских владык. Он, по словам Г. С. Кнабе, относился «с демонстративным уважением к традициям, верованиям и достоинству союзников и провинциалов. Он отпускал по домам пленных, устраивал свадьбы испанских вождей, обедал у африканских царьков и серьезно беседовал со своим многолетним противником Ганнибалом... Уничтожение побежденных противников казалось ему самой примитивной и недальновидной тактикой... Сципион действовал в живом многообразном мире, населенном бесконечным количеством наро-

дов, среди которых Риму надлежало занять первое место»*. Пожертвовать всем этим многообразием, обратить все в безликие части империи Публий не хотел, а потому дал независимость Масиниссе, дал бы, вероятно, ее и Испании, если бы ему позволили.

Система эта вступила в действие после Магнесии. Одним словом, римляне прекращали теперь распри между царями. Однажды, узнав о войне Пергама и Вифинии, римские послы явились, чтобы окончить ее. Когда они изложили свои требования царю Вифинии, он смутился. Одни условия принимал, другие отклонял. Тогда послы, потеряв терпение, повернулись к нему спиной и пошли прочь. Царь кинулся за ними и со слезами умолял вернуться. Римляне остались непреклонными и так и не обернулись. Нужно ли говорить, что через несколько дней царь принял все их условия (*Polyb., XXXIII, 12—13*).

В другой раз римляне вели себя еще резче. Антиох Эпифан, знаменитый герой книги Маккавеев, напал на своего старинного врага Египет и, пользуясь малолетством Птолемея, готовился захватить эту колоссальную и богатейшую державу. Внезапно предстал перед ним римский посол. Антиох протянул ему руку, но римлянин не принял его руки, а вместо того подал царю таблички с письмом от сената. Взглянув на таблички, царь объявил, что хочет обсудить и обдумать предъявленные требования. Тогда римлянин обвел вокруг Антиоха круг на песке и велел отвечать, не выходя из этого круга. Царь после минутного колебания сказал, что исполнит все приказы римлян. Тогда римлянин протянул царю руку и тот ее пожал. Письмо от сената гласило: «Прекратить немедленно войну с Птолемеем» (*Polyb., XXIX, 27, 1—7*).

Сенат напоминал теперь дом знатного человека: тот, бывало, еще не проснется, а в прихожей уже теснятся просители и клиенты. Так и у дверей сената еще до открытия толпились цари, униженно добиваясь приема. Один из царей, Прусия Вифинский, вползал в Курию на четвереньках в рабском наряде (*ibid., XXX, 19; 20, 1*). Могущественнейшие цари были подданными и клиентами римлян.

Этой удивительной политикой объясняется то восторженное почитание, которое испытывали в это время греки к римлянам. Это было время какого-то общего опьянения и упоения. Римляне были героями дня. О них могли говорить и рассказывать непрерывно. Их имя окружено было ореолом легенд. «В поступках ваших вы преследуете совсем не такие

---

* *Кнабе Г. С.* Корнелий Тацит. М., 1981. С. 128.

цели, как прочие народы, — говорят им родосцы. — Так всякий другой народ поднимает войну из жажды порабощения и захвата городов, денег, кораблей. Во всем этом вы по воле богов не имеете нужды, ибо боги подчинили вашей власти все, что есть на земле... Ради освобождения эллинов вы вели войну с Филиппом и приняли все тяготы войны. Свободу эллинов вы поставили своей целью, а она одна, и ничего больше, осталась вам наградою за войну. Этому трофею вы радовались более, чем дани карфагенян, и совершенно правильно. Деньги — обычное достояние всех народов, тогда как доблесть, слава и почет — удел богов и тех людей, которые по природе своей приближаются к богам» (*Polyb., XXI, 23, 2—9*).

Слова эти сказаны после победы над Антиохом, и из них видно, насколько потрясли эллинов те необычные условия, которые диктовали римляне побежденным врагам. Ни территории, ни дани — все остается другим! Стоит только прочесть Полибия, чтобы увидеть, что речь родосцев — это вовсе не обычная у греков лесть. Сам Полибий, человек тончайшего ума, необыкновенной проницательности и совершенной честности, согласен с родосцами и высказывает подобные же мысли относительно римлян. «Римляне, — пишет Плутарх, — ...заслужили не только похвалу, но приобрели всеобщее доверие и огромное влияние — и по справедливости. Римских магистратов не только охотно принимали, но и сами приглашали их, им вверяли судьбу не только народы и города — даже цари, обиженные другими царями, искали защиты у римлян, так что в скором времени... все стало им подвластно» (*Flam., 12*).

Вести об этом удивительном народе дошли до иудеев, живших на окраинах цивилизованного мира. В книге Маккавеев читаем:

«Иуда услышал о славе римлян, что они могущественны и сильны и благосклонно принимают всех обращающихся к ним, и кто ни приходил к ним, со всеми заключили они дружбу... С друзьями своими и с доверившимися им они сохраняют дружбу; и овладели царствами ближними и дальними, и все слышавшие имя их боялись их. Если захотят кому помочь и кого воцарить, те царствуют, а кого хотят, сменяют, и они весьма возвысились. Но при этом никто из них не возлагал на себя венца и не облекался в порфиру, чтобы возвеличиться ею... Не бывает ни зависти, ни ревности между ними» (*1, 8, 1, 12—14, 16*).

Но вести такую политику было очень трудно. Она требовала постоянного напряжения всех сил. Трудно было брать

на себя все тяготы войны, а потом уступать захваченное другим. Трудно было пощадить страшного и упорного врага, которого наконец-то удалось сокрушить. Трудно было всегда находиться в курсе всех событий, ежедневно выслушивать десятки посольств и вникать в их мелочные требования. А самое трудное было всегда стоять на высоте своей миссии и являться народам и царям некими полубогами, как желал Сципион. При этом цари доставляли меньше хлопот, чем свободные греки. С царями римляне особенно не церемонились. Иное дело эллины. С каждым городом надо было быть любезным и не оскорбить его национального достоинства. А для этого нужны были необыкновенный такт и искусство. Гораздо проще было бы ввести в страну войска, навести там мир и порядок и получить самим большую выгоду.

Но все это осознали позднее. Сейчас весь Рим был в восторге. Победители были щедро вознаграждены. Солдаты получили двойную плату. Люций отпраздновал великолепнейший триумф: в торжественном шествии несли груды золота, серебра и изображения азиатских городов чуть ли не в натуральный размер. После триумфа он попросил разрешения именоваться *Азиатским*, подобно тому как его брат называется Африканским*. Был только один человек, который не получил ничего от этой сказочной победы. То был сам Сципион — виновник торжества. Ведь он был частным человеком, когда одержана была победа при Магнесии. Издали смотрел он, как через построенные им триумфальные ворота движутся тяжелые аляповатые сооружения Люция. И не только не получил он доли в почете, ему угрожали величайшие опасности и преследования.

Как могло случиться, что спаситель Рима подвергся травле и гонениям?! Для того чтобы объяснить это, надо вернуться далеко назад и рассказать об одном современнике Сципиона.

---

* Кстати сказать, другой представитель дома Корнелиев получил имя *Испанский*, хотя всем было хорошо известно, что все эти имена принадлежат только одному человеку — Публию Сципиону.

Глава четвертая

КАТОН

Тому, что казалось мне нужным,
Ты вовсе не был рад,
И то, что зовешь ты жизнью,
Я называю — разврат.

Р. Киплинг

Бич новых нравов

Человека, которому суждено было сыграть роковую роль в жизни Сципиона, звали Марк Порций Катон Старший. Он был почти ровесник Публия[79], но родился не в знатном и старинном аристократическом доме, как этот последний, а в семье простого крестьянина, в маленьком провинциальном городке Тускулуме. Внешность Катона прекрасно характеризует следующая эпиграмма:

Порций был злым, синеглазым и рыжим*.

Смолоду он отличался железным здоровьем, никогда ничем не болел, дожил до девяноста лет и перед смертью имел сына. Он жил в своем простом деревенском домике, обрабатывал землю вместе с рабами в грубой тунике или нагой. «Уже с ранней юности я обуздывал себя, приучив к бережливости, суровости, трудолюбию, перепахивая сабинские скалы, вскапывая и засеивая булыжники», — писал он (*Cato. Orat., fr. 128*). Катон славился как отличный хозяин. Мало было столь расчетливых и домовитых людей, как он. Он все делал сам: умел и пирог испечь, и поле вспахать, и дать больному волу лекарство.

Все это привлекло к нему внимание знатного соседа Валерия Флакка, патриция, чья земля граничила с полем этого сурового крестьянина. Можно не сомневаться, что Катон вел свое хозяйство лучше и извлекал из своей скудной землицы доход больший, чем Валерий. Как бы то ни было, они познакомились. Флакк был в восторге: грубая простота Катона, его суровость и честность пленили его. Ему казалось, что он видит живого Мания Курия. Дело в том, что неподалеку стоял бедный деревянный домик этого героя, тот са-

---

* В подлиннике Катон назван «огненно-рыжим, кусучим (*πανδακετην*) и голубоглазым».

мый, где он, если верить преданию, варил репу в глиняном горшке, когда явились, чтобы подкупить его золотом, послы самнитов. Маний же отвечал им, что предпочитает иметь одну репу в простом горшке, но повелевать людьми, владеющими золотом. Указывая на этот домик, Катон говорил Флакку, что Маний Курий для него образец и идеал.

Валерий решил перевести это чудо в Рим. Вот как случилось, что Катон, «выйдя из маленького городишки, оторвавшись от грубой деревенской жизни, бросился в необъятное море государственных дел Рима» (*Plut. Cat. mai., 28*). Катон очутился в кругу римской аристократии, в кругу, ему глубоко чуждом и враждебном. Все эти Корнелии, Эмилии и Квинктии были утончены и изящны, их отцы, деды и прадеды были в Риме консулами и триумфаторами, и они держали себя как наследные принцы. Они привыкли беседовать с царями, а клиентами их были целые города и государства. С восемнадцати лет они командовали войсками. Все это придавало их манерам то гордое спокойствие, которое так поражало иноземцев. Недаром один грек, побывавший в римском сенате, заметил: «То было собрание царей».

На Катона смотрели как на выскочку, «*нового человека*», неотесанного деревенского жителя, и он навсегда запомнил их высокомерие. Впоследствии, когда он был уже консуляром и цензорием, у него вырвались горькие слова: «Вы говорите, что родосцы горды. Это обвинение я менее всего желал бы услышать по отношению к себе и своим детям... Но неужели вы сердитесь, что есть на свете кто-то более гордый, чем мы?» Комментируя это место, Авл Геллий замечает: «Решительно ничего нельзя возразить более веского, более сильного, чем этот укор, обращенный к самым гордым людям на свете» (*Gell., VI, 3*).

После Второй Пунической войны римская аристократия стала окружать себя роскошью, блеском, изысканным великолепием. Начали жить на широкую ногу, жилища свои украшали греческими статуями и картинами, заказывали дорогие обеды, изящно одевались, устраивали веселые театральные игры, декламировали греческие стихи. И вот среди всего этого блеска, среди великолепных коней с пурпурными чепраками, среди ослепительных колесниц, среди изящных дам в тончайших платьях со шлейфами, среди волн завитых кудрей и аромата духов резко выделялась пуритански суровая темная фигура Катона. Все это милое возрожденческое веселье он назвал мерзостью и объявил ему войну.

Они жили в роскошных виллах с мозаичными полами (*Cato. Orat., fr. 185*), а его дом был даже не отштукатурен (*Plut.*

Cat. mai., fr. 4). Они пили из изящных греческих сосудов —у него не было ни одной вазы (*Cato. Orat., fr. 174*). Они заказывали себе обеды у поваров, за рыбу платили дороже, чем за быка (*ibid., fr. 145*) — он ел только самую дешевую крестьянскую пищу (*Cato. Orat., fr. 53; Plut. Cat. mai., 4*). Они пили дорогие вина, он — тот же напиток, что бедняки-гребцы (*Cato. Orat., fr. 53, 182*). «Катон сам говорит, что никогда не носил платья дороже ста денариев, пил такое же вино, как его работники, припасов к обеду покупал всего на 30 ассов, да и то ради государства, чтобы сохранить силы для службы в войске» (*ibid.*). Да, среди них он и впрямь казался одним из оживших бородатых консулов, который то проклинает, то отечески вразумляет развращенных внуков.

Катон обрушился со всей силой своего красноречия на все то, что он называл «*новые нравы*», которые мы описали в главе первой. Главными своими врагами он почитал роскошь, новые легкие нравы и все греческое. Он ненавидел греков и «смешивал с грязью всю греческую науку и образование» (*Plut. Cat. mai., 23*). В наставлениях к сыну он писал: «В своем месте я расскажу тебе, сын мой Марк, то, что я узнал об этих греках в Афинах по собственному опыту, и докажу тебе, что сочинения их полезно просматривать, но не изучать. Эта раса в корне развращена. Верь мне: в этих словах такая же правда, как в изречениях оракула: этот народ все погубит, если перенесет к нам свое образование» (*Plin., N. H., XXIX, 14*).

Над греческими философами он издевался, Сократа называл пустомелей (*Plut. Cat. mai., 23*). «Пусть философы ведут ученые беседы с детьми эллинов, а римская молодежь по-прежнему внимает законам и властям», — говорил он (*ibid., 22*). Он клеймил позором людей, любующихся греческими статуями и картинами (*Cato. Orat., fr. 94, 95; Liv., XXXIV, 4*), призывал изгнать из Италии всех греков (*Plin. N. H., VII, 113*) и предрекал, что «римляне, заразившись греческой ученостью, погубят свое могущество» (*Plut. Cat. mai., 23*).

Его великая борьба против новых нравов началась с юности и продолжалась всю жизнь. Первое его выступление относится к тому времени, когда он был назначен квестором при Сципионе в Сицилию[80]. Когда он, прибыв в Сиракузы, увидел полководца в модном греческом плаще, с длинными кудрями, когда он узнал, что тот все время проводит в театре или библиотеке, дает блестящие пиры и осыпает солдат подарками, Катон остолбенел. Он был поражен не менее, чем Лютер, увидавший беспутства эллинизировавшегося римского папы. Читатель помнит, быть может, как Катон,

подойдя к императору, с резкой прямотой обличил его, перечислил, сколько денег тот бросил на ветер, и прибавил, что жалеет не денег, а исконную римскую простоту, которую губит Публий Корнелий. Получив от Сципиона гордый и холодный ответ, он немедленно покинул остров и явился в Рим с официальным доносом на военачальника. «Он вел себя как мальчишка, — доносил Катон, — пропадая в театрах и палестре» (*Plut., ibid., 3*).

Катон едва не сорвал экспедицию Сципиона, и только благодаря своей ловкости и счастью Публий сумел отплыть в Африку. Таково было первое открытое выступление Катона. Второй раз он изложил свои взгляды уже перед всем Форумом. Повод к этому выступлению был странен и несколько забавен. В дело замешаны были женщины. Надо сказать, что во всех произведениях того времени женщины, их наряды и упрямое своеволие занимают огромное место. Это не должно особенно нас удивлять. Вспомним беседу бояр, противников Петра и ревнителей старины, у Пушкина. Собравшись вместе, они хором осуждают вредные новшества. Старая барыня начинает так:

— Подлинно нынешние наряды на смех всему миру... Ведь посмотришь на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски сбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукой, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи...

— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, — сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воеводой, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. — По мне, жена как хошь одевайся... только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала бы новешеньки. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан... Что делать? Разорение русскому дворянству! — При сих словах он со вздохом взглянул на свою Марью Ильинишну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие... Наконец она не вытерпела и, оборотясь к мужу, спросила с кисленькой улыбкой: что находит он дурного в ассамблеях?

— А то в них дурно, — отвечал разгоряченный супруг, — что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены забыли слово апостольское: жена да убоится мужа своего; хлопочут об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам вертопрахам*.

---

* *Пушкин А. С.* Арап Петра Великого.

Мы привели этот рассказ, относящийся к совсем другой эпохе, потому что, как это ни удивительно, точно такие же разговоры слышались и в Риме. Старики у Плавта постоянно ворчат на современных модниц, говорят, что женщины гуляют, надев на себя целые имения (*Plaut. Epidic., 226*), что безумные траты на женские тряпки превращают мужей в невольников (*Plaut. Aulul., 167—170*), что каждый год моды меняются и мужьям остается только бежать на аукцион (*Plaut. Epidic., 229—235*). Один старик, который задумал так же, как Кирила Петрович, жениться на молоденькой, сетует на современных жен и вздыхает, что хорошо бы «жены в большем страхе пребывали бы и наши расходы бы поубавились» (*Plaut. Aulul., 483—484*). Катон, разумеется, в этой суровой борьбе встал на сторону мужей. Началось все так.

После страшных поражений, нанесенных Ганнибалом, был принят закон, повелевающий женщинам носить траур: они не должны были надевать цветных платьев, золотых украшений и ездить в колесницах. Когда-то этот закон был, может быть, уместен. Враг был у ворот Рима, город звенел от воплей женщин, потерявших мужей, братьев, сыновей и отцов. Тогда было не до нарядов. Но вот гроза миновала, все кругом дышало радостью, а суровый Оппиев закон позабыли отменить. Женщины очень возмущались, что их одних исключили из общего веселья. Это тем более казалось несправедливым, что жены союзников щеголяли в драгоценных одеждах и разъезжали в прекрасных колесницах, а собственные их мужья с каждым днем одевались все элегантнее. Иной раз они появлялись на улице верхом на коне, убранном золоченой сбруей и пурпурной попоной, и матроны с болью и досадой спрашивали у них, неужели им не стыдно, что их лошадь наряжена лучше, чем жена. В конце концов в 195 году до н. э., через шесть лет после окончания войны, два галантных трибуна, принадлежавших к новому поколению, возбудили вопрос об отмене злополучного закона.

Однако Катон, бывший тогда консулом, простер свою суровость до того, что хотел законом обязать женщин ходить только в черном, без единого украшения. Он подговорил других двух трибунов наложить на отмену закона вето. В тот день все женщины Рима, забыв все приличия и запреты, толпой устремились на Форум. Они умоляли отменить жестокий закон. Мужья дрогнули. Но тут сквозь толпу протиснулся консул Катон. Гневно и страстно обличал он римлянок за их пустое кокетство и неповиновение мужьям. Как посмели они явиться на Форум, поправ все законы и уста-

новления предков! Затем он обрушился на новые нравы, на роскошь, на греческие статуи и картины.

Не знаю, чем кончилась бы вся эта история, но тут дамы тесным кольцом обступили трибунов, наложивших вето, и кричали до тех пор, пока они не зажали уши и не пролепетали, что сдаются.

Но после этой неудачи Катон не сдался. Он продолжал свою борьбу, огнем выжигая язвы порока. Мы уже говорили о страсти к пирам и веселым сборищам, охватившей римское общество. Непримиримый Порций требовал, чтобы такие собрания были официально запрещены и пригласившие на обед более определенного числа сотрапезников карались бы со всей строгостью закона. Одного человека он обвинил в том, что он «поет... подчас декламирует греческие стихи, шутит... и танцует» (*Cato. Orat., fr. 115*). Другого бичевал за то, что он водится с поэтами (*ibid., fr. 149*). Цицерон, читавший всю эту речь, пишет: «Он обвиняет М. Нобилиора как в позорном поступке в том, что тот взял с собой в провинцию поэтов. А этот консул взял с собой, как мы знаем, Энния» (*Cic. Tusc., I, 2*). Горько сетуя на упадок нравов, он ставил современникам в пример их достойных предков. «Поэтическое искусство было (тогда. — *Т. Б.)* не в почете: если кто-то занимался этим делом или посвящал себя застольной беседе, его называли *бездельником*» (*Gell., XI, 2, 5*). Особой суровостью отличалось его цензорство. Он обложил все предметы роскоши, особенно принадлежавшие женщинам, налогом в десятикратном размере. Почти ежедневно он выступал на Форуме со страстными филиппиками, которые один античный автор называл *«вопли Катона»*.

Порций был также горячим борцом против безнравственности. Будучи цензором, он изгнал из сената почтенного человека, кандидата в консулы, за то, что тот «среди бела дня в присутствии дочери поцеловал свою жену» (*Plut. Cat. mai., 17*). Семья, считал он, должна быть строгой и патриархальной: «муж... для жены является судьей вместо цензора», — говорил он (*Cato. Orat., fr. 221*). Женщина, изменившая мужу, — та же отравительница (*ibid., fr. 240*). Сам он заявлял, что обнимает жену, только когда гроза, потому что она боится грома (*Plut. Cat. mai., 17*).

Но Катон не довольствовался политическими речами, и, чтобы раздавить многоглавую гидру, называемую *«новыми нравами»*, он взялся за перо. Тут только понимаешь и оцениваешь неиссякаемые таланты этого человека, его фанатизм, упрямство и напористость. Один лишь перечень его произведений поражает. Он издал трактаты по медицине и

по сельскому хозяйству, по риторике и военной дисциплине, по гражданскому праву, сборник своих речей и сборник острот, римскую историю и книгу с выразительным названием «Песнь о нравах». И во всех этих произведениях виден ум цепкий и оригинальный.

История — «Начала» — замечательна уже тем, что это первая прозаическая история Рима на латыни. Притом это история, не похожая ни на одну другую. В рассказе о легендарной древности Катон проявляет себя как рационалист до мозга костей: он совершенно безжалостно расправляется со всеми сказочными преданиями. Римляне считали, что Эней таинственно исчез; Катон говорит, что он убит был в битве с Турном (*Cato. Orig., fr. 9—11*). Римляне складывали различные сказания об Акке Ларенции, воспитательнице Ромула, матери ларов. А Катон говорит, что она была попросту блудница, разбогатевшая от своего ремесла и по смерти оставившая свое состояние римскому народу, за что и была удостоена божеских почестей (*ibid., fr. 16*). Римляне верили, что у доброго царя Нумы была возлюбленная, нимфа Эгерия, подруга самой Дианы, которая говорила с царем нежными звуками, слышавшимися в лепете струй. Катон же утверждает, что никакой Эгерии не было, а был диктатор Эгерий, который заложил храм Дианы (*ibid., fr. 58*).

Но не это самая замечательная черта «Начал». Античные авторы с изумлением отмечали, что, повествуя о великих деяниях римлян, Катон не называет имени ни одного полководца (*Plin. N. H., VIII, 5, 11; Nep. Cat., 3, 4; Fest. S. u. originum, p. 198*). Если уж нельзя обойтись без упоминания о каком-нибудь вожде, он называет его просто консул. Этот принцип проведен настолько последовательно, что, рассказывая подробно о Пунической войне, которой он был участником, Катон не называет Ганнибала: изредка упоминается «карфагенский император». Может быть, ярче всего иллюстрирует это один пример. Катон рассказывает о славном подвиге, совершенном одним римским офицером. Когда римское войско подверглось нападению огромной вражеской армии, он с небольшим отрядом принял удар на себя и спас легионы. В заключение Катон замечает, что нечто подобное в Греции совершил спартанец Леонид, и вот вся Греция наполнена славой его имени: его прославляют в стихах и в прозе, изображают на картинах и в статуях. «Но трибуну, который сделал то же самое, досталась малая слава за его подвиг» (*Cato. Orig., fr. 83*).

Казалось бы, цель рассказа — восстановить историческую справедливость и добиться того, чтобы имя трибуна

стало рядом с именем Леонида, чтобы римлянин воспевался в стихах и прозе, как спартанец. Ничего подобного! Катон не сообщает нам имени этого героя, и мы знаем его из других источников. Ясно, что столь умный и последовательный человек, как Катон, не мог сделать это случайно. У него была какая-то цель, он стремился провести какой-то исторический принцип. И принцип этот заключается, несомненно, в том, что не вожди решают судьбу битвы, не им, а массам принадлежит главная роль. Не называя же имени храброго трибуна, Катон желает создать образ безымянного массового героизма римлян. У Цицерона есть пассаж, навеянный Катоном. «Но зачем мне называть вождей и начальников, когда Катон пишет, что легионы часто... шли туда, откуда не чаяли вернуться» (*Cic. Tusc., I, 101*). Здесь как будто бы легионы противопоставлены вождям и полководцам. Каждый отдельный человек — ничто, он растворяется в понятии народа.

Но ни в чем, наверное, фанатическая энергия и сила Катона не проявилась так, как в его записках о медицине. Сочинение это, носящее столь безобидный характер, насквозь полемическое. Дело в том, что лучшими врачами испокон веков считались греческие асклепиады. Еще персидские цари выписывали врачей из Эллады и окружали их безмерным почетом. И вот сейчас в Риме люди наперебой приглашали к себе асклепиадов. Это возмущало неистового Порция. В наставлениях к сыну он писал: «Этот народ все погубит, если перенесет к нам свое образование, в особенности если будет посылать сюда своих врачей. Они сговорились уморить своими лекарствами всех варваров, но они требуют за это платы, для того чтобы внушить к себе доверие и скорее довести нас до гибели... Поэтому я запрещаю тебе входить в какие-нибудь сношения со знатоками врачебного искусства» (*Plin. N. H., XXIX, 14*).

Однако Катон прекрасно понимал, что одних запрещений недостаточно, и, дабы не оставить соотечественников беспомощными перед толпой болезней, он открыл лечебницу у себя на дому и сам пользовал больных (*Plut. Cat. mai., 23*). Но и этого показалось ему мало. Он решил написать о врачевании целый трактат, чтобы запечатлеть свои методы для потомков. «Первым и долго единственным (кто прославил пользу трав среди римлян. — *Т. Б.*) был все тот же Марк Катон, глава всех благих искусств, — пишет Плиний. — ...Он не обошел молчанием даже лечение быков» (*Plin. N. H., XXV, 4*).

Вот несколько его рецептов, дающих представление о способах, какие он применял в медицине.

«При коликах нужно размочить капусту в воде...

Толченую капусту надо прикладывать ко всяким ранам и опухолям...

Чтобы излечить вывих, надо обмывать вывихнутое место два раза в день горячей водой и прикладывать к нему капусту...

Если нарезать, вымыть и высушить капустные листья и приправить их уксусом, то получится кушанье, здоровее которого ничего нельзя представить... Это кушанье произведет хорошее действие, уничтожив в организме зародыши всех болезней, оздоровив желудок, а также уничтожит и излечит все болезни глаз. Есть это кушанье надо утром натощак. Оно излечивает тоску, меланхолию, сердцебиение, болезни печени и легких, спазмы кишечника и внутренние болезни... Всякий страдающий бессонницей может излечиться от нее капустой...

Вот что особенно замечательно: собери мочу человека, который ел капусту, вскипяти ее и приготовь из нее ванну для больного — и больной вылечится. Это проверено опытом. Если обмыть этой мочой детей слабого сложения, то они станут крепкими навсегда. Люди со слабым зрением будут лучше видеть, если намажут себе глаза этой мочой. Головная боль и болезни мозга пройдут — стоит только обмыть больное место мочой...

Если у тебя полип в носу, возьми горсть... капусты и прикладывай к ноздрям...

Если ты туг на ухо, разотри капусту с вином... и влей в ухо...

Следующий заговор вылечит вывих: *ин алио сф мотас вайта дариэс дардариэс астариэс диссунапитар...* Повторяй ежедневно над вывихом или переломом этот заговор, или следующий: *хаут ханат хуат иста писта систа домиабо дамнавстра,* или же — *хуат хаут хаут иста сис тар сис арданнабон дунаистра*» (*Cato. De agr. cult., 156—158; 160*).

Стал ли Катон популярным лекарем Рима и насколько он преуспел в своем деле, мы не знаем. Плутарх, привыкший к несколько иным методам в медицине, ядовито замечает, что Катон никогда ничем не болел, поэтому не мог, к счастью для себя, сам испытать свои зелья, зато его жена и сын, вынужденные пробовать на себе эти снадобья, умерли подозрительно рано.

Римский пуританин

Сильно ошибется, однако, тот, кто, прочтя об этом мрачном фанатике, который даже чтение греческих стихов и ношение яркого платья считал грехом, вообразит себе Катона каким-нибудь истощенным аскетом, вроде святого Антония,

и решит, что Порций питался акридами, спал на голых досках, убегал от женщин и не притрагивался к золоту. Ничего подобного! То был рачительный хозяин, язвительный и колкий собеседник с искорками веселого юмора и насмешки. И вовсе он не убегал от света, напротив. Он, который целовал жену только во время грозы, не избегал, кажется, самых грязных притонов. Передают следующий рассказ:

«Когда какой-то известный человек выходил из притона, Катон высказал божественную по мудрости мысль.

— Хвалю тебя за твою доблесть, — сказал он, — ведь когда низменная похоть раздувает жилы, юношам надлежит спускаться сюда, а не бесчестить чужих жен» (*Hor. Serm., I, 2, 31—34*).

Совет несколько рискованный для строгого блюстителя нравов. А вот что пишет он о семейной верности: «Если ты узнаешь о прелюбодеянии своей жены, ты можешь без суда безнаказанно убить ее. Она же не смеет и пальцем тебя тронуть, если прелюбодействуешь ты: нет такого закона» (*Cato. Orat., fr. 222*).

Но поразительнее всего история его второй женитьбы. Овдовев, Катон жил вместе со взрослым сыном и его семьей. Ему было уже за 80 лет, но он сохранил железное здоровье и, очевидно, не желая бесчестить чужих жен, а с другой стороны, считая, что ему не по возрасту самому ходить по притонам, приглашал к себе на дом какую-то девицу. Между тем невестка жила тут же, подрастали дети, и такое слишком игривое поведение деда смущало и шокировало всю семью. Воспитанный в безусловной покорности и почтении к отцу, юный Марк не решался прямо заговорить со стариком. «Но однажды, когда эта бабенка прошла мимо спальни, держась, по-видимому, слишком развязно, старик заметил, что сын, не сказав, правда, ни слова, посмотрел на нее с резкой неприязнью и отвернулся... Никого не упрекая и не порицая, Катон (после этого. — *Т. Б.*), как обычно, отправился на Форум и по пути, обратясь к некому Салонию, который прежде служил у него младшим писцом, громко спросил, просватал ли тот уже свою дочь. Салоний сказал, что никогда не решился бы этого сделать, не спросивши сначала его совета.

— Что же, — заметил Катон, — я нашел тебе подходящего зятя... Вообще-то жених хоть куда, но староват.

В ответ Салоний просил его принять на себя эту заботу и отдать дочь тому, кого он сам выберет: ведь она его клиентка и нуждается в его покровительстве. Тогда Катон, не откладывая, объявил, что просит девушку за себя» (*Plut. Cat. mai., 24*).

Салоний сперва ушам не поверил и решил, что это одна

из обычных катоновских шуток. Осознав наконец правду, он был счастлив, что пристроит дочь-бесприданницу за богатого старика. Намерение Катона стало тотчас же известно всему Риму и, конечно, наделало шуму: Порций, которому уже девятый десяток, женится на пятнадцатилетней девочке!* На родственном совете решено было остановить старика и замять соблазнительный скандал.

«Сын вместе с родственниками явился к Катону и спросил, не потому ли появляется в семье мачеха, что он как-нибудь упрекнул или огорчил отца.

— Да что ты, сын мой! — вскричал Катон. — Все в тебе совершенно... Просто я бы хотел оставить после себя еще сыновей, чтобы у государства было побольше таких граждан, как ты» (*Plut., ibid.*).

Точно так же трудно представить Порция истощенным аскетом. Он светился здоровьем, любил есть по-деревенски — просто и вкусно, оставил нам много рецептов домашних пирогов и, если рабы готовили плохо, сразу после трапезы порол их ремнем (*ibid., 21*).

И уж вовсе нелепость думать, будто Катон презирал деньги. «Усердно хлопоча о преумножении своего имущества, он пришел к мысли, что земледелие — скорее приятное времяпрепровождение, нежели источник дохода, и потому стал помещать деньги надежно и основательно; он приобретал водоемы, горячие источники, участки, пригодные для устройства валяльных мастерских, плодородные земли с пастбищами и лесами (ни те ни другие не требуют забот), и все это приносило ему много денег, так что, по словам самого Катона, даже Юпитер был не в силах причинить ущерб его собственности. Занимался он и ростовщичеством, и вдобавок самым гнусным его видом... Он ссужал в долг и собственным рабам. Те покупали мальчиков, а потом, через год, как следует их выучив и вымуштровав на средства Катона, продавали... Стараясь и сыну внушить интерес к подобным занятиям, он говорил, что не мужчине, а слабой вдове приличествует уменьшать свое состояние. Еще резче высказался он, не поколебавшись назвать божественным и достойным восхищения мужем всякого, чьи счета после смерти покажут, что за свою жизнь он приобрел больше, чем получил в наследство» (*Plut. Cat. mai., 21*). Катон не упускал ни малейшей возможности нажиться. Он даже разрешал своим рабам и рабыням сходиться друг с другом за определенную плату (*ibid.*).

Но и став богачом, Катон оставался столь же пуритански

---

* Римлянки вступали в брак рано: в 15—16 лет.

простым в своих привычках человеком. Он сам ходил на рынок, торговался, считал, что, заплати он хоть один лишний медный асс за покупку, — он в убытке (*Cato. Carmen de moribus, fr. 4*). Жил и одевался он с предельной скромностью. «Ездил на мерине, да еще вьючил его мешками вперемет, чтобы возить с собой пожитки» (*Sen. Ep., LXXXVII, 9*). Старых рабов он продавал, чтобы не кормить дармоедов (*Plut., Cat. mai., 4*), и даже коня, на котором он ездил в Испании, он оставил, не желая обременять государство — и тем более себя — перевозкой его через море (*ibid., 5*).

И вот стали появляться люди, которые открыто называли Катона лицемером, одним из тех людей, про которых Плавт сказал, что на словах они превозносят нравы предков, а на деле их только грязнят (*Trinum., 295*). Действительно, неужели позорнее поцеловать собственную жену, чем посещать грязные притоны, развратничать, изменять жене, да еще именовать это доблестью? Неужели женитьба восьмидесятилетнего старика на пятнадцатилетней девочке не есть самый гнусный разврат?! И затем, разве его способы наживы не есть преступление в глазах тех самых предков, к нравам которых он всю жизнь так страстно звал вернуться? Катон сам написал, ссылаясь на авторитет предков, что ростовщик — хуже вора (*Cato. De agr. cult., pr., I*). Когда его спросили, как разбогатеть, он сказал, что надо разводить скот и пахать землю. «Когда же собеседник спросил:

— А отдавать деньги в рост?

Катон в свою очередь спросил:

— А убить человека?» (*Cic. De off., II, 89*).

Значит, ростовщик был в глазах предков хуже вора и убийцы, а сам Катон втайне сделался ростовщиком.

«Неутомимый страж законности прекрасно обходил с помощью подставного лица закон, запрещающий сенаторам заморскую торговлю... Он скупал детей... Римский магистрат, занимающийся систематической работорговлей, становился в один ряд с *mangones*, людьми презираемыми. И он не только работорговец, хуже, он сводник, *leno*, он превратил свой дом, дом консуляра (а может, уже цензора) в лупанар и, как заправский ленон, продает рабам право иметь сожительницу. Он объявил сельское хозяйство самым чистым и верным источником дохода (*De agr. cult., I, I*), но отрекся от него» — так излагает взгляды этих людей М. Е. Сергеенко*. Плутарх же выразил все эти недоумения так:

---

* *Сергеенко М. Е.* Записки о Катоне // Вестник древней истории. 1976. № 3. С. 157.

«Ведь бедность позорна отнюдь не сама по себе... у человека рассудительного... все свои добрые качества посвятившего родному городу, она служит признаком величия духа и величия ума... Я бы охотно спросил самого Катона:

— Если наслаждаться богатством не зазорно, почему ты кичишься тем, что, владея многим, довольствуешься скромной долей своего имущества? Если же прекрасно (а это и на самом деле прекрасно!) есть хлеб какой придется, пить то же вино, что пьют наши работники и слуги, и смотреть равнодушно на пурпурное одеяние и выбеленные дома — значит, во всем правы были Аристид, Эпаминонд, Маний Курий, Гай Фабриций, отказываясь владеть имуществом, пользоваться которым они не желали. Право же, не стал бы человек, который считает репу самым вкусным кушаньем и собственноручно варит ее... поднимать такой шум из-за одного асса и поучать, каким путем можно скорее всего разбогатеть» (*Plut., Cat. mai., 31*).

Иными словами, те самые предки, которых воспевал Катон, жили в простых домах и ели репу не потому, что, хотя сундуки их ломились от золота, они не хотели его тратить, но потому, что были *действительно* бедны, бедностью своей зачастую гордились и если и не презирали богатство, то считали его чем-то второстепенным.

Доводы эти очень убедительны, и все же я думаю, что эти люди не правы: лицемером Катон не был. Странное же на первый взгляд его поведение объяснялось следующими причинами. Во-первых, Катон был, пожалуй, первый политик, который создал свой *образ* и образ этот *рекламировал*. Все, что мы знаем о жизни Катона, о его скромности и умеренности, мы знаем *только* с его слов. Я не хочу сказать, что враги Катона говорили о себе только правду. Напротив, они могли сильно преувеличить свои подвиги, превратить ничтожную битву в великую победу, а взятую деревеньку — в огромный город. Но ни Сципиону, ни Титу и в голову бы не пришло рассказывать, какое вино они пили и сколько стоит их обед*, когда и при каких обстоятельствах они целуют свою жену. Между тем именно эти-то детали и создают *образ*, причем каждая черта этого образа тщательно продумана.

Но есть и еще одна причина столь необычного поведения Катона. Прежде чем сказать о ней, я хочу обратить внимание на один странный факт: Катон, этот поклонник

* Да еще уверяя, как Катон, что едят они исключительно для государства — чтобы сохранить себя для службы в коннице.

старины, был вовсе не консерватор, а самый смелый и решительный новатор. Новатор во всем — первый написал историю на латыни, первый составил медицинский трактат, первый построил базилику, первый ввел суды как способ нападения*, первый ввел совершенно новые методы хозяйствования, от которых предки пришли бы в ужас. И тем не менее он упорно держался за авторитет предков. Это похоже на одно явление из другой эпохи: если мы сравнивали годы после Ганнибаловой войны с Ранним Возрождением, то Порция с его проповедью можно сравнить с *пуританами*, явившимися в Европе как реакция на Возрождение. Как и Катон, эти сумрачные люди в черном, с коротко остриженными волосами, чуждые всяких забав, проклинали роскошь и языческую мерзость окружающего мира. Они звали вернуться тоже *к предкам* — к чистым временам первых христианских общин, когда ни храмы, ни частные жилища не осквернены были суетными украшениями. В то же время известно, что эти угрюмые фанатики отнюдь не пренебрегали земными интересами, более того, благословили предпринимательство, занимались коммерцией и даже ростовщичеством, которое запрещала католическая церковь. Между тем протестанты окружали себя простым и суровым бытом, тогда как легкомысленные кавалеры в кудрях и расшитых камзолах бывали зачастую по сравнению с ними нищими. Известно, что только благодаря протестантизму стал возможен в Европе капитализм. Как и в случае с Катоном, глядя на темные одежды этих людей и бедную обстановку, трудно было решить, живут ли они так из презрения к языческой мишуре или же не желая потратить лишнюю копейку[81].

На улицах Рима

Пламенные речи Катона взволновали все римское общество. Везде и всюду обсуждали *новые и старые нравы*: в атриумах аристократических домов, где рядом с изящными греческими безделушками и прекрасными статуями висели заржавелые окровавленные пунийские доспехи, на улицах, у торговых лавок, у ростр, где собирались праздношатающиеся, чтобы узнать последние новости и сплетни, наконец, в грязных дешевых тавернах-*попинах*, где-нибудь на Велабре или Священной улице. В таких заведениях собирался вся-

* См. ниже: глава четвертая, «Судебные поединки».

кий сброд; люди приходили выпить стакан *мульсы**, съесть горячих сосисок, поиграть в кости и поболтать. Сюда заходили городские рабы, франты и бездельники, которые от нечего делать гоняли мяч на соседней улице (*Plaut. Curcul., 296—297*). Приходили и сельские рабы, возможно, принадлежавшие самому Катону, мрачные, небритые, угрюмые и грязные, посланные в город за делом, а теперь зашедшие немного отдохнуть. Они ругали городских рабов лентяями и шалопаями, а те важничали и задирали перед ними нос, считая себя тоже причастными к цивилизации, которую видели в том, чтобы пить побольше и иметь любовницу. Они звали сельских рабов деревенскими увальнями, от которых несет козлом**. Приходили носильщики, таскавшие вещи у ворот Трех братьев, — их доля считалась самой незавидной (*Plaut. Capt., 90*). Заходили, наконец, самые низы — сводники-*леноны****, с бритой головой и бровями, люди, которым последний раб не подавал руки и к которым обращались не иначе как «эй ты, мерзавец!».

Именно в таких местах любил проводить время Плавт. Чужеземец, бродячий актер, работавший одно время на мельнице, где трудились лишь рабы-преступники, он принадлежал к презираемому в Риме сословию и никак не мог претендовать на более изысканное общество. Аристократию он не знал. Лишь издали видел он этих знатных людей, когда они в своих светлых тогах и в высоких сапожках со сверкающими полумесяцами**** величественно прохаживались возле Курии, или слышал их голос, когда кто-нибудь из них поднимался на Ростры и произносил страстную и продуманную речь к квиритам, чтобы убедить их принять какой-нибудь закон, объявить войну или заключить мир. Но никогда не пришлось ему с ними беседовать. Поэтому и в пьесах его не найдешь знатных людей. Однажды только попытался он вывести на сцене именитого полководца — видимо, не меньше консула*****, — но увы! Он нес на себе неизгладимые черты того круга, где жил и вырос автор. Прямо ощущаешь, как неловко Плавту в изысканном доме своего героя. Зато в трущобах большого города он как рыба в воде. Ловкие аван-

---

* Смесь сладкого вина и меда — напиток, очень любимый италийцами.

** См. разговор Траниона с Грумионом в плавтовском «Привидении».

*** Именно так гримировался Росций, играя сводника Баллиона в плавтовском «Псевдоле».

**** См. иллюстрации.

***** Имеется в виду пьеса «Амфитрион».

тюристы и авантюристки, которые за деньги готовы на любую аферу, дешевые гаруспики, которые копаются во внутренностях и за три обола дают предсказания (*Plaut. Poen., 463*), какие-то «показушные люди», которые собираются у Великой Клоаки и выставляют напоказ свои фальшивые драгоценности (*Plaut. Curcul., 474*), карманные воришки, которые молятся богине воров Лаверне, члены дешевых клубов, которые собирались у Рыбного рынка, чтобы пообедать в складчину (*ibid.*), — вся эта пестрая компания очень хорошо знакома Плавту. И когда я слышу, как один его герой говорит другому: «Я пойду за городские ворота, там, в третьей таверне, хозяйкой старая хромая Хрисида, толстая, как пивная бочка», я не сомневаюсь, что на какой-нибудь грязной, темной улочке Рима и впрямь стояла описанная таверна и там, у старой Хрисиды, любил вечерами сидеть Плавт. Здесь за кружкой дешевого вина он с удовольствием наблюдал нравы завсегдатаев.

Заходили в кабак и греческие философы — угрюмые, навьюченные книгами люди, которые ко всем лезли со своими учеными рассуждениями, а сами норовили что-нибудь стащить со стола и спрятать под темный плащ, которым они накрывали себе голову (*Plaut. Curcul., 288—294*). От них-то, наверно, посетители кабачка набирались учености и могли подчас блеснуть философскими сентенциями. Вот, например, один разговор:

«*Первый:*

— Эй, ты, с козлиной бородой! Я хочу спросить...

Второй:

— Ты бы сначала хоть поклонился!

Первый:

— Я не швыряюсь поклонами. Не знаешь ли ты тут, в переулке, одного человека...

Второй:

— Знаю. Самого себя.

Первый:

— О, это мало кто знает. Ведь на всем Форуме вряд найдется один из десяти, кто познал бы самого себя» (*Plaut. Pseud., 967—972*).

Только от Плавта мы узнаем, о чем болтали на узких улочках и в кабачках Рима, только он дает нам услышать голоса этих людей. И там, как и повсюду, видим мы ту же картину: общество разделено на две группы — есть тут старики, поклонники Катона, и веселые юноши, жаждущие нового, любви и радости. Чью же сторону держал сам Плавт? Вот это сказать труднее всего. Порой он вслед за стариками

осуждает все новое, порой он вместе с молодежью жестоко высмеивает стариков. Как бы то ни было, он сталкивает сторонников нового и старого чуть ли не в каждой пьесе. Можно поэтому сказать, что у Плавта есть *комедии молодых*, где он за юношей, и *комедии стариков*, где он склоняется к Катону. Начнем с последних.

Самая характерная, на мой взгляд, «Привидение». Сюжет ее таков. Честный и добропорядочный гражданин уехал на несколько лет на чужбину, оставив дом на сына, скромного, хорошо воспитанного юношу. На беду хозяйский сын был еще слишком молод и неопытен и подпал под влияние ловкого, беспринципного и развратного раба Траниона. С таким наставником юноша вскоре изменился до неузнаваемости — он пьянствовал с утра до ночи, развратничал, тратил деньги на лакомства и наконец просадил все отцовское добро. Приехавший отец с ужасом и горем узнает, что вернулся на пепелище — нет у него более ни дома, ни сына.

Начинается комедия разговором городского раба, развратителя господского сына, и сельского раба, честного труженика, который с горечью упрекает его за это:

— Ты городской щеголь, столичный фат! Ты попрекаешь меня деревней!.. Что ж, пока можешь, губи именье, порть барчонка, некогда прекрасного юношу. Что ж, пейте дни и ночи, *живите как греки* (курсив мой. — *Т. Б.*), покупайте и отпускайте подружек... задавайте роскошные пиры! Для того ли старик, уезжая, поручил тебе сына? Это так ты понимаешь долг хорошего раба, чтобы портить ему именье и сына? Как же не назвать его испорченным, раз он занимается такими вещами? А ведь раньше-то из всех юношей Аттики он был самым бережливым и воздержанным. А сейчас ему дают пальму первенства уже за противоположные свойства. А все благодаря «твоей доблести» и твоему руководству!

Транион же представлен как великий поклонник всего иноземного. Рекламируя дом, он замечает, что строил его не какой-нибудь *варвар-кашеед* (то есть римлянин), а греческий мастер. На пирах, которые он устраивает с хозяином, присутствуют флейтистки и арфистки (*Mostell., 959—960*). Он нагло отвечает деревенскому рабу, чтобы тот проваливал прочь — от него несет козлом, чесноком и навозом. Замечательно, что само это грубое слово «навоз» он произносит по-гречески, на греческий манер произносит он и слово «кашеед» (*ibid., 41, 827*). На это сельский житель весьма патриотически отвечает, что предпочитает родной навоз заморским яствам. Он проклинает Траниона и его мерзкий разврат (*Mostell., 1—83*).

Сам господский сын представлен весьма необычно. Он вовсе не дерзок, весел и беспечен, как положено быть герою новоаттической комедии. Это человек в прошлом порядочный, но слабый. Ныне он пал и сам прекрасно сознает всю глубину своего падения. Свой первый монолог на сцене он начинает с того, что сравнивает человека с домом. Строители дома — родители. Они возводят его фундамент, не жалея расходов, они отделывают и полируют его, обучая детей наукам и праву. Окончательно готов дом после того, как дети послужат в легионе. Собственный его фундамент, продолжает наш герой, был заложен отлично. Но вот начались дожди и бури, дом не выдержал и начал рушиться. «Теперь меня разом оставили мужество, верность, доброе имя, доблесть, честь; я стал совершенно негоден к употреблению. Мои балки гниют от сырости, и я убежден, что мое здание уже не починишь — все рушится, фундамент погиб и никто не может помочь. Сердце болит, когда я подумаю, кем я был и кем стал... Моя бережливость и суровость служили образцом для других... сейчас же я — ничто и сам в этом виноват» (*Mostell., 84—156*).

Несомненно, под видом этого погибшего юноши выведено целое поколение римской молодежи, оставившее путь, завещанный отцами, «погубившее свой фундамент» и пошедшее стезею порока. Это подтверждают заключительные слова Траниона.

— Да, — говорит он, — я признаю, что он пил, в твое отсутствие освободил подружку, растратил деньги, занятые под проценты... Так разве он сделал что-то такое, чего бы не делали дети лучших родов? (*Ibid., 1139—1141*).

Разумеется, сочувствовать этому жалкому, опустившемуся человеку невозможно. Отвратительно и его окружение: грубый и подлый Транион, не имеющий даже обаяния ума и дерзости Псевдола или юмора Хрисала, хитрая, расчетливая подружка и вечно пьяный друг. Таковы плоды эллинизации. Даже чужие рабы жалеют его отца.

Такую же жалкую картину представляет герой «Трех грошей»: никчемный, пропащий человек. В прологе к комедии появляются две женщины — Роскошь и ее дочь Нищета. Сначала с помощью Роскоши наш герой спустил все деньги; теперь его подругой станет Нищета. Начинается комедия пламенной филиппикой в стиле Катона:

«Ведь здесь страшный мор опустошил добрые нравы. Почти все они умерли. Зато дурные нравы, пока хворали добрые, разрослись, словно трава, щедро политая водой; и уже можно собрать обильную жатву. Так что сейчас у нас нет ничего

дешевле, чем дурные нравы. Слишком многие сейчас стремятся к угождению немногих, а не к общему благу. Так капризы побеждают общую пользу, а капризы эти часто обременительны и отвратительны, они мешают частным и общественным делам» (*Trinum., 28—38*).

Опустившегося героя этой комедии его друг горячо и справедливо упрекает. «Неужели затем, — говорит он, — твои предки передали тебе доброе имя, чтобы ты загубил своим пороком то, что они добыли своей доблестью? Твой отец и твои деды проложили для тебя широкую и ровную дорогу к почестям, чтобы ты мог быть гордостью для потомков. А ты сам сделал эту дорогу тяжкой из-за праздности и глупых нравов. Ты хотел поставить свою любовь выше доблести. И ты воображаешь, что сможешь этим путем оправдать свои грехи? Нет, никогда. Прими же в душу доблесть и изгони из сердца лень: занимайся делом на Форуме с друзьями, вместо того чтобы по своему обыкновению валяться в постели с подружкой» (*Trinum., 642—651*). Сам Катон мог бы подписаться под этой речью!

Плавт даже употребляет два весьма характерных слова, которые должны передать, как проводят время подобного рода пропащие юноши: *congraecare* (*Bacch., 743*) и *pergraecari* (*Mosell., 22*), то есть пить и прожигать жизнь на греческий лад.

В другой комедии добродетельный наставник катоновского типа пытается спасти хозяйского сына от чумы, как он это называет, то есть от трат, разврата и безделья. Отец, старающийся идти в ногу с веком, уговаривает его быть снисходительнее к грехам юности, но в ответ слышит гневную отповедь: «Не позволю, нет, никогда не позволю, покуда я жив, ему портиться! А ты, ты, который ищешь оправдание столь испорченному сыну, разве тебя так воспитывали, когда ты был молод? Да ты первые двадцать лет жизни не смел ни на шаг отойти от наставника, выйдя из дому!» На это снисходительный отец отвечает, что сейчас в моде другие нравы (*Bacch., 419—437*). Что же это за нравы, мы узнаем из другой комедии. Там о некой жадной и бесстыдной гетере сказано, что она воплощает в себе все нравы нашего века (*Truc., 13*).

Мы помним, какую бурю вызвал в свое время вопрос о женских нарядах и с каким пылом обличал римских дам Катон. Наверное, долго еще Форум не мог успокоиться и глухо шумел. Сам Катон в многочисленных речах все вновь и вновь обрушивался на пурпур и золото, в которые женщины наряжаются, и особенно на их дорогие повозки, запряженные мулами. И вот комедии Плавта наполнены жалобами, ворчанием и брюзжанием честных стариков, которые сетуют на

чрезмерное мотовство представительниц прекрасного пола. Мы уже приводили эти отповеди в своем месте. Такого рода проповеди, верно, заставляли старых скряг отчаянно хлопать, зато молодые матроны, должно быть, слушали «с кислой улыбкой». Боюсь, что иногда во время подобных филиппик театр невольно должен был поворачиваться в сторону Эмилии Терции, жены Сципиона Африканского, ибо иной раз казалось, что актеры говорят прямо про нее. «Эмилия, — пишет Полибий, — выступала с блеском и роскошью в праздничном шествии женщин... Не говоря уже о роскоши одеяния и колесницы, за ней следовали в торжественных выходах корзины, кубки и прочая жертвенная утварь, все из серебра или золота. Соответственно этому велико было количество следовавших за ней рабынь и рабов» (*XXXII, 12, 3—4*). Читая эти строки, мы понимаем героя Плавта, который жалуется, что жены требуют у мужей «пурпур, золото, служанок, мулов, возничих, слуг, посыльных, повозки» (*Aulul., 500—502*). Или же вспоминаем такие слова: «У нас толпы слуг, утварь, золото, одежда, серебряные сосуды» (*Aulul., 342—343*).

После всего этого можно было бы принять этого беспутного актера за строгого пуританина. Но, решив так, мы жестоко ошиблись бы. Плавт насмешлив, неуловим и капризен, как море. Никогда не известно, морочит ли он тебя или говорит правду, выводит сурового добродетельного старика или жестокую пародию на него. Есть у него и совершенно противоположные по духу пьесы, которые я бы назвала «комедии молодых». Тут, как по мановению волшебной палочки, все меняется и мы попадаем в царство любви и веселья. В «Привидении» мы смотрели на мир глазами стариков, посмотрим же глазами юношей. И нигде это не видно лучше, чем в очаровательной пьесе «Купец».

Герой комедии — нежный, впечатлительный юноша, отзывчивый, хороший друг, пылкий любовник, ласковый с рабом, наивный и простодушный как дитя. Отец его — человек совсем другого закала. Это катоновского типа старик, суровый, расчетливый и экономный. Сын панически его боится. «Я знаю, как он жесток, — говорит он, — я научен этому дома» (*Mercat., 354*). Но случилось, что вопреки всем расчетам старика наш герой влюбился. Тайком от отца он тратит теперь деньги на подарки милой. Узнав об этом, отец пришел в настоящую ярость:

«Он то ужасно кричал, то брюзжал себе под нос, твердя, что от меня отрекается, что я ему не сын. Он вопиял по всему городу, предупреждая, чтобы никто не верил мне в долг. Ведь любовь вводит многих в убытки... Что я нерасчетливо

бросаю и транжирю на свою любовь деньги, которые он сам так расчетливо собирал; что он столько лет кормил не сына, а свой позор, и что, если уж у меня нет совести, так пусть я лучше умру, я этому должен только радоваться. Вот он сам, продолжал он, когда вышел из отроческих лет, вовсе не предался, как я, лени, безделью и любви, да у него не было и возможности: так строго держал его собственный отец. Нет, он всецело занят был тяжким и грязным деревенским трудом. И город-то он видел в пять лет раз, по большим праздникам*, но и тут, бывало, только увидит пеплос богини, как сейчас же отец гонит его назад в деревню. А там он работал много лучше всех домашних. Отец же приговаривал: "Ты пашешь для себя самого, ты сеешь для себя самого, ты жнешь для себя самого". А после, когда душа покинула отцово тело, он продал поле, а на вырученные деньги купил корабль в триста мерет и стал торговать повсюду, пока наконец не нажил того добра, какое у него сейчас. И я должен быть таким, если хочу быть таким как должно» (*Mercat., 49—79*).

Наш герой, воспитанный в безусловном повиновении родителю, пытается стать таким как должно, исправиться, начать по отцовскому совету наживать деньги, но любовь оказывается сильнее. Тайком от старика он привозит возлюбленную в дом. Он дрожит от ужаса, но даже ради любви оказывается неспособным обмануть отца вопреки всем правилам комедии. «Мне кажется, что обмануть отца — преступление», — говорит он (*ibid., 208—209*). Случилось то, чего он и боялся. Отец безжалостно отнял у него подружку, то есть сделал то, что он и обязан сделать согласно морали «комедии стариков». Но слишком нежное сердце юноши разбито. «Все, что было мне дорого в родном доме, погублено, убито, уничтожено, — говорит он. — Я погиб... С отвращением бегу я из этого края**, где нравы день ото дня хуже, где не знаешь, кто друг, кто предатель, где от сердца отрывают самое дорогое. Дай мне здесь хоть царский трон, не хочу этой страны» (*Mercat., 832—841*).

Но тут выясняется самое любопытное. Оказывается, твердокаменный старик отнял у сына девушку вовсе не из добродетели, а для себя. Очень довольный, наш старичок идет домой, рассуждая:

— Ну вот, я приобрел подружку тайком от жены и сына. Да, тряхну-ка я стариной и побалую себя... Ведь пока ты юн,

---

* В подлиннике просто «раз в пять лет», так как имеются в виду Панафинейские праздники в Афинах.

** В подлиннике: из Аттики.

пока кровь в тебе горяча, нужно добывать деньги. А вот когда ты уже стар, ты можешь пожить в свое удовольствие и любить (*ibid., 545—553*).

Такое поведение вызывает горькие упреки старой служанки. Она жалуется, что закон несправедлив: разве справедливо, чтобы мужу измена сходила с рук, жене же — грозил бы развод и позор (*Mercat., 817—828*). Слова эти кажутся прямым выпадом против Катона, который, как мы помним, похвалялся, что муж может прелюбодействовать в свое удовольствие, жена не может тронуть его и пальцем, а муж может убить жену в случае неверности — таков закон*.

Кончается пьеса, как и следовало ожидать, торжеством юноши и его молодой любви. (Сын, однако, так и не узнает о шалостях своего родителя и продолжает считать его столпом добродетели.) Старик посрамлен, и Плавт, обращаясь прямо в зрительный зал, говорит:

— Пусть никто не мешает юному сыну любить... Ну, юноши, коли вам по сердцу такой закон... хлопайте! (*ibid., 1015—1026*).

Признаюсь, этот старичок родом из деревни, смолоду не разгибая спины работавший на земле, который и времени-то не имел влюбляться, наживал деньги и учил этому сына, а потом, очевидно разочаровавшись в земледелии, продал землю и занялся заморской торговлей — что в Риме, кстати, считалось не слишком-то почетным занятием, — этот страж добродетели, жестоко укорявший нравы молодежи, а сам тайком от жены и сына приобретший любовницу, этот старик, говорю я, чем-то невольно напоминает Катона. Его просто можно было бы принять за карикатуру на великого цензора. А вот другая фигура, напоминающая пародию на него. Я имею в виду комедию «Грубиян».

Пьеса эта рисует распущенные и жадные нравы, гетер, разврат и прочую мерзость. В этом испорченном обществе живет суровый и честный старик, за резкий и откровенный нрав его прозвали Грубияном. Он проклинает окружающие его пороки. Встретив расфранченную девицу, он жестоко бичует ее словами:

— Бесстыжий обезьяний род! Ты пришла сюда покрасоваться, изукрасив свои кости, и воображаешь, бесстыдница,

---

* Кстати, эти сетования, равно как и похвальбы Катона, следует воспринимать критически. В той же пьесе несколько далее сосед говорит старичку, что, узнай жена о его проделках, она взяла бы плетку и хорошенько бы его отстегала (*Mercat., 1001—1002*). Так что никакой закон ей бы не помешал.

что стала красавицей, потому что выкрасила платье и нацепила медные браслеты?.. Если ты не уберешься отсюда поскорее, клянусь, я сорву с тебя твои фальшивые, завитые, взбитые и надушенные кудряшки!

Астафия:

— Да за что же?

Грубиян:

— За то, что ты осмелилась подойти к нашей двери, умастившись благовоньями, и за то, что так красиво нарумянила щечки! (*Truc., 269—290*).

Трудно отделаться от впечатления, что эта перебранка пуритански непримиримого Грубияна с нарядной Астафией есть пародия на спор Катона с римскими дамами на Форуме. Сам этот спор происходил, правда, за несколько лет до постановки нашей комедии. Однако событие это было живо в памяти зрителей. Кроме того, известно, что «Грубиян» — одна из последних пьес Плавта, а умер он в 184 году до н. э., то есть в год цензорства Катона. А Порций во время своего цензорства и всей предвыборной кампании в грозных речах клеймил женские наряды и обложил их большим налогом (*Liv., XXIX, 14; Plut. Cat. mai., 18*)*.

В конце пьесы с Грубияном происходит странная метаморфоза. Встретив в переулке обличаемую им прежде Астафию, наш герой начал приударять за этой легкомысленной девицей. И карьера его кончается тем, что его увлекают в какой-то грязный притон. Эпизод этот поражает комментаторов. Многие считают, что мы имеем здесь дело просто с неудачей Плавта. Но это маловероятно. Во-первых, известно, что поэт считал «Грубияна» одним из лучших своих созданий, гордился этой пьесой и радовался ей, как замечательной находке. А не стал бы прославленный мастер гордиться пустой и неудачной комедией. Во-вторых, обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Сюжет пьесы, как и всех остальных комедий Плавта, взят из греческого оригинала. Перед нами сложная и запутанная интрига: хитрая гетера, три ее поклонника, подкинутые дети и прочее. Грубиян же — самый эпизодический персонаж и появляется всего два раза. Возможно, его и не было в оригинале и он является изобретением Плавта. Почему же комедия названа именем этого второстепенного героя? Видимо, он полагал, что в нем-то и заключается суть комедии. Нет ли тут некого намека, понятного современникам? Не является ли этот простой и су-

* Сохранились также фрагменты речи Катона «De vestitu et vehiculis» — «Об одежде и повозках». Fr. 93.

ровый деревенский житель, про которого героиня говорит, что, «если бы даже его всю жизнь кормили одной горчицей, он не мог бы быть столь мрачен» (*Truc., 315—316*), — так вот, не является ли он пародией на Катона? Одна небольшая деталь. Изменившись, Грубиян замечает, что сделался по-столичному говоруном и острословом (*cavillator*), но произношение у него не римское, поэтому он говорит «*caullator*», что означает «капустник» (*ibid., 682*). Здесь все двусмысленно. Известно, как много речей произнес Катон, — его и впрямь можно было назвать говоруном. Дурное произношение говорит о том, что наш герой не только из деревни, но родился не в Риме, как и Катон. Далее, Катон, несомненно, был первым острословом Рима. Что до «капустника», то стоит только вспомнить все его рецепты, чтобы оценить по достоинству этот намек. Если гипотеза эта верна, тогда перерождение героя и заключительная сцена, когда он направляется в притон, имеют особый смысл.

Пьеса «Купец» вовсе не исключение. Ведь большинство комедий Плавта построено так, чтобы мы с волнением следили за судьбой юношей, а не стариков. И потом, разве Плавт не вкладывает в уста своим юным героям настоящих гимнов любви, тех горячих и страстных слов, которые мы приводили в главе «Новые веяния»? Разве он не сочинил все эти стихи, полные то любовной тоски, то томительного ожидания, то безумного восторга, все эти оды Венере, все эти серенады, которые наверняка распевал весь Рим. Вот почему трудно, очень трудно определить, на чью же сторону в великом споре нового со старым склоняется наш поэт. Итак, в «комедиях стариков» мы слышим упреки молодому поколению в мотовстве, роскоши, разврате; женщин бранят за то, что они франтят, тратят деньги и перечат мужьям, и превозносится мудрая скаредность. В «комедиях молодых» поносят скупость, смеются над жадными стариками, которые норовят запечатать от раба даже солонку (*Pers., 268—269*), воспевается любовь: она священна, это законное право юности, кто ее не знает, тому и жить не стоит (*Pers., 180*). Но есть у Плавта и гораздо более серьезные возражения Катону.

* * *

Мы уже упоминали, что Катон в своей неутомимой погоне за прибылью занимался работорговлей. Более того, он советовал продавать состарившихся рабов, чтобы не кормить дармоедов. Этот бездушный совет вызывает глубокое возмущение у его биографа Плутарха.

«Мне то, что он, выжав из рабов, словно из вьючного скота, все соки, к старости выгонял их вон и продавал, — мне это кажется признаком нрава слишком крутого и жестокого, не признающего никаких иных связей между людьми, кроме корыстных. А между тем мы видим, что доброта простирается шире, чем справедливость... Человеку порядочному приличествует доставлять пропитание обессилевшим от работы коням и не только вскармливать щенков, но и печься об одряхлевших псах... Нельзя обращаться с живыми существами так же, как с сандальями и горшками, которые выбрасывают, когда они от долгой службы прохудятся и придут в негодность, и если уж не по какой иной причине, то хотя бы в интересах человеколюбия должно обходиться с ними мягко и ласково. Сам я не то что одряхлевшего человека, но даже старого вола не продал бы, лишая его земли, на которой он воспитывался, и привычного образа жизни, и ради ничтожного барыша словно отправляя его в изгнание, когда он уже одинаково не нужен ни покупателю, ни продавцу. А Катон, точно бахвалясь, рассказывает, что даже коня, на котором он ездил, исполняя обязанности консула и полководца, он оставил в Испании, не желая обременять государство расходами на перевозку его через море. Следует ли приписать это величию души или скаредности — пусть каждый судит по собственному убеждению» (*Plut. Cat. mai., 5*).

Так писал Плутарх. Но Плутарх — грек, живший к тому же через много лет после Катона. А как расценивали слова Порция его современники-римляне? Неужели никого из них не возмущало столь жестокое отношение к домашним? К сожалению, здесь перед нами встает непреодолимая трудность. Из всех многочисленных речей, сочинений, даже памфлетов, написанных против Порция, не дошло ни строчки. Мы стоим перед пустотой. И так как мы не знаем, что возражали ему все эти сенаторы, полководцы, ораторы, у нас легко может создаться впечатление, что Рим молча одобрял его жестокие советы. К счастью, до нас дошли произведения еще одного современника Катона, Плавта.

Но можно ли серьезно назвать этого бродячего актера оппонентом великого гражданина, консуляра и цензория? Не следует забывать, что римский театр времен Плавта сильно отличался от афинского эпохи Аристофана. В те времена театральные игры были великим всенародным празднеством очищения. Поэт почитался учителем взрослых людей, и Эсхил у Аристофана прямо требует у своего преемника Еврипида отчета о нравственном состоянии Афин. Но вре-

мена изменились. На смену политической комедии пришла Менандрова комедия нравов. Там действовали скряги и франты, гетеры и сводники, честные женщины и влюбленные юноши. Вся интрига строилась на похищении девиц из публичного дома, на ловком обмане старого скряги, подкинутых и после найденных детях. В заключение зрителям, правда, непременно преподносилась довольно тощая мораль. Эти-то сюжеты и переделывал Плавт.

Человек с неиссякаемым юмором и буйной фантазией, он развертывает перед зрителем картины одна нелепее и чудовищнее другой, вовсе не заботясь о достоверности и вероятии. Его странные и подчас уродливые фигуры вихрем проносятся мимо нас по сцене, как карнавальные маски Корсо. Плавт совсем отбросил постную мораль эллинистической комедии, превратив ее в вихрь масок, плащей и бурю смеха.

Но есть у него одна особая, ни на что не похожая пьеса. Он сам выделяет ее из остальных. В прологе он объявляет: «Для вас будет очень полезно уделить внимание этой пьесе. Она написана необычно, совсем не так, как остальные. Здесь нет непристойных стихов, которые потом нельзя повторить. Здесь нет бесчестного сводника, злой куртизанки и хвастливого воина» (*Plaut. Capt., 54—58*). Эпилог объясняет смысл этой необычной пьесы: «Зрители, наша пьеса написана для очищения нравов. Здесь нет ни любви, ни интриг, ни подкинутого ребенка, ни мошенничеств с деньгами, ни влюбленного юноши, который тайком от отца выкупает потаскушку». Как видим, Плавт кратко и с насмешливым презрением перечисляет сюжеты эллинистических комедий. Зачем же написана эта столь необычная пьеса? Автор объясняет: «Поэты мало пишут таких пьес, чтобы хорошие люди стали еще лучше» (*ibid., 1033—1034*).

Итак, это редкая пьеса, призванная не повеселить сограждан, а исправить их и наставить на путь истинный. Это ставит комедию в один ряд с аристофановскими: ибо единственный раз Плавт предстает перед нами в роли «учителя взрослых». Чему же он их учит? Вспомнив другие комедии, где есть жалобы на дурные нравы, мы могли бы предположить, что Плавт учит молодежь слушаться старших, не мотать деньги, ходить на Форум и т. д. Ничего подобного. Об этом и речи нет в нашей пьесе. Сюжет ее таков.

Некий Гегион, человек во всех отношениях почтенный и уважаемый согражданами, имел двух сыновей. Старшего похитили еще ребенком. Несчастный отец всю любовь сосредоточил на меньшем, в котором души не чаял. Но вот нача-

лась война и его любимец попал в плен к неприятелю. Отец буквально обезумел от горя; вообще Гегион — человек больших страстей, не знающий меры ни в любви, ни в гневе, ни в горе, ни в радости. И вот он пошел на дело неслыханное: стал скупать пленных в надежде найти какого-нибудь знатного человека, которого можно было бы выменять на сына. Один из героев говорит по этому поводу: «Как я взгляну на этот дом, каждый раз плачу: ведь он ради сына взялся за бесчестный и совершенно чуждый его характеру промысел — он покупает пленных... Мне больно, что несчастный старик с горя по сыну взялся за ремесло тюремщика» (*Capt., 97—100, 129—130*).

Среди очередной партии пленных попадают в руки Гегиона два молодых человека. Когда их выводят на сцену в наручниках, кандалах, с железными ошейниками на шее, то вид этих несчастных, столь юных, столь преданных друг другу, вчера еще счастливых и свободных, а ныне жалких рабов вызывает сочувствие у самого надсмотрщика. Тронут и Гегион. Он не может глядеть на них без слез и немедленно приказывает снять с них цепи. Видя, что это образованные юноши и хорошего круга, он спешит объяснить им, зачем он взялся за мерзкое ремесло, дабы они не приняли его за профессионального работорговца.

«Я вовсе не считаю, что всякая прибыль полезна человеку, — говорит он, — многих людей прибыль запятнала. Иногда даже ущерб бывает лучше прибыли. Я ненавижу деньги: слишком многих соблазняли они на зло. Теперь послушайте внимательно, чтобы хорошо понять мои чувства. Мой сын там у вас, в Элиде, раб и пленник. Верни мне его — и я отпущу и тебя и вот его даром и не возьму с вас ни гроша» (*Capt., 325—332*).

Один из пленных оказался знатным юношей, другой — его рабом. Они отлично знают, к кому попал сын Гегиона, и обещают все устроить. Решено послать раба-пленника с поручением к его хозяину, отцу юноши, который может вызволить сына Гегиона. Договор заключен. Гегион в восторге: через несколько дней он обнимет сына! Увы! Он и не подозревает обмана. Юноши успели сговориться, и тот, кого он отпустил, — господин, а в залог у него остался раб, добровольно пожертвовавший всем для господина. Таким образом, Гегион держит в руках не залог, а тень, соломинку; может ли она заставить господина пойти на жертвы и расходы?

Имя юноши Филократ, раб зовется Тиндар. Тиндар умен и ловок, соображает он мгновенно. Ему ничего не стоит

спокойными и величественными манерами обмануть нового хозяина. Но произошло непредвиденное: человек, знавший пленников дома, открыл Гегиону истину. Тиндар был разоблачен. Ему грозит неминуемая гибель. Все герои Плавта перед лицом смерти проявляют удивительную твердость. Некоторые из них бравируют, другие встречают смерть с холодным, бесчувственным спокойствием, третьи — с дерзкой удалью. Но ни один из них не трусит, не плачет и не просит пощады. Плавт менее всего склонен был идеализировать своих героев, поэтому можно заключить, что такова была вообще отличительная черта, свойственная современникам поэта. Но никто не проявляет такого величия духа и достоинства, как Тиндар.

Когда, узнав, что все его надежды рухнули, Гегион в слепой ярости бросается на обманщика и перечисляет с пеной у рта все его преступления, Тиндар спокойно отвечает:

— Я признаю, все было так, как ты говоришь: он обманом ушел от тебя, и все благодаря моим стараниям и хитроумию. За это ты и гневаешься на меня?

Гегион:

— О, за это ты заплатишь мне страшной мукой!

Тиндар:

— Лишь бы погибнуть не за дурное дело, а сама по себе смерть мне ничто. Если я погибну, а он, не сдержав слова, не вернется, все-таки мой подвиг будет жить и мертвому мне принесет славу. Люди будут рассказывать, как моего хозяина, которого пленником увели враги, я сделал свободным и вернул отцу и отечеству и предпочел скорее подвергнуть опасности свою голову, чем погубить его.

Гегион:

— Ты пожнешь славу на берегах Ахеронта!

Тиндар:

— Кто погиб доблестно, тот не погиб!.. После смерти нам нечего уже бояться. Даже если я проживу до старости, все-таки жизнь — всего лишь короткий отрезок времени, в который я могу вытерпеть все, чем ты мне грозишь. Будь жив и здоров, хотя ты заслуживаешь совсем иных слов... Прошу лишь об одном: если Филократ вернется сюда, дай мне только взглянуть на него (*Capt., 678—749*).

Вне себя от гнева, Гегион приказывает снова заковать пленника и отвести его в каменоломню. Но недолго томился он там. Филократ примчался его освободить. Он привез с собой сына Гегиона, спасенного им из рабства. Теперь Гегион не знает, как выразить свою благодарность. Он спрашивает, чем отплатить за добро Филократу. Филократ отве-

чает, что хочет одного — Тиндара. Но тут выясняется самое удивительное. Гегион неожиданно получает неопровержимые доказательства тому, что несчастный Тиндар — его собственный родной сын, похищенный у него в детстве! Немедленно посылают за Тиндаром. Он появляется перед зрителями бледный и измученный, ему кажется, что он действительно вернулся из царства Аида. Гегион обнимает его и слезами омывает свой гнев и преступление. Так кончается пьеса.

Тема комедии — рабство. Иначе не определишь. Сначала до конца речь идет о рабстве в разных его формах. С первых же минут на сцене появляются люди в тяжелых кандалах и цепях. Плавт говорит, что, посмотрев его пьесу, зрители станут лучше. Каким образом? Станут смотреть на рабов как на таких же людей, что и они сами, только попавших в беду. С самого начала все построено так, что мы должны жалеть рабов Гегиона, ремесло скупщика рабов приравнивается к ремеслу тюремщика и даже палача (*Capt., 132*). Вы сегодня свободны, настойчиво говорит нам Плавт, а завтра можете стать рабами. И финал пьесы — обычный в эллинистической комедии мотив «узнавания» пропавшего ребенка — принимает новый глубокий смысл. Все мы братья, словно говорит в заключение поэт. И надолго должны остаться в памяти зрителей слова Тиндара:

— Судьба лепит и мнет людей, как ей заблагорассудится. Меня, который был свободен, она сделала рабом, свергнув с высоты в бездну. Меня, привыкшего повелевать, она заставила исполнять чужие приказания. Правда, если бы я нашел такого господина, каким был некогда сам, я бы мог не страшиться жестокости и несправедливости... Некогда я был свободен, как твой сын. Так же, как и у него, у меня отняла свободу вражеская рука. Он служит у наших точно так же, как я служу у тебя. Но есть Бог, который видит и слышит все, что мы делаем. И он будет заботиться о твоем сыне в соответствии с тем, как ты обращаешься со мной. За добро он воздаст добром, но и за зло воздаст равной мерой. Ведь мой отец тоскует обо мне так же, как ты о своем сыне (*Capt., 304—316*).

Эти слова производят впечатление даже на современного читателя. Что же сказать о римлянах, чьи сыновья, родители и братья рабами томились в разных частях мира после Ганнибаловой войны? Плавт, по-видимому, придавал своей пьесе особое значение. В отличие от других комедий, где поэт иногда не очень-то заботится о последовательности, принося все в жертву беззаботному смеху, в нашей драме

продуманы все детали. Начнем с того, что выбран именно такой момент и эпизод, который должен был произвести особое впечатление на зрителей. Эти люди, воспитанные в идеалах суровой доблести, не могли без волнения видеть примеры благородного самопожертвования. Цицерон вспоминает, что еще в его время зрители более всего были тронуты не несчастьями Ифигении или Ипполита, нет, но они были потрясены, увидав на сцене, как Орест и Пилад, попав в плен, великодушно жертвовали жизнью один ради другого. Тут уж зал не мог удержаться от слез. В ту же суровую эпоху, о которой идет рассказ, когда люди вырастали в военном лагере, когда каждый день им угрожали плен и рабство, когда тысячи римлян томились на чужбине, один вид пленников должен был глубоко взволновать их. Слишком сильно отдавалось горе Гегиона, Тиндара и Филократа в их душах. Самопожертвование героев и их верность должны были восхитить римлян.

Но что замечательнее всего: все те же качества, которые более всего ценили римляне — мужество, верность, готовность пожертвовать собой, героизм, благородное стремление к славе, — все они воплощены в Тиндаре, а Тиндар этот — раб. Он принадлежит к тем самым людям, которых Катон советовал продавать в старости. Это и есть ответ Плавта Катону, ответ, который может дать поэт. Он возражает не с помощью логики или риторики, нет, он создает живые образы людей и сталкивает человеческие судьбы. И если можно подозревать, что Эмилия могла смутиться, слыша со сцены насмешки над слишком пышными одеждами и экипажами, то и Катон должен был краснеть, слыша осуждение позорнейшей прибыли — торговли людьми.

Комедия «Пленники» имеет еще один тайный смысл. После Канн чрезмерно суровые отцы города отказались выкупать пленных, называя сдачу в плен трусостью и позором. Такая жестокость возмущала Публия Сципиона. Он не только воспользовался услугами беглецов, которых государство почитало опозоренными, но и демонстративно во время своего триумфа показал народу освобожденного им из плена Теренция, окруженного величайшими почестями. И вот в своей пьесе Плавт сделал все, чтобы возбудить у зрителей жалость к несчастным и склонить их на сторону гуманности.

Теперь я представлю читателям самим решить, склонялся ли Плавт на сторону эллинофилов или друзей старины, последователей Катона или подражателей Сципиона.

Судебные поединки

Марк Порций Катон щедро был наделен природой разными дарованиями. Но самым ярким талантом его было красноречие. И здесь, как всегда, этот защитник старины выступал как смелый новатор. Римляне старого поколения не чужды были красноречия, ибо оно является необходимым оружием демократии. Римлянину нужно было постоянно убеждать в своей правоте сограждан, а для этого он должен был говорить красиво и логично. Он убеждал народ на Форуме, убеждал отцов в сенате, убеждал даже воинов перед битвой, и речи эти вливали в них мужество. Речь сопровождала квирита всю его жизнь. И когда он умирал, его несли на Форум, тело его поднимали на ораторское возвышение, с которого он столько раз говорил при жизни, кругом рассаживались все его «умершие предки», и его наследник произносил прощальную речь, обращаясь к безмолвному и торжественному сонму умерших, чтобы доказать, что он достоин их славы и величия.

Итак, красноречие было необходимо римлянам как воздух. Но только Катон, изощряя и совершенствуя это искусство ежедневно, превратил его в настоящую шпагу для борьбы с врагами, он отточил и закалил это оружие и в конце концов сделался неуязвимым. Едва ли не ежедневно Порций стал выступать против своих врагов с громкими судебными процессами. Именно он превратил судебные дела в настоящие поединки, развертывавшиеся на Форуме. Современному читателю трудно даже представить себе что-нибудь подобное. У нас к суду привлекают в основном преступников, защищают их адвокаты — профессиональные защитники, обвиняют прокуроры — платные обвинители — и, кроме некоторых исключительных случаев, такого рода разбирательства интересуют только ближайших родственников обвиняемого. В Риме все было совершенно иначе. Суд был родом дуэли. Человек привлекал к суду своего недруга или соперника, возбуждая против него какое-нибудь громкое дело. Он и был обвинителем. Защищался подсудимый либо сам, либо прибегал к помощи своего более красноречивого друга. Посмотреть на это зрелище стекался весь Рим. И вот перед лицом всего народа враги скрещивали свои словесные шпаги. Обвинитель разбирал всю жизнь подсудимого с самого детства и порой совершенно не стеснялся в выражениях. Оба противника и не думали скрывать взаимной ненависти и прятать неприязнь под лицемерной маской объективности. Нет, они открыто пылали враждой, и это-то и придава-

ло судебному поединку в глазах римлян особенную прелесть и остроту. Я говорила, что весь Рим стекался посмотреть на это захватывающее зрелище. В самом деле, что могло быть увлекательнее и драматичнее, чем вид этих двух противников, часто первых людей Республики, которые сходились в бою, обдавая друг друга целым фонтаном отточенных метких слов и мыслей. И народ, замирая, следил за этой битвой, зная, что она должна кончиться гражданской смертью одного из бойцов.

Цицерон вспоминает, как мальчиком он дневал и ночевал на Форуме, слушая блестящих ораторов, выступавших по делу союзников. Но не только такой изысканный слушатель, как юный Цицерон, был увлечен судами. Плавт говорит, что простые плебеи совершенно переселились на Форум, днюют и ночуют на судебных заседаниях и знают назубок все законы (*Plaut. Poenul., 582—587*). Вот несколько примеров подобного рода блестящих дуэлей. Целий Руф, молодой приятель Цицерона, вызвал на суд некого Бестию. Бестия оправдался. Целий немедленно выдвинул против него новое обвинение, но тут его самого привлек к суду сын подсудимого. Какой напряженный поединок! И все это в течение нескольких месяцев! Бестия-младший прямо заявил на суде, что не затронь Целий его отца, он не сказал бы ему ни одного дурного слова (*Cic. Pro Cael., 56*). И Цицерон, защитник Целия, ничуть не осуждает родичей Бестии и не пытается доказать судьям, что такой предубежденный обвинитель на суде не годится. Напротив. «Они, — говорит оратор, — выполняют свой долг, они защищают своих близких, они поступают так, как обычно поступают храбрейшие мужи — оскорбленные, они страдают, разгневанные — негодуют, задетые за живое — сражаются» (*ibid., 21*).

Знаменитый оратор Красс начал свою карьеру с того, что в 20 лет привлек к суду соратника Гракхов Папирия Карбона. Обвинение было удачно. Зато потом, как впоследствии шутил Красс, ему пришлось всю жизнь быть честным человеком, так как за ним всюду как тень следовал сын осужденного, чтобы найти хоть какой-нибудь повод привлечь его к суду. А Лукулл, великий победитель Митридата, в ранней юности привлек к суду Сервилия, который в свое время опозорил судом его отца. По этому поводу Плутарх замечает: «Выступать с обвинениями, даже без особого к тому предлога, вообще считается у римлян делом отнюдь не бесславным, напротив, им очень нравится, когда молодые люди травят нарушителя закона, словно породистые щенки» (*Plut. Lucul., I*). Полибий, прибывший в Рим через 30 лет

после окончания Ганнибаловой войны, также с изумлением отмечает эту черту римских нравов. «Молодежь проводила время на Форуме, — пишет он, — занимаясь ведением дел в судах... Юноши входили в славу тем только, что вредили кому-нибудь из сограждан: так бывает обыкновенно при ведении судебных дел» (*Polyb., XXXII, 15, 8—10*).

Тут мы видим еще одну черту судебных поединков: это был не только способ свести личные счеты или устранить опасного соперника, но и показать свою ловкость и силу, обрушась на именитого нарушителя закона. Поэтому в Риме времен Полибия считалось, что юноша должен начать свою карьеру, обвинив кого-нибудь перед судом. Но труден был путь обвинителя: надо было не только блестяще владеть словом, не только великолепно знать право, не только обладать смелостью и находчивостью, но и ежедневно терпеливо и упорно собирать данные для своей обвинительной речи. «Надо отрешиться от всех наслаждений, — советует обвинителям Цицерон, — оставить развлечения, любовные игры, шутки, пиры, чуть ли не от бесед с близкими надо отказаться... Разве Целий, избери он в жизни легкий путь, мог бы, будучи еще совсем молодым человеком, привлечь к суду консуляра?.. Разве стал бы он изо дня в день выступать на этом поприще?» (*Pro Cael., 46—47*).

Скрестив словесные шпаги два-три раза, юноши обычно остепенялись и не возвращались к этой опасной игре. Но были люди, которые избрали ремесло профессионального бретера. Вот на таких людей смотрели со страхом и неприязнью. Жизнь такого человека была не менее опасна, чем жизнь опытного дуэлянта. Ведь сам обиженный, его друзья и родичи будут мстить, и каждую минуту он рискует потерять гражданские права. Вот как описывает положение его Цицерон: «Изо дня в день выступать на этом поприще, навлекать на себя ненависть, привлекать к суду других, самому рисковать своими гражданскими правами и на глазах всего римского народа столько месяцев биться за гражданские права или славу» (*ibid., 47*).

Именно таким человеком был Марк Порций Катон. «Он, с которым враждовали чуть ли не все могущественные люди Рима, словно атлет, боролся до глубокой старости и ни разу не был сбит с ног. Многократно участвовал он в судебных процессах то в качестве обвинителя, то в качестве обвиняемого. Он подвел под наказание многих своих противников, сам же не подвергся ему ни разу, причем действенным оружием защиты и нападения ему служила сила речи» (*Plut. Cat. mai., 29*). «Он и сам не раз выступал обвинителем в суде и

поддерживал других обвинителей, а иных и подстрекал к таким выступлениям... Говорят, он был под судом чуть ли не пятьдесят раз» (*ibid., 15*). «Он умел своих противников доводить до изнеможения, не только обвиняя, но и защищаясь», — говорит Ливий. Последний раз он защищался в возрасте восьмидесяти шести лет, обвинял — в девяносто (*Liv., XXXIX, 40*).

Катон был не только лучшим на судебном поприще, но, по-видимому, ввел этот новый стиль жизни и новый спорт. Кажется, до него суд считался позором. Можно думать, что люди старшего поколения с изумлением и неодобрением смотрели на этот странный турнир. Для Плавта и Люцилия, поэта, жившего поколение спустя, суды — любимая мишень для насмешек. Мы знаем, что Эмилий Павел после обвинения затворился дома, считая, что он умер для общества. Перед смертью он с содроганием говорил, что лучше погибнуть, чем снова быть под судом самому или стараться осудить своего коллегу. Между тем Катон гордился, что столько раз был под судом. Еще бы! Это было для него все равно что успешно выдержать пятьдесят дуэлей. Последний раз, как уже говорилось, он обвинял за несколько месяцев до смерти. В своих «Началах» Катон с гордостью пишет, что засудил бы непременно этого Гальбу, если бы тот не вынес на руках мальчика-сироту, сына своего покойного друга, которого он воспитывал после смерти отца. Вид этого младенца растрогал квиритов, они заплакали и простили Гальбу. «Он вырвался тогда из огня», — говорит Катон (*Cic. Brut., 90*). «Не прибегни он к детям и слезам, пострадал бы», — самодовольно замечает он (*Cic. De or., I, 228*). Замечательно, что вся история Рима у Порция завершается этим эпизодом: жалкий, дрожащий Гальба с ребенком на руках перед грозным Катоном.

В конце концов Порций действительно стал напоминать того «записного дуэлиста с Пре-о-Клер», которого с таким мастерством рисует Мериме. Все поспешно расступаются перед ним, трепеща при мысли, что случайно толкнут его или наступят на ногу, а он величественно и важно проходит, сознавая свою силу. Катон не прощал обид и всегда был готов к бою. Однажды, повстречав юношу, который засудил врага своего покойного отца, Катон с восхищением воскликнул: «Да, молодой человек, вот что нужно приносить в жертву своим умершим родителям — не овец и козлят, а слезы осужденных врагов!» (*Plut. Cat. mai., 15*).

Сам Катон имел огромное число врагов — идейных, политических и личных. Человек злого и неуживчивого нрава, о котором говорили, что даже тень его Персефона побоится

впустить в Аид, он внушал противникам настоящий ужас (*Plut. Cat. mai., 1; Liv., XXXIX, 40; Diod., XXXII, 15; Schol. Cic. Bob., 254, 17*). И причиной его блестящих успехов был, несомненно, удивительный дар слова. «В речах Катона явственно видно дарование, — пишет Цицерон, — хотя еще неразвитое и грубое» (*Cic. Brut., 294*). «Он умел быть одновременно ласковым и грозным, приветливым и страшным, шутливым и резким» (*Plut. Cat. mai., 7*). В самом деле, что за сила красноречия видна даже в тех ничтожных отрывках, которые дошли до нас! Вот он обличает преступника и оплакивает его жертвы:

«Он сказал, что децемвиры недостаточно хорошо позаботились о провианте. Он велел сорвать с них одежду и бить бичом. Децемвиров секли бруттийцы: многие смертные видели это. Кто может вынести такое унижение, такой деспотизм, такое рабство? Ни один царь не дерзнет на подобное. И такое случилось с честными людьми из честных семей, воспитанных в понятии чести! Где же союз? Где верность предков? Ты осмелился учинить такую чудовищную несправедливость: удары, побои, синяки — все эти муки и истязания, весь этот позор и величайшее унижение, да еще на глазах их сограждан и прочих смертных. О, какие стоны, какие вопли, какие слезы, какой плач я слышал! Рабы очень тяжело переносят несправедливость: что же сказать о них, рожденных в честной семье, наделенных великой доблестью, как вы думаете, что было у них в душе и что будет, пока они живы?» (*Orat., fr. 58*).

Об этом же человеке: «Ты хочешь скрыть свое нечестивое преступление преступлением еще худшим? Ты делаешь окорока из человечины!»* (*Orat., fr. 59*).

Или: «Он ни во что не ставил ропот и молву, преданный противоестественному разврату и чудовищным гнусностям» (*ibid., fr. 60*). «Он не чтил ни верность, ни законность, ни стыд» (*ibid., fr. 61*).

Как это грозно и сильно! Но Катон был мастер не только на суровые филиппики. Как он умел разить врагов жалом насмешки! Его язык был остер как бритва. Вот как, например, он описывает одного молодого человека по имени Целий: «Как одержимый сонной болезнью непрерывно пьет и спит, так никогда не замолкнет одержимый недугом болтливости. Он до того жаждет произносить речи, что, не соберись вы, он сам отыщет себе слушателей» (*Orat., fr. 111*). «За

* Речь идет о том, что обвиняемый, по словам Катона, изрубил людей на куски. Катон представляет его в виде людоеда.

кусок хлеба его можно заставить не только говорить, но и молчать» (*Orat., fr. 112*). «Я уверен, что этого человека в конце концов провезут во время Цирковых игр вместо Цитерии, а он будет болтать с публикой» (*ibid., fr. 116*)*.

Или, обвиняя почтенного гражданина, он говорит: «Ты еще в школе крал у детей ручки** и сумочки» (*Orat., fr. 205*). Или: «Если бы можно было устроить аукцион твоих талантов, как мебели» (*ibid., fr. 201*). Или: «Он бежит стремглав от хороших поступков, от добрых дел мчится, как на колесница» (*ibid., fr. 182*).

В своих речах Катон совершенно не стеснялся в выражениях. Ливий пишет, что на Форуме он был суров, прямо-таки свиреп (*XXXIV, 5*). «Надо признаться, — говорит историк в другом месте, — что он отличался тяжелым нравом, был слишком откровенен и резок в речах» (*XXXIX, 40*). «Кто не знает его бесстыдства и черствости», — говорит он про одного (*Orat., fr. 75*). «Есть ли кто-нибудь грубее, суевернее, запущеннее, дальше от общественных забот», — говорит он о другом (*Orat., fr. 204*).

Обладая столь великолепным оружием, будучи ловким и находчивым, Катон стремительно шел вверх по лестнице почестей, сметая с пути всех соперников. В 199 году до н. э. он был плебейским эдилом. В следующем же году Катон стал претором и управлял Сардинией. В его лице, говорит Плутарх, власть римлян вызывала у подданных и страх, и восхищение (*Plut. Cat. mai., 6*). В 195 году до н. э. он консул. По окончании консулата он управлял Испанией. Почти сразу же после возвращения Порций отправился на новую войну уже в качестве военного трибуна или легата при знакомом нам консуле Мании Глабрионе, который высадился в Греции, чтобы помешать царю Антиоху.

Маний был, как и Катон, *новый человек*, поэтому, кажется, питал к Порцию симпатию, кроме того, уважал его опытность в военном деле. Решительный бой царю дан был в Фермопильском ущелье. События этого дня увековечил для потомков в своей истории сам Катон. Ливий и Плутарх, читавшие это сочинение, замечают, что он вообще слишком щедро осыпал себя похвалами (*Plut. Cat. mai., 14; Liv., XXXIII, 15*). «Хвастовство он считал спутником великих деяний», — несколько саркастически замечает Плутарх. Катон сам описывает, как он во главе отряда с громкими кликами, как лев,

---

* Цитерия была карнавальной маской, которую носили по праздникам, а она потешно болтала с толпой.

** *Styli.*

понесся на врагов. Вообще в боях он «угрозами и свирепыми криками вселял ужас в неприятеля, справедливо полагая, что крик разит лучше, чем меч» (*Plut. Cat. mai., 1*). «Катон до небес превознес события этого дня. Тем, уверяет он, кто видел, как он гонит и разит врага, приходило на ум, что не столько Катон в долгу у народа, сколько народ у Катона, а сам консул Маний... обнял его... и долго целовал, восклицая, что ни он, Маний, ни весь народ не в силах достойно отплатить Катону за его благодеяние» (*Cat. mai., 14*).

Некоторая доля преувеличения здесь есть. Читая эти строки, можно подумать, что речь идет о победе над огромной армией, а ведь Антиох собрал всего десять тысяч, «что-то вроде двух маленьких легиончиков», как говорил Тит Фламинин, тоже бывший тогда в Греции. После великой победы консул послал гонцов в Рим, чтобы обрадовать сограждан. Однако вестником, на долю которого обычно выпадала чуть ли не половина благодарности, он почему-то выбрал не героического Порция, а Люция Сципиона, брата Публия Африканского. Но римляне узнали о победе не от Люция. Сразу же после сражения, еще не остыв от боя, Катон стрелой понесся в Рим. Он опередил вялого Люция и первым возвестил о победе, «наполнив город ликованием и дымом жертвоприношений» (*ibid., 14*)[82].

Катон не только приписал всю победу себе, совершенно оттеснив в тень консула Глабриона, но прямо объявил, что именно он является победителем Антиоха, хотя уже посланы были в Азию для дальнейших боевых действий Сципионы. «Я навечно воздвиг себе памятник*, — объявил Катон. — Я как раз вовремя изгнал при Фермопилах величайший страх перед Азией и усмирил ее» (*Orat., fr. 48—49*).

В следующем году Катон добивался цензуры. Его соперником был тот самый Глабрион, который «долго целовал» Порция в Фермопильском ущелье. Разумеется, Маний, только что отпраздновавший блестящий триумф, имел большие шансы на успех. Кроме того, он был очень любим народом за свою щедрость. В Риме считалось, что между полководцем и его офицером существует связь такая же тесная, как между отцом и сыном (*Cic. De or., II, 197—200*). Возможно даже, что вежливость требовала от Катона уступить место своему бывшему командиру. Однако этот фанатичный поклонник старины в некоторых случаях презирал старомодность. Порций поступил по-другому. Он сговорился с какими-то двумя трибунами, которые привлекли Мания к суду,

---

* Если только эти слова не относятся к испанской войне.

обвиняя в сокрытии части добычи. Катон выступил как свидетель, а может быть, и сообвинитель. Он заявил, что не видел в триумфе золотой чаши, которая запомнилась ему среди добычи.

Глабрион повел себя с большим достоинством. Ему тяжело было видеть измену Катона, которого он в свое время обласкал. Враги его могут быть спокойны, сказал Маний, он сам снимет свою кандидатуру. Но ему больно, прибавил он, что Катон, сам *человек новый*, напал на него, подло нарушив клятву (*Liv., XXXVII, 57*). (Очевидно, Катон с Глабрионом поклялись поддерживать друг друга в политической борьбе.) Маний был человеком старых взглядов. Он не привлек противников к суду в свою очередь, а, глубоко оскорбленный, навеки удалился от дел.

Но Катон просчитался. Его поступок возмутил римлян. Он провалился на выборах, цензорами стали Марцелл и Тит*. Но Катон не пал духом и не смутился. Смутить его вообще было невозможно. Этот год — 190 год до н. э. — он провел бурно. Он затеял отчаянный бой с Минуцием Термом**, бывшим офицером и другом Сципиона. Терм был в Испании за год до Катона и достиг там весьма значительных успехов, хотя имел гораздо меньшее войско. Впоследствии он прекрасно воевал в Лигурии и сейчас надеялся на заслуженный триумф. Но тут на него обрушился Катон. Он называл его убийцей, без суда убивавшим людей, и гнусным развратником. Вина Терма, правда, осталась недоказанной, так что он не только не был осужден, но уже через год выполнял очень ответственные поручения, требовавшие безусловной честности***. Но у каждого слушавшего Катона остался в душе неприятный осадок, и Минуцию отказали в триумфе. Через семь лет сын Терма в свою очередь привлек к суду самого Катона. Защищаясь, Катон произнес речь «О своих доблестях против Терма». Порций оправдался, а в 154 году до н. э. привлек к суду и этого Терма.

В том же 190 году до н. э. враги привлекли к суду Катона за его действия в Испании. Это может нас изумить. Как?! Разве Порций не блестяще воевал в Иберии? Плиний даже пишет, что Катон был лучшим императором своего времени, то есть лучшим полководцем. А мы знаем, что импера-

---

* Тит не мог быть соперником ни Мания, ни Катона, так как был патрицием.

** См. о нем выше: глава первая, «Возвращение».

*** Он был в числе десяти уполномоченных, решавших судьбу царства Селевкидов.

тором он был однажды, в Испании. Значит, именно эта кампания прославила его имя. Но не все современники разделяли восторг Плиния. Действия Катона вызвали всеобщее восстание в провинции. Тщетно Катон его подавлял. Не успевал он дойти до Тарракона — иберы восставали вновь. Порций столкнулся с партизанской войной. Консул продавал в рабство целые племена, отнимал у испанцев оружие — тщетно. Казалось, он сидит на вулкане. «Всюду заставал он смуту» (*Ливий*). Тогда он отправился в Турдетанию, чтобы перекупить отряды, шедшие на помощь мятежникам. Но это ему не удалось. Он предложил партизанам выйти на открытое сражение, но, разумеется, получил отказ. Он попытался взять Сагунтию и Нуманцию, оплот мятежников. Но и тут потерпел неудачу. Тогда он вернулся на юг, разгромил несколько разбойничьих гнезд и со славой воротился в Рим (*Liv.*, *XXXIV*, *16—20*). Нам известно, что Сципион был так возмущен действиями Катона в Испании, что требовал в сенате отозвать его в Рим (*Nep. Cat.*, *2, 2; Plut. Cat. mai.*, *11*; ср.: *примечание 78*), хотя к суду его, конечно, привлекать не стал.

В ответ на обвинения Катон произнес блестящую речь. Он сказал, что поражен удивительной наглостью своих врагов, хотя и всегда знал, что они из себя представляют, что он, Порций, взял в Испании больше городов, чем провел там дней, и что пил то же вино, что и гребцы (*Cato Orat.*, *fr. 22, 48, 53, 54*). В результате он был оправдан.

Таков всего один год Катона, восстанавливаемый по дошедшим до нас отдельным жалким фрагментам. Кажется, пяти человекам не под силу сделать столько. Но для Катона это был обычный, заурядный год. Такова была неистощимая энергия этого человека. Следующий год застает неутомимого Порция уже в Греции, где он сражается под началом консула Фульвия Нобилиора. Это тот самый тщеславный полководец, который мечтал о вечной славе и, чтобы достичь бессмертия, взял с собой в Элладу Энния. В лагере Катон снова встретил своего прежнего учителя, от которого давно с презрением отвернулся, узнав, что он занялся бесполезным ремеслом поэта. Вскоре после возвращения в Рим Порций напал на своего военачальника. Он перечислил все его преступления, среди которых, конечно, он назвал и дружбу с Эннием, человеком, с которым и знаться-то зазорно[83].

Когда Катон выставил в следующий раз свою кандидатуру в цензоры, у него было семь соперников. Но Порций, как вихрь, налетел на них со своей словесной шпагой. Сначала он атаковал Тиберия Семпрония Лонга, неплохого военачальника, бывшего в 194 году до н. э. консулом вместе со Сци-

пионом. Катон некогда был его легатом во Фракии (*Plut. Cat. mai., 12*), но, как мы знаем, придавал мало значения этому обстоятельству. Он поразил Тиберия, а может быть, даже добился его изгнания[84]. Затем он налетел на второго своего врага, Фурия Пурпуреона, обвинив его в том, что он отводит для своего дома общественную воду (*Cato Orat., fr. 99—105*)[85].

Сокрушив всех своих врагов, Катон наконец достиг вожделенной цензуры. Она принесла ему бессмертную славу. Ведь он получил от народа законное право карать чужие грехи. И если Сципиона современники назвали Африканским, Тита — Освободителем Эллады, то Катон за свои подвиги был назван Цензором.

Теперь Катон стал популярнейшим политическим деятелем. Г. Буассье великолепно его рисует: «Катон, представлявший наиболее современный тип народного магистрата, находился в постоянных сношениях со своими избирателями. Он часто собирал их, чтобы подробно сообщить им, что он сделал, высказывая им обо всем свое мнение с шутовской иронией, которая так нравится толпе, беседовал с ними о других и о себе, не щадя своих противников, которых он называл охотно развратниками и плутами, расхваливая в то же время свою умеренность и бескорыстие»*.

* * *

У Катона было много врагов. Но главным из них, на котором сосредоточивалась вся его ненависть, был Публий Корнелий Сципион. С первого дня и часа их знакомства там, в Сицилии, он проникся к Публию смертельной враждой. Я думаю, дело тут было вовсе не в зависти, на что, кажется, намекает Плутарх (*Plut. Cat. mai., 32*), не в личной неприязни или ссоре, а в гораздо более глубоких причинах. Слишком цельной и сильной натурой был этот римский пуританин. Тут другое. Публий воплощал в себе все то новое, весь тот *возрожденческий дух*, против которого ополчился Катон. Сципион вдохновлял все это, и его следовало уничтожить[86].

Действовал Катон без малейших угрызений совести. В самом деле, он считал Публия человеком безусловно вредным. За что бы он стал его щадить? Его военные подвиги ничего не значили в глазах Порция, который полагал, что полководцы ничего не решают на войне, и Сципион в его глазах имел значение не более чем божок, вырезанный на носу судна, по удачному выражению Льва Толстого. Главный же

---

* *Буассье Г.* Археологические прогулки по Риму. С. 65, 66.

залог победы, по его мнению, заключался в моральном духе легионов. А именно этот дух и развращал Сципион своим поведением. Итак, Катон объявил войну Сципиону. Он стал привлекать к суду друзей и близких Публия (возможно, Терм поплатился именно за дружбу с Корнелием). Круг смыкался все уже, но Публий отвечал на все атаки Катона полным презрением, даже не удостаивая его своей вражды.

Между тем Порций столкнулся еще с одним противником, а именно с Титом Квинктием Фламинином. Вряд ли можно сомневаться, что эти два человека не любили друг друга. Тит, утонченный аристократ, получивший прекрасное воспитание, восторженный поклонник греческой культуры, более всего гордившийся освобождением Эллады, не мог без отвращения и скуки слушать «вопли» Катона. Катон же со своей стороны должен был считать Тита человеком, по вредоносности уступавшим одному только Публию. Действительно, Катон обрушивался на греческие статуи и картины, а Тит буквально наполнил ими Рим. Катон возмущался, если люди декламируют стихи, а Тит писал сам греческие стихи и посвящал их богам. Катон хотел совсем разорвать с этой развращенной расой, а Тит так основательно втянул римлян в греческие дела, что они то и дело должны были ездить в Элладу, гостить в Афинах и в результате совершенно разлагались. Катон призывал изгнать всех греков из Италии, а Тит наводнил ими Рим. Тут были цари, царевичи, послы-философы, которые успевали после официального приема еще прочесть публичные лекции. И вся эта пестрая компания собралась в веселом и гостеприимном доме освободителя Эллады. Они шутили, пировали, а подчас пели и танцевали, так что дом Тита представлял собой настоящий рассадник заразы. Этого было вполне достаточно. Но Тит еще вдобавок взял сторону Сципиона. «Два самых знаменитых в Риме человека, имевших самое большое влияние на сограждан, Сципион Африканский и Марк Катон, враждовали друг с другом. Сципиона Тит поставил первым в списке сенаторов, видя в нем безупречного человека, лучшего представителя своего сословия, с Катоном же он находился в неприязненных отношениях» (*Plut. Flam., 18*)[87].

Сам Тит был слишком честен и ловок, и Катон не рискнул на него напасть. Зато он обрушился на двух самых близких к нему людей: на его брата Люция и на друга и ученика Аппия Клавдия. Обоих он обвинил в аморальном поведении. Речь, произнесенная против Аппия, носила многозначительное название — «О нравах Аппия Клавдия» (*Orat., fr. 83, 84*). Тит, однако, был совсем из другого теста, чем Сци-

пион. Он вовсе не собирался благородничать с Катоном и немедленно сам перешел в наступление. «Тит часто выдвигал против него (Катона. — *Т. Б.*) тяжкие обвинения в суде» (*Plut. Flam., 19*). «Тит со своими сторонниками, выступив против него в сенате, добился расторжения заключенных им арендных сделок... как сделок убыточных и подстрекнул самых дерзких народных трибунов привлечь Катона к суду народа и взыскать с него два таланта штрафа» (*Plut. Cat. mai., 19*).

А Публий по-прежнему отвечал Катону равнодушным молчанием. В древневавилонском тексте, озаглавленном «Разговор господина с рабом», есть глава, называющаяся «Тщетность надежды на благородность противника». Господин говорит там:

— На слова моего обвинителя я хочу ответить молчанием.

Раб же возражает ему:

— Не отвечай молчанием, господин мой! Не отвечай! Если ты не будешь говорить... то обвинители твои будут свирепы к тебе*.

На своем примере Публий доказал истинность этой древней восточной мудрости.

Но хотя Катон ненавидел Публия, хотя он постоянно «злословил его славу», по выражению Ливия (*Liv., XXXVIII, 54*), хотя он «терпеть не мог Публия Африканского» (*Plin. N. H. Praef., 30*), он был бессилен сокрушить своего врага: Сципион был из тех, кого клевета не могла коснуться. Но Катон не терял надежды. Словно гомеровский Ахиллес, который тщетно вглядывается в закованного в броню Гектора, ища уязвимое место, смотрел Катон на своего врага, ища хоть какое-нибудь место для удара. Но тщетно. И неожиданно он нашел уязвимое место.

---

* *Тураев Б. А.* История Древнего Востока. Л., 1935. Т. I. С. 144.

Глава пятая

СУД

Сициний:
Он язва. Надо вырезать ее.
Менений:
.....
Чем заслужил он казнь, чем Рим обидел?
Тем, что громил его врагов? Иль тем,
Что за отчизну пролил больше крови,
Чем в жилах у него теперь осталось?
Пролив ее остаток, вы навеки
На всех, кто это допустил иль сделал,
Положите пятно.
Сициний:
Слова пустые!

В. Шекспир. Кориолан

Катон был некогда квестором при Сципионе и знал, что знаменитый полководец небрежно относится к финансовым вопросам, любит делать воинам подарки и вообще сорить деньгами. В войне с Антиохом Публий опять командовал армией. Этим надо было воспользоваться. И вот Порцию стало известно, что солдаты были щедро вознаграждены и даже получили двойное жалованье. Этого было довольно. Можно было обвинить Сципиона в утайке части военной добычи. Однако Катон был достаточно умен и осторожен и прекрасно понимал, что если он выступит сам против Публия, то приобретет у современников и потомков самую зловещую славу. На нем навеки будет позорное клеймо клеветника, подло погубившего величайшего гражданина, спасителя Рима. Этого Порций вовсе не хотел. Если верить Цицерону, будучи уже стариком, Катон с умилением рассказывал молодежи об этом великом муже, давая понять, что его связала с Публием нежная дружба (*Cic. Senect., 19*). Поэтому Катон решил действовать чужими руками[88].

Он подучил каких-то двух дерзких трибунов, по-видимому, *новых людей*, двух Петилиев[89], убедив их, очевидно, что лучший способ сделать карьеру — это привлечь к суду какого-нибудь знаменитого человека, а кто же более знаменит, чем Сципион? И вот через три года после победы при Магнесии (в 187 году до н. э.) Петилии потребовали в сенате у

Люция[90] отчет о деньгах, которые он получил от царя Антиоха перед заключением мира. Люций, однако, не успел еще ответить, как поднялся его брат. На это обвинители и рассчитывали. Люций был им не нужен: они были уверены, что Публий возьмет удар на себя. «Публий ответил, что отчет у него есть, но что он не обязан отчитываться перед кем бы то ни было. Когда противник настаивал и требовал представить счеты, Публий попросил брата принести их. Книга была доставлена. Тогда Публий протянул ее вперед и на глазах всех изорвал, предложивши своему противнику восстановить отчет по отрывкам, а прочих спросил, почему они так доискиваются отчета о том, каким образом и как израсходованы три тысячи талантов, между тем не спрашивают, каким образом и через кого поступили к ним пятнадцать тысяч талантов, которые получены им от царя Антиоха, равно как и о том, каким образом они сделались обладателями Азии, Ливии, а также Иберии. Все сенаторы оцепенели от этих слов, и требовавший отчета замолк» (*Polyb., XXIII, 14, 7—10*).

Но эта неудача не обескуражила Катона. Он действовал. Для его планов 187 год до н. э. был на редкость удачным. Из десяти трибунов девять были его союзниками, десятый же, Тиберий Гракх, в заговоре не участвовал, но был личным врагом Сципиона. Инициативу на сей раз взял на себя трибун Авгурин. Петилии, как видно, еще не вышли из оцепенения. Напасть решено было на беззащитного брата Сципиона, Люция. Вопрос опять стоял о деньгах царя Антиоха.

Люций растерялся, но, во-видимому, решил не являться на суд, подражая своему брату. Тогда трибун стал угрожать отвести его в оковах в тюрьму. Люций же все колебался и не знал, что предпринять. Тогда Публий, который понимал, что брат страдает из-за него, апеллировал к остальным трибунам, требуя у них защиты от произвола коллеги. Но между ними был сговор, и восемь из них отказали. Тиберий же неожиданно заявил, что у него особое мнение. Он был человек пылкий, мужественный и суровый. И коллеги не сомневались, что его предложение будет еще более жестким. Но Катон и его союзники не учли одного: Тиберий наделен был рыцарским благородством. Взяв слово, он дал торжественную клятву, что не мирился со Сципионами и ничего не делает, чтобы снискать их расположение. Но, продолжал Гракх, он никогда не позволит отвести в тюрьму триумфатора Люция, ибо это недостойно Республики. Тиберий защищал честь Сципионов с тем большим жаром, что они были его врагами.

Хотя Гракх не вмешивался в сам ход процесса, его слова произвели такое сильное впечатление на римлян, что дело

немедленно прекратилось (*Gell., VII, 19; Val. Max., IV, 18; Liv., XXXVIII, 57; Cic. De cons. prov. VIII, 18*).

Рассказывают, что в тот же день был ритуальный пир в честь Юпитера в Капитолии. Весь сенат был в сборе. Были и Тиберий с Публием. Случайно (вероятно, для них самих, но не для устроителей пира) они оказались рядом за одним столом. Они заговорили и почувствовали друг к другу самую горячую симпатию. В конце пира сам Сципион предложил Тиберию руку своей младшей дочери (некоторые передают, что весь сенат стал ходатайствовать за Тиберия и просил Сципиона выдать за него Корнелию). Как бы то ни было, предложение было сделано, и Гракх с глубокой радостью его принял. Публий прибавил, что шаг его не опрометчив, ибо он узнал Тиберия в самое подходящее время для того, чтобы составить о нем правильное мнение: именно когда он был его врагом (*Gell., XII, 8, 1—4; Val. Max., IV, 2, 3*). Далее рассказывают, что Сципион вернулся домой и объявил Эмилии, что просватал младшую дочь. Жена стала горько упрекать его, спрашивая, как мог он решиться на это, даже не посоветовавшись с ней. Публий благоразумно молчал. Наконец она воскликнула:

— Со мной надо было бы посоветоваться, даже если бы ты просватал дочь за Тиберия Гракха!

Публий, очень обрадованный, объявил, что Тиберий и есть жених, и мир был восстановлен (*Liv., XXXVIII, 57*).

Но Катон и тут не растерялся.

Он всегда знал, что Сципион грозный противник, но он оказался еще более грозным, чем он думал. Однако Порций не отступил. Он понял, что общественное мнение Рима надо подготовить. И вот он стал повсюду распространять темные слухи (*Liv., XXXVIII, 54*). «Он... не переставал сеять подозрения и клевету», — говорит Плутарх (*Plut. Cat. mai., 32*). «Нашлись люди, — пишет Ливий, — которые утверждали, что эта война (с Антиохом. — *Т. Б.*) больше наделала шуму, чем потребовала трудов, ведь она решилась одним сражением и цветок славы за эту победу был уже сорван при Фермопилах». Кто «эти люди», которые так часто вспоминали о Фермопилах, мы уже знаем. Сам Ливий с некоторым недоумением приводит это мнение и замечает: «Говоря по правде, при Фермопилах воевали скорее с этолянами, чем с царем. Большую ли часть своих войск бросил в ту битву Антиох? А чтобы воевать в Азии, он и войско собрал со всей Азии — вплоть до самых пределов Востока» (*Liv., XXXVII, 58*). Но поползли слухи и совсем иного рода. В темных закоулках стали шептать, что Сципион был в тайных переговорах

с Антиохом, что царь ласкал его сына и недаром выдал его отцу без выкупа (см. *примечание 76*).

Наконец почва была подготовлена (184 год до н. э.). К суду народа должны были теперь привлечь *самого Публия*, и предъявлено ему было страшное обвинение — государственная измена. Для этой цели Катон нашел еще одного «нового человека», какого-то Марка Невия, тоже народного трибуна. Сципиона обвинили в предательстве, в тайных преступных переговорах с царем Антиохом и получении от него взятки[91]. Процесс должен был превратиться в настоящий суд над всей жизнью обвиняемого. Враги нашли на репутации Сципиона только три пятна: он слишком любил эллинскую культуру, был слишком мягок к врагам и слишком горд. Припомнили, как недостойно он вел себя в Сиракузах, когда ходил по театрам и одевался в греческий плащ. Милость, проявляемую им к противникам, они объясняли полученными взятками. Но особенно много говорили о его необыкновенной, поистине «царской» гордости (*Liv.*, *XXXVIII*, *51—52*, *54*).

Наконец было сказано много речей, способных просто разжечь к нему ненависть народа. Ливий так их передает: «Во всех делах Антиох чтил его так, как будто мир и война Рима только в его руках... И он отправился в Азию только затем, чтобы Греция, Азия и все царства и народы Востока убедились в том, что уже давно известно Испании, Галлии, Сицилии и Африке, а именно, что Сципион один — глава и опора римской власти, что под сенью Сципиона укрывается государство, владычествующее над вселенной, что один его кивок заменяет и декреты сената, и повеления народа» (*XXXVIII, 51)*.

День суда настал. Весь Рим высыпал на Форум. Дело Публия всколыхнуло всех. Толки были самые разные. Одни негодовали и возмущались, что спасителя Рима чернят грязной клеветой, и говорили, что этот суд — позор для Республики, а не для Сципиона. Другие возражали, что в том-то и сила демократии, что великие люди, как и самые ничтожные, равно должны представать перед судом. Кроме того, всех мучило любопытство: как будет оправдываться этот гордый человек? Ибо обычай требовал, чтобы обвиняемый являлся на суд в темных одеждах, небритый и нечесаный. Многие приходили на суд со слезами на глазах, а за ними следовала плачущая родня. Неужели теперь римляне увидят в таком жалком, униженном виде гордого Сципиона Африканского? Ведь всегда считалось, что «у него слишком высокий дух и он привык к слишком высокой судьбе, не умел быть обвиняемым и не мог опуститься до унижения судящихся» (*Liv.*, *XXXVIII*, *52*).

Итак, все собрались и с нетерпением ждали. Наконец появился обвиняемый. Но он был не в трауре и не в лохмотьях, а в праздничной одежде, с венком на голове[92]. Никто из родных не следовал за ним, униженно умоляя судей о снисхождении. Зато никого никогда, даже самого Сципиона во дни его самых светлых торжеств, не сопровождали такие толпы народа, какие в тот день бежали за обвиняемым (*Liv., XXXVIII, 50*). Публий поднялся на ораторское возвышение и среди всеобщего молчания произнес: «Народу римскому не подобает слушать чьи бы то ни было наговоры на Публия Корнелия Сципиона, ибо что осмелятся говорить обвинители, ему одному обязанные тем, что могут говорить (*Polyb., XXIII, 14, 1—4*). Я вспоминаю, квириты, — продолжал он, — что сегодня тот день, в который я победил пунийца Ганнибала, смертельного врага нашего государства, в большом сражении в Африке. Я одержал вам эту победу и заключил мир, на который не было никакой надежды. Так не будем же неблагодарны к богам. Я думаю, давайте оставим этого бездельника и пойдем прямо на Капитолий и воздадим благодарность Юпитеру Всеблагому и Величайшему» (*Gell., IV, 18*)[93].

Сказав это, он повернулся и направился к Капитолию. И все собрание бросилось за ним. Даже писцы, которым надо было вести протокол, побросали свои стили, даже виаторы, служившие курьерами при Невии. Растерянный обвинитель стоял один посреди площади, осыпаемый насмешками убегающей толпы. Наконец он очнулся и бросился за Сципионом, крича громче всех*. В сопровождении всего народа Публий обошел все римские храмы. Его окружало всеобщее ликование, отовсюду были слышны прославления и пожелания счастья. Казалось, этот день еще светлее и торжественнее того, когда он вступил в Город, празднуя триумф над Ганнибалом (*Liv., XXXVIII, 51*). Народ проводил героя до дверей дома, а наутро снова пришел, чтобы приветствовать его. Но Сципиона уже не было в Риме. Он уехал, чтобы не возвращаться никогда. «Этот блистательный день, — говорит Ливий, — засиял Публию Сципиону последним светом» (*Liv., XXXVIII, 52*)[94].

---

* Эту любопытную деталь сообщает Валерий Максим (*III, 7, 10*).

Глава шестая

ЛИТЕРН

Имение Сципиона, куда он удалился навек, было расположено в прелестном уголке Кампании на берегу моря, несколько севернее Неаполитанского залива. «Кампания, — пишет Страбон, — это самая благодатная равнина из всех. Она окружена плодородными холмами и горами» (*V, 4, 3*). Вся страна буквально тонула в масличных садах и виноградниках. Бродившему в этих полях казалось, по словам Плиния, что это единственное место на земле, где природа трудилась радуясь. Страна, столь чудесная сама по себе, делалась еще прекраснее, ибо овеяна была романтическими легендами. Рядом возле Кум был таинственный вход в царство Аида, куда вступил Эней с золотой ветвью. А несколько поодаль расстилалась Флегрейская долина, покрытая исполинскими валунами, — здесь, говорят, некогда бились боги и гиганты.

Много веков спустя Литерн посетил Сенека и осмотрел дом Сципиона. «Я видел, — рассказывает он, — виллу, сооруженную из квадратного камня, стену, окружающую лес, башни наподобие форта, вздымающиеся с обеих сторон, водоем под сенью зданий и зелени, которого хватило бы, наверное, для целого войска, баньку, тесную и темную по обычаю древних» (*Ep., LXXXVI, 4*). Сам дом поразил воспитателя Нерона своей деревенской простотой. В саду росли вековые мирты и оливы, на которые паломники смотрели с благоговейным чувством, ибо говорили, что они посажены рукой самого Публия (*Plin. N. H., XVI, 234*).

Вот и все, что мы знаем об этом месте, где Сципион провел последний год жизни. Что делал он в этом тихом уголке? Изучал сочинения греков, как думает Плутарх, занимался сельскими работами, как полагает Сенека, или просто бродил по берегам моря и вспоминал о прошлом? Беседовал

ли он там с друзьями, которые постоянно приезжали его навестить из Рима, или жил совсем один, окруженный лишь семьей? Все это окутано тьмой.

Ничто не изменило его решения. Катон, став цензором, объявил принцепсом сената не Публия, а своего патрона Флакка и изгнал из сената Люция Сципиона как уличенного взяточника. «Он до тех пор не переставал сеять подозрения и клевету, пока не изгнал из Рима Сципиона, а брата его не заклеймил позорным клеймом вора, осужденного за казнокрадство» (*Plut. Cat. mai., 32*). Это была месть, которая должна была, по его мысли, больно оскорбить гордого Сципиона. Но тот отнесся к этому известию с холодным спокойствием.

Лишь один случай, происшедший с ним в Литерне, донесло до нас предание. Однажды к дому Публия подошла большая шайка разбойников. Домашние, разумеется, поспешили запереть двери и стали вооружаться кто чем мог. Но разбойники закричали из-за двери, что не желают никому причинять вреда, а пришли лишь взглянуть на Сципиона Африканского. Домашние были растеряны, но Публий приказал немедленно отпереть дверь и впустить их. Войдя робко и неуверенно, они преклонились перед дверным косяком, будто это был алтарь храма, прикоснулись губами к руке Публия и, «положив у входа дары, которые обычно посвящают бессмертным богам, вернулись домой счастливые, что им выпало на долю увидеть Сципиона... Сошедшие с неба звезды, предстань они людям, не вызвали бы большего поклонения» (*Val. Max., II, 10, 2*).

Но в городе Риме «с тех пор о Сципионе больше не говорили» (*Liv., XXXVIII, 53).* Римляне совершенно не сохранили воспоминаний о последних днях своего героя. Некоторые полагают, что он тосковал по городу, которому отдал всю свою жизнь, и тоска эта свела его в могилу, но Ливий говорит: «Он провел конец жизни в Литерне, не скучая по городу» (*XXXVIII, 53*). Впрочем, что мог знать Ливий о его настроении, тем более что Публий был не таким человеком, чтобы выставлять свою тоску напоказ. Римляне даже точно не знали, когда он умер и где похоронен, а когда заинтересовались этим, было уже поздно. Одни говорят, что перед смертью он говорил жене о неблагодарности родины, но Сенека, напротив, вкладывает в его уста умиротворенные слова: «Пользуйся без меня моим благодеянием, родина! Я был причиной твоей свободы, буду и доказательством. Я уйду, если я вырос больше, чем тебе удобно» (*Liv., XXXVIII, 53; Sen. Ep., LXXXVI, 1*).

Одно совершенно достоверно. Прожил он в Литерне всего год и перед смертью, прощаясь с женой, завещал ей не хоронить его в городе Риме. Вот как случилось, что саркофаг с его телом не стоял в великолепной усыпальнице Сципионов близ Капенских ворот, где покоились все его предки, а был он похоронен в гроте на берегу моря, где, как говорят местные жители, прах его стережет дракон (*Plin. N. H., XVI, 234—235*).

Он навсегда остался для современников и потомков как некий таинственный гость из звездного мира. О нем можно сказать словами Блока:

«За его человеческим обликом сквозит все время нечто иное... Это именно *ξενος*, что означает по-гречески "чужестранный, необыкновенный и странный пришелец"»*. «В нем должно быть подчеркнуто нечто странное, отвлеченное, "красивое"... Он — чужой среди подданных, как Эдип с юным лицом был чужестранцем (*ξενος*) среди долгобородых фивян, которые никогда не смотрели в глаза Сфинксу»**.

---

* *Блок А.* Предисловие к драме «Роза и крест».

** *Блок А.* Рамзес.

ЭПИЛОГ

В качестве эпилога мне хотелось бы, как делается иногда в романах, рассказать о дальнейшей судьбе некоторых героев этой книги.

Эмилия Терция намного пережила мужа. Она осталась верна его памяти и больше в брак не вступила. Она ни в чем не изменила своих привычек и образа жизни. Ее выезд попрежнему был великолепен и роскошен. Увидав ее, Полибий не мог не воскликнуть, что эта женщина достойна была делить жизнь и счастье со Сципионом.

Все дети Публия его пережили. Младший, **Люций**, не оставил следа в истории. О старшем же, **Публии**, говорили, что только хрупкое здоровье помешало ему стать «вторым светилом государства» (*Cic. Senect.*, *35*). Он так хорошо говорил и писал, что Цицерон считал его чуть ли не такой же звездой в области изящной словесности, какой был его отец на поле боя. Его перу принадлежала история Рима на греческом, написанная прекрасным языком (*Cic. Brut.*, *77—78*; *De off.*, *I*, *121*; ср. *Vel. Pat.*, *I, 10*). Он чуждался дел государственных и посвятил себя наукам и религии* [95]. Умер он рано, и надпись на его саркофаге гласит:

«Ты, который исполнял высокую должность фламина Юпитера, — твоя смерть доказала, что все скоротечно: почет, молва, доблесть, слава и талант. Если бы тебе можно было пользоваться ими в долгой жизни, ты своими деяниями легко превзошел бы славу предков. Поэтому охотно принимает земля в свое лоно тебя, о Публий Корнелий Сципион, рожденный Публием»**.

---

* Он был авгуром, салием и фламином Юпитера.

** *Федорова Е. В.* Ранняя латинская письменность (VIII—II века до н. э.). М., 1991. С. 111, 112. Перевод Е. В. Федоровой.

Но всех затмила славой **Корнелия,** младшая дочь Публия, жена Тиберия Гракха. По отзывам современников, она была умна, прекрасна, очаровательна, благородна. Муж обожал ее. Сын их Гай вспоминает, что однажды Тиберий обнаружил в саду двух змей и гадатели объяснили ему, что это знак смерти либо для него, либо для его жены. Тогда Тиберий, подробно расспросив их, совершил все нужные обряды, чтобы обратить гибель на себя и отвратить ее от головы жены. Через несколько дней он умер. Многие после этого добивались руки прекрасной вдовы. Царь Египта, увидав дочь Сципиона, тотчас же предложил ей разделить с ним престол. Но Корнелия отвергла все предложения. Всю жизнь и всю энергию она посвятила воспитанию детей. «Это мои единственные сокровища», — говорила она. Ее труды увенчались успехом: сыновья ее стали самыми блестящими, красноречивыми и образованными из всех римлян. Они относились к матери с самой горячей любовью и восхищением.

Невозможно было быть благороднее и несчастнее этой женщины. Как известно, оба ее сына один за другим пали в гражданских смутах совсем еще юными. Но горе Корнелии еще усугублялось тем, что погибли они, по ее глубокому убеждению, за неправое дело, так как были причиной мятежей и общественных потрясений. Узнав, что Гай собирается следовать по стопам Тиберия и мстить за его смерть, мать писала ему:

«Ты скажешь, что мстить врагам прекрасно. Никому это не кажется более великим и прекрасным, чем мне, но только если этого можно достичь, не повредив Республике. А так как это невозможно, во много раз лучше, чтобы наши враги не погибли, а жили бы так же долго, как живут сейчас, лишь бы Республика не разрушилась и не погибла.

Я бы могла принести великую клятву, что никто, кроме убийц Тиберия Гракха, не причинил мне столько страданий, столько мук, как ты, ты, который должен был бы взять на себя обязанности всех тех детей, которых я потеряла некогда, и заботиться, чтобы в старости я имела больше покоя. Ты должен был бы радовать меня и считать грехом в важных делах действовать вопреки моему мнению: ведь мне так мало осталось жить. Неужели даже мысль о столь кратком сроке не остановит тебя и ты пойдешь наперекор мне и будешь расшатывать Республику? Кончится ли это когда-нибудь? Неужели наша семья не перестанет безумствовать? Неужели это будет вечно? Неужели мы не остановимся и всегда будем терпеть горе или причинять его другим? Неужели мы не будем краснеть от стыда, вспоминая беспорядки и смуты в госу-

дарстве? Но если это невозможно, то добивайся трибуната, когда я умру... Да не допустит великий Юпитер, чтобы ты остался непреклонен и это ужасное безумие вошло в твою душу. А если ты все же останешься непреклонен, боюсь, ты по собственной вине всю жизнь будешь так глубоко страдать, что никогда уже сам не будешь доволен собой» (*Nep.*, *fr. 59*).

Но Гай не внял ее мольбам. Когда убит был последний ее сын, Корнелия, как и ее отец, удалилась из Рима. Плутарх пишет: «Корнелия, как сообщают, благородно и величественно перенесла беды... Она провела остаток жизни близ Мизен, нисколько не изменив обычного образа жизни. По-прежнему у нее было много друзей, дом ее славился гостеприимством и прекрасным столом, в ее окружении постоянно бывали греки и ученые и она обменивалась подарками со всеми царями. Все, кто ее посещал или же вообще входил в круг ее знакомых, испытывали величайшее удовольствие, слушая рассказы Корнелии о жизни и правилах ее отца Сципиона Африканского, но больше всего изумления вызывала она, когда без печали и слез вспоминала о сыновьях и отвечала на вопросы об их делах и об их гибели, словно повествуя о событиях седой старины». Думая о Корнелии, Плутарх, по его словам, понял, «как много значат в борьбе со скорбью природные качества, хорошее происхождение и воспитание... пока доблесть старается оградить себя от бедствий, судьба нередко одерживает над ней верх, но отнять у доблести силу разумно переносить свое поражение она не может» (*Plut. C. Gracch.*, *40*).

Корнелию одинаково чтили и друзья, и враги ее сыновей. На Форуме ей воздвигли статую. Из всех детей она более всего напоминала своего отца.

Гай Лелий намного пережил своего знаменитого друга. Он стал консуляром, сенатором и из безвестного человека превратился в римского аристократа. Его сын уже почитался очень знатным. В конце жизни Лелий познакомился с Полибием и охотно рассказывал этому любознательному греку о друге своей юности. Он дал своему единственному сыну самое блестящее образование. Он считался чуть ли не самым ученым человеком своего времени. Блестящий оратор, прекрасный юрист, начитаннейший человек, обаятельный собеседник, милый, спокойный, ласковый, веселый — он был всеми любим и получил прозвище *Мудрый*. То был любимый герой Цицерона, и он даже иногда подписывал свои письма именем «Лелий».

Теперь о прочих и о прочем. И первое место здесь, несомненно, принадлежит знаменитому противнику Сципиона, великому врагу Рима **Ганнибалу**. Судьбе угодно было, чтобы

эти два человека, «роковые для своих народов», встречавшиеся на всех путях и дорогах, ушли из жизни в один и тот же год. Случилось это так. После битвы при Магнесии Ганнибал исчез. Следы его были потеряны, и римляне уже привыкли к мысли, что этот страшный человек ушел из мира. Но он еще раз сумел доказать римлянам, что он жив. В 183 году до н. э. вспыхнула война между царьком Вифинии Прусией и Пергамом, самым верным другом римлян. Произошла морская битва. Корабли противников сблизились. Вдруг на корабли пергамцев полетели не стрелы, копья или камни, но глиняные сосуды. Упав на палубу, они разбивались, и из них выползали ядовитые змеи. Охваченные паническим ужасом люди прыгали в море и гибли.

Римляне, запрещавшие все войны, немедленно послали к противникам послов с приказом помириться. В Рим отправлены были представители воюющих держав. Распря была улажена, и послы, окончив свою официальную миссию, пошли повеселиться. И конечно же они отправились в дом радушного Освободителя Эллады, Тита Фламинина. За обедом зашел разговор о Ганнибале. Как водится, стали гадать, где он. И тут один из вифинских послов со смехом сказал: «Как где? Да он у нас». Тут выяснилось, что Ганнибал скрывается у царя Вифии, это он подбил Прусию на войну с Пергамом, чтобы хоть немного досадить Риму, это он придумал план со змеями.

Тит был в восхищении: случай сделал его обладателем великой тайны, от которой зависело будущее Рима. Он сможет разом избавить Италию от страшной, почти полувековой опасности и окончательно сравниться со Сципионом Африканским. Другой человек на его месте, вероятно, пошел бы в сенат и все объявил отцам. Но Тит обожал неожиданные эффекты, поражающие воображение. Он решил сделать все сам, а потом преподнести Риму удивительный сюрприз. Никому ничего не сказав, он полетел в Вифинию. Трусливый льстец Прусия принял его с обычной своей раболепной угодливостью. Тит же повел с ним игру, на которую был великий мастер. Он завязал с царем оживленную светскую беседу, был любезен, приветлив, шутил и вдруг, усыпив бдительность царя, ошеломил его неожиданным ударом, объявив, что ему прекрасно известно, где скрывается Ганнибал. Прусия был труслив. Он тут же согласился выдать гостя римлянам.

Ганнибал жил в подземелье. Отсюда вело наружу семь подземных ходов. Узнав, что прибыл какой-то римлянин, пуниец бросился бежить. Но было поздно. У каждого выхода стояла стража. Тогда Ганнибал принял яд. Его нашли уже мертвым и там же, в Вифинии, похоронили (*Nep. Hann.*, *12,*

1; *Liv.*, *XXXIX*, *51*; *Plut. Flam.*, *20—21*; *App. Syr.*, *11*). У этого человека не было ни родины, ни дома, ни семьи, ни родных, ни близких, ничего, кроме одной всепоглощающей страсти — ненависти к римскому народу[96].

Титу его подвиг не принес ни чести, ни славы. Римлянам казалось низостью, что он нанес последний удар затравленному старику. «Когда это известие дошло до сената, многим из сенаторов поступок Тита показался отвратительным, бессмысленным и жестоким: он убил Ганнибала... убил без всякой необходимости, лишь из тщеславного желания, чтобы его имя было связано с гибелью карфагенского вождя. Приводили в пример мягкость и великодушие Сципиона Африканского... Большинство восхищалось поступками Сципиона и порицало Тита, который наложил руку на того, кого сразил другой» (*Plut. Flam.*, *21*). Сам Тит примерно с этого времени совершенно исчезает со страниц истории, и, зная его деятельный характер, можно не сомневаться, что вскоре после этого он умер[97].

Катон жил очень долго, окруженный большим почетом. Постепенно один за другим умирали его друзья и близкие и этот железный старик остался один. Последним умер его сын Марк, которого отец всегда так любил. «Несчастье Катон перенес спокойно, как настоящий философ, нимало не утратив из-за него интереса к управлению государством» (*Plut. Cat. mai.*, *24*). Похоронил он сына самым дешевым образом, потому что, по его словам, был беден (*Liv. ep.*, *XLVIII*).

И все же, несмотря на славу и долголетие, что-то иногда омрачало душу старого Цензора. «Тяжело, когда жизнь прожита с одними, а отчитываться приходится перед другими», — говорил он.

Причина его грусти ясна. Сокрушив врагов и, казалось, победив, он, в сущности, был побежден и, как человек очень умный, не мог этого не сознавать. Катон не изгнал эллинизма из Рима, напротив, он разрастался и пускал все более и более глубокие корни. Более того, он сросся с римской душой. Самые лучшие римляне, которые в наших глазах воплощают римский национальный дух — все эти Лелии, Эмилианы, Сцеволы, Гракхи — а позднее Цицерон, Брут и даже Катон Младший, правнук Цензора, были самыми утонченными поклонниками греческой культуры. А идеи Катона о стяжании и любви к наживе во имя доблести предков так и не дали всходов. Как огромный засохший дуб, одиноко стоял Цензор, а вокруг разрасталось и шумело новое, непонятное ему поколение. Они с любопытством глядели на него как на странного чудака, но великого мужа, осколок прошлого, соратника великого Сципиона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публий Корнелий Сципион, безусловно, принадлежит к числу величайших полководцев в истории человечества. Он дважды спас Рим. И спас не только тем, что разбил Ганнибала: он навеки сокрушил могущество Карфагена. Если пунийцы, разбитые в Первую войну, смогли через два десятилетия начать новую и едва не погубили Рим, то после разгрома Сципиона они уже не подняли голову. Великий Карфаген перестал существовать. И Публий предопределил этим историю не только Рима, но и всего европейского человечества.

Сципион провел военную реформу и создал те самые легионы, которые победителями прошли через всю ойкумену.

Наконец, именно Сципион был, по-видимому, создателем идеи римского владычества над миром. Идея эта медленно внедрялась в сознание римлян, но Сципион победил и отныне все шло по его замыслам. Публий хотел не просто создать сатрапии, как персы и ассирийцы, и выкачивать из них золото. Он мечтал о том, что впоследствии назовут *Pax Romana*. Ни одна из стран не должна была потерять ни своей политической автономии, ни самобытности. Но все войны должны были прекратиться, и Рим становился верховным судьей в их спорах. Римляне, по мысли Сципиона, всегда должны были быть на высоте своей миссии, не истребляя племена людей, но уча их своим законам. Вероятно, поэтому современный философ Ясперс пишет, что гуманизм берет начало в Европе со Сципиона. Это не значит, что до Публия не было людей гуманных: были добрые, были злые. Но он впервые провозгласил гуманность *принципом* политики, и отныне политического деятеля могли оценивать с точки зрения соответствия или несоответствия этим принципам.

Мне могут сказать, что тут Рим сильно отклонился от пути, начертанного Сципионом: кончил же он организацией провинций. Это верно, и здесь совершенно не место обсуждать, почему это произошло. Верно и то, что после ухода Сципиона со сцены политика Рима стала много суровее и жестче. И все же Рим всегда шел по дороге, не очень далекой от той, которую наметил для него Сципион. Г. С. Кнабе отмечает, что принципы Сципиона жили всегда и до некоторой степени даже восторжествовали при Августе. Этим, безусловно, объясняется прочность римской власти*.

Наконец, Публий мечтал перенести греческую культуру в Рим и надеялся, что цветок эллинства расцветет на его родной италийской земле. И мы знаем, что это сбылось. Рим не только воспринял греческую культуру, но и научил ей европейское человечество.

И все-таки Сципион остался непонятым. Сенат относился к нему с подозрением. Народ его обожал, но не понимал. Все его мысли и планы окутывала тайна. Для последующих веков он оставался загадкой: легкомысленный юноша и великий полководец, исполненный поэтических видений пророк и тонкий политик, гордый и непокорный человек, не повиновавшийся ничьим приказам, который добровольно отказался от власти и всех почетных даров. Сципион последовательно отвергал все те небывалые почести, которыми готов был осыпать его народ, и, хотя корона лежала у самых его ног, он с царственным жестом от нее отказался. И в самом конце, обвиненный, он великолепно доказал своим униженным обвинителям, что он *может все,* что его власть над римским народом безгранична, но он не воспользовался этой властью и ушел навек. Во всем он был не такой как все и всегда поступал не так, как ожидали. Полибий начинает свой рассказ с того, что все его предшественники неправильно понимали характер Публия и только он постиг своего героя. И с тех пор все, кто писал об этой эпохе, утверждали, что только они разгадали этого таинственного человека. Мне представляется, что тоньше всех сказал о Сципионе русский ученый Г. С. Кнабе. Он пишет:

«Ощущение неправомерности усложненной, слишком яркой личности, какой-то ее неестественности, греховности ее отпадения от коллектива было всю жизнь присуще ему. Он искал оправдания своим непонятным для современников поступкам, утверждая, что лишь выполняет открывшу-

---

* *Кнабе Г. С.* Корнелий Тацит. М., 1981. С. 128—130.

юся ему волю богов*. Он никогда и ничего не писал, чтобы не претендовать на увековечение своих взглядов и мыслей; он ушел от дел и от активной общественной жизни полным сил пятидесятилетним человеком не потому, что стал жертвой клеветнических обвинений — это ему было не впервой, и он сумел от них отбиться, а потому, что понял всю неспособность раствориться в массе граждан, отождествиться с ее сегодняшними интересами»**.

Я не могу согласиться с Кнабе в одном — он считает, что Сципиону не было места именно в Римской республике. Я же полагаю, что ему не было места в любом коллективе, ибо демократия, монархия и олигархия равно безжалостны к слишком ярким и непохожим на других людям. И вовсе не обязательно они должны быть политиками. Сократ жил в демократических Афинах, Байрон в аристократической Англии, Пушкин в монархической России, а результат был один и тот же. Лермонтов гибель Пушкина объясняет тем, что он не укладывался в коллектив, ту жадную толпу, которая стояла у трона, и она его растерзала. Так же и Сципион, которого все современники исключали «из общего стада», подвергся травле и гонениям.

По этой же причине Сципион не стал и, надеюсь, никогда не станет расхожим образом, как Ганнибал, Наполеон или Цезарь. Ведь внимание привлекают фигуры более простые, плоские и трафаретные. Была, пожалуй, только одна эпоха, созвучная Сципиону, и в эту эпоху его любили и понимали. То было Раннее Возрождение. Тысячи картин воспевали его великодушие с испанской пленницей и подвиги в Африке. Данте им восхищался. Петрарка, по его собственному признанию, обожал с детства. Он написал о нем поэму «Африка». Там он говорит, что никогда никого не было и не будет похожего на Сципиона, и называет его «звездным юношей». Что же, вероятно, лучше не скажешь. Он остался в памяти людей как «звездный юноша».

---

* Как помнит читатель, я даю совсем иное объяснение видениям Сципиона.

** *Кнабе Г. С.* Корнелий Тацит. С. 111.

ХРОНОЛОГИЯ

246 — рождение Ганнибала.
239 — рождение Катона (или 234 год до н. э.) и поэта Энния.
237 — Гамилькар Барка вместе с сыновьями уезжает в Испанию. Клятва Ганнибала.
235 — рождение Сципиона.
230 — смерть Гамилькара.
Около 227 — рождение Тита Фламинина.
221 — Ганнибал — главнокомандующий в Иберии.
218 — начало Второй Пунической войны. Сципион спасает отца в битве при Тицине.
217 — битва при Тразименском озере.
216 — Канны. Военный трибун Сципион спасает римское войско.
212 — эдилитет Сципиона.
211 — гибель отца и дяди Публия в Испании.
210 — отъезд Публия в Иберию.
209 — взятие Нового Карфагена.
208 — битва при Бекуле.
206 — битва при Илипе. Конец войны в Испании.
Поздняя осень — Сципион возвращается в Рим.
205 — Сципион — консул. Отъезд в Сицилию.
204 — Сципион высаживается в Африке. В Рим приезжает Энний (?).
203 — поджог лагеря Газдрубала и Сифакса. Битва при Великих равнинах. Сифакс взят в плен. Мир с Карфагеном.
202 — мир нарушен. Битва при Заме.
201 — заключение мира. Триумф Сципиона (или 202 год до н. э.).
200 — начало Македонской войны.
199 — цензорство Сципиона. Он назначен принцепсом сената.
198 — Тит Фламинин — консул.
197 — Киноскефалы.
196 — Тит объявляет свободу Греции на Истмийских играх. Ганнибал начинает сборы средств на войну. Лелий — претор, устраивает игры, украшает Рим и получает в управление провинцию Сицилия.
195 — бегство Ганнибала к Антиоху. Война с Набисом. Консул Катон выступает в защиту Оппиева закона. Его Испанская кампания.
194 — второе консульство Сципиона. Цензоры вторично объявляют его принцепсом сената. Возвращение и триумфы Катона и Тита. Катон — легат при консуле Семпронии Лонге.
193 — Сципион в Африке и у Антиоха. Его беседа с Ганнибалом. На выборах на следующий год выбран консулом брат Тита, Люций Фламинин, кузен же Публия терпит поражение.
192 — Тит снова в Греции, он отговаривает ахейцев от союза с Антиохом. Антиох высаживается в Греции.
191 — консул Маний Глабрион наносит поражение Антиоху при Фермопилах. Его легаты — Катон, Валерий Флакк и Тит Фламинин.
190 — Лелий и Люций Сципион — консулы. Публий Африканский в Греции и Азии. Битва при Магнесии. Катон обвиняет Минуция Терма. Его самого привлекают к суду за его действия в Испании. Катон добивается цензорства. Привлекает к суду Глабриона, но проваливается на выборах.

189 — цензор Тит объявляет Сципиона в третий раз принцепсом сената. Нобилиор отправляется в Этолию и берет с собой поэта Энния. Катон едет с ним легатом.

187 — первый процесс Сципиона: Петилии требуют у него отчет о деньгах Антиоха. Дело Люция. Вмешательство Тиберия Гракха. Катон обвиняет своего бывшего военачальника Нобилиора.

186 — дело о Вакханалиях.

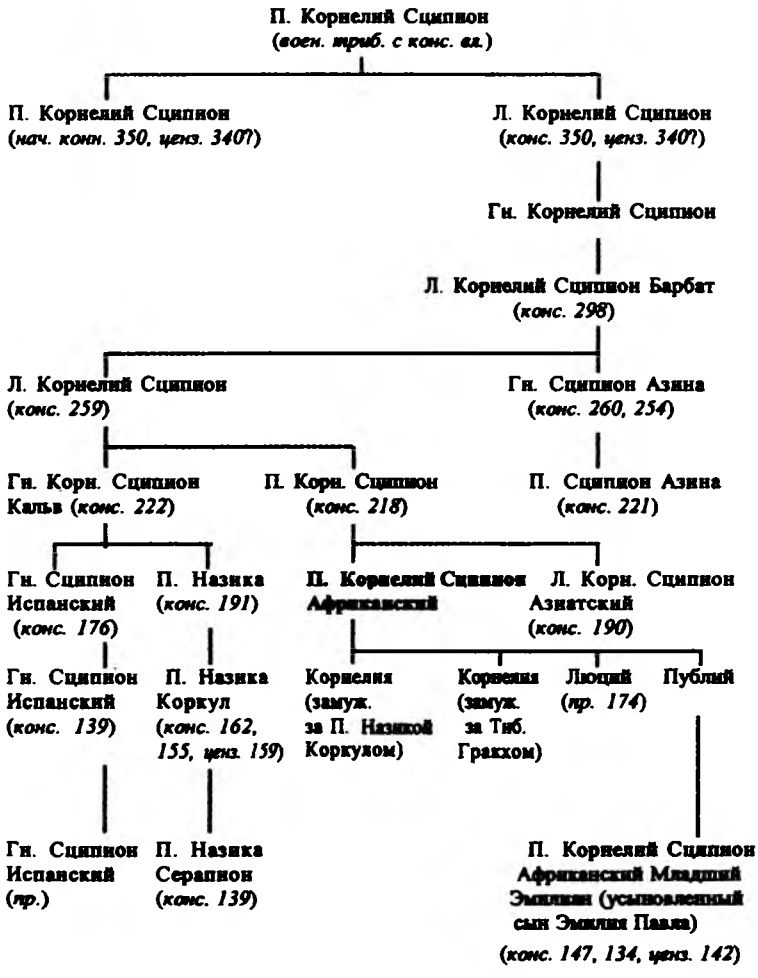
185 — Катон привлекает к суду Семпрония Лонга и Фурия Пурпуреона.

184 — второй процесс Сципиона: его привлекает к суду народа Невий. Сципион удаляется в Литерн. Катон — цензор. Умер Плавт.

183 — смерть Сципиона в Литерне. Дейнократ, друг Тита, пытается освободить Мессению от Ахейского союза. Гибель Ганнибала.

182—181 (?) — попытки Энния обожествить Сципиона.

181 — находка гроба Нумы. Сожжение пифагорейских книг.



Условные обозначения: *воен. триб. с конс. вл.* — военный трибун с консульской властью; *нач. конн.* — начальник конницы; *пр.* — претор; *конс.* — консул; *ценз.* — цензор.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И СОКРАЩЕНИЯ

Все фрагменты древних римских ораторов даются по кн.: Oratorum romanorum fragmenta liberae rei publicae. Coll. *E. Malcovatti*. Sec. Ed., Torino, 1955 (в тексте *Malcovatti*). Все фрагменты римских анналистов даются по кн.: Historicorum romanorum reliquae. Ed. *H. Peter*. Leipzig, 1870 (в тексте *Peter*). Фрагменты сочинений Энния приводятся по изданию: Remains of old Latin. Ed. *E. H. Warmington*. Vol. I—IV. Cambridge-London, 1979 (в тексте *Warm.)*.

ПЕРИОДИКА

A. ép.	*L'Année épigraphique.*
Bull. corr. hellén.	*Bulletin de correspondence hellénique.*
TAPA	*Transactions of the American Philological Association.*

ИСТОЧНИКИ

AP	Epigrammatum anthologia Palatina. Vol. I—II. Ed. *Dübner*, Paris, 1864—1888; Vol. III. Ed. *Cougny*. Paris, 1890.
CIL	Corpus inscriptionum latinarum. Ed. *Th. Mommsen* et al. Vol. I—XVI. Leipzig-Berlin, 1862—1943.
Ditt.	Sylloge inscriptionum graecarum. Coll. *W. Dittenberger*. 3 Ed.

АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ

Acilius	*C. Acilius.* Fragmenta — *Гай Ацилий.* Фрагменты.
Ael. Var.	*Aelianus.* Varia historica — *Элиан.* Пестрые рассказы.
Amm. Marc.	*Ammianus Marcellinus.* Rerum gestarum libri qui supersunt — *Аммиан Марцеллин.* История.
App. Hannib.	*Appianus.* Hannibalica — *Аппиан.* Война с Ганнибалом.
Iber.	Iberica — Испанские войны.
Lib.	Libyca — Ливийские войны.
Maced.	Macedonica — Македонские войны.
Syr.	Syriaca — Сирийские войны.
Apul. Liber de deo Socr	*L. Apuleius.* Liber de deo Socratis — *Апулей.* О гении Сократа.
Arist. De Pyth.	*Aristoteles.* De Pythagoreis — *Аристотель.* О пифагорейцах.
Pol.	Politica — Политика.
Rhet.	Ars rhetorica — Риторика.
Arnob. Adv. pag.	*Arnobius.* Adversus paganos — *Арнобий.* Против язычников.
Athen.	*Athenaeus.* Deipnosophistae — *Атеней.* Пир софистов.
Aug. C. D.	*Aurelius Augustinus.* De civitate Dei — *Августин.* О граде Божьем.
Caes. B. C.	*C. Julius Caesar.* De bello civili — *Цезарь.* Записки о гражданской войне.
Cassius Gemina	*Cassius Gemina.* Fragmenta — *Кассий Гемина.* Фрагменты.

Cato. Carmen de moribus	*M. Porcius Cato.* Carmen de moribus — *Катон.* Песнь о нравах.
De agr. cult.	De agri cultura — О земледелии.
Orat.	Orationes — Фрагменты речей.
Orig.	Origines — Начала.
Catul.	*C. Valerius Catullus.* Carmina — *Катулл.* Стихотворения.
Cic. Amic.	*M. Tullius Cicero.* De amicitia — *Цицерон.* О дружбе.
Arch.	Pro Archia poeta — Речь в защиту поэта Архия.
Att.	Epistulae ad Atticum — Письма к Аттику.
Brut.	Brutus — Брут.
De leg.	De legibus — О законах.
De off.	De officiis — Об обязанностях.
De or.	De oratore — Об ораторе.
De prov. cons.	De provinciis consularibus — О консульских провинциях.
De re publ.	De re publica — О государстве.
Div.	De divinatione — О предвидении.
Fam.	Epistulae ad familiares — Письма к близким.
Nat. deor.	De natura deorum — О природе богов.
Phil.	Philippicae — Филиппики.
Pro Cael.	Pro Caelio Rufo — Речь в защиту Целия Руфа.
Quint. fr.	Epistulae ad Quintum fratrem — Письма к брату Квинту.
Senect.	De senectute — О старости.
Tusc.	Tusculanae disputationes — Тускуланские беседы.
Verr.	In Verrem — Речи против Верреса.
Col.	*Columella.* De re rustica — *Колумелла.* О сельском хозяйстве.
De vir. illustr.	*De viris illustribus* — О знаменитых мужах.
Dio.	*Dio Cassius Cocceianus.* Historia Romana — *Дион Кассий Кокцеян.* Римская история.
Diod.	*Diodorus Siculus.* Bibliotheca historica — *Диодор Сицилийский.* Историческая библиотека.
Diog.	*Diogenes Laertius.* De clarorum philosophorum vitis — *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.
Dionys. Ar.	*Dionysius Halicarnassensis.* Romanorum antiquitatum qui supersunt — *Дионисий Галикарнасский.* Римские древности.
Empedocl.	*Empedocles.* Fragmenta — *Эмпедокл.* Фрагменты.
Enn. Ann.	*Q. Ennius.* Annales — *Энний.* Анналы.
Ep.	Epigrammata — Эпиграммы.
Epich.	Epicharmus — Эпихарм.
Sat.	Saturae — Сатуры.
Scipio	Scipio — Сципион.
Eutrop.	*Flavius Eutropius.* Breviarum historiae Romanae — *Евтропий.* Бревиарий римской истории.
Fest. S. u. originum	*Festus.* De verborum significatu — *Фест.* О значении слов.
Frontin.	*Frontinus.* Strategemata — *Фронтин.* Стратегемы.
Gell.	*Aulus Gellius.* Noctes Atticae — *Авл Геллий.* Аттические ночи.
Herod.	*Herodotus.* Historia — *Геродот.* История.
Hom. Od.	*Homerus.* Odyssea — *Гомер.* Одиссея.
Hor. Carm.	*Horatius.* Carmina — *Гораций.* Оды.

Ep.	Epistulae — Послания.
Serm.	Sermones — Беседы.
Jambl. Vit. Pyth.	*Jamblichus.* De vita Pythagorica — *Ямблих.* О пифагорейской жизни.
Justin.	*Justinus.* Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompejo — *Юстин.* Эпитома из Истории Помпея Трога.
Lact. Inst. div.	*Lactantius.* Institutiones divinae — *Лактанций.* Божественные установления.
Liv.	*T. Livius.* Ab urbe condita — *Тит Ливий.* История Рима от основания города.
Ep.	Epitomae librorum deperditorum — Эпитома.
Lucr.	*T. Lucretius Carus.* De rerum natura — *Лукреций.* О природе вещей.
Lyd. De mens.	*Lydus.* De mensibus — *Лид.* О месяцах.
Macrob. Comm.	*Ambrosius Theodosius Macrobius.* Commentarii in Somnius Scipionis — *Макробий.* Комментарий к «Сну Сципиона».
Sat.	Saturnalia — Сатурналии.
Mela	*Pomponius Mela.* De situ orbis — *Помпоний Мела.* Описание земли.
Nep. Cat.	*Cornelius Nepos.* M. Cato — *Корнелий Непот.* Катон.
Hann.	Hannibal — Ганнибал.
fr.	Fragmenta — Фрагменты.
Nonn.	*Nonnius Panopolitanus.* Dianisiacorum libri — *Нонн Панополитанский.* Песни о Дионисе.
Orosius	*Paulus Orosius.* Historiae adversus paganos — *Павел Орозий.* История против язычников.
Ovid. Ars. am.	*P. Ovidius Naso.* Ars amatoria — *Овидий.* Искусство любви.
Fast.	Fasti — Фасты.
Met.	Metamorphoses — Метаморфозы.
Paus.	*Pausanias.* Graeciae descriptio — *Павсаний.* Описание Эллады.
Pers.	*A. P. Persius Flaccus.* Satirarum liber — *Персий.* Сатиры.
Phil. Apoll.	*Flavius Philostratus.* Vita Apollonii Tianensis — *Флавий Филострат.* Жизнь Аполлония Тианского.
Pind. Olymp.	*Pindarus.* Olympiaca — *Пиндар.* Олимпийские оды.
Plat. Apolog.	*Plato.* Apologia Socratis — *Платон.* Апология Сократа.
De re publ.	De re publica — О государстве.
Ion.	Ion — Ион.
Theaet.	Theaetetus — Теэтет.
Plaut. Amph.	*T. Maccius Plautus.* Amphitryon — *Плавт.* Амфитрион.
Aulul.	Aulularia — Шкатулка.
Bacch.	Bacchides — Вакхиды.
Capt.	Captivi — Пленники.
Casina	Casina — Касина.
Curcul.	Curculio — Куркулион.
Epidic.	Epidicus — Эпидик.
Mercat.	Mercator — Купец.
Mil. glorios.	Miles gloriosus — Хвастливый воин.
Mostell.	Mostellaria — Привидение.
Pers.	Persa — Перс.
Poen.	Poenulus — Пуниец.

Pseud.	Pseudolus — Псевдол.
Rudens	Rudens — Канат.
Stych.	Stichus — Стих.
Trinum.	Trinummus — Три гроша.
Truc.	Truculentus — Грубиян.
Plin. N. H.	*C. Plinius Major.* Naturalis historiae libri — *Плиний Старший.* Естественная история.
Plotin. Enn.	*Plotinus.* Enneades — *Плотин.* Эннеады.
Plut. Arat.	*Plutarchus.* Aratus — *Плутарх.* Арат.
C. Gracch.	C. Gracchus — Гай Гракх.
Cat. mai.	Cato major — Катон.
Cic.	Cicero — Цицерон.
Cleom.	Cleomenes — Клеомен.
De exil.	De exilio — Об изгнании.
De gen.	*Socr.* De genio Socratis — О гении Сократа.
De superstit.	De superstitione — О суеверии.
Fab.	Fabius Maximus — Фабий Максим.
Flam.	Titus Flamininus — Тит.
Marcell.	Marcellus — Марцелл.
Num.	Numa Pompilius — Нума.
Paul.	Aemilius Paulus — Эмилий Павел.
Philop.	Philopoemen — Филопемен.
Praecept. ger. rei publ.	Praecepta gerendae rei publicae — Наставления по управлению государством.
Pyrrh.	Pyrrhus — Пирр.
Qu. Rom.	Questiones Romanae — Римские вопросы.
Reg. et imper. apophegm.	Regum et imperatorum apophegmata — Изречения царей и полководцев.
Rom.	Romulus — Ромул.
Ti. Gracch.	Ti. Gracchus — Тиберий Гракх.
Polyb.	*Polybius.* Historiae — *Полибий.* История.
Porph. Vit. Pyth.	*Porphyrius.* Vita Pythagorae — *Порфирий.* Жизнь Пифагора.
Prosper. Aquit. de pr.	*Prosperus Aquitanus.* De providentia Dei — *Проспер Аквитанский.* О промысле Господнем.
Pseudo-Arist. De mir. ausc.	*Pseudo-Aristoteles.* De mirabilibus auscultionibus — *Псевдо-Аристотель.* О достопримечательных слухах.
3 Reg.	*3 Regum liber* — Третья книга Царств.
Sall. Iug.	*C. Sallustius Crispus.* Bellum Iugurtinum — *Саллюстий.* Югуртинская война.
Schol. Plat. R. P.	Scholia in Platonis Rem publicam — Схолии к «Государству» Платона.
Schol. Veron. Aen.	Scholia Veronensis in Vergilii Aeneidem — Схолии к «Энеиде» Вергилия.
Sen. Ep.	*L. Annaeus Seneca.* Ad Lucilium epistulae morales — *Сенека.* Нравственные письма к Луцилию.
Serv. Aen.	*Maurus Servius Honoratus.* In Aeneidem — *Сервий.* Комментарий к «Энеиде» Вергилия.
Sext. Adv. math.	*Sextus Empiricus.* Adversus mathe-maticos — *Секст Эмпирик.* Против ученых.
Sil. It.	*C. Silius Italicus.* Punica — *Силий Италик.* Пуническая война.

St. Silvae	*P. Papinius Statius.* Silvae — *Папиний Стаций.* Леса.
Strab.	*Strabo.* Geographica — *Страбон.* География.
Suet. De gramm.	*C. Suetonius Tranquillus.* De grammaticis — *Светоний.* О грамматиках.
Otho	Otho — Оттон.
Terent.	Terentius — Теренций.
Tib.	Tiberius — Тиберий.
Suid.	*Suida.* Lexicon — *Свида.* Лексикон.
Symmach. Epist.	*Symmachus.* Epistulae — *Симмах.* Письма.
Tac. Ann.	*P. Cornelius Tacitus.* Annales — *Тацит.* Анналы.
Tertull. De An.	*Q. Septimius Florens Tertullianus.* De anima — *Тертуллиан.* О душе.
Val. Max.	*Valerius Maximus.* Factorum et dictorum memorabilium libri IX — *Валерий Максим.* Достопримечательности в делах и словах.
Varro	*M. Terentius Varro.* Fragmenta — *Варрон.* Фрагменты.
Verg. Aen.	*P. Vergilius Maro.* Aeneis — *Вергилий.* Энеида.
Xen. Mem.	*Xenophon.* Memorabilia — *Ксенофонт.* Воспоминания о Сократе.
Zon.	*Zonaras.* Annales — *Зонара.* Анналы.

Отрывки из *Аппиана, Катона Старшего, Энния, Авла Геллия, Непота, Плавта*, а также диалога «О государстве» *Цицерона* приводятся в переводе автора. В остальных случаях античные авторы цитируются по существующим русским переводам:

М. Туллий Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1974.

М. Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972.

М. Туллий Цицерон. Письма. Т. I—III. М.; Л., 1949—1951.

Тит Ливий. История Рима от основания города. Т. I—III. М., 1989—1993.

Платон. Сочинения: В 3 т. М., 1968—1972.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. М., 1961—1964.

Полибий. Всеобщая история: В 40 кн. М., 1890—1895.

Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977.

Библия. Священное писание Ветхого и Нового Завета (Синодальный перевод).

КОММЕНТАРИИ

Книга первая. ВОЙНА

Глава первая. КАРФАГЕН

[1] Несмотря на это существует много рассказов о том, как пунийцы по окончании войны оставляли наемников на пустынном острове или сообщали врагу, какой дорогой они пойдут, чтобы не платить им денег.

[2] Ю. Б. Циркин и некоторые другие исследователи считают, что жертвы приносились гораздо более «гуманно»: во-первых, 85 процентов детей были моложе шести месяцев; во-вторых, ребенка убивали, а потом сжигали (*Циркин Ю. Б.* Карфаген и его культура. С. 180).

[3] Греки вызывали у них такое недоверие, что в IV веке до н. э. в Карфагене было официально запрещено учить греческий язык (*Justin., XX, 5, 12—13*).

Глава вторая. ГАННИБАЛОВА ВОЙНА

[4] Этот рассказ не вызывает ни малейшего сомнения. Он заимствован позднейшими писателями у Силена, участника похода Ганнибала, который оставил записки об этих событиях (*Cic. Div., I, 24, 49*).

[5] Полибий говорит, что его предшественники рассказывают сказочную историю о том, что в Альпах Ганнибалу явилось некое божество и провело через неприступные кручи (*Polyb., III, 61, 5*; ср. также *48, 5*). Сам Ганнибал, похваляясь, сравнивал себя с богом Мелькартом, единственным существом, которое перешло через Альпы (*App. Syr., 40*). Связь между проводником из сна Ганнибала с богом-проводником, явившимся ему наяву, очевидна. На нее обращает внимание Скаллард (*Scullard H. H.* Scipio Africanus... P. 14). Бог этот, несомненно, Мелькарт.

Глава третья. ЮНОСТЬ СЦИПИОНА

[6] О годе рождения Публия имеются следующие данные: Полибий сообщает, что во время битвы при Тицине, то есть в 218 году до н. э., ему было 17 лет (*Polyb., X, 3, 4*), следовательно, он родился в 235 году до н. э. Ливий, Аппиан и ряд менее значительных авторов говорят, что он получил командование в Испании в 24 года. Выборы были в 211 году до н. э. (в 210 году Публий уже высадился в Испании), таким образом, эти писатели также определенно указывают на 235 год до н. э. Обычно считается, что в резком противоречии с этим стоят слова Полибия о том, что Публий взял на себя ведение Испанской войны двадцати семи лет от роду (*Polyb., X, 6, 10*). На наш взгляд, противоречия тут нет. Полибий описывает взятие Нового Карфагена, рассказывает о планах Публия и изумляется, что в столь юном возрасте он отличался таким умом и находчивостью. Поэтому он указывает возраст полководца не в момент выборов, а во время реального начала военных действий, то есть весной 209 года до н. э. Значит, и здесь Полибий указывает на 236—235 годы до н. э.

[7] На этрусское происхождение рода Корнелиев указывает прежде всего принятый у них обычай трупоположения (*Cic. De leg., II, 56*). Иссле-

дование усыпальницы Сципионов подтвердило это свидетельство. Они, подобно этрускам, хоронили мертвых в каменных саркофагах. Ученые считают, что они сохранили некоторые обычаи и верования этого загадочного народа, который римляне называли колдунами и пророками (*Haywood R. M.* Studies on Scipio Africanus. P. 22; *Nicorescu Paul.* La tomba degli Scipioni // *Ephemeris Dacoromana, I, 1—56*). Макробий сообщает, что у Корнелиев были особые религиозные праздники (*Sat., I, 16, 7*). Об этрусском происхождении рода Помпониев см.: *Трухина Н. Н.* Политика и политики «Золотого века» Римской республики. М., 1986. С 63.

[8] В литературе существуют споры по вопросу о том, кто был старше — Люций или Публий. Полибий называет старшим Люция (*Polyb., X, 4, 1*), римская же традиция — Публия. Об этом пишут авторы жизнеописаний Сципиона: Юлий Гигин, глава Палатинской библиотеки при Августе, современник Цицерона Г. Оппий (*Gell., VI, 1*), сам Цицерон (*Phil., XI, 17*) и Валерий Максим (*V, 5, 1*). Обычно авторитет Полибия непререкаем. Но в данном случае его рассказ содержит ряд ошибок, а Люция он путает с другим старшим родственником Публия (см. главу «*Эдилитет*»). Поэтому вопрос должен быть решен на основании косвенных соображений. Скаллард решительно называет старшим Публия, ибо он намного опережал Люция в занятии магистратур. Это, правда, не аргумент, так как Публий вообще все должности занимал рано. Но Люций — даже если он всего на год был старше брата — добивался магистратур непростительно поздно. Второе косвенное соображение, на наш взгляд, это имена обоих братьев. Традиция, в 230 году до н. э. закрепленная постановлением сената, требовала, чтобы имя отца переходило к старшему из сыновей (*Федорова Е. В.* Латинская эпиграфика. М., 1969. С. 73). Все это заставляет нас признать старшим братом Публия. Полемику по этому вопросу см. у Скалларда (*Scullard H. H.* Scipio Africanus... P. 27—28 и соответствующие примечания).

[9] Этим только я могу объяснить странное сообщение Ливия. По его словам, анналист Целий называет спасителем консула раба, хотя большинство авторов указывает на сына его Публия (*Liv., XXI, 46*). Решающим, безусловно, следует признать свидетельство Лелия. Насколько мне известно, Плиния в этой связи не привлекал никто. Между тем его сообщение проливает свет на все происшествие, так как он пишет, что Сципион не принял венка. Только он ошибочно говорит, что это было после Требии.

[10] У анналистов существует рассказ о том, как знатные юноши в римском лагере во главе с Марком Цецилием Метеллом составили заговор и решили бросить родину и своих товарищей и бежать за море. Все были в ужасе, только один Публий Сципион, «роковой вождь этой войны», по выражению Ливия, ни минуты не раздумывая, схватил меч, бросился к палатке Метелла и ворвался к заговорщикам, когда они обсуждали план бегства. С мечом в руках он заставил их произнести торжественную клятву, что они никогда не покинут родины (*Liv., XXII, 53, 4—15; Frontin., IV, 7, 39; Dio., 36, 57, 28; Val. Max., V, 6, 7*). Но об этом ничего нет у Полибия, получившего сведения о юности нашего героя от его ближайших друзей, прежде всего от Лелия. Скаллард считает неопровержимым доказательством истинности всего происшествия монету из Южной Италии, из Канузия, с изображением Сципиона (*Scullard H. H.* Scipio Africanus... P. 30). Но мне представляется, что молчание Полибия делает весь рассказ маловероятным.

[11] Салиями могли быть только патриции, у которых живы были отец и мать, которые родились в Риме и не имели никаких физических не-

достатков (*Dionys., II, 70; Gell., II, 10; Cirilli R.* Les prêtres danseurs de Rome. Paris, 1913. P. 55). Дионисий пишет, что Нума вверил щиты самым красивым юношам. Очевидно, традиция оставалась в силе и в описываемое время. Сирелли считает красоту и физическую силу решающими при выборе салиев (*Op.cit., p. 55*). Из приведенных выше условий видно, что салиями могли быть по замыслу создателя только юноши. Но при желании в коллегии можно было оставаться всю жизнь. Сам Сципион в 45 лет был еще салием, Аппий Клавдий не ушел из коллегии до старости. Но Аппий и поразил современников, и самый факт сообщают как некое чудо. Большинство же римлян, по-видимому, с возрастом уходили.

[12] О тридцати днях празднества определенно говорит Полибий (*Polyb., XXI, 13, 12*). Правда, Лид передает, что щиты прячут 18 марта (*De mens., IV, 55*), но из одного места Светония явствует, что еще 24 марта они не были спрятаны (*Otho, 8, 3*). Об обряде см. также: *Scullard H. H.* Festivals and ceremonies of the Roman Republic. N.-Y., 1982. P. 78—94, 195.

[13] Ни одного портрета Сципиона до нас не дошло. В учебниках часто можно видеть изображение пожилого человека с лысой или бритой головой, которого называют Сципионом Африканским. Это, однако, всего-навсего какой-то жрец, принятый за Сципиона только потому, что у него несколько шрамов. Приводят и еще портреты, которые понравились авторам мужественным выражением лица, необыкновенным взглядом и пр. К сожалению, никаких более ощутимых доказательств не приводят. Желающих отсылаю к недавно переведенной у нас книге: *Хафнер Г.* Выдающиеся портреты античности. М., 1984 (автор дает там свой вариант портрета Сципиона).

Гораздо большую ценность представляют сохранившиеся изображения на монетах. Этих монет четыре: *золотой* из Капуи, *денарий*, выпущенный Бласионом, *серебряный шекель* из Нового Карфагена, *бронзовая монета* из Канузия. Из них первые две вызывают сильное сомнение. Непонятно, почему изображение Сципиона стали бы чеканить в Капуе. Человек в шлеме, изображенный на денарии Бласиона, отождествляется со Сципионом только потому, что Бласион происходил из рода Корнелиев, а на другой стороне монеты выбита Капитолийская троица. Это якобы намек на таинственные посещения Публием Капитолия. Основание довольно шаткое. Гораздо убедительнее, что на двух последних монетах изображен действительно Сципион. О Канузии мы уже говорили (*примечание 10*). Что касается монет из Нового Карфагена, все они изображают людей с резко выраженным семитическим типом. Только на одной монете времен Сципиона мы видим безусловно римлянина. Никакого другого римлянина жители Нового Карфагена чеканить не могли. Оба изображения — из Канузия и из Нового Карфагена — кажутся довольно сходными. Сколько я могу судить по фотографиям, более четким является портрет из Канузия. На нем изображен юноша с тонкими, нежными чертами лица, никак не позволяющими угадать ту энергию, которой отличался Сципион.

[14] В свое время Моммзен счел рассказ Ливия и Аппиана совершенно невероятным. Он утверждает, что вся вышеописанная сцена на Форуме была не более чем ловко разыгранной сенатом комедией. Чтобы заставить народ выбрать неопытного юношу, они договорились, что никто не вызовется на войну и тогда среди общего смятения выступит Публий и завоюет сердца избирателей. Доказательство он приводил одно: невозможно, чтобы патриотизм и жажда славы настолько угасли в сердцах римлян, чтобы никто не пожелал поехать в Испанию. Гипотеза эта при-

нята почти всеми современными учеными, кроме И. Ш. Шифмана (см.: *Кораблев И. Ш.* Ганнибал. М., 1976. С. 243, 244). На мой взгляд, она выглядит гораздо менее вероятной, чем рассказ анналистов. Она противоречит источникам, дальнейшим событиям и всей римской традиции.

В самом деле, все источники сохранили воспоминание о том, что Публия выбрал народ, а сенат был против. У Аппиана дело дошло даже до открытого конфликта. Надо ли думать, что и это была особая хитрость сената? И можем ли мы отвергнуть сообщения анналистов только потому, что они обидны для римской гордости?

Дальнейшие события подтверждают версию анналистов. Когда Сципион прибыл после блестящей победы в Испании, народ принял его с восторгом как своего избранника, сенат же — с явной враждебностью. Это понятно, только если дерзкий юноша стал главнокомандующим против воли отцов.

Римская традиция не дает ответа на то, как реально могла осуществиться вся эта комедия. Как *«патриотизм и жажда славы»* настолько угасли среди знати, что сенат смог заставить всех отказаться от командования? И почему ни разу за всю историю Рима больше это ему не удавалось? Действительно, мы знаем множество случаев, когда римляне наперекор разуму и интересам государства стремились к командованию и никакой сенат удержать их не мог. Например, в ту же войну консулом выбрали неопытного Отацилия, племянника Фабия Максима. Уже после выборов Фабий взял слово и доказал, что в такой опасный час Отацилий — неподходящий военачальник. В конце концов Отацилия отрешили, хотя он отчаянно сопротивлялся до последней минуты. Ясно, что Фабий не мог бы — да ему и в голову бы не пришло — через посредство сената заставить Отацилия не искать командования. Когда Сципион уже был в Африке, ни сенат, ни народ не в силах были заставить консулов отказаться от этой провинции. Трибуны буквально стаскивали их с кораблей. Один из сторонников этой теории, Хейвуд, по другому поводу сам говорит, что ни один политический союз не был столь могуществен, чтобы заставить римлянина отказаться от консульской провинции. Таким образом, гипотеза эта должна быть отвергнута.

Глава четвертая. ИБЕРИЯ

[15] Существует рассказ о том, что его голова ночью излучала сияние (*Liv., XXV, 39*).

[16] Он имел полномочия пропретора и был послан в помощники Сципиону (*Liv., XXVI, 20*). Полибий совершенно определенно называет его «коллегой» Публия (*Polyb., X, 6, 7*). Скаллард, однако, предполагает, что он имел меньшую власть, чем Сципион (*Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 31, 32).

[17] Это же сообщение находим у Аппиана (*App. Iber., 89*), причем он говорит, что изображение выносят из храма *νυν ετι*, так что не верить Максиму нельзя.

[18] Из речи Тиберия Гракха, обращенной к Сципиону. В ней видят антицезарианский памфлет. Попытки Хейвуда доказать подлинность этого источника выглядят малоубедительными.

[19] В греческих легендах змей является отцом многих героев. Павсаний пишет: «Мессенцы считают обстоятельства рождения Аристомена необычными. Они ведь рассказывают, что с его матерью Никоклеей сочетался даймон или бог в облике змея. Я знаю, что такое же предание рас-

сказывают македонцы об Олимпиаде и сикионцы об Арате» (*IV, 14, 7—8*). Вспомним, что Дионис Загрей рожден от Персефоны и Зевса, принявшего облик змея. Дриоп таким же образом рожден от Аполлона. От Аполлона в образе дракона, видимо, по древнему преданию, был рожден Иам. У Пиндара от этой легенды осталось то, что мальчика вскармливают две змеи (*Olymp., VI, 45*). Сюда же относятся многочисленные сказания о героях-полузмеях. Таков был основатель Фив Кадм, ставший змеем и правивший народом, выросшим из зубов дракона, или основатель одного племени, который, по рассказу Страбона, из дракона стал человеком (*Strab., XIII, 1, 14*). Вообще «из всех животных древние чаще всего посвящали героям змею» (*Plut. Cleom., 39*). Такого рода предания распространены по всему миру. Достаточно вспомнить нашего Вольгу Святославича, которого мать родила «от змия люта» и который стал и великим богатырем, и хитрым волшебником. Подобные мифы находим и в Риме. Известно, что Фавн сошелся с Бона Деей в облике змея и священные змеи обитают в ее храме (*Macrob. Sat., I, 12, 21—29*).

Существовало также представление, что змеи спасают от бесплодия. Так, рассказывают об одной греческой женщине, которая пришла лечиться от бесплодия в храм Асклепия. Она провела там ночь и во сне имела общение со змееем, посвященным богу. После этого у нее родилось два близнеца (*Томсен Дж.* Исследования по истории древнегреческого общества. М., 1958. С. 213).

Из всего этого ясно, что история Сципиона, как и история Александра, имеет глубокие корни в народных представлениях. Но во времена Ливия никакой сравнительной мифологии не было. Метод изучения был таков: если какой-нибудь римской легенде находили аналогию у греков, значит, она заимствована. Меня только удивляет, что этот метод до сих пор бытует у современных ученых. См. нашу статью: *Бобровникова Т. А.* «Сципионова легенда» в античной исторической традиции // Вестник древней истории. 2008. № 4. С. 77—93.

[20] Такого мнения придерживается Мюнцер.

[21] У нас нет ни одного свидетельства, подтверждающего существование подобных слухов еще при жизни Сципиона. Есть мнение, что такого рода свидетельство следует видеть в пьесе Плавта «*Амфитрион*» (*Galinsky G.* Scipionic themes in Plautus' Amphitrio // TARA, 1966. P. 203), где будто бы под Алкменой разумеется мать Публия, под Амфитрионом — его обманутый отец, а под Гераклом — сам герой. Скаллард не принимает и не отвергает подобной возможности. Дело вот в чем. Если бы было доказано, что вера в божественное происхождение Публия была действительно распространена при его жизни, сам выбор сюжета для пьесы приобрел бы значение намека. Но если доказательства искать в самой пьесе, то нас ждет разочарование. При всем желании у Плавта нельзя найти никаких указаний на Сципиона. Он ни на шаг не отходит от традиционного мифа. Даже говоря о блистательном будущем героя, Плавт не упоминает, скажем, об Испании, где отличился и Геракл, и Сципион.

[22] Отцом Ромула называли огненный призрак, выходящий из огня (*Plut. Rom., 2*). Таким же огненным призраком, Ларом, духом очага, был отец Сервия Туллия. От искры из очага был зачат и основатель Пренесте Цекула (*Serv. Aen., VII, 678; Schol. Veron. Aen., VII, 681*). Более поздние легенды стремятся назвать отцами этих героев какого-то из олимпийских богов. Так возникает сказание, что отец Ромула — Марс, а отец Цекулы — Вулкан. Отцом же нашего героя поздние легенды называют Юпитера.

[23] Так думает Хейвуд. Но дело в том, что Полибий никогда не задавался целью рассказать так называемую легенду о Сципионе. Он рассчитывает на образованного читателя, хорошо знакомого с трудами его предшественников. На основании этих трудов у читателя создается представление о Публии как о любимце богов. Поэтому-то Полибий сразу начинает с полемики. Его цель — разбить этот образ. Вот почему он только вскользь упоминает о чудесных рассказах, ходивших о Сципионе. От него мы не узнаем ни о чудесном рождении Публия, ни о посещении им храма Юпитера, ни о являвшемся ему даймоне. Однако можно с уверенностью утверждать, что *«Сципионова легенда»* была ему известна. Например, он несколько раз упоминает о снах Публия и вещих голосах, постоянно с ним говоривших. Между тем в обоих приводимых им примерах речь идет *только* о снах.

[24] Мейер представляет дело таким образом. Существовала легенда, что во время осады явился Нептун и отвел воду. А Лелий, бывший скептиком-евгемеристом, растолковал Полибию этот миф рационалистически — то есть заменил бога отливом, которого на самом деле не было. Объяснение в высшей степени странное. Начнем с того, что совершенно непонятно, как могла возникнуть легенда, если вода в действительности не отходила. Иными словами, обычная логика такова: вода в лагуне отошла, чтобы объяснить это, придумали легенду о Нептуне. Логика Мейера — придумали легенду о Нептуне и, чтобы объяснить ее, сказали, что вода отошла. По-моему, это дико. И неужели Полибий, беседовавший с испанцами, пунийцами и римлянами, мог поверить безумной версии Лелия?! Затем, как справедливо замечает Скаллард, Лелий был римский воин, человек старого поколения, а вовсе не новомодный философ. В довершение оказывается, что он ровно ничего не придумал. О том, что был отход воды, рассказывает сам Сципион в письме царю Филиппу.

[25] О даймоне Платон упоминает в *«Федре»* (*242 b-c*), *«Теэтете»* (*151 a*), *«Алкивиаде Первом»* (*103 a—b*), *«Евтидеме»* (*272 e*). Он также сообщает о случаях удивительных пророчеств духа. Кроме того, о нем говорит Ксенофонт (*Мет., I, 1, 2—5*). Для Аристотеля обычен риторический вопрос, что такое даймон Сократа (*Rhet., II, 23, 8*). Кроме того, о нем писали поздние авторы — Апулей (*Liber de deo Socr.*) и Плутарх (*De gen. Socr.*).

[26] Мейер и Хейвуд отрицают, что Публий посещал ночью храм. Мейер приводит следующее соображение: Публий, как говорят, посещал храм перед всеми важными событиями в своей жизни. Но все важные события его жизни произошли после отъезда в Испанию и за пределами города Рима. Хейвуд добавляет к этому еще несколько мыслей. Об этих посещениях ничего не говорит Полибий. Они не соответствуют духу римской религии. Наконец, невозможно, чтобы собаки не лаяли на Сципиона.

Блестящая критика всех этих домыслов есть у Скалларда. Здесь скажем только, что в жизни Публия в Риме и до и после Испании случалось очень много важных событий: он был выбран эдилом, полководцем для ведения иберийской войны, он женился, влюблялся, поддерживал своих друзей на выборах и т. д. О Полибии мы подробно говорили выше (*примечание 23*). Что же до духа римской религии, то Скаллард справедливо замечает, что сообщения о ночных посещениях Сципионом храма ничуть не шокируют многочисленных римлян, которые об этом сообщают. От себя добавлю, что вообще многие черты характера и поведения Сципиона не соответствуют духу римской религии, госу-

дарственности и прочему. И об этом римские авторы повествуют с удивлением, но не отрицают напрочь, как делает Хейвуд. Соображение о собаках меня просто поражает. Скажу только, что существуют люди, на которых собаки никогда не лают, и мне таких людей приходилось видеть. Скаллард полагает, что собаки хорошо уже знали Публия.

[27] Ливий иначе определяет численность его войск. По его расчетам, у Газдрубала было 54 тысячи пехотинцев и 500 всадников. Впрочем, он не слишком настаивает на этих цифрах, замечая, что другие источники называют число 70 тысяч (*Liv., XXVIII, 12*). Аппиан говорит о семидесяти тысячах пехотинцев, пяти тысячах всадников и тридцати шести слонах, хотя он пользовался не сведениями Полибия (*App. Iber., 100*). Тем не менее Скаллард принимает данные Ливия (*Scullard H. H.* Scipio Africanus... P. 88).

[28] Есть некоторые указания на то, что Сципион вообще любил поздно вставать. Плутарх пишет: «Афиняне ставили в вину Кимону его склонность выпить, а римляне Сципиону — его склонность поспать, потому что они не могли придумать в отношении их ничего другого» (*Praecept. ger. rei publ., 800 E*).

[29] Полностью речь Сципиона к войскам есть у Полибия и Ливия. Ничего общего в этих двух речах нет. Я не верю ни одной. У Ливия просто одна риторика. Так мог говорить какой-нибудь модный учитель эпохи Августа, а не римский полководец времен Ганнибаловой войны в дикой стране перед восставшими войсками. Речь Полибия слишком спокойна и разумна. Кажется, что слышишь греческого философа, мирно беседующего с друзьями. Боюсь, что никто из воинов не смог бы запомнить и повторить слова Сципиона. Тем более, там не было Лелия. Осталось только впечатление чего-то страшного.

Глава пятая. СИЦИЛИЯ

[30] Об отношениях Красса со Сципионом можно реально судить по нескольким фактам. Первое, он уступил Публию без жребия Африку. Но это можно объяснить тем, что его сан запрещал ему оставить Италию. Гораздо важнее одна вскользь брошенная фраза Ливия. Он говорит, что, когда сенат очень теснил Сципиона, он будто бы наедине совещался с коллегой (*Liv., XXVIII, 45*). Если это правда, то значит, перед враждебным большинством сената оба консула действовали единодушно. Второе, в 194 году до н. э. Красс объявил, что Священная весна, торжественный обряд, проведенный Катоном, главным противником нашего героя, совершен неправильно, и поручил Сципиону повторить его. В этом факте видят доказательство близости Красса к Сципиону. Но я должна подчеркнуть, что, учитывая глубокую религиозность и честность понтифика, совершенно невозможно предположить, что он подтасовал факты, чтобы угодить своему приятелю. Поэтому или действительно ошибка была допущена, или Красс подошел к Катону суровее, чем нужно, потому что верил в особую близость Сципиона к богам и был убежден, что его дар будет милее небожителям.

[31] Моммзен не только вслед за Фабием обвиняет Сципиона в том, что он выпустил из рук Газдрубала, но утверждает, что Баркид вовсе не был разбит и что Публий не смог выполнить задачу, которую с успехом выполняли его отец и дядя, а затем Нерон (*Моммзен Т.* История Рима. Т. I. С. 599). Это положение, на мой взгляд, не выдерживает критики. Газдрубал потерял две трети своей армии и бежал, оставив Испанию, свою вотчину, в руках врага. Далее время показало, что план войны

Сципионов и тем более Нерона был неверен. Сципионы в несколько дней утратили все и в несколько дней погибли со всей армией. Нерон был отброшен к Пиренеям. Публий не просто победил, а выбил Испанию из рук врага и лишил пунийцев плацдарма, завоеванного Гамилькаром Баркой. Сципион, как я уже говорила, не мог гнаться за Газдрубалом. Он держал в голове план всей войны и ради него мог пойти на определенный риск и жертвы.

Глава шестая. АФРИКА

[32] Полибий упоминает оба эти плана (*Polyb., XIV, 6, 7 и 3, 3*). Это, по-видимому, указывает на то, что Газдрубал так и не принял окончательного решения.

[33] Смелый ночной набег Сципиона кажется подчас читателю делом очень легким. На самом деле это был очень опасный шаг и римляне были на волосок от гибели. Достаточно вспомнить, что 50 лет спустя маневр Сципиона попытался повторить карфагенянин Газдрубал, возглавлявший оборону Карфагена в Третью Пуническую войну. Он напал ночью на римский лагерь, застал воинов спящими и обрушился на них. Но один из трибунов успел проснуться, поднял свой отряд, вывел его из противоположных ворот и ударил врагу в тыл. Карфагеняне были растеряны и обратились в поспешное бегство. Отряд же Сципиона был столь мал, что неудача грозила полной гибелью всего войска.

[34] О дальнейшей судьбе Газдрубала Полибий ничего не говорит. Ливий, правда, передает, что он остался жив и даже командовал флотом (*Liv., XXX, 8*), но потом он исчезает со страниц истории. Аппиан же сообщает, что его приговорили в Карфагене к смерти за военные неудачи. Газдрубал бежал из города и вел жизнь разбойника. Позднее его простили и он вернулся в Карфаген. Но после очередной неудачи народ выместил свою ярость на Газдрубале. Толпа хотела растерзать его, но он «...успел вбежать в отцовскую гробницу и принял яд. Они же вытащили его труп, отрубили голову и носили ее на копье по городу» (*App. Lib., 98—99, 158—159*). Поэт Овидий упоминает, что 23 июня Масинисса победил Сифакса (то есть захватил его столицу), а Газдрубал покончил с собой (*Fast., VI, 769—770*). Это сообщение заставляет предположить, что в версии Аппиана произошла некоторая путаница. Если Овидий прав, Газдрубал убил себя вскоре после поражения. Я полагаю, что в рассказе Аппиана соединились два знаменитых Газдрубала — сын Гескона и полководец времен Третьей Пунической войны, о котором шла речь в предыдущем примечании. Этот последний, как известно, был приговорен карфагенянами к смерти, бежал, собрал вокруг себя разбойников и стал грабить окрестности города. Затем он был прощен, вернулся и возглавил оборону. С другой стороны, вся вторая часть рассказа Аппиана кажется вполне достоверной. Карфагеняне обычно казнили полководцев за проигранные сражения. Вероятно, так произошло и с Газдрубалом. Сообщение Овидия подтверждает, что пуниец успел лишить себя жизни и избежал уготованных ему мук. Т. Моммзен полностью принимает версию Аппиана (*Моммзен Т.* История Рима. Т. I. С. 618—619).

[35] О дальнейшей судьбе этого злополучного владыки известно следующее. По свидетельству Аппиана, Ливия и Плутарха, Сципион отправил его в Рим после заключения мира с карфагенянами в 203 году до н. э. (*Liv., XXX, 17; App. Lib., 121; Plut. Fab., 26*). Аппиан говорит, что в Риме долго колебались, как быть с ним, простить или наказать. Но он умер,

не дождавшись приговора, от скорби и болезней. Ливий прибавляет, что умер он в Тибуре еще до битвы при Заме (*Liv., XXX, 45*). Но Полибий считает, что царь дожил до триумфа Сципиона и принял в нем участие (*Polyb., XVI, 23*).

[36] К этому месту Скаллард делает восхитительное замечание: «*Сифакс, как истинный сын Адама, все свалил на свою жену*».

[37] История прекрасной Софонисбы очень романтична. Но были авторы, которые попытались сделать ее еще романтичнее. Поздние греческие авторы превратили рассказ о ней в настоящий греческий роман, и он стал столь же чувствителен, слезлив, невероятен и полон нелепостей. Полностью этот роман находим у Аппиана, но, по-видимому, ему следовал и Диодор (на это указывает *Diod., XXVII, 7*).

Греческий роман должен был рассказывать о страданиях юных влюбленных. И так как Сифакс не годился на роль юного героя, то его место занял Масинисса, третье действующее лицо драмы. Оказывается, он воспитывался в Карфагене и с отроческих лет любил дочь Газдрубала. Отец обручил молодую чету. Только из любви к девушке нумидиец поехал вместе со своим будущим тестем сражаться в далекую Испанию против римлян. Но царь Сифакс каким-то образом тоже увидел Софонисбу. Охваченный к ней страстью, он стал опустошать земли карфагенян и заключил союз со Сципионом. Тогда испуганные карфагеняне отдали ему в жены Софонисбу, причем ни Газдрубал, ни Масинисса ничего об этом не знали. Но в конце концов все открылось. Нумидиец «тяжко сокрушался и еще в Иберии заключил договор со Сципионом... Газдрубал, узнав об этом, тяжко страдал из-за юноши и дочери, ведь оба были нагло обижены, но все-таки ради отечества решил избавиться от Масиниссы» и пытался его убить. Но Масинисса ускользнул от него и уехал в Африку (*App. Lib., 36—42*). Дальнейшие события нам уже известны. Софонисба снова попадает в руки Масиниссы, и он на ней женится. Но Сципион велит ее отдать. Масинисса плачет, умоляет, но все тщетно. Тогда бедный любовник сам посылает ей яд.

История эта полна диких нелепостей. Во-первых, как отмечает Шифман, на Востоке нельзя было выдать замуж дочь без согласия отца (*Кораблев И. Ш.* Ганнибал. С. 370). Во-вторых, за время, пока Масинисса воевал в Испании, Сифакс ни разу не воевал с Карфагеном, так что неясно, зачем бы пунийцы стали расторгать помолвку девушки с нумидийцем и отталкивать от себя такого ценного союзника, как Масинисса. Третье, когда бы ни произошла предполагаемая свадьба, узнать о ней Газдрубал и Масинисса должны были после Илипы, так как в этой битве нумидиец честно сражался на стороне Карфагена и Газдрубал ему еще доверял. Значит, согласно этой версии, сын Гескона пытался убить нумидийца уже после Илипы. Но мы знаем, что на это у него не было времени, ибо его самого Сципион гнал непрерывно, как оленя. Все время после Илипы Масинисса был под началом Магона, который ему опять-таки доверял. И последнее. Уже после отъезда Газдрубала из Испании, то есть уже после свадьбы Сифакса, как нас уверяют, Сципион едет в Африку и заключает союз с этим же Сифаксом. Значит, вся версия Аппиана сводится к явной бессмыслице.

Мне могут возразить, что рассказ в целом критики не выдерживает, но верно в нем одно — Масинисса был обручен с Софонисбой и, когда ее выдали за другого, порвал союз с Карфагеном. Но и это более чем сомнительно. Прежде всего, Масинисса покинул Африку в 213 году до н. э., а в брак Софонисба вступила около 205—204 года до н. э., то есть девять лет спустя. А поскольку на Востоке замуж выходили рано, то до-

чери Газдрубала не могло быть больше восемнадцати лет, значит, невестой Масиниссы она стала в девять лет. Таким образом, версию о любви между ними во всяком случае надо отбросить. Самое большое, что можно предположить, — это что Газдрубал обещал нумидийцу за верную службу руку своей дочери, которую жених никогда не видел. Кроме того, порвал с карфагенянами Масинисса не из-за Софонисбы. Сифакс был в союзе со Сципионом до 204 года до н. э., то есть он женился не раньше 205 года до н. э., Масинисса заключил договор со Сципионом уже в 206 году до н. э.

Прибавлю, что нет в этом романе и особых поэтических достоинств, ради которых можно было бы принести в жертву историческое правдоподобие. В самом деле, что сказать об этом втором Ромео, Масиниссе, который любил свою Софонисбу десять лет (213—203 годы до н. э.), все свои поступки подчинял этому одному всепожирающему чувству, ради нее предал карфагенян, ради нее потерял царство, ради нее пошел в разбойники. И вот они соединились. Тут Сципион грубо требует отдать ее — и Масинисса, этот храбрец и герой, ставший другом римлянам только из-за Софонисбы, тут же с рабской покорностью велит любимой женщине, которую клялся защищать, лишить себя жизни! И его-то авторы романа предлагают как пример верного любовника! И он не подумал отомстить, хотя Сципион отдал ему свою армию и жизнь римлян была теперь в его руках. Нет. По первому свисту он примчался, как верный пес, лизать руку человеку, который лишил его Софонисбы! Это подтверждает мысль о том, что Масинисса стал героем романа случайно, только из-за своей молодости. Поэтому поступки его совсем не соответствуют навязанной роли. К сожалению, надо сознаться, что авторы романа проявили полное отсутствие вкуса.

Версия, которой я воспользовалась, известна нам из Ливия. Но он, по-видимому, следует Полибию, так как этот последний упоминает, что Сифакс разорвал союз с римлянами из-за женщины (*Polyb., XIV, 1, 4;* ср.: *7, 6*). К сожалению, Ливий прибавил слишком много патетических речей и красивых поз. Так, он сообщает, что Масинисса отравил Софонисбу, боясь преступить клятву, неосторожно ей данную. Он обещал, что живой она не попадет в руки римлян. Боюсь, ближе к истине Дюрюи, который замечает, что восточный царек не мог выпустить живой женщину из своего гарема.

[38] Полибий, писавший со слов посла Сципиона Гая Лелия, а вслед за ним все античные авторы утверждают, что мир был ратифицирован Римом. Только Ливий пишет, что отцы разгадали хитрость пунийцев и отвергли мир. Подобный разбор всех источников по этому вопросу содержится в книге Шифмана (*Кораблев И. Ш.* Ганнибал. С. 291—296). Сам автор верит Ливию, но большинство современных ученых принимает версию Полибия (см.: *Scullard H. H.* Scipio Africanus... P. 136). Мы безусловно отвергаем сообщение Ливия, и вот по каким причинам. Во-первых, в дальнейшем Сципион держит себя так, как будто пунийцы, а не римляне отказались от мира (причем даже у Ливия). Во-вторых, весь рассказ Ливия крайне противоречив и, видимо, списан с двух несогласованных источников. Сначала он сообщает, что одним из условий мира, продиктованного Сципионом, было отозвать Ганнибала из Италии. Далее прибыл Лелий, а уж потом послы из Карфагена. Сенат приказал Лелию остаться до прибытия послов, чтобы вместе обсудить условия. Послы прибыли, но сенат уже отослал Лелия. Его вернули с дороги. Начали спрашивать мнение всех поименно. Решающим оказалось мнение Лелия, по словам которого, «Сципион считал, что на мирный до-

говор можно надеяться только в том случае, если Ганнибала и Магона не будут отзывать из Италии». После этого сенат отверг мир (*Liv., XXX, 17; 21—23*).

Не говоря о том, что сенат то приказывает Лелию остаться, то отсылает, то вновь возвращает, как можно было приписывать Сципиону такое мнение, когда отзыв Ганнибала он поставил обязательным условием мира?! Да и как могли бы римляне заключить мир, если иноземные войска находились в Италии? Далее, невероятно, что столь странное мнение высказал Лелий и именно он сорвал мир Сципиона. В то же время я полагаю, что сообщение Ливия отражает воспоминание о том, что вопрос о мире вызвал сильные споры в сенате. Ф. Ф. Зелинский даже считал, что сенат отверг мир Сципиона, но его ратифицировало Народное собрание (*Zielinski Th.* Die letzten Jahre des Zweiten Punischen Krieges. Leipzich, 1880. S. 44).

[39] Движение Сципиона к границам Нумидии ясно показывает, что он кинулся в степи, чтобы соединиться с Масиниссой прежде, чем на него нападет Ганнибал. Карфагенский полководец последовал за ним, значит, он в свою очередь предполагал напасть на Сципиона, пока тот не соединился с союзником. Это более или менее ясно. Далее, ясно, что Сципион успел встретить Масиниссу до битвы. Но почему Ганнибал просил у Публия свидание до сражения? Существует два рассказа. Ливий пишет, что соглядатаи, великодушно отпущенные римским военачальником, сообщили Ганнибалу, что Сципион соединился с Масиниссой. Полибий же говорит: пуниец попросил о встрече до соединения, а Публий согласился на свидание только после возвращения Масиниссы. Мы придерживаемся версии Полибия, который получил сведения от самого Масиниссы и Лелия. В любом случае очевидно, что Ганнибал, чувствуя крайнюю неуверенность в себе, решил просить мира.

Между тем Моммзен делает следующее замечание: «*Трудно поверить, что Ганнибал, делая эту попытку* (заключить мир. — *Т. Б.*), *имел другую цель, кроме намерения доказать народной толпе, что патриоты не безусловно противились заключению мира*» (*Моммзен Т.* История Рима. Т. I. С. 620). Удивительное заключение! Да разве народная толпа хотела мира? С самой высадки Сципиона она слепо, непримиримо противилась миру. Уничтожение двух огромных армий не могло сломить ее пыл. Лишь оказавшись совсем без войск, карфагеняне заключили мир. Но при первом известии о прибытии Ганнибала они нарушили его в самой наглой форме, то есть сожгли мосты. Ганнибала они с самого начала лихорадочно торопили, посылали на войну и ни разу даже не заикнулись о мире. Источники сохранили воспоминание о том, что Ганнибал хотел мира, но все его попытки сорвала именно народная толпа. Аппиан говорит, что Ганнибал заключил мир со Сципионом сразу после своей высадки (*App. Lib., 37—39*), а Евтропий — что он принял все условия, продиктованные Публием Корнелием во время мирных переговоров, но правительство Карфагена договор не ратифицировало (*Eutrop., 3, 22*). Наконец, уже после поражения при Заме народ все еще не был сломлен и хотел войны; убедил их просить мира именно Ганнибал. Повидимому, Моммзен полагает, что попытка заключить мир как-то унижает Ганнибала. Мне кажется, более прав Полибий, который ставит эти переговоры в особую заслугу Ганнибалу, так как прошлые победы не ослепили его и не лишили чувства реального.

[40] Эти мужественные и суровые слова выражают самый дух римской доблести. Стоит сравнить их со словами Мстислава Храброго: «Аще ныне умрем за хрестьяне, то очистимся грехов своих и Бог вменит кровь

нашу с мученикы» (*Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Кн. II. М., 1960. С. 120). Русский князь уповает на небесное воздаяние, но римлянин видит единственную награду в смерти за родину.

[41] Рассказ об этой замечательной битве принадлежит Полибию, который писал со слов ее главных участников. Ливий в существенных чертах не расходится с ним. Совершенно иной рассказ находим мы у Аппиана. Этот историк точно так же, как Полибий, описывает расположение обеих армий, причем сообщает некоторые детали, которые уточняют и дополняют рассказ Полибия (например, придуманный Публием способ борьбы со слонами). Но далее битва предстает, как у Гомера, цепью беспорядочных и совершенно неожиданных единоборств. Прежде всего Аппиан сообщает, что, хотя основная масса слонов действительно бежала с поля боя, часть из них попала в центр римской армии и металась там, причиняя римлянам много бед. Тогда Сципион повел вперед италийских конников, снаряжение которых было легче, велел им спешиться и гнать слонов дротиками. Но воины испугались огромных животных. Тогда Сципион сам первый соскочил с коня, смело бросился вперед и ранил вожака. Далее, по его словам, конница не покинула поля боя и продолжала вести битву. При этом отряд Сципиона столкнулся с отрядом Ганнибала. Тогда оба вождя захотели решить все дело единоборством и устремились друг на друга. Ганнибал ранил коня под Сципионом, но тут римляне бросились вперед и разняли сражающихся полководцев. После того Ганнибал столкнулся с Масиниссой и также вступил с ним в бой. Но и этот поединок кончился, как и предыдущий. Ганнибал и тут поразил коня нумидийца. Масинисса, обезоруженный, стал выдергивать из своего щита из слоновой кожи застрявшие там дротики и метать их в Ганнибала, но вдруг его ранили в руку. Узнав о происходящем, Публий ринулся спасать Масиниссу. Он увидел его уже на другом коне с перевязанной рукой. Нумидиец мчался в бой. Тут сражение загорелось с новой силой, неожиданно Ганнибал заметил на одном из холмов иберов и галлов и поскакал туда, надеясь привести варваров на помощь пунийцам. Но воины решили, что он бежит, и бросились врассыпную.

Интересно, что во всем рассказе Аппиана Сципион предстает отчаянным сорвиголовой, который первым бросается в опасности. Во время взятия Нового Карфагена он первым приставляет лестницу и залезает на стену (*App. Iber., 84*). В Испании же во время генерального сражения, увидав, что воины дрогнули и отступают, он, «передав коня слуге и вырвав у кого-то щит, как был, один бросился между обеими армиями» (*ibid., 107*). Другой раз он сражался в первых рядах, первым вступил на лестницу и, пораженный в шею, упал, истекая кровью (*ibid., 128—129*). Такое поведение совершенно не соответствует реальному облику Сципиона, но, возможно, совпадает с тем образом легкомысленного, беспечного и отчаянного юноши, который сложился в голове у многих современников.

[42] Аппиан — единственный автор, который во всех подробностях сообщает о полемике в сенате. Но из других источников мы знаем, что мир, предложенный Сципионом, вызвал споры, так как многие настаивали на полном разрушении Карфагена (*Liv., XXX, 40*). Отрывки из приведенных Аппианом речей находим у Диодора (*XXVII, 13—17*). Таким образом, они восходят к одному общему источнику. Есть даже мнение, что этим источником является Полибий (см.: *Scullard H. H.* Roman Politics. Oxford, 1951. P. 279—280). Доводы, приводимые сторонниками мира у Аппиана, соответствуют всему духу Публия Сципиона и его политике,

иногда почти дословно повторяют его мысли, сообщаемые Полибием, поэтому я решилась привести их полностью.

Сципион выполнил свой первоначальный план, родившийся в его голове еще в Испании. Он лишил Карфаген всех заморских владений, армии, флота, а наложенная на город огромная контрибуция должна была убавить золота в его казне и помешать пунийцам вновь собрать колоссальную наемную армию и бросить ее на Рим. Таким образом, грозный Карфаген был лишен зубов и когтей и должен был превратиться в обычный провинциальный восточный городок. Но Сципион достиг даже большего, чем думал первоначально. Конечно, он предполагал дать полную свободу Ливии, но теперь вместо крохотных ливийских царств создалась огромная могучая держава честолюбивого и умного Масиниссы. Соседство Великой Ливии было крепкой уздой для Карфагена. Пунийцы не смели даже помыслить двинуться против Рима, ибо Масинисса не спускал с них глаз. Недаром именно Ливия погубила окончательно Карфаген. С другой стороны, не будь Карфагена, наследники Масиниссы могли стать опаснейшими врагами Рима. По словам Аппиана, Сципион это прекрасно понимал (*App. Lib., 268*). Югуртинская война, стоившая римлянам стольких сил и трудов, вспыхнула как раз после разрушения Карфагена.

Однако современники и потомки приписывали решение Публия сохранить Карфаген не страху перед Ливией, а гуманности, которую он провозгласил основой римской политики (*Polyb., XVIII, 37; XXI, 17, 1—3*, подробнее см. главу «*Война с Антиохом*» в книге второй нашего исследования). Моммзен, автор в целом не расположенный к Сципиону, так объясняет его мотивы:

«Римский полководец мог бы немедленно приступить к осаде столицы, которая не была прикрыта никакой армией и не была обеспечена продовольствием, и... подвергнуть Карфаген такой же участи, которую готовил Ганнибал для Рима. Но Сципион этого не сделал... Сципиона обвиняли в том, что он согласился на слишком выгодные для неприятеля мирные условия потому только, что не хотел уступать какому-нибудь преемнику вместе с главным командованием и славу окончания самой тяжелой из всех войн, какую вел Рим... Но... проект (мирного договора. — *Т. Б.*) не подтверждает этого обвинения. Положение дел в Риме было вовсе не таково, чтобы любимец народа мог серьезно опасаться своего отозвания после победы при Заме, ведь еще до этой победы народ решительно отверг предложение сената сменить его, да и сами мирные условия вовсе не оправдывают этого обвинения. После того как у Карфагена были связаны руки, а подле него утвердился могущественный сосед, он ни разу не сделал даже попытки освободиться из-под верховной власти Рима и еще менее мог помышлять о соперничестве с ним... Мстительным италикам могло казаться недостаточным, что пламя уничтожило только 500 выданных карфагенянами военных кораблей и не уничтожило вместе с ними и ненавистного города; злобные и безрассудные деревенские политики могли отстаивать мнение, что только уничтоженный враг действительно побежден... Сципион думал иначе, и у нас нет никакого основания, а стало быть, никакого права предполагать, что в этом случае римлянин руководствовался низкими, а не благородными и возвышенными побуждениями, которые соответствовали и его характеру» (*Моммзен Т.* История Рима. Т. I. С. 621—622).

[43] Правда, это сообщение взято из очень сомнительного источника — речи Тиберия Гракха (см. *примечание 18*), где сказано также, что Сципиону предлагали пожизненный консулат и диктатуру. Эти почести

плохо согласуются с римской конституцией. Но, с другой стороны, некоторое подтверждение этому можно видеть в двух фрагментах Энния, современника событий: «Будь диктатором, или начальником конницы, или консулом», «Какую статую, какую колонну поставит тебе римский народ, чтобы она рассказывала о твоих подвигах?» (*Enn. Warm., fr. 8—9, 10—11*). По-видимому, он упоминает, что статуя эта должна быть золотая (*Trebellius Pollio in Hist. Aug., Claud., 7, 6*).

Книга вторая. МИР

Глава первая. СНОВА ДОМА

[44] К длинному списку протеже Публия добавляют обычно Мания Глабриона, консула 191 года до н. э. (*Scullard H. H.* Roman politics. Oxford, 1951. P. 14). Но Маний, насколько мы знаем, не сражался под началом Сципиона, и, хотя, как нам доподлинно известно, он относился к нашему герою с неизменным восхищением и уважением, у нас нет никаких оснований говорить, что Сципион ему действительно покровительствовал. Иное дело Секст Дигитий. Бывший испанский воин, он достиг преторы в 194 году до н. э., то есть в год второго консульства Публия, когда на него обращены были взоры всего Рима (см. *главу третью*), и Корнелий несомненно использовал свое влияние, чтобы помочь своему старому солдату. Став фактически главнокомандующим в 190 году до н. э., Сципион сразу назначил Дигития одним из трех своих легатов (*Liv., XXXVII, 4*). О дружбе же Дигития с Лелием говорит тот факт, что они оба были в 174 году до н. э. отправлены послами в Македонию (*Liv., XLI, 22*), а в Риме посольства составлялись из друзей.

Минуций, как было сказано, отличился в Африке. Вернувшись, он стал трибуном в 201 году до н. э. и решительно препятствовал всем попыткам сменить Сципиона на посту командующего (*Liv., XXX, 41; 43*). Став консулом, он получил вспомогательный отряд от Масиниссы, который помогал ему как бывшему товарищу по оружию и другу Сципиона (*Frontin., I, 5, 16; Liv., XXXV, 11*). После победы Сципиона над Антиохом Минуций вошел в число десяти уполномоченных по устройству Азии, а эта комиссия состояла если не из друзей победителя, то во всяком случае из очень приятных ему людей.

[45] Время женитьбы Сципиона неизвестно. Его можно приблизительно установить, рассчитав возраст его детей. Их было четверо: Публий, Люций и две девочки. Дочери, безусловно, родились уже после его возвращения из Африки. К 183 году до н. э. они еще не были выданы замуж (*Plut. Ti. Gracch., 4*). Следовательно, им не могло быть больше пятнадцати-шестнадцати лет. Из сыновей старшим был, видимо, Публий. На это указывает и его имя, и то, что его приемный сын Эмилиан считался наследником фамилии и старшим в роде (он был наследником Эмилии, выдавал приданое дочерям Сципиона и т. д. — *Polyb., XXXII, 12—13*). Он не занимал никаких государственных должностей, так что время его рождения установить трудно. Больше известно о втором сыне, Люции. Он был претором в 174 году до н. э. Очень трудно представить, чтобы он вопреки всем законам занял эту магистратуру в возрасте двадцати четырех лет. Но главное другое. Этого Люция отец взял с собой на войну с Антиохом в 190 году до н. э. Разумеется, он не мог взять семи-восьмилетнего ребенка. Самое меньшее Люцию было тогда 15 лет.

Значит, год его рождения — 205 год до н. э. С этим согласен Валерий Максим, который пишет, что Люций уже родился во время битвы при Заме (*III, 4, I*). Но раз так, время рождения Публия отодвигается по крайней мере к 210 году, то есть Сципион был уже женат и имел сына, когда отправлялся в Испанию (Сципион был в Испании с конца 210-го по конец 206 года до н. э.; в 206 году до н. э. он вернулся в Рим, но вскоре уехал на Сицилию, а оттуда в Африку).

[46] Валерий Максим пишет: «Раз уж мы заговорили о женской верности, нельзя обойти молчанием жену Публия Африканского Эмилию Терцию... Она обладала такой нежностью и таким терпением, что узнав, что ее муж увлекся одной из рабынь, она это скрывала. Она не хотела, чтобы такой великий муж, победитель вселенной Сципион Африканский, был очернен из-за женской ревности. И настолько дух ее был далек от мщения, что после смерти Публия Африканского она освободила эту рабыню и отдала замуж за своего вольноотпущенника» (*VI, 7, I*). Что это сплетня, никакого сомнения нет. Ведь из самого текста Валерия Максима следует, что оба супруга скрывали роман Сципиона, значит, весь рассказ в лучшем случае домысел досужих кумушек. Однако Вересаев прав, говоря, что слухи тоже являются источником для воссоздания характера, ибо даже слухи о Гоголе и Пушкине разные. Поэтому и данная история представляет определенный интерес. И интересно именно то, что это сплетня не о Публии, а об Эмилии. Вероятно, такой поступок был в ее характере.

[47] Катон пишет, что древние обедали в атриуме (*Orig., fr. 114; Orat., fr. 144*). Значит, в его время стали обедать в саду.

[48] Молодой герой Плавта носит локоны (*Capt., 649*), а про хвастливого воина сказано: «...он кудрявый напомаженный распутник» (*Mil. glorios., 920*).

[49] Обычай дарить женщинам цветы древен как мир. Я позволила себе привлечь более позднее свидетельство Лукреция. Он говорит, что в его время любовники осыпали порог своей милой цветами, умащали косяк благовониями и покрывали поцелуями двери (*IV, 1178—1179*).

[50] Первыми поэтами были Невий, Энний и Плавт — все современники Сципиона. Первыми историками — Фабий Пиктор, Сципион, сын Публия Африканского, Цинций Алимент, писавшие на греческом, и Катон и Кассий Гемина, писавшие на латыни. Все они жили в описываемую эпоху. Первыми великими юристами были Элий Пет, современник Сципиона и наставник сына Лелия, и Красс, коллега Сципиона по консульству. Первым же оратором Цицерон называет Цетега, консула 204 года до н. э. (*Cic. Brut., 57—58*). Записывать и издавать свои речи первым стал Катон Старший. О полководцах и дипломатах говорить излишне.

[51] См. *примечание 54.*

[52] У римских поэтов много реминисценций из этих строк. У Горация поэт по смерти превращается в лебедя и улетает с земли. «Пусть же не будет плача на бессмысленных похоронах, безобразных причитаний и сетований, — говорит он, — удержите вопль и воздавайте пустые почести гробнице» (*Carm., II, 20*). У Овидия: «Я буду на устах народа и через все века буду жить в славе» (*Met., XV, 878—879*).

[53] Его привез в Рим с юга Катон. См. *примечание 87.*

[54] Вот случай, сообщаемый Цицероном. Назика, кузен Публия, пришел навестить Энния и окликнул его у входа. Служанка сказала, что его нет дома. Но Назика понял, что так велел сказать ей хозяин, хотя сам он и дома. Через несколько дней Энний в свою очередь пришел к Назике и окликнул его у дверей, а Назика кричит, что его нет дома. «Как? —

удивился Энний. — Будто я не узнаю твоего голоса?» А Назика: «Ах ты, бесстыдник! Когда я тебя звал, я даже служанке твоей поверил, что тебя нет, а ты не хочешь поверить мне самому» (*De or.*, *II*, *276*).

[55] О том, что Энний был похоронен в склепе Сципионов и что там стоит его статуя, свидетельствуют, кроме Плиния, Светоний, Цицерон (*Arch. 22*), Валерий Максим (*VIII*, *14*, *I*), Ливий (*XXXVIII*, *56*) и Овидий (*Ars. Am.*, *III*, *409*). Лишь у Иеронима находим сообщение, что он был погребен в родных Рудиях (*Euseb. ann. Abr.*, *1838*, *179*). Однако сам факт, что Энний был похоронен в гробнице Сципионов, должен был настолько ярко запечатлеться в памяти современников и потомков, что трудно сомневаться в его истинности. Кроме того, Иероним вообще допускает много ошибок в рассказе об Эннии. Неправильно указан год его рождения (*Warm.*, *p. XVII*), родным городом его совершенно ошибочно назван Тарент (*ibid.*, *XVIII*), наконец, только этот автор сообщает, что у Энния была дочь, сыном которой был поэт Пакувий (*ibid.*, *XXIII*). Между тем у Энния не было ни жены, ни детей, а Пакувий был его племянником (*ibid.*). Кроме того, Иероним не пишет прямо, что Энний был погребен в Рудиях. Он говорит: «Он похоронен в склепе Сципиона на Аппиевой дороге... Некоторые утверждают, что кости его были перенесены... в Рудии». Тем не менее Уормингтон полагает, что Энний погребен в Рудиях (*ibid.*, *XXIV*).

[56] Время написания всех этих произведений не поддается точной датировке. Отрывки лирических стихов (*Ep.*, *fr. 5—6; 3—4*), а возможно, и *1—2* написаны после смерти героя. Когда Энний сочинил поэму «*Сципион*», неизвестно. Хейвуд считает, что она написана уже после смерти Публия, чтобы увековечить его память, как сократические произведения Ксенофонта и Платона. Уормингтон полагает, что написана поэма сразу после битвы при Заме (*p. XXV*), то есть создана она под впечатлением не смерти, а первого знакомства. Я склоняюсь ко второму предположению. Убеждает меня следующее соображение. Валерий Максим, который, вероятно, был неплохо осведомлен о жизни и творчестве Энния, пишет, что Сципион был благодарен Эннию, ибо полагал, что «память о его деяниях не погибнет, если их осветит свет литературы, и считал, что наиболее достойным является прославление в духе Гомера» (*VIII*, *14*, *I*). Таким образом, согласно Валерию Максиму, Энний прославил Публия еще при его жизни, причем прославил в духе Гомера. Ясно, что лирические стихи и «*Сатуры*» не могут быть названы произведениями в духе Гомера. Какое же сочинение имел в виду Максим? Ясно, что либо «*Анналы*», либо поэму «*Сципион*». Но Публий вряд ли смог прочесть в «Анналах» о себе: нам известно, что XII книгу Энний написал в 173 году до н. э., то есть через десять лет после смерти нашего героя (*Gell.*, *XVII*, *21*, *43*), Сципион же появляется в IX, XIII и XIV книгах. Что речь идет именно о поэме «*Сципион*», как будто видно из Свиды. Он сообщает, что в прологе к поэме Энний говорит, что один Гомер мог бы воспеть Сципиона (*Suid.*, *s.v. Εννιος*). Именно это-то вступление, видимо, и заставило Максима назвать поэму произведением в духе Гомера. Однако Хейвуд, возможно, прав, сравнивая сочинения Энния с воспоминаниями учеников Сократа: дело в том, что кроме поэмы у Энния была книга бесед, которая также называлась «*Сципион*». Беседы, то есть диалоги, действительно можно сопоставить с сократическими сочинениями. Возможно, это произведение написано после смерти Публия.

[57] ***Молнией*** называют Сципиона Вергилий (*Aen.*, *VI*, *843—844*), Лукреций (*III*, *1034*) и Валерий Максим (*III*, *4*, *I*). О том, что этот эпитет идет от Энния, см.: *Scutsch Q.* Studia Enniana. London, 1968. P. 148. Прозвище «Молния» получил один из Птолемеев, по словам Павсания, потому, что быст-

ро решался на смелые поступки (*I, 16*, 2). Поразительную стремительность Сципиона отмечают многие авторы (см., например: *Cic. Verr., V, 10, 25*; *Dio., 36, 57*). С другой стороны, Максим явно понимает эпитет «молния» как поток ослепительного света: «Guas tenebras e quo fulmine nasci passi estis».

[58] В том, что Пифагор не вкушал мясного, согласны большинство авторов. Порфирий со ссылкой на Евдокса пишет, что Пифагор не только не вкушал ничего живого, но даже не подходил близко к поварам и охотникам (*Vit. Pyth., 7*). Согласны с ним Секст Эмпирик (*IX, 127*), Страбон (*XV, 716*) и Диоген Лаэртский, утверждавший, что он совершал только бескровные жертвы. Противоречит этой общей традиции только Аристоксен (*Diog., VIII, 20*; *Gell., IV, 11, 1*).

[59] Диоген Лаэртский со ссылкой на Алкидама утверждает, что Эмпедокл был учеником Пифагора (*VIII, 56*). Тимей говорит, что Эмпедокл не только был учеником Пифагора, но пифагорейцы даже обвиняли его, как и Платона, в краже их учения (*Diog., VIII, 54*). Неанф пишет, что его обвиняли в разглашении пифагорейских тайн (*ibid., VIII, 55*). Порфирий помещает его в каталог пифагорейцев. Плотин пишет: «Эмпедокл, я полагаю, открывал то, что Пифагор и его последователи говорили в форме загадок» (*Plotin. Enn., IV, 8, 1*). Б. Л. Ван дер Варден уверенно показывает его пифагорейцем (*Van der Waerden B. L.* Die Pythagoreere religiose Bruderschaft und Schule der Wissen-schaft. Munchen, 1979. S. 118).

[60] О кончине Эмпедокла существует множество рассказов. Этот же удивительно напоминает историю китайского поэта Ли Бо. Существовала легенда, что «Ли Бо был бессмертным духом, занимавшим на небе должность "*владыки звезд*". За провинность Ли Бо был изгнан на землю, а когда срок его изгнания закончился, был возвращен на небо». Случилось это так. Однажды ночью Ли Бо плыл в маленькой лодочке.

«Луна в ту ночь светила так ярко, что кругом было светло как днем. Вдруг Ли Бо совершенно отчетливо услышал звуки музыки, исходящей откуда-то с горизонта и постепенно приближавшейся. Только до Ли Бо доходили эти звуки, никто из лодочников их не слышал... К Ли Бо подошли два бессмертных отрока...

— Верховный владыка приглашает владыку звезд занять прежнее место, — сказали они, обращаясь к Ли Бо... Ли Бо, сидя на спине кита, взвился в воздух и стал удаляться в том направлении, откуда доносились звуки музыки» (Ли Бо, «Небожитель», пьяный пишет письмо, устрашающее государство Бахай // Удивительные истории нашего времени и древности / Пер. И. Э. Циперович. М.; Л., 1954).

[61] Гофман увлекался каббалой, которая, как известно, очень многое заимствовала из учения Пифагора. В своих произведениях он неоднократно высказывает веру в переселение душ. Так, в «*Крошке Цахесе*» фея Розабельверде, прощаясь с мертвым Циннобером, высказывает надежду, что увидит его еще «жучком, шустрой мышкой или проворной белкой». В «*Повелителе блох*» переселение душ играет особую роль, так как три главных героя, знавшие некогда друг друга, встретились опять в новой жизни. Писатель описывает, как один из них, увидав впервые молодую красавицу, был поражен внезапным воспоминанием. «Чем дольше вглядывался он в милое личико голландки, тем более пробуждалось в глубине его души какое-то глухое воспоминание, как будто он уже где-то ее видел, хотя и в совершенно другой обстановке, и в ином одеянии, да и сам он будто имел тогда совсем иной облик». Наконец «в его душе вдруг, словно в волшебном фонаре, всплыла картина и он увидел далекое, далекое прошлое, предшествовавшее даже тому времени, когда он впервые вкусил материнского молока, и в этом прошлом жил как и он

сам, так и Дертье Эльвердинк». В этой же сказке Гофман говорит о мудреце, обладавшем даром читать на лице человека, обитала ли уже раньше его душа в другом теле или она совершенно свежа и нова. Тело Гофман именует тираном, сковывающим творческие силы духа, учению о музыке сфер он придает особое мистическое значение. Впрочем, дальнейшие рассуждения увели бы меня слишком далеко. Несомненно, это тема для специального исследования.

[62] Замечательно, что каббалисты считали, что Сципион, как и Пифагор, был сыном саламандра (см., например: *Франс А.* Харчевня королевы Гуселапы // Полное собрание сочинений: В 25 т. / Под ред. А. М. Эфроса. Т. V. М., 1937. С. 108).

[63] Могут сказать, что объяснение, которое я даю апофеозу Сципиона у Энния, чересчур смелое. Но, откровенно говоря, я просто не вижу другого. Есть мнение, что Энний находился под влиянием стоицизма (см., например: *Boyancé P.* Etudes sur la réligion romaine. P., 1972. P. 253—282). Но, во-первых, нет ни одного свидетельства, что он был близок к стоикам, в то время как ряд авторов называют его пифагорейцем. Нет вообще никаких указаний на то, что в Риме были стоики до Панетия. Во-вторых, учили, что из людей можно стать богами, далеко не все стоики, а очень немногие из них, последователи Персея (*Cic. Nat. deor., I, 38*; *Aet. Plac., I, 62*). Панетий же, например, вообще отрицал бессмертие души (*Cic. Tusc., I, 32*). Но допустим, что Энний находился под влиянием именно Персея (хотя это абсолютно произвольное предположение). Он должен был увязать это новое учение с пифагореизмом, во всяком случае, с переселением душ, ибо Лукреций определенно говорит, что Энний верил в метемпсихоз. Значит, он все-таки должен был допустить, что у Сципиона последнее перерождение и он принадлежит, таким образом, подобно Пифагору, к третьему виду живых существ.

Хейвуд утверждает, что Энний, по воспитанию и взглядам грек, пытался ввести в Риме эллинский культ героев. Героями, а не богами были у него Ромул и Сципион (*Haywood R. M.* Studies on Scipio Africanus. Baltimore, 1933. P. 18sq). Но эта гипотеза представляется совершенно необоснованной. Прежде всего, Энний крайне скептически относился к народной религии, а герои — это именно народные демоны. Затем, в народной религии герои на небо никогда не возносились, а жили в священных рощах и лесах. В таком священном месте близ Колона поселился дух Эдипа у Софокла и охранял давший ему приют город. Сервий определенно говорит, что души героев жили в рощах (*Serv. Aen., I, 441*). Это подтверждают эпиграфические данные (*А. ép. 1960. № 138*). Геракл, вознесшийся на Олимп, с которым сравнивали Публия, почитался ***богом***, а не ***героем***. Между тем Энний очень часто подчеркивает, что Эней, Ромул и Сципион живут в синих храмах неба. Эту разницу между богами и героями отметил Лактанций. Он пишет, что Энний и Цицерон помещают Сципиона «не только в храм (как героя. — *Т. Б.*), но даже на небо» (*Instit. div., I, 18*). О Ромуле доподлинно известно, что Энний называл его богом, а не героем. Но особенно важно следующее: Цицерон говорит, что на небо взошли всего три человека — Ромул, Геракл и Сципион (*De re publ., fr. 6*), а героев в Греции и Италии было великое множество. Кроме того, если бы Энний и воспринял учение о героях, то опять-таки должен был увязать его с исповедуемой им пифагорейской доктриной. Излагая взгляды пифагорейцев по этому поводу, Диоген пишет: «Душами полон весь воздух, они называются демонами и героями» (*VIII, 132*). То же находим у Варрона, который, как известно, завещал похоронить себя по пифагорейскому обряду (*Plin., N. H., XXXV, 160*). Он

называет *манов*, то есть героев, духами воздуха (*Arnob. Adv. pag., VII, 39—41*). На небо они, таким образом, и согласно Пифагору, и по народным представлениям, не возносились. Подробнее об Эннии см.: *Бобровникова Т. А.* Сакрально-правовые и философские взгляды Квинта Энния // Jus antiquum. 1997. № 1.

[64] Сам Цицерон несколько раз указывает, что подражает Эннию. Сон Сципиона он сравнивает со сном Энния (*VI, 10*). Далее он дает понять, что у Энния заимствовал фигуру вожатого, проводника по небесным храмам Сципиона, ибо он один, по словам Энния, взошел на небо. Сам «Сон» насквозь пифагорейский: музыка сфер, зарождение душ в области Млечного Пути, великий год. Сближает Энния и Цицерона в своих комментариях и Лактанций.

[65] Об этом событии повествуют анналисты: Гемина (*fr. 37*), Пизон (*Plin., N. H., XIII, 84*), Тудитан (*ibid.*), Антиат (*fr. 7—8*), а также Варрон (*Plin., N. H., XIII, 87; Aug. C. D., VI, 6; VII, 34*). Все остальные их переписывают. Самый древний автор, почти современник событий, — Гемина. Он утверждает, что сундук был один и в нем были книги пифагорейского содержания. Сколько их было, он не пишет. Пизон и Тудитан уже говорят о количестве и содержании книг. Оба согласны, что книг было 14. По Пизону, семь посвящено было понтификальному праву, семь — философии. По Тудитану, это были 14 декретов. Антиат, как известно, часто сообщает версию, идущую вразрез с общепринятой (*Peter, p. CCCVIII*), причем нередко ложную, хотя и более красочную. Так обстоит дело и с книгами Нумы. Он согласен, что содержали они пифагорейскую философию. Но дальше он со всеми расходится. Во-первых, у него имя нашедшего гроб не Теренций, как у всех остальных, а Петилий. Явная ошибка. Петилий, напротив, настоял на сожжении книг. Во-вторых, гроба будто бы было два. В одном лежало тело Нумы (оно не сохранилось), в другом — его книги (они уцелели). Их было 24. 12 посвящены были понтификальному праву, 12 — философии. Аврелий Виктор (*De vir. illustr., 3*) и Фест (*p. 173*) следуют Гемине, Ливий и Плутарх — Антиату, который привлекал их живописными подробностями. Но Ливий все же считает, что книг было 14, так как это число, по его словам, более распространено. Варрон говорит, что книг было 12, то есть как будто приближается к Антиату, но имя нашедшего — Теренций. Из всего этого, по моему мнению, ясно, что ближе всех к истине Гемина. Число книг и содержание их не знал никто, и все измышляли все новые подробности.

Е. М. Штаерман также считает, что находка книг Нумы свидетельствует о том, что среди римской аристократии начала II века до н. э. был моден пифагореизм (*Штаерман Е. М.* Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 116—117).

[66] Правда, эту деталь сообщает только Ливий со слов Антиата. Но, должно быть, это правда, так как ни у кого не вызывало сомнения, что перед ними гроб Нумы. В противном случае вредные книги можно было не сжигать, а просто объявить, что гробница не принадлежит царю римлян.

Глава вторая. ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРЕЦИИ

[67] Об отношениях Тита со Сципионом см. ниже, а также *примечание 87*.

[68] Об этом сообщает Ливий. К его словам можно было бы отнестись с недоверием, но его мнение, по-видимому, разделяет и Полибий. Он говорит, что друзья Тита по его наущению ввели в сенат греческие посольства только после того, как убедились, что обоим новым консулам

назначена провинцией Италия (*XVIII, 11, 2*). Несколько далее он предполагает, что Тит был вполне способен на такой поступок (*XVIII, 39, 45*).

[69] Не только Плутарх, но и Полибий передает, что Тит был страшно обижен на этолян за то, что они приписывали себе победу над Филиппом. Он был оскорблен стихами Алкея, над которыми менее тщеславный человек просто посмеялся бы. Замечено было, что Тит досадует на то, что в театрах аплодируют не только ему, но и Филопемену. Квинктий не воспротивился оказанию ему божеских почестей, а в надписях величал себя великим и божественным. Все это рисует его как человека тщеславного.

[70] Слова Сципиона (или его посла): «Не следует в таком деле забывать о гуманности, о которой мы всегда так заботились... Пока с тобой сражаются, следует бороться, но когда противник падет, его надо пощадить... Нет ничего страшнее безжалостности на войне» (*App. Lib., 248—287*).

Слова Тита: «Пока враг ведет войну, доблестному противнику подобает действовать настойчиво и с ожесточением... а победителю подобают умеренность, кротость и сострадание» (*Polyb., XVIII, 37*). Оба полководца считают такой образ действий вытекающим из характера римлян. Свою речь Тит прямо начинает со ссылки на поведение римлян с Ганнибалом и Карфагеном, то есть на образ действий Публия.

[71] Приведенный рассказ относится, собственно, к образу действий тирана в Спарте. Но Полибий говорит, что и в Аргосе он точно так же вымогал деньги и действовал с крайней жестокостью, так что можно предположить, что в ход опять пошла Апега.

Глава третья. ВОЙНА С АНТИОХОМ. 196—190 годы до н. э.

[72] Все античные авторы сохранили воспоминание о том, что Сципион был в Эфесе у Антиоха и беседовал там с Ганнибалом. С другой стороны, имени Публия не значится в составе ни одного из посольств, отправлявшихся в Азию. Загадку эту решил М. Олло. На основании эпиграфических данных, а также одного места из Диона Кассия он установил, что Сципион, будучи частным лицом, побывал у царя (см. статью M. Holleaux в журнале Hermes, 1913, p. 75sq.; см. также: *Scullard H. H.* Scipio Africanus... P. 196sq, 285).

[73] Ацилий написал римскую историю по-гречески. Писал он в середине II века до н. э., но его государственная деятельность падает, вероятно, на начало века (*Peter. P. CXIX*). Античные авторы помнят о странном интересе, который Ганнибал проявил к римским послам. Но только Ацилий и Аппиан сообщают, что причина этого интереса заключалась в Сципионе.

[74] Он имел официальный титул *проксена* и *эвергета* святилища и делосцев. В надписи в его честь говорится, что за свое благоговейное отношение к святилищу и доброту к общине делосцев он был увенчан лавровым венком. Декрет в его честь должны были читать в театре во время музыкального выступления детей (см. литературу к *примечанию 72*). Скаллард отмечает, что отношения между Сципионом и делосцами были «явно более сердечными и менее стереотипными с обеих сторон, чем это случалось обычно» (*Scullard H. H.* Scipio Africanus... P. 60).

[75] В тот год консулами были Люций Сципион и Гай Лелий, брат и друг победителя при Заме, ибо, по словам Ливия, все взоры были прикованы к этому герою. Оба консула должны были решить, кому достанется провинцией Греция, кому — Италия, иными словами — кто по-

едет сражаться с Антиохом, а кто останется дома. Далее у Ливия находим удивительный рассказ: будто бы Лелий пытался получить провинцию без жребия и оттеснить Люция, так как пользовался большим влиянием в сенате. Но Люций нашел помощь у своего брата, и провинция досталась ему без жребия. История эта совершенно невероятна, ибо противоречит всегдашнему поведению сената, римским обычаям и характеру Лелия, который мы знаем от Полибия, редко ошибавшегося в людях. Что касается отцов, то мы знаем, с каким трудом сенат, состоявший из старинной аристократии, принимал в свою среду «новых людей». Из двух консулов знатный Корнелий в сенате *всегда* имел больше шансов, чем безродный Лелий. Тем более что оба они, как понимали все, были фактическими исполнителями воли Сципиона. Мы знаем далее, что Сципион был единственным покровителем Лелия и, как отмечает сам Ливий, его успех или неуспех на выборах всегда зависел только от популярности его друга.

Далее, по римским понятиям поступок Лелия граничил со святотатством, так как он отплатил черной неблагодарностью своим патронам Корнелиям.

Наконец, Лелий вошел в историю как образец друга. И Полибий подчеркивает, что они со Сципионом никогда не расходились между собой.

Вот почему всю традицию Ливия следует считать ложной. Что же произошло на самом деле? Скаллард предполагает, что Лелий просто отказался от провинции в пользу Люция. Вероятно, так оно и было. Но, быть может, до Ливия, вернее, до его источника дошел какой-то смутный слух о дебатах в сенате, только очень искаженный и неправильно им понятый. Другую версию этого слуха находим у Цицерона. Он говорит, что жребий бросали, он выпал Люцию, но тогда враги попытались у него отнять провинцию, ссылаясь на его неспособность. Публий тогда должен был «...оградить семью от этого бесчестья. Он сказал, что брат его наделен замечательной доблестью и замечательным умом и что он сам поедет легатом у брата» (*Phil.*, *XI*, *7*, *17*). Скаллард отмечает, что ситуация напоминала 205 год до н. э., когда шел спор об Африканской экспедиции, но на сей раз, говорит он, Сципиону не возражал никто. Я же полагаю, что в путаном рассказе анналистов как раз и нашли отражения споры и возражения сената. Противники планов Сципиона говорили теперь о неспособности Люция, точно так же как 15 лет назад Фабий, по выражению Ливия, чернил славу самого Публия. Быть может (хотя это очень маловероятно), оппозиция пыталась привлечь на свою сторону Лелия, как Фабий в свое время пытался привлечь Красса. Дальнейшая дружба между Публием и Лелием показывает, что план этот не удался. Но на сей раз Сципион опрокинул все замыслы врагов единым словом: стоило ему заявить, что он сам поедет в провинцию. Характерно и то, что провинцией назначили Грецию, а не Азию.

[76] Ливий сообщает, что посол, привезший Публию сына, застал его больным вне лагеря. Полководец тронут был рыцарским поступком Антиоха и сказал, что сумеет его отблагодарить на поле боя, пусть только царь не дает битвы, пока он не поправится и не возьмет на себя командование. Антиох очень хотел последовать этому заманчивому совету, но не смог. Рассказ этот кажется довольно странным. Прежде всего, что мог означать совет Публия? Обсуждая этот вопрос, Скаллард пишет: «Измену родине можно исключить», но, к сожалению, ничего, кроме измены, совет Сципиона не может означать. Ведь он дал этот совет царю в *благодарность* и во время битвы хотел оказать *услугу* врагу. Иначе как предательством это назвать нельзя. Уже это должно заставить нас

сильно усомниться в сообщении Ливия. Но у меня есть еще некоторые соображения.

Во-первых, как весь этот разговор стал известен Ливию (замечу, что в дошедшем до нас тексте Полибия его нет)? Можно возразить, что ведь и тайные переговоры между Публием и Антиохом до битвы при Магнесии стали достоянием истории. Однако это совсем другое дело. Сообщает о них Полибий, который был своим человеком в доме Сципионов. Сам Публий не имел никакой нужды делать тайну из этих переговоров, ибо во время них проявил себя с лучшей стороны. Поэтому, во всяком случае в семье Корнелиев, о них знали. Иное дело — тайный совет Антиоху. О нем Публию лучше было молчать. Вот почему неясно, как этот секретный разговор получил столь широкую огласку.

Во-вторых, совершенно необъяснимо, как битва все-таки состоялась, хотя оба военачальника, и римлянин, и царь, ее не желали. Не подлежит сомнению, что Публий Африканский был реальным командующим. Злые языки говорили, что при консуле он был не легатом, а диктатором (*Liv.*, *XXXVIII*, *51*). Все нити были в его руках: лишь у него царь нашел нужным просить мир, считая Люция не более как марионеткой. Когда религиозные обязанности задержали Публия в Европе, римское войско беспомощно топталось на месте, не зная что делать. Впоследствии Сципион заявил, что даже все финансовые дела были в его руках (см. главу пятую «*Суд*»). Ясно, что одно его слово — и битву бы перенесли. Замечательно, что Фронтин уверяет, что день битвы выбрал именно Публий (*IV*, *7*, *30*).

Я полагаю, что источник у Ливия мог быть один и именно он помогает понять смысл всей этой истории. Через несколько лет Сципиона обвинили в государственной измене: именно в тайных переговорах с Антиохом и предательстве. Тогда-то и был пущен слух о тайном совете Сципиона царю. Возможно, этот рассказ фигурировал в речи обвинителя (если даже эта речь и не была произнесена на Форуме, содержание ее было, очевидно, широко известно в Риме).

[77] Ход битвы при Магнесии известен в основном из Ливия и Аппиана (текст Полибия, относящийся к этим событиям, потерян). Оба автора сообщают, что Публий был болен, а потому в сражении не участвовал. Насколько я знаю, это сообщение никем не оспаривалось. Но у меня оно вызывает некоторые сомнения.

Во-первых, я могу повторить все то, что говорила в предыдущем комментарии, а именно, что Публий имел огромное влияние и без него римляне не смели начать ни одного предприятия. Как же могло случиться, что они решились дать без него генеральное сражение? Ведь они, не задумываясь, отложили продвижение в Азию на месяц, рискуя дать царю возможность собраться с силами, ибо Публий должен был задержаться в Европе. Как я уже говорила, Фронтин утверждает, что самый день сражения выбрал Публий. Почему же он выбрал именно тот день, когда был болен, и вообще, как он мог это сделать, если лежал в городе на расстоянии нескольких дней пути от лагеря?

Во-вторых, сама болезнь Сципиона носила какой-то странный характер. Когда послан был царем посол перед битвой договариваться о мире, Публий был жив-здоров. После сражения опять-таки послан был гонец, и снова был принят Публием, который, оказывается, уже выздоровел. То есть болен он был *только* во время боя. Не странно ли?

Мне представляется, что ключ к этой загадке дает одна речь, приведенная Ливием. Оратор говорит: «Дабы величие и великолепие такого легата (речь идет о Публии Сципионе. — *Т. Б.*) не затмили там славы

консула, как нарочно случилось, что в тот самый день, когда Люций Сципион победил Антиоха при Магнесии, Публий Сципион заболел и удалился в Элею» (*Liv.*, *XXXVIII*, *58*). Из этих слов как будто явствует, что Публий нарочно устранился, чтобы «не затмить славы» консула. Но думаю, что устранился он только для вида и присутствовал неофициально. Замечу, что вообще весь рассказ Ливия об азиатской кампании носит весьма недостоверный характер. Большинство своих сведений он черпает из Антиата, который, как известно, не заслуживает особого доверия. Сообщения Ливия имеют характер каких-то неясных слухов. Он совершенно не знает, когда и где захвачен был в плен сын Сципиона, и только гадает по этому поводу. Он рассказывает о странном разговоре, происшедшем между Сципионом и царским послом после возвращения сына (об этом мы говорили в предыдущем комментарии). Он ничего не знает о путешествиях братьев Сципионов по Востоку, и о них мы узнаем только из эпиграфических данных. Вообще о событиях в Азии в Риме почему-то знали мало. Тот же Антиат сообщает, что в Риме думали, что Антиох, захватив в плен сына Публия, заманил обоих братьев к себе и захватил в плен.

[78] Из этой схемы явно выпадает Испания — она не получила свободу и стала провинцией. Но случилось это, очевидно, вопреки планам и замыслам Сципиона. Он вынужден был покинуть страну в 206 году до н. э. так быстро, что не успел устроить дела в Иберии. Однако мы знаем, что он не лишил власти ни одного из местных царьков, даже тех, которые ему изменили, — он не обложил их данью, не взял заложников и не ввел в города римские гарнизоны, несмотря на то что Андобала и Мандоний сами это ему предлагали. Говоря, что римляне никого из владык не лишили власти, Сципион прямо называет в их ряду Андобалу и Колиханта в Испании и Масиниссу в Ливии (*Polyb.*, *XXI*, *11*, *6—7*). Из этого следует, что Сципион собирался укрепить власть верных иберских князьков, которые должны были играть в стране ту же роль, как Масинисса в Африке. Замыслы его не исполнились, и римляне заплатили за это пятидесятилетней войной в Испании. Планы Сципиона сорвал более всех Катон, который отнимал у иберов оружие и срывал стены. Ливий прямо говорит, что действия Катона вызвали восстание иберов, ибо вожди, бывшие там до него, являлись словно освободители, «Катон же пришел как будто лишить испанцев свободы, к коей они уже привыкли, и вернуть их в рабство (как при карфагенянах. — *Т. Б.*)» (*Liv.*, *XXXIV*, *18*). Мы знаем, что действия Катона страшно возмутили Публия. Об этом сохранились воспоминания у Непота и Плутарха. Непот пишет, что Сципион во время своего второго консульства, узнав о действиях Порция в Испании, «хотел изгнать Катона из провинции» и сам поехать туда. Когда же сенат ему отказал, он в гневе «по завершении консулата остался в городе частным лицом (то есть отказался от всех других провинций. — *Т. Б.*)» (*Nep. Cat.*, *2*, *2*). Плутарх же пишет, что Сципион резко упрекал Катона, добился назначения в провинцию, но сенат постановил не отменять ни одного распоряжения Катона и наместничество Сципиона прошло в праздности (*Plut. Cat. mai.*, *11*).

Скаллард и Хейвуд отвергают эти сообщения, так как Сципион никогда не был в Испании после 206 года до н. э. и не мог даже туда стремиться — в начале своего консулата он хотел ехать в Македонию; став частным лицом, он немедленно отправился на Восток. Значит, его мысли всецело занимала война с Антиохом (*Scullard H. H.* Scipio Africanus... P. 284; *Haywood R. M.* Studies on Scipio Africanus... P. 80). Но мне кажется, что можно принять первую часть сообщения Непота и Плутарха о

том, что Сципион резко порицал Катона и добивался того, чтобы его скорее отозвали из провинции. В дальнейшем же Публия Африканского путают с другим Сципионом, его кузеном, который наследовал Катону в Испании.

Читатель может, однако, спросить: почему же Сципион так и не был в Иберии в течение двадцати трех лет (206—183 годы до н. э.)? Простые хронологические выкладки легко это объясняют. С 199 по 195 год до н. э. Публий отдыхал и не занимался делами. В 194 году он стал консулом, но над Римом нависла угроза Антиоха. Следующие два года — 193 и 192-й — прошли в мучительном ожидании войны. Сципион не мог оставить Италии, да его, возможно, и не отпустили бы. Далее следуют война с Антиохом и суд. Но при этом надлежит помнить, что Сципион считал себя патроном иберов и полагал, что его долг — защищать их интересы так же, как Тит защищал интересы греков. И в случае с Титом отцы нашли великолепный выход — его то и дело посылали на Восток, хотя он и не занимал официальной должности, он разбирал там все споры и вообще был как бы посредником между Грецией и Римом. Замечу, что, когда возник конфликт в Африке, разбирать его послали Сципиона как человека, лучше всего знавшего ливийские дела, кроме того, патрона Масиниссы, а отчасти и карфагенян. В том, что он не сыграл подобной же роли для Иберии, следует видеть происки его врагов, более всего Катона и его сторонников.

Глава четвертая. КАТОН

[79] В античной литературе указываются две даты рождения Катона: согласно Цицерону и Плинию, он родился в 234 году до н. э. (*Cic. Senect., 10; Plin. N. H., XXXIX, 15*); согласно Плутарху и Ливию, — в 239 году до н. э. (*Plut. Cat. mai., 15; Liv., XXXIX, 40*).

[80] Непот сообщает, что Катон был квестором в 205 году до н. э., а Цицерон — в 204 году до н. э. (*Nep. Cat., I, 3; Cic. Senect., 10; Cic. Brut., 60*). Кто бы ни был прав, нам важно сейчас одно — Катон оказался в Сицилии под началом Сципиона. Там между ними произошел конфликт, описанный Плутархом. Но возникает вопрос, что делал Порций дальше — вернулся к Публию после своего неудачного доноса или нет. Из рассказа Плутарха как будто следует, что не вернулся и в Африке не был. Ливий же пишет, что он командовал флотом при переправе в Африку (*Liv., XXIX, 25*), а Плиний даже говорит, что он учился воевать под началом Публия Африканского (*Plin. N. H., praef., 30*). Мнения ученых Нового времени разделились. Хейвуд считает, что Катон не вернулся и навеки затаил злобу на Сципиона; Грималь, напротив, полагает, что вернулся, а Сципион великодушно не стал сводить счеты с подчиненным; Скаллард думает, что он даже участвовал в битве при Заме, Трухина же пишет, что Катон пробыл в Африке только до 202 года до н. э., когда его сменил выбранный квестором Лелий (*Haywood R. M.* Studies on Scipio Africanus... P. 79; *Scullard H. H.* Scipio Africanus... P. 179; *Grimal P.* Le siècle des Scipions. P., 1975. P. 112; *Трухина Н. Н.* Политика и политики «Золотого века» Республики. М., 1986. С. 86).

Мне представляется, что в Африке Катон не был: ведь мы ровно ничего не знаем об его тамошних подвигах, а столь «неистощимый в самовосхвалениях человек», как называют его античные авторы, вряд ли стал бы о них умалчивать. Куда же он в таком случае делся после своего доноса? Ключ к отгадке, на мой взгляд, дает одно место из Непота. Исто-

рик пишет: «Претором он управлял провинцией Сардиния, из которой ранее, будучи квестором, возвращаясь из Африки, привез поэта Энния» (*Nep. Cat., I, 4*). Это интереснейшее сообщение. Мы помним, что Катон ***брал уроки*** у Энния, то есть он должен был долго жить в Сардинии, иначе говоря, согласно Непоту, большую часть своей квестуры он провел на этом острове, а вовсе не в Африке. Когда и как он туда попал? Очевидно, когда остальные отплыли в Африку, он почему-то отправился в Сардинию. Довольно ясно, что причиной был описанный Плутархом эпизод. Если же верно сообщение Ливия, надо думать, что Катон мог действительно помогать при переправе, но на этом его участие в экспедиции Сципиона и кончилось. В Сардинию он отплыл из Сицилии, а не из Африки. Вероятно, Публий отказался взять его с собой. Он всегда сам набирал свой штаб и, по-видимому, в этом вопросе был очень тверд. Во всяком случае, сенат всегда шел ему на уступки. Достаточно вспомнить, что Лелий был назначен к нему квестором ***без жребия***, случай очень редкий в римской истории.

[81] Между Порцием и пуританами действительно замечается поразительное сходство.

Бокль пишет: «Во Франции протестантское духовенство... смотрело на танцы как на богопротивное... увеселение и потому строго запрещало их... Учителей танцев, оказывавшихся упорными, предлагалось отлучать от церкви». Катон в качестве величайшего преступления выставлял то, что некий молодой человек Целий танцует.

«На одном из своих синодов оно (духовенство. — *Т. Б.*) постановило, чтобы никто не носил яркой одежды и чтобы волосы у всех были причесаны с подобающей скромностью. Другим синодом запрещено было женщинам румяниться». Как это напоминает борьбу вокруг Оппиева закона! Катон с возмущением пишет, что женщины красят волосы в золотой цвет, — а один его подражатель у Плавта прямо-таки набрасывается на даму за то, что у нее нарумянены щеки, взбиты и завиты волосы (*Cato. Orig., 114; Plaut. Truc., 287—290*).

«Они запретили бывать на балах и маскарадах, никто из христиан не должен был смотреть на фокусы скоморохов... Все подобные увеселения местные власти должны были пресекать как... ***вовлекающие в издержки*** и отнимающие время... Духовенство объявило, что верные не должны носить длинных волос, чтобы ***не увлечься роскошью*** "сладострастных кудрей". В покрое одежды они должны были избегать "***новых мод нынешнего света***" (всюду выделено мной. — *Т. Б.*). Им запрещалось иметь на платье кисти, а на перчатках — ленты и шелковые украшения, предписывалось воздержаться от пышных юбок и широких рукавов».

«Писать стихи считалось за тяжкий грех, заслуживающий особенного осуждения». Само это занятие называлось «неблагочестивым и бесполезным искусством стихосложения». Считалось, «...что человек не вправе предаваться таким пустым разлечениям». Катон называл поэтов бездельниками, дружбу с ними считал зазорной, а Целию ставил в вину даже не сочинение, а только декламацию греческих стихов.

Поразительно еще постановление духовенства, удивительно напоминающее Орхиев закон, поддерживаемый Катоном, который ограничивал число сотрапезников. «На крестины ребенка у шотландцев принято было созывать всю родню... Обычай этот был запрещен, число гостей ограничено». Вспомним, что «Катон вопиял в своих речах, дабы остерегались звать на обед больше, чем он предписывал» (*Cato. Orat., fr. 144*).

«Духовенство подчинило своему контролю кухню, определило выбор яств и число блюд... Ограничило даже его (свадебного пира. — *Т. Б.*)

стоимость и никому не позволяло выходить из суммы, которую оно считало приличным назначить». Совершенно то же предлагал Катон. Называя расходы на пиры чрезмерными, он увещевал римлян ограничиться всего двумя блюдами, как предки (*Orat., fr. 139, 143—144*), и упрекал их за то, что они стараются сделать обед слишком вкусным (*ibid., fr. 145, 146*).

Протестантское «духовенство вмешивалось в частные дела каждого человека, предписывая ему, каким образом он должен управлять своим семейством». Опять-таки, как тут не вспомнить Катона!

Как ни странно, у Катона и у пуритан и враг был один и тот же — греческая культура. Катон называл ее заразой, пуритане — языческой мерзостью. Греческие кафедры закрывались, пасторам не дозволялось преподавать греческий язык. Протестантское учение, свирепое и суровое, слишком далеко от Рима. Пуритане, например, считали даже чрезмерную любовь к детям грехом. Но в то же время оно в обнаженной форме обнаруживает то, что составляло суть веры Катона (*Бокль Г. Т.* История цивилизации в Англии. СПб., 1895. С. 232, 233; 530, 531; 516, 517).

[82] Ни Плутарх, ни Ливий не пишут прямо, что Катон опередил официального посла, однако из их рассказа трудно сделать другой вывод. Плутарх вообще не упоминает, что был другой посол, кроме Катона, но он сохранил любопытную деталь: Катон мчался в Рим со стремительной быстротой. Ливий сообщает, что консул послал в Рим вестником Катона, который, по его рассказу, также почему-то ужасно спешил. Далее он пишет: «Люций Корнелий Сципион, *отправленный несколькими днями раньше Катона* (курсив мой. — *Т. Б.*), по прибытии узнал, что тот его опередил» (*XXVI, 21*). Спрашивается: зачем консулу было посылать сразу двух вестников? А если уж он почему-то задумал это сделать, почему не отправил их вместе, а послал Люция несколькими днями раньше? Почему оба автора сохранили воспоминание о том, что Порций ужасно спешил? Наша версия объясняет все просто. Глабрион отправил только Люция. Катон отпросился под каким-то предлогом, в пути нагнал и перегнал медлительного Люция и, придя в Рим, пожал плоды восторга и благодарности.

[83] Многие считают, что у Катона были две речи против Нобилиора: одна произнесена была в 187 году до н. э., вскоре после возвращения Катона из Греции, вторая — в 179 году до н. э. Другие полагают, что речь была только одна и относится она к 179 году до н. э. Мы склоняемся к первому мнению, так как речь имеет явную цель сорвать триумф Фульвия. Литературу см. в кн.: *Malcovatti E.* P. 57.

[84] Неизвестно точно, в каком году Катон обвинял Тиберия Лонга. Многие не без основания относят это событие ко времени их соперничества на выборах. Существует еще речь, озаглавленная «*Против изгнанника Тиберия*». Если этот изгнанник — тот же Лонг, то очевидно, процесс кончился для него весьма печально (см.: *Malcovatti E.* P. 81—82).

[85] Речь против Люция Фурия точно не датирована. Предполагаются две возможные датировки: либо Катон привлек его к суду во время соперничества на выборах, как описано у меня, либо уже во время своей цензуры год спустя, и тогда это месть. Но я полагаю, что, как и в случае с Лонгом, речь скорее надо отнести к периоду предвыборной кампании, ибо известно, что знатные люди составили целый союз, чтобы не допустить Порция к цензуре. Чтобы разбить этот союз, Катону пришлось нападать на каждого поодиночке (см.: *Malcovatti E.* P. 42).

[86] В западной литературе вражду Катона к Сципиону объясняют естественной ненавистью *мизеллина* к *эллинофилу*. Но в отечественной

науке были высказаны и другие соображения. Существует мнение, что Катон был противником внешнеполитических идей Сципиона. Часто говорят, что он был за организацию провинций. Каковы основания этой теории? Во-первых, на суде Сципиона обвиняли в том, что он заключал слишком мягкие мирные договоры, — стало быть, Порций, который стоял за обвинителями, был сторонником иной внешнеполитической линии. Во-вторых, после ухода Сципиона политика Рима заметно ужесточается. В-третьих, Катон настоял на разрушении Карфагена. Можно вспомнить также его поведение в Испании (см. *примечание 78*).

Но все эти соображения все-таки нельзя назвать решающими. Действительно, Сципиона обвиняли в том, что он диктовал очень гуманные договоры, но, по словам обвинителей, он делал так ***за взятки***, то есть цель Катона была просто оклеветать политического противника любыми путями. Далее, политика после Сципиона действительно стала более жесткой. Но курс на устройство провинций еще не был взят. Первые провинции на Востоке — Африка и Ахайя — были организованы через 40 лет после смерти Сципиона и через несколько лет после смерти Катона. Наконец, верно, что Катон хотел превратить в провинции Карфаген и Испанию, но он же выступал против превращения Македонии в провинцию в 168 году до н. э. (речь «*De Macedonia liberanda», fr. 161—162*). Из этого следует, что у Катона не было никакой общей внешнеполитической линии. Думаю, что он хотел бы поработить богатые страны Запада — Карфаген и Испанию, а от эллинистического Востока вовсе отделаться, ибо римляне, все более и более погружаясь в греческие дела, в то же время приобщались и к греческой культуре. Политику же Сципиона Катон не принимал, ибо не принимал самого Сципиона.

Н. Н. Трухина высказала другое мнение (*Трухина Н. Н.* Политика и политики «Золотого века» Республики. С. 111—114). По утверждению автора, Катон был представителем демократической оппозиции и выступал против нобилитета, столпом и опорой которого был Сципион. В этом корень и причина их вражды. В этом же смысл обвинений, которые мы находим в античной литературе: Сципион ведет себя как царь и командует войсками как царь. Мне эта гипотеза представляется совершенно неприемлемой.

Во-первых, мы знаем, что Сципион все время опирался на народ, а не на сенат, *постоянно* встречал у отцов противодействие и достигал успеха только благодаря своей популярности у народа. Это никак не соответствует образу «столпа нобилитета». Именно от сената исходили все упреки в «царском поведении» нашего героя. Впервые пустил их Фабий. И вызваны они были страхом, что необычайно популярный у народа и солдат полководец захватит чрезвычайные полномочия. Недаром предание говорит, что народ предложил Публию неслыханные, несоответствующие конституции почести и даже пожизненную диктатуру. Можно себе представить, с каким ужасом должны были смотреть на это отцы! В этом же заключается сущность упреков в «царских методах командования», о которых часто говорит Н. Н. Трухина. Смысл этих слов в том, что полководец, опиравшийся на преданную армию, вел себя слишком независимо и не хотел подчиняться отцам.

Во-вторых, Скаллард убедительно показал, что весь период после своего возвращения и до второго консульства Сципион фактически отошел от государственных дел. Вступить же вновь на политическую арену его заставила опасность, которая угрожала Риму. До этого же он даже не делал попыток добиться вторично консулата.

В-третьих, Сципион ввел в сенат столько «новых людей», сколько ни один политик. А это в корне противоречит интересам нобилитета — то есть замкнутого сословия, которое никого не допускает к управлению государством.

Наконец, проблемы римской конституции, видимо, мало интересовали равно Сципиона и Катона и никак не могли служить причиной их вражды. Катон не провел *ни одного* настоящего демократического закона, который мог бы ослабить влияние сената и знати. Среди его многочисленных сочинений, где он пишет обо всем вплоть до лечения волов, мы не находим одного — выступлений против нобилитета. В своих речах он говорил о статуях, картинах, пирушках — словом, о «новых нравах», — но ничего об особых привилегиях знати. Трухина находит только два названия — сами речи не сохранились, — которые должны были касаться этой темы. Первое — «*Чтобы никто не был консулом дважды*», второе — «*Пусть не будет власти у прежнего полководца, когда прибудет новый*». Однако на основании этих названий вряд ли можно сделать какие-нибудь выводы о политических убеждениях Порция. Начнем с того, что по римским законам начала II века до н. э. консулом можно было быть всего два раза с промежутком в десять лет. Это очень мало, учитывая, что консул — это в первую очередь полководец. В демократических Афинах Перикл много лет занимал должность верховного стратега, в Этолийском и Ахейском союзах мы постоянно встречаем одни и те же имена. Во времена Ганнибаловой войны римлянам пришлось на некоторое время смягчить суровость этого закона. Фабий Максим, наставник Катона и его идеал, был консулом пять раз. Зато со времени окончания войны до смерти Сципиона Катон вряд ли мог пожаловаться на злоупотребления в этом отношении. Было всего *два* таких случая. Закон о запрещении повторного консульства был принят около 152 года до н. э., то есть через 30 лет после смерти нашего героя *(Liv., LV)*. К этому году относится упомянутая речь Катона. Что касается второй речи, то трудно себе представить, чтобы Порций действительно не хотел, чтобы магистратам продляли полномочия: ведь отзывать удачливого полководца в разгар военных действий — верх безумия. Скорее всего, эта речь была произнесена против определенного лица в совершенно конкретных обстоятельствах (Мейер даже полагал, что Катон, напротив, агитировал за продление полномочий магистратов — соответствующую литературу см. *Malcovatti E.* P. 90). Наконец, Катон боролся против *отдельных* нобилей, которые были иных взглядов или стояли у него поперек дороги. Он применял против них обычные обвинения — в превышении полномочий, разврате, злоупотреблениях. Но он никогда не выступал против нобилитета как политического явления, более того, он всеми силами стремился попасть в его ряды. Он пользовался покровительством Фабия и Валерия, знатнейших нобилей, он породнился с Эмилиями, а Эмилии и Корнелии, как признает сам автор, принадлежали к одной политической группировке. У Цицерона он подчеркивает свою близость со всеми знатными людьми Рима. Парадоксально, что, став консуляром и цензором, Порций, однако, не вывел в люди ни одного «нового человека». Трухина перечисляет членов его группировки: Петилии, Невий, Куллеон. Но то были беспринципные люди, грязные орудия, которые он использовал в сомнительных случаях. Порций был слишком умен, чтобы тянуть их дальше.

Таким образом, для вражды Сципиона и Катона были гораздо более глубокие причины, они касались всего культурного будущего Рима.

[87] Отношения между Сципионом и Титом, двумя знаменитейшими римлянами своего времени, давно интересовали ученых. Но пришли

они к прямо противоположным выводам. Т. Франк и Р. М. Хейвуд, исследуя декреты и письма Сципиона, утверждают с полным основанием, что Публий придерживался тех же взглядов на судьбу Греции и Востока, что и Тит, и проводил ту же внешнюю политику. Поэтому эти ученые называют Сципиона и Фламинина политическими сотрудниками и друзьями (Cambridge Ancient History, VIII, 368; *Haywood R. M.* Studies on Scipio Africanus. P. 77). Мюнцер же, опираясь на данные просопографии, объявляет их врагами. Скаллард придерживается средней линии.

На мой взгляд, как это ни парадоксально звучит, правы и те и другие. В самом деле, не подлежит сомнению, что оба римлянина придерживались одинаковых взглядов на будущее Рима и Эллады (что я постаралась показать в тексте). Идеи эти, разумеется, выдвинул Сципион, а Тит воспринял. Далее, сам Скаллард, который восхищается Публием и очень невысокого мнения о Тите, тем не менее отмечает, что Фламинин чем-то похож на Сципиона (*Scullard H. H.* Scipio Africanus. P. 184). Конечно, это сходство не врожденное — они были слишком разными людьми, — а благоприобретенное, иными словами, Тит усиленно подражал Сципиону. Он заимствовал его внешнеполитические идеи, он набрал его ветеранов, чтобы выучиться его новым военным методам, он старался подражать Публию в его манере обращаться с союзниками и завоеванными народами. Более того, он прямо-таки копировал Сципиона. Кроме многочисленных примеров, приведенных в тексте, отмечу еще несколько. Будучи цензором, Сципион мимо обычая не сделал никому замечания. Став в свою очередь цензором, Тит также не сделал ни одного замечания. Еще одна любопытнейшая деталь: победитель Ганнибала вопреки римской традиции носил длинные локоны. Сохранилась монета с изображением Фламинина, оказывается, и у него кудри! Очевидно, он стремился походить на своего героя даже внешне. Зная Тита, трудно представить себе, чтобы он довольствовался тем, что лишь издали робко следил за своим кумиром. Ясно, он неоднократно делал попытки приблизиться к Сципиону. Мы знаем одну такую попытку. В 201 году до н. э. была создана комиссия по наделению землей ветеранов Сципиона. Туда, разумеется, вошли его друзья, например Метелл. Но среди членов комиссии мы встречаем имя безвестного еще тогда Фламинина (*Liv., XXXI, 4*). Ясно, что Тит таким образом стремился приблизиться к Публию, обратить на себя его внимание. Впоследствии в разгар борьбы Сципиона с Катоном Тит, по словам Плутарха, решительно принял сторону Публия, «...видя в нем безупречного человека, лучшего представителя своего сословия» (*Flam., 18*), о чем он и заявил публично.

Квинктий был знатен, у обоих были сотни общих знакомых, Тит был ловок и настойчив. Но, видимо, он цели своей не достиг: друзьями они не стали. Это видно из нескольких фактов. Полибий сообщает, что Тит добивался одобрения своих действий в Греции и продления полномочий через *друзей*, а Сципион как раз выступил против продления ему полномочий, то есть он не входил в число друзей Тита. Далее об этом же говорит их соперничество из-за братьев. Конечно, оно не свидетельствует о вражде, но надо помнить, что в Риме кандидата на выборах поддерживали все его друзья и отказ от поддержки в этот момент рассматривался как смертельная обида.

Итак, они не были друзьями, несмотря на все усилия Тита. Замечу, что кроме всего вышесказанного политический расчет указывал, что они оба, враги Катона, должны объединиться, а такими вещами Тит никогда не пренебрегал. Объявив Сципиона принцепсом сената, Тит как будто недвусмысленно намекнул, что все прошлые разногласия забыты. Но Пуб-

лий сделал вид, что не заметил протянутой руки. Почему? Мы знаем, что политику Тита Сципион одобрял, источники не упоминают ни о какой обиде или ссоре, которая могла бы отдалить их друг от друга. Остается предположить одно — Освободитель Греции был чем-то лично несимпатичен Сципиону. Чем? Об этом можно только гадать. Скаллард замечает, что тщеславие и эгоизм Тита, который готов был предать Грецию, если бы ему не продлили полномочий, должны были вызывать отвращение у Публия. Думаю также, что удивительное мастерство, с которым вел интриги Тит, вовсе не восхищало Сципиона. Интриги были ему противны, и он, вероятно, презирал человека, всецело в них погруженного.

Глава пятая. СУД

[88] Все античные авторы единогласно утверждают, что за обвинителями стоял Катон. Геллий пишет: «...некие Петилии, народные трибуны, подосланные и подученные, говорят, М. Катоном, врагом Сципиона» (*IV, 18*). Плутарх: «Он (Катон. — *Т. Б.*) и сам не раз выступал с обвинениями в суде... а иных и подстрекал к таким выступлениям, как, например, Петилия, обвинявшего Сципиона» (*Cat. mai., 15*). «Он (Катон. — *Т. Б.*) до тех пор не переставал сеять подозрение и клевету, пока не изгнал Сципиона из Рима, а брата его не заклеймил позорным клеймом вора, осужденного за казнокрадство» (*ibid., 32*). Ливий: «Предполагают, что по его (Катона. — *Т. Б.*) наущению Петилии... взялись за дело» (*XXXVIII, 54*).

[89] Хейвуд высказывает остроумное предположение, что это один человек, а не два, ибо в древних документах иногда отбрасывалось конечное «*us*». Это весьма правдоподобно, ибо в деле Публия действуют два трибуна Петилия, причем оба Квинты. А далее упоминаются еще два трибуна Муммия. Плутарх, а также Полибий считают этого обвинителя одним человеком. Это, несомненно, тот самый Квинт Петилий, который в 181 году до н. э. настоял на сожжении пифагорейских книг.

[90] Скаллард и Хейвуд разумно предполагают, что отчет потребовали у главнокомандующего Люция, а не у его легата Публия, как сообщают большинство античных авторов. Эту деталь сохранил Валерий Максим, как ни странно, точнее всех изложивший судебное дело (*III, 7, 1*).

[91] Об обвинениях — у Полибия: «Кто-то вздумал привлечь его к суду народа и выступил с многочисленными и тяжкими обвинениями» (*Polyb., XXIII, 14, 2*). У Аппиана: «Два трибуна обвинили его в продажности и измене» (*App. Syr., 39*). У Плутарха: «Много обвиняли его перед народом» (*Plut. Reg. et imper. apophegm. Scip. maior, 10*). У Геллия: «М. Невий обвинил его перед народом и заявил, что Сципион получил взятку от царя Антиоха за то, что мир между ним и римским народом был заключен на милостивых условиях, и предъявил некоторые другие обвинения, недостойные такого мужа» (*Gell., IV, 18*).

[92] Об обычном виде обвиняемых сообщает Геллий. Он пишет, что один римлянин, хотя был обвинен, «...не перестал брить бороды и носить светлую одежду и не был в обычном наряде обвиняемых» (*Gell., III, 4*). Светоний упоминает, что обвиняемые облачались в траур (*Suet. Tib., 2, 4*). Об одежде Сципиона: «Он сказал, что взойдет увенчанный на Капитолий» (*Plut., ibid, 10*). «Он поднялся на Ростры и возложил на голову венок триумфатора» (*Val. Max., III, 7, 1*). «Сам он явился в суд в торжественном одеянии вместо жалкого, вызывающего сострадание, какое надевали подсудимые. Все были поражены и почувствовали расположе-

ние к человеку, столь великому духом в сознании собственного достоинства» (*App. Syr., 39—41*). (Замечательно, что Ливий опускает этот момент, что указывает на то, что и у Максима, и у Аппиана рассказ зиждется не на одном Ливии.)

[93] Ливий вслед за Антиатом вкладывает в уста Сципиона длинную речь, в которой он восхваляет свои подвиги. Однако Полибий пишет, что его герой произнес всего одну фразу, которую мы привели. Но Полибий упускает одну важную деталь, на которой настаивают все латинские авторы: суд над Сципионом произошел в день битвы при Заме, поэтому Публий, бросив обвинителя, ушел праздновать годовщину победы. Поэтому я добавила к тексту Полибия еще несколько слов, взятых из Геллия. Сам Геллий пишет, что передают и речь, сказанную Сципионом, но многие считают ее неподлинной. Но те слова, которые он привел, признают все (*Gell., IV, 18, 6*).

[94] Процессы Сципиона представляют собой одну из самых загадочных страниц античной истории. О них см. нашу статью: *Бобровникова Т. А.* Судебные процессы Сципионов: Опыт исторической реконструкции // Jus antiquum. 2001. № 1. Обиднее всего то, что случилось это не потому, что к тому времени, как древние писатели вознамерились описать это событие, не осталось ни источников, ни документов: Геллий пишет, что еще в его время сохранились подлинные декреты и свидетельства древнейших анналистов. Дело в том, что никто из дошедших до нас авторов не ставил своей целью описать процессы Сципиона шаг за шагом. Все приводили только отдельные яркие эпизоды, характеризующие удивительное самообладание и гордость нашего героя. Даже на обвинениях не останавливались, справедливо рассуждая, что они заведомо ложны. Единственным, кто изложил дело Сципиона по порядку, был Ливий. Но его попытка, как мы увидим, как раз и оказалась несостоятельной и надолго сбила многих ученых с толку. Ливий в своем рассказе следовал Валерию Антиату, наименее достоверному из всех анналистов (см. *примечание 65*), который пленил его своей красочностью.

Антиат и Ливий рассказывают, что в 187 году до н. э. Сципиона привлекли к суду народа трибуны Петилии, обвиняя, по-видимому, в получении взятки от Антиоха — точно обвинения Ливий не формулирует (*Liv., XXXVIII, 51*). Сципион ни словом не ответил на обвинения, а повел себя так, как рассказано в нашей книге: то есть удалился вместе со всем народом, чтобы возблагодарить богов за победу при Заме, а затем уехал в Литерн. Это все описывают почти одинаково. Взбешенные Петилии потребовали его возвращения. Брат Люций попытался извинить Публия болезнью. Из восьми оставшихся трибунов семь не приняли его отвода, но восьмой, Тиберий Гракх, решительно вступился за Сципиона, спас его жизнь и честь. Тем временем Сципион умер, и тогда враги обрушились на Люция. Они осудили его и потребовали, чтобы он заплатил огромный штраф. Денег у Люция не было, от помощи клиентов он отказался, и его хотели отвести в тюрьму. За него попросил помощи у трибунов его кузен Назика, но повторилась та же история — девять трибунов отказали, а спас Люция тот же Гракх. Имущество же Люция полностью описали, и он остался нищим. Вот суть рассказа Ливия (*Liv., XXXVIII, 50—60*).

И сразу же возникает целый ряд тяжких недоумений.

Первое. Почти все античные авторы, причем среди них Полибий, чуть ли не член семьи Сципионов, и Геллий, пользовавшийся сочинениями древнейших анналистов и подлинными документами, говорят, что Сципион в сенате разорвал счетные книги. Но этот эпизод у Ливия

не только отсутствует, ему просто нет места. Замечательно, что сам Ливий не сомневается, что Сципион действительно разорвал в сенате книги (*Liv., XXXVIII, 55*), хотя совершенно не может увязать этот эпизод с рассказом Антиата.

Второе тесно связано с первым. По словам Полибия и Геллия, было два процесса: в *сенате* у Сципиона потребовали отчета, в другой раз его привлекли к суду *народа*.

Третье. Согласно Ливию, Сципион умер в 187 году до н. э., между тем Полибий и Рутилий, добросовестный автор, притом очень близкий к Сципионам — он был член кружка Сципиона Младшего, — передают, что умер он в 183 году до н. э. Но тогда он был жив во время процесса Люция! Геллий говорит, что он действительно был жив, более того — сохранились древние декреты, из которых известно, что это Публий, а вовсе не Назика апеллировал к трибунам по поводу брата. Значит, Публий не только не умер в момент суда над Люцием, но еще не удалился в изгнание, иными словами, процесс Люция был *до* суда над Публием.

Четвертое. Вмешательство Тиберия Гракха в процесс Публия — выдумка анналиста. Тиберий Гракх вмешался в дело Люция, и Геллий приводит подлинный текст его декрета. При этом он торжественно поклялся, что не мирился со Сципионами (они были до того врагами). Но было бы нелепостью, если бы Тиберий только что выступил на стороне Публия. Следовательно, надо отбросить весь рассказ о попытках трибунов вернуть Сципиона из Литерна и о спасении его Гракхом.

Наконец, через несколько глав сам Ливий вдруг объявил, что не верит собственному рассказу: «Что касается Валерия Антиата, то его мнение опровергается речью Сципиона, которая, как явствует из ее заголовка, направлена против трибуна М. Невия. Этот Невий, согласно списку должностных лиц, был трибуном в консульство П. Клавдия и Л. Порция (то есть в 184 году до н. э. — *Т. Б.*)» (*Liv., XXXIX, 52*).

Поразительное сообщение! Из него следует, что в 184 году до н. э. Сципион не только был жив, но находился в Риме, то есть народного суда над ним еще не было. Ливий объясняет, что суд этот произошел, по его мнению, или в конце 185 года до н. э., или в 184 году до н. э., причем сам историк склоняется к первому мнению.

И последнее. В 187 году до н. э., согласно Ливию, Люций был обобран до нитки, опозорен и удалился от дел. Но тот же Ливий несколькими страницами позже сообщает, что в 186 году до н. э. Люций устроил дорогостоящие игры по поводу победы над Антиохом (*Liv., XXXIX, 22*). А в 185 году до н. э. он выставил свою кандидатуру в цензоры на следующий год (*Liv., XXXIX, 40*). Совершенно невероятно, чтобы нищий давал игры, а уличенный взяточник баллотировался в цензоры! Это происходит потому, что Антиат, по словам Геллия, пишет «вопреки сохранившемуся декрету и вопреки авторитету древних анналистов» (*Gell., VII, 19*).

Итак, от версии Антиата надо отказаться. Чтобы восстановить истину, мы должны обратиться к другим авторам, более всего к Полибию и Геллию, при этом помнить следующие положения, которые мы уже установили:

1. Было три процесса: обвинение Публия в сенате, дело Люция и суд народа над Публием.

2. Во время процесса Люция Публий еще не удалился из Рима.

3. В 184 году до н. э. Публий еще не покидал города, но в 183 году до н. э. он уже умер в Литерне. Таким образом, процесс перед народом случился в этот промежуток времени. Все три процесса, очевидно, сле-

дует расположить таким образом: сначала у Публия в сенате требуют отчета, затем судят Люция и, наконец, к суду народа привлекают самого Публия. Когда же это было? Оказывается, и это возможно установить. Геллий говорит, что отчета в сенате у победителя Ганнибала требовали Петилии, а перед народом обвинял трибун Невий (*Gell., IV, 18)*. Максим также пишет, что перед народом Сципиона обвинял трибун Невий (*Val. Max., III, 7, 1)*. Ливий, как мы видели, говорит о подлинном заголовке речи Публия против Невия. Эту же речь упоминает и Цицерон (*Cic. De or., II, 249*).

Петилии были трибунами в 187 году до н. э., в дело Люция вмешался Гракх, также трибун 187 года до н. э., Невий же, как мы говорили, был трибуном в 184 году до н. э. Таким образом, события выглядят теперь следующим образом.

В 187 году до н. э. Петилии требуют у Люция отчет в деньгах Антиоха. Публий в ответ разрывает счетные книги. Дело на этом затухает. Но через некоторое время в том же году нападениям подвергается Люций. Процесс, видимо, кончился ничем, так как, как я уже говорила, Люций через год давал игры, ездил по поручению сената на Восток к Антиоху, а потом баллотировался в цензоры (*Gell., VII, 19; Val. Max., IV, 18; Liv., XXXVIII, 57; Cic. De cons. prov., VIII, 18)*.

Хейвуд предполагает иную реконструкцию дела Люция. Он обращает внимание на уже упомянутые нами события — сценические игры, устроенные Люцием в 186 году до н. э., и его дипломатическую миссию на Востоке — и заключает, что в 187 году до н. э. он не был еще лишен денег и чести. Далее Антиат сообщает, что дело Люция вели два претора — сперва Гальба, потом Теренций Куллеон. Оба действительно были преторами 187 года до н. э. Этот Теренций, рассуждает далее ученый, был другом и чуть ли не клиентом Публия. Значит, можно предположить, что сенат, чтобы спасти честь Сципионов, отнял дело у Гальбы и передал Куллеону, который и стал тянуть, пока не кончился год. Новое дело было возбуждено в 185—184 годах до н. э., причем Люция чуть не заковали в кандалы. Его спас Гракх, но Люций лишился всех денег, а между тем другой трибун привлек к суду самого Публия.

Однако реконструкцию эту я считаю совершенно неприемлемой, и вот почему. От позора Люция спас Тиберий, но он был трибуном 187 года до н. э., а значит, не мог вмешиваться в дело 185 года до н. э. Кроме того, у нас нет никаких данных, чтобы искусственно разделять дело Люция на два процесса. На мой взгляд, ошибается Хейвуд и в отношении преторов. Делом Люция занимались двое: Гальба — городской претор, который и обязан был его разбирать, и Куллеон — претор по иноземным делам, в чью компетенцию это, собственно, не входило. Почему дело отняли у Гальбы и передали Куллеону? Хейвуд полагает, что из-за расположения этого последнего к дому Корнелиев. Я думаю, что как раз наоборот. Ливий пишет, что одни считают этого Куллеона другом Сципиона, другие говорят, что он был «...таким недругом Сципионов, что за свою нескрываемую враждебность был выбран их противниками вести следствие» (*Liv., XXXVIII, 55*). Все подтверждает именно это мнение. Куллеон прославился как дерзкий трибун, который проводил законы, «стремясь унизить знать» (*Plut. Flam., 18*). Далее, когда несколько лет назад сенат решил потребовать от карфагенян выдачи Ганнибала, против этого восстал Публий, но победили его враги, и за Ганнибалом послали именно Куллеона как главу этих врагов (*Liv., XXXIII, 47*). Все это заставляет видеть в Теренции Куллеоне скорее пособника Катона, чем друга Сципиона. Действительно, Ливий говорит, что Гальба тянул

дело, но, когда его передали Куллеону, «у этого претора... Люций Сципион немедленно сделался подсудимым» (*Liv., XXXVIII, 55*). Таким образом, Катону удалось отнять дело у Гальбы и, вопреки обычаям, передать его Куллеону. Он добился еще одного нарушения законов. Денежные вопросы всегда ранее разбирал сенат, но Катон и его сторонники, по словам Ливия, перенесли дело в Народное собрание. Из этого можно заключить, что Порций был очень раздосадован провалом Петилиев в сенате. Провал этот он приписал злокозненности нобилитета. Но, как мы говорили, дело прекратилось благодаря вмешательству Тиберия.

Следующие полтора-два года (186—185 годы до н. э.) были полны глухой закулисной борьбой. Катон всячески подготавливал общественное мнение. В конце 185-го или в 184 году до н. э. Катон привлек к суду уже самого Публия с помощью трибуна Марка Невия. Привлек к суду народа, так как полагал, как мы видели, что народ на его стороне.

Довольно бесполезным представляется вопрос о том, в каком месяце был этот последний наиболее знаменательный суд. Это существенно, ибо трибуны вступали в должность в декабре, другие же магистраты — в марте. Поэтому исследователей интересует, действовал ли Невий еще до вступления в должность цензора Катона или нет. Но ответить на этот вопрос не представляется возможным. Суд, как мы помним, пришелся на день битвы при Заме. Но это нам не может помочь, ибо мы не знаем, когда была эта битва, и ее датировка колеблется от поздней весны до зимы.

Все это дело проливает новый свет на Катона. Мы верим всем его обвинениям, мы не сомневаемся, что Минуций и другие его жертвы были тяжкими преступниками и отвратительными развратниками. Мы искренне возмущаемся, узнав, что Минуцию, который, по словам Катона, изрубил, как свинину, ни в чем не повинных людей, сенат поручает ответственнейшие дела, требующие безукоризненной честности. Однако обо всех этих преступлениях мы знаем лишь со слов Катона. В одном-единственном случае нам точно известна степень виновности подсудимого. Я имею в виду Люция. Катон произнес против него страстную речь, натравил трибунов, добился его осуждения, а когда Люций по случайности выскользнул из его рук, изгнал его из сената как взяточника и казнокрада. Зная это, мы должны призадуматься, так ли уж были виновны остальные обвиненные Катоном. (В деле Минуция есть еще один пункт, внушающий некоторые подозрения. Речь Катона называется «*О ложных битвах*». Нам неизвестно, какого поведения был этот Минуций, был ли он развратником или добродетельным человеком, был ли жесток или мягок, поэтому мы можем верить Катону. Но вот что подтверждают все античные авторы: это был воин и полководец, всю жизнь свою храбро бившийся с врагами, так что главное обвинение Катона заведомо ложно.)

ЭПИЛОГ

[95] Цицерон неоднократно подчеркивает, что сын Сципиона обладал очень слабым здоровьем, «вернее, был вовсе его лишен», а потому ушел от общественных дел. После этих уверений я была страшно изумлена, узнав, что он, подобно своему отцу, был салием (*CIL, I, 33; Cirilli R.* Les prêtres danseurs de Rome. P., 1913. P. 33). Ясно, что эта обязанность требовала огромного физического напряжения. Либо он заболел позднее, либо просто не желал заниматься государственными делами.

дует расположить таким образом: сначала у Публия в сенате требуют отчета, затем судят Люция и, наконец, к суду народа привлекают самого Публия. Когда же это было? Оказывается, и это возможно установить. Геллий говорит, что отчета в сенате у победителя Ганнибала требовали Петилии, а перед народом обвинял трибун Невий (*Gell., IV, 18)*. Максим также пишет, что перед народом Сципиона обвинял трибун Невий (*Val. Max., III, 7, 1)*. Ливий, как мы видели, говорит о подлинном заголовке речи Публия против Невия. Эту же речь упоминает и Цицерон (*Cic. De or., II, 249*).

Петилии были трибунами в 187 году до н. э., в дело Люция вмешался Гракх, также трибун 187 года до н. э., Невий же, как мы говорили, был трибуном в 184 году до н. э. Таким образом, события выглядят теперь следующим образом.

В 187 году до н. э. Петилии требуют у Люция отчет в деньгах Антиоха. Публий в ответ разрывает счетные книги. Дело на этом затухает. Но через некоторое время в том же году нападениям подвергается Люций. Процесс, видимо, кончился ничем, так как, как я уже говорила, Люций через год давал игры, ездил по поручению сената на Восток к Антиоху, а потом баллотировался в цензоры (*Gell., VII, 19; Val. Max., IV, 18; Liv., XXXVIII, 57; Cic. De cons. prov., VIII, 18)*.

Хейвуд предполагает иную реконструкцию дела Люция. Он обращает внимание на уже упомянутые нами события — сценические игры, устроенные Люцием в 186 году до н. э., и его дипломатическую миссию на Востоке — и заключает, что в 187 году до н. э. он не был еще лишен денег и чести. Далее Антиат сообщает, что дело Люция вели два претора — сперва Гальба, потом Теренций Куллеон. Оба действительно были преторами 187 года до н. э. Этот Теренций, рассуждает далее ученый, был другом и чуть ли не клиентом Публия. Значит, можно предположить, что сенат, чтобы спасти честь Сципионов, отнял дело у Гальбы и передал Куллеону, который и стал тянуть, пока не кончился год. Новое дело было возбуждено в 185—184 годах до н. э., причем Люция чуть не заковали в кандалы. Его спас Гракх, но Люций лишился всех денег, а между тем другой трибун привлек к суду самого Публия.

Однако реконструкцию эту я считаю совершенно неприемлемой, и вот почему. От позора Люция спас Тиберий, но он был трибуном 187 года до н. э., а значит, не мог вмешиваться в дело 185 года до н. э. Кроме того, у нас нет никаких данных, чтобы искусственно разделять дело Люция на два процесса. На мой взгляд, ошибается Хейвуд и в отношении преторов. Делом Люция занимались двое: Гальба — городской претор, который и обязан был его разбирать, и Куллеон — претор по иноземным делам, в чью компетенцию это, собственно, не входило. Почему дело отняли у Гальбы и передали Куллеону? Хейвуд полагает, что из-за расположения этого последнего к дому Корнелиев. Я думаю, что как раз наоборот. Ливий пишет, что одни считают этого Куллеона другом Сципиона, другие говорят, что он был «...таким недругом Сципионов, что за свою нескрываемую враждебность был выбран их противниками вести следствие» (*Liv., XXXVIII, 55*). Все подтверждает именно это мнение. Куллеон прославился как дерзкий трибун, который проводил законы, «стремясь унизить знать» (*Plut. Flam., 18*). Далее, когда несколько лет назад сенат решил потребовать от карфагенян выдачи Ганнибала, против этого восстал Публий, но победили его враги, и за Ганнибалом послали именно Куллеона как главу этих врагов (*Liv., XXXIII, 47*). Все это заставляет видеть в Теренции Куллеоне скорее пособника Катона, чем друга Сципиона. Действительно, Ливий говорит, что Гальба тянул

дело, но, когда его передали Куллеону, «у этого претора... Люций Сципион немедленно сделался подсудимым» (*Liv., XXXVIII, 55*). Таким образом, Катону удалось отнять дело у Гальбы и, вопреки обычаям, передать его Куллеону. Он добился еще одного нарушения законов. Денежные вопросы всегда ранее разбирал сенат, но Катон и его сторонники, по словам Ливия, перенесли дело в Народное собрание. Из этого можно заключить, что Порций был очень раздосадован провалом Петилиев в сенате. Провал этот он приписал злокозненности нобилитета. Но, как мы говорили, дело прекратилось благодаря вмешательству Тиберия.

Следующие полтора-два года (186—185 годы до н. э.) были полны глухой закулисной борьбой. Катон всячески подготавливал общественное мнение. В конце 185-го или в 184 году до н. э. Катон привлек к суду уже самого Публия с помощью трибуна Марка Невия. Привлек к суду народа, так как полагал, как мы видели, что народ на его стороне.

Довольно бесполезным представляется вопрос о том, в каком месяце был этот последний наиболее знаменательный суд. Это существенно, ибо трибуны вступали в должность в декабре, другие же магистраты — в марте. Поэтому исследователей интересует, действовал ли Невий еще до вступления в должность цензора Катона или нет. Но ответить на этот вопрос не представляется возможным. Суд, как мы помним, пришелся на день битвы при Заме. Но это нам не может помочь, ибо мы не знаем, когда была эта битва, и ее датировка колеблется от поздней весны до зимы.

Все это дело проливает новый свет на Катона. Мы верим всем его обвинениям, мы не сомневаемся, что Минуций и другие его жертвы были тяжкими преступниками и отвратительными развратниками. Мы искренне возмущаемся, узнав, что Минуцию, который, по словам Катона, изрубил, как свинину, ни в чем не повинных людей, сенат поручает ответственнейшие дела, требующие безукоризненной честности. Однако обо всех этих преступлениях мы знаем лишь со слов Катона. В одном-единственном случае нам точно известна степень виновности подсудимого. Я имею в виду Люция. Катон произнес против него страстную речь, натравил трибунов, добился его осуждения, а когда Люций по случайности выскользнул из его рук, изгнал его из сената как взяточника и казнокрада. Зная это, мы должны призадуматься, так ли уж были виновны остальные обвиненные Катоном. (В деле Минуция есть еще один пункт, внушающий некоторые подозрения. Речь Катона называется «*О ложных битвах*». Нам неизвестно, какого поведения был этот Минуций, был ли он развратником или добродетельным человеком, был ли жесток или мягок, поэтому мы можем верить Катону. Но вот что подтверждают все античные авторы: это был воин и полководец, всю жизнь свою храбро бившийся с врагами, так что главное обвинение Катона заведомо ложно.)

ЭПИЛОГ

[95] Цицерон неоднократно подчеркивает, что сын Сципиона обладал очень слабым здоровьем, «вернее, был вовсе его лишен», а потому ушел от общественных дел. После этих уверений я была страшно изумлена, узнав, что он, подобно своему отцу, был салием (*CIL, 1, 33; Cirilli R.* Les prêtres danseurs de Rome. P., 1913. P. 33). Ясно, что эта обязанность требовала огромного физического напряжения. Либо он заболел позднее, либо просто не желал заниматься государственными делами.

[96] Моя версия гибели Ганнибала строится в основном на рассказе Непота. Разница между его повествованием и сообщениями других древних писателей заключается в следующем. Все авторы — Ливий, Плутарх, Аппиан — сообщают, что карфагенский полководец бежал от Антиоха и нашел приют у Прусии Вифинского. Но все остальные пишут, что жил он открыто, не скрываясь от римлян, которые его давно простили. Увидав его случайно у царя, Тит из тщеславия потребовал выдать беглеца. Но это очень сомнительно. Римляне потребовали выдачи Ганнибала у Антиоха, значит, теперь он был вне закона. Его жизнь — если он жил открыто — всецело зависела от настроения римлян и смены группировок в сенате. На такой риск пуниец вряд ли бы пошел. Да и трусливый Прусия не стал бы открыто держать у себя злейшего врага римского народа. Непот же пишет, что Ганнибал жил тайно и подбил Прусию на войну с Пергамом. Эта война, согласно Полибию, действительно произошла в это время. И тогда его убежище стало известно Титу Фламинину описанным нами образом.

Нельзя согласиться с Непотом в одном. Он утверждает, что Тит имел официальное поручение от сената поймать Ганнибала. Но все авторы это отрицают, более того, говорят, что к Прусии он поехал за другим делом, у всех них сохранилось твердое воспоминание, что знатные римляне, то есть сенаторы, с отвращением отвернулись от Тита. Все выводят этот поступок из его личного характера, а вовсе не из приказов сената. Ливий даже допускает, что Прусия сам решил выдать Титу Ганнибала, хотя тот не просил об этом (*Liv., XXXIX, 51; Plut. Flam., 20—21; App. Syr., 11*).

[97] Год смерти Тита неизвестен. Последний раз мы встречаем его имя под 180 годом до н. э., когда Филиппу попало в руки подложное письмо, якобы написанное Титом Деметрию. Сам факт такого подлога показывает, что в то время Фламинин был еще жив. Видимо, около этого года он умер. Правда, под 176 годом до н. э. Ливий помещает описание роскошных поминок, которые некий Тит Фламинин устроил по своему отцу, которого тоже звали Тит (*Liv., XLI, 28*), и можно думать, что речь идет о смерти Освободителя Эллады. Однако это сообщение вызывает сильное сомнение. Во-первых, непонятно, почему такой знаменитый герой, как Тит, не удостоился от Ливия никакого похвального слова. Во-вторых, Плутарх определенно говорит, что Тит до самой смерти не ушел от дел (*Flam., 20*); он не был ни осужден, ни удален из сената. Между тем он совершенно исчезает со страниц истории и мы даже не знаем, как он отреагировал на убийство своего любимца Деметрия. Это заставляет нас думать, что в сообщение Ливия вкралась ошибка.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 6

Книга первая. ВОЙНА

Глава первая. КАРФАГЕН 8
Город и люди 8
Борьба Карфагена за мировое господство 16
Первая Пуническая война 19
Наемническая война 22
Ганнибал 27
Приготовление к войне 31

Глава вторая. ГАННИБАЛОВА ВОЙНА 33

Глава третья. ЮНОСТЬ СЦИПИОНА 45
Явление героя 45
Молодой повеса 49
Эдилитет 54
Отъезд в Иберию 56

Глава четвертая. ИБЕРИЯ 60
Обстановка 60
Гай Лелий 63
Чудо у Нового Карфагена 64
Избранник богов 70
Чудесное рождение 72
Полибий 75
Отлив или Нептун? 77
Даймон 83
В Новом Карфагене 91
Мастерская войны 94
Публий Сципион против Газдрубала Баркида. 208 год до н. э. 97
Публий Сципион против Газдрубала, сына Гескона, Магона и Масиниссы. Великая битва при Илипе. 207—206 годы до н. э. 102
Публий Сципион в Африке. 206 год до н. э. 107
Погребальные игры 110
Все опять на краю гибели 110
Конец войны в Испании. Осень 206 года до н. э. 114

Глава пятая. СИЦИЛИЯ 117
Возвращение 117
Прекрасный остров 130
Трудности и приключения 134

Глава шестая. АФРИКА 142
Масинисса 142
Огонь. 203 год до н. э. 149
Великие равнины. 203 год до н. э. 153

Софонисба 155
Мир. Нарушение клятв. Приезд Ганнибала 158
Зама. 202 год до н. э. 163
Заключение мира 167

Книга вторая. МИР

Глава первая. СНОВА ДОМА 174
Возвращение 174
Семья Сципиона 179
Новые веяния 182
Отец римской поэзии. Энний 192
Учение Пифагора 198
Апофеоз Сципиона 203
Тайна гроба Нумы 207

Глава вторая. ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРЕЦИИ 214
Положение в Греции 215
Первые годы войны 220
Тит Фламинин 222
Переговоры с Филиппом 225
Киноскефалы. 197 год до н. э. 229
Истмийские игры. 196 год до н. э. 234
Война с Набисом. Последние распоряжения в Греции. 195 год до н. э. 237
Новая смута в Греции 246
Месть Тита 249

Глава третья. ВОЙНА С АНТИОХОМ. 196—190 годы до н. э. . . 253
В кольце врагов 253
Гром грянул 262
Битва при Магнесии. 190 год до н. э. 269
Заключение мира 270
Идеи Сципиона об исторической миссии Рима 272

Глава четвертая. КАТОН 280
Бич новых нравов 280
Римский пуританин 288
На улицах Рима 293
Судебные поединки 310

Глава пятая. СУД 322

Глава шестая. ЛИТЕРН 327

Эпилог 330
Заключение 335

Хронология 338
Фамилия Сципионов в IV—II веках до н. э. 340
Основные источники и сокращения 341
Комментарии 346

Бобровникова Т. А.

Б 72 Сципион Африканский: Картины жизни Рима эпохи Пунических войн / Татьяна Бобровникова. — 2-е изд., испр. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 382[2] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1185).

ISBN 978-5-235-03238-5

Победа, которую одержал Сципион Старший над Ганнибалом, ознаменовала закат Карфагена и положила начало восхождению Рима на вершину власти и могущества. Как легендарный полководец, умевший завоевывать доверие даже своих врагов, он ни в чем не уступает Александру Македонскому и Гаю Юлию Цезарю, а как человек, пожалуй, даже выше их. Ибо был не только велик, но и великодушен. Победив Ганнибала, он не потребовал его головы и не разрушил Карфагена. Он мог получить неограниченную власть над Римом, но не захотел власти, как не захотел и почестей, которые заслужил. Автор, неукоснительно следуя источникам, ярко и увлекательно рассказывает не только о герое книги, но и о Риме и Карфагене, о быте, нравах, религиозных обрядах и суевериях их жителей.

УДК 94(37)(092)"652"
ББК 63.3(0)32-8

Бобровникова Татьяна Андреевна
СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ
Картины жизни Рима эпохи Пунических войн

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **Е. В. Смирнова**
Художественный редактор **Е. В. Кошелева**
Технический редактор **М. П. Качурина**
Корректоры **Т. В. Беляева, Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 13.02.2009. Подписано в печать 08.07.2009. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 20,16+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ 93045

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская ул., 21

ISBN 978-5-235-03238-5